



Мои дела связаны исключительно с метафизикой, то есть я занят спасением души, проще - переложением ее в знаки и сдачей в типографию, чтобы встать на полку вечности вместе с Достоевским и Чеховым. Как это происходит производственно-экономически, я уже сам не понимаю. Мой журнал, как и я сам, а журнал и я - одно лицо, посвящен исключительно прозе как высшей форме литературы...

Юрий КУВАЛДИН

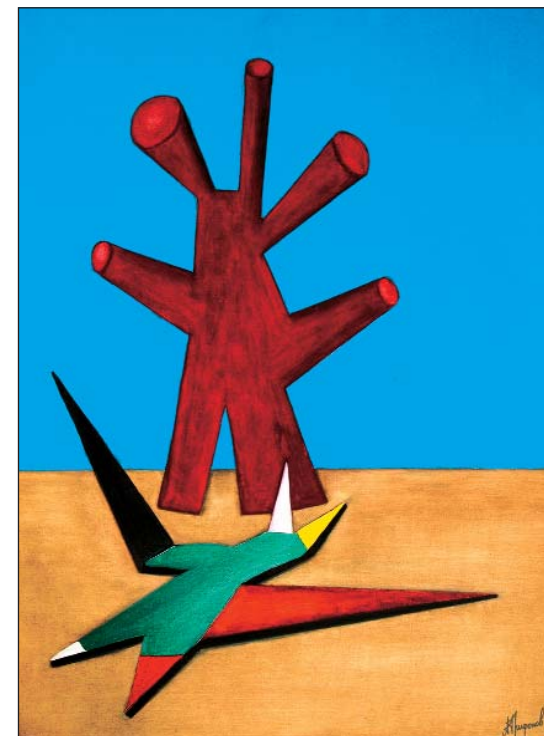
Издательство
"Книжный Сад"
Москва 2006

Юрий Кувалдин

8

Собрание сочинений в десяти томах

Юрий Кувалдин



Том 8

АКАДЕМИЯ РЕЦЕПТУАЛИЗМА

ЮРИЙ
КУВАЛДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ
8

Издательство
Книжный сад
Москва
2006

ББК 84 Р7

К 88

Издание осуществляется
под наблюдением Президента Академии Рецептуализма
академика Юрия Кувалдина

Общая редакция и составление Юрия Кувалдина

Редакционная коллегия:

Ю. А. Кувалдин (главный редактор, академик),
Н. П. Краснова (академик), Слава Лён (академик),
Э. А. Сокольский (академик),
А. Ю. Трифонов (заместитель главного редактора, академик)

Оформление художника
Александра Трифонова

На обложке воспроизводится картина художника Александра Трифонова
“На сцене вечности”, х. м. 80 x 60, 2005 г.

ISBN 5-85676-118-9 (Т. 8)

ISBN 5-85676-111-1

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2006

РОЗАНОВА

рассказ

Солнце освещало белый фарфоровый кувшин. Все слова в этой фразе знакомы: и "солнце", и "освещало", и "белый", и "фарфоровый", и особенно "кувшин". Но как добраться до архетипа, то есть до коллективного бессознательного? Жила в Строгино, работала на "Павелецкой". Отраженный от поверхности кувшина луч долетал до фотографии под стеклом на стене. На фотографии был изображен прадед по материнской линии, усатый, бородатый, глаза-застый, как Розанова, купец, владелец двух рыбных лавок в Ярославле. Розанова отошла от компьютера, чтобы внимательнее приглядеться к кувшину.

Что можно сказать о нем? Ну, например, то, что от кувшина падала тень на белую скатерть. И еще то, что это - элементарный образ, кувшин, как вместилище, как, положим, чрево женщины, из которого бесконечным потоком во времени выливаются все новые и новые поколения людей, причем из женщины выливаются и сами женщины, и мужчины, то есть кувшин в этом случае не просто кувшин, а архетип, то есть фигура - является ли она демоном, человеком, предметом или событием, - которая в процессе истории повторяется там, где свободно проявляется творческая фантазия. Афина пила из кувшина, а Зевс наблюдал за ней. Велес пил из кувшина, а Хорс наблюдал за ним. Моисей пил из кувшина, а Абрам наблюдал за Христом, который тоже пил из кувшина.

Розанова (ну, надо же, какой фамилией ее наградил отец, кандидат физико-математических наук, полковник академии им. Куйбышева! Тут что ни актриса - Розанова!) перевела глаза на численник. Еще не оторван вчерашний листок со средой, а сегодня - четверг. Розанова на обратной стороне листка прочитала: "Юмор народов мира. Из французского. Пусть жена убедится.

Нищий на улице просит у прохожего несколько франков.

- Нет, - отвечает тот, - если я дам тебе пару франков, ты все равно их пропьешь.

- Я не пью, мосье, - говорит нищий.

- Ну, тогда проиграешь на бегах.

- Я не играю на бегах.

- Значит, ты их истратишь на какую-нибудь девицу.

- Но я не имею дел с девицами, мосье.

Озадаченный прохожий осматривает горемыку с ног до головы и вдруг предлагает:

- Хорошо, я дам тебе пять франков. Но ты пойдешь со мной. Пусть моя жена убедится, что происходит с мужчиной, когда у него нет никаких пороков".

Розанова пренебрежительно скомкала листок и бросила его в стоящий у печи ящик с дровами. Всюду Розановой виделось интеллектуальное понижение. Для каких, спрашивается, индивидов печатаются подобные тексты? Разумеется, для очень простых, невысказательных, природных людей.

Розанова вернулась к кувшину. Нерожденное произведение в душе художника есть сила природы. Ибо все - есть Природа. В тени кувшина зеленоватая муха чистила крылья. Произведение само приносит свою форму. При этом то, что автору хочется вложить от себя, отклоняется, а то, чего он принять не хочет, ему навязывается. В то время как его сознание растерянно и опустошенно стоит перед этим феноменом, он захлестывается потоком мыслей и образов, которые его намерение никогда не создавало, а воля никогда не желала породить. Вопреки своей воле он все-таки вынужден признать, что через них заявляет о себе его "Я", что его внутренняя природа раскрывает саму себя и громко возвещает о том, чего никогда раньше не доверяла языку. Таким образом, природа сама пишет. "Войну и мир" написала природа через свое создание - человека, названного Львом Толстым.

Наташа, девочка с большой головой, только что проснулась. Она сидела на кровати. Станный, болезненный взгляд ее был прикован к мухе. Наташе снились чайки над свинцовой рябью Пестовского водохранилища. Их было много на водохранилище. И всегда там дул сильный ветер. Чайки запомнились Наташе, поэтому снились ей. А на самом деле она увидела муху. Чайки белые и

большие. Муха маленькая, зеленая. Чайка летает. И муха летает. И во сне они бывают часто похожи.

Дверь из комнаты была приоткрыта. Наташа перевела взгляд на террасу. В кресле-качалке сидела бабушка с книгой. Наташа встала. Муха взлетела. Наташа взяла двумя руками довольно-таки тяжелый для ее восьми лет кувшин и отпила молока. Белая струйка пролилась на нежный подбородок девочки. Она вышла на террасу. Босые ноги ощущали тепло пола. Чистые неокрашенные доски светились от света.

Бабушка уже приготовила завтрак. В тарелке манной каши таял желтый квадратик сливочного масла. Умытая, причесанная Наташа села за стол. Наташа любила манную кашу. За столом девочка не горбилась, сидела прямо, расправив плечи. Бабушка тоже не горбилась, потому что гордилась собой и своей фамилией, а также однофамильцем Розановым. Фамилии - это клеймение животных стада. Их миллиарды протопали за миллиарды лет, от инфузорий до двуногих. Само по себе коллективное бессознательное вообще не существует. На самом деле оно является не чем иным, как возможностью, той самой возможностью, которая передается нам по наследству с древних времен посредством определенной формы мнемических образов или, выражаясь анатомически, через структуры мозга.

Прилетела и муха. Наташа покрошила ей белых хлебных крошек. Муха сначала испугалась и улетела. Потом, полетав и постукавшись о стекла широких окон террасы, вернулась и тоже принялась завтракать. Эта муха жила с Наташей и бабушкой уже месяц. Верная муха. Сначала старались выгнать ее в сад. Муха никак не хотела улететь в открытую дверь. Делала сумасшедшие выражи перед самым выходом, возвращаясь.

Позавтракав, муха полетела к стеклу, ударилась, как-то странно в воздухе качнулась, но не потеряла высоты, развернулась и вернулась на стол. Муха не села, а как-то свалилась сначала на бок, а потом легла вверх ножками, поддержала ими и затихла.

В Наташиных глазах изобразился ужас. Наташа сама увидела ужас этот в своих глазах, увидела блеск своих огромных глаз, и в них - вспышки разрывов артиллерийских снарядов. Розанова погладила Наташу по голове, сказала:

- Все имеет в этой жизни свой конец.

И вздохнула.

Наташа, придя в себя, спросила:

- А какая еще жизнь бывает?

- Почему ты об этом спросила?

- Потому что ты сказала в "этой" жизни...

- Это я машинально, - сказала Розанова, округляя и без того круглые, стеклянные, с жемчужным отблеском глаза. - Другой жизни не бывает... Муха умерла. Ее нужно закопать.

Наташа потрогала муху и увидела мухины поблескивающие, остекленелые глаза. Та не шевелилась. Наташа осторожно взяла муху двумя пальцами, спросила:

- А где мы ее закопаем?

Розанова, глядя себе в спину, выходя с террасы, сказала:

- Около шиповника... Возьми совочек...

Наташа держала скончавшуюся муху на вытянутой руке, напряженно. В углу у двери в пластмассовом ведре лежал совок. Наташа нагнулась, выставляя руку с мухой вверх, и взяла совок.

Земля возле большого, цветущего крупными бордовыми цветами шиповника была черной и мягкой. Наташа без труда сделала лунку и положила в нее муху.

- А почему муху нужно зарывать в землю? - спросила Наташа.

- Потому что все, что умирает на этом свете... Нет, - поправились Розанова, - просто - на свете... Без дурацкой присказки "этом"... Все уходит в землю...

Наташа бережно засыпала муху землей.

Бабушка решила принести из лесу небольшой куст можжевельника, чтобы дополнить цветник у террасы. Бабушка взяла хозяйственную сумку, в которую потом поместят выкопанный куст, и лопату. Наташа вызвалась нести корзинку для грибов.

Они пошли в лес. Собственно, это был не настоящий лес, а так - лесок. Но в нем, если ходить внимательно, можно было набрать грибов. Бабушка очень любила собирать грибы. И всю неделю, пока не было дочери с мужем - родителей Наташи, - бабушка ходила с внучкой за грибами.

Лесок был в противоположной от водохранилища стороне. Дачи стояли, таким образом, между водохранилищем и лесочком. Наташа сразу же нашла под высоким кустом орешника крепкую сыроежку с зеленой шляпкой. Бабушка похвалила внучку и заметила кустик можжевельника, а неподалеку уви-

дела кустик брусники. Нагнулась, чтобы сорвать красно-белые ягоды, но вдруг в глаза ей сильно ударило ярко-синим огнем, как от сварки. Бабушка даже отпрянула, но не успела уберечься от огня. Наташа с удивлением наблюдала за движениями бабушки. Вот бабушка раскинула руки и ни с того ни с сего упала навзничь. Наташа заглянула в глаза бабушки. В них остановилось небо, и они казались стеклянными. Руки с растопыренными пальцами тут же засохли, и стали напоминать сучья.

Наташа увидела, что бабушка, как муха, умерла, и ее нужно закопать. Наташа подняла лопату и стала копать возле бабушки яму. Копать Наташа научилась с самого детства. Слово "раннего" с предлогом "с" Наташа никогда не употребляла по совету бабушки. И особенно в выражении "с раннего". Бабушка говорила, что так говорят только абсолютно глухие к звучанию слов люди, потому что выражение "с раннего" всегда звучит как "сранные", а это неприлично.

- Когда я умру? - спрашивала Наташа, делая свои огромные глаза бессмертными.

- Что значит, когда "я умру"? - отвечала Розанова, и зрачки ее глаз, и без того большие, еще больше расширились. - Смерть одолевает даже математику. Дважды два - ноль...

Земля здесь была жестче, чем на участке, но все же поддавалась выкопке, поскольку находилась в тени и была почти что без травы, а стало быть, без переплетений корней. Приятно было вонзять лопату, надавливая на нее крепкой подошвой кроссовки. Приятно было откладывать аккуратно землю на край ямы. Спустя час глубина ямы была уже по пояс Наташе. Ее большой, высокий лоб весь был покрыт капельками пота. Папа с мамой не любили копать землю. Этим каждый год, особенно весной, занимались бабушка с Наташей.

Еще через час Наташа, приложив немалые усилия, свалила бабушку в яму. Засыпать землей бабушку было не так-то просто, и Наташа это делала из последних сил, и ей все время было очень грустно. Потом была ночь, и луна освещала белый кувшин. Наташа легла, как учила бабушка, и закрыла глаза, как учила бабушка.

Утром, когда Наташа проснулась, она уже забыла, где закопала бабушку. Целый день Наташа играла на компьютере. А на другой день, к вечеру, приехали родители.

- А где мама? - спросил папа.

Юрий КУВАЛДИН

- Она умерла, и я ее закопала, - равнодушно сказала Наташа, неохотно отрываясь от экрана.

В глазах ее, таких же больших, как экран компьютера, отражались орудейные вспышки электронной войны.

Несколько дней родители, милиция и врачи искали Розанову, но так и не нашли. Наташа только могла указать, где она закопала муху.

Даже не интересно...

"Наша улица", 12-2001

БИБЛИОТЕКАРЬ

рассказ

Помню, у меня был знакомый, Бирюков, который всего боялся, был членом партии, не пил, не курил. Сколько раз я его приглашал в разные компании, но он отказывался. Хотя и учились мы в одном институте, но я, извините, считал его недалеким человеком. Когда все занимались самиздатом, сидели за пишущими машинками, перестукивая Солженицына, читали Булгакова, он склонялся над пухлыми томами какого-нибудь никому не известного Корньюшина или Сидоренко. Я носился со стихами Мандельштама, а он мне говорил:

- Это народу не понятно.

И сам читал стихи какого-нибудь Фирсова или Новикова.

Я тогда подозревал, что у Бирюкова, как говорится, не все дома, и что он не может отличить талантливое произведение от сестры.

Бирюков скучал в районной библиотеке. Я к нему часто заскакивал, чтобы взять какую-нибудь острую книжную новинку, например, помню, "Глоток свободы" Окуджавы или "Прощание с Матёрой" Распутина.

Единственно, на что соглашался Бирюков, это на поездки за грибами. Он любил ходить со мною по лесу, любил слушать мои рассказы о писателях. При этом он очень ловко, к моему удивлению, высматривал грибы, несмотря на свою замедленность. Оставляет меня и тихо, почти шепотом, говорит:

- Вон, под елкой...

И я видел огромный белый, с коричневой шляпкой гриб...

Годы проходили, а Бирюков все сидел на одном месте, составлял все те же библиографические карточки, и думал все об одном и том же, как бы поселиться на берегу реки. Мне он часто говорил своим сипатым, глухим, тихим голосом:

- Куплю участок у реки...

И мечтательно возводил свои белесые, с зеленоватым оттенком глаза к потолку.

Бирюков был упитан, лыс, остатки волос были жиденькими, желтенькими и мягенькими, как пакля. Ходил он тяжело, как старик, хотя ему исполнился только тридцать один год. По лестнице, когда приходилось, поднимался с трудом, отдыхая и отдыхаясь. А так - всё на лифте старался подниматься. Но, самое удивительное, он не умел разговаривать. Таких называют увальнями, проглотившими язык. Он листал книги филологов и литературоведов, задерживал внимание на каком-нибудь абзаце, фразе, и поражался, как складно они пишут, ничего не выражая. Потому что Бирюков не понимал, о чем они пишут.

После каких-нибудь литературных вечеров, на которых я выступал, подходил ко мне и с нескрываемым восхищением говорил:

- Ты так здорово говоришь! А я не умею...

Часто меня спрашивал о каких-то очевидных вещах. Например, однажды спросил:

- Ты вот все говоришь: "Фраза, фраза..." А что такое "фраза"?

И это с таким серьезным видом, что я терялся. Даже подозревал, что он надо мной смеется.

- Фраза - это то же предложение, - говорил я.

- А... понятно, - говорил он таким тоном, как будто я вернул ему долг.

Еще он часто признавался мне, что не запоминает фамилий и имен писателей, даже знакомых часто забывает, как звать.

Я ему давал читать Ницше. Он, возвращая, сказал:

- Ничего я в твоём Шнитке не понял...

"Ну, и тип!" - думал я. И с удивлением смотрел на него, пытаясь объяснить для себя его беспамятство.

Я начал думать о том, почему, например, человек забывает сновидение по пробуждении? То, что сновидение к утру исчезает, всем известно. С другой стороны, бывает нередко, что сновидения остаются в памяти чрезвычайно долгое время. И сам помню сейчас одно сновидение, которое видел, по меньшей мере, лет сорок назад, и которое до сих пор не утратило в моей памяти своей свежести. Все это чрезвычайно удивительно и на первых порах довольно-таки непонятно.

Быстро забываются нередко сновидения, о которых в первый момент помнишь, что они были чрезвычайно живы и рельефны, между тем как среди сохранившихся в памяти можно найти очень много призрачных, слабых и совершенно неотчетливых образов. Далее, в бодрственном состоянии обычно легко забывается то, что произошло всего один раз, и, наоборот, запоминается то, что доступно восприятию неоднократно. Большинство сновидений представляет собой однократные переживания; эта особенность способствует забыванию всех сновидений. Для того чтобы ощущения, представления, мысли и т. п. достигли известной силы, доступной для запоминания, необходимо, чтобы они не появлялись в отдельности, а имели бы между собою какую-либо связь и зависимость. Если двустилие разбить на слова и представить их в другом порядке, то запомнить двустилие будет гораздо труднее. Стройная, логически связанная между собою фраза значительно легче и дольше удерживается в памяти. Абсурдное же, в общем, запоминается столь же трудно и столь же редко, как и беспорядочное и бессвязное. Сновидения же в большинстве случаев лишены осмысленности и связности. Композиции сновидения сами по себе лишены возможности сохранять воспоминание о самих себе, и забываются, так как в большинстве случаев они распадаются уже в ближайшее мгновение.

Но иногда, наоборот, бывает, что мы запоминаем лучше всего самые странные сновидения.

Эти сновидения как бы поднимаются над уровнем нашей душевной жизни, парят в психическом пространстве, точно на небе, и которые малейший порыв ветра может быстро согнать. В том же направлении действует и то обстоятельство, что по пробуждении внешний мир тотчас же овладевает вниманием, и лишь немногие сновидения выдерживают сопротивление его силы. Сновидения исчезают под впечатлением наступающего дня, как сверкание звезд меркнет перед сиянием солнца.

Забыванию сновидений способствует, кроме того, тот факт, что большинство людей вообще мало интересуются тем, что им снится. Тот же, кто в качестве наблюдателя интересуется сновидениями, тому и снится больше, вернее говоря, он чаще и легче запоминает сновидения...

По-видимому, у Бирюкова было не все в порядке с тем участком мозга, который отличал сновидения от реальности.

Бирюков знал, что филологи - почитаемые люди, имеют ученые степени, получают гонорары и имеют участки земли в Переделкино. Почему-то иногда слово "участок" представлялось ему кладбищенским местом для покойника. Может быть, оттого, что еще совсем недавно я возил его в Переделкино, показывал огромные дачи Чуковского, Пастернака и Фадеева, а потом водил на кладбище к могилам Пастернака и Чуковского... Да и сам Бирюков недавно похоронил мать. И эта тоска по филологии, гонорарам и собственному участку земли у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе участок где-нибудь на берегу реки.

Вообще же, он был добрый, кроткий человек, его любили сослуживцы, в основном, как это бывает в библиотеках, женщины, но этому желанию запереть себя на всю жизнь на собственном участке они никогда не сочувствовали. У него было заметное брюшко, к тому же подчеркиваемое вечно носимым свитером. Казалось бы, надень пиджак, и не так будет брюхо заметно. Так нет же! Припрется, бывало, в затертом свитере, как назло, и трясет животом. Мне частенько думалось, что Бирюков лишен чувства стыда.

Как там, у классиков, принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли? Посмотрите, весной, как все они, радостные, бегут с лейками и рассадой помидоров на вокзал к своим электричкам, чтобы добраться до клочков земли! Но ведь, те же классики восклицают, что три аршина нужны трупу, а не человеку! Теперь считается, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится на дачи, то это хорошо. Но ведь эти дачи те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от социальности, уходить и прятаться у себя на участке - это не жизнь, это своего рода существование. Человеку нужно не три аршина земли, не дача, а общественная жизнь, процветание твоего народа, вся информация, где он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа во славу своего великого народа.

Бирюков, сидя у себя в библиотеке среди великих имен, мечтал о том, как он будет проводить по целым часам на террасе и глядеть на поле и лес.

Сельскохозяйственные книжки и всякие советы в справочниках составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал только "Из рук - в руки", рекламные объявления о том, что продается столько-то соток земли. И рисова-

лись у него в голове коровник, сено, дорожки в саду, цветы, яблоки. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему. Ни одного участка, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было коровника. Я раньше удивлялся этому, но удивляться тут, в сущности, нечему: все его предки на десять колен были родом из деревень, да к тому же - крепостными.

- Деревенская жизнь имеет свои удобства, - говорил он, бывало. - Сидишь на террасе, а продукты в огороде зреют...

Жил он скупко: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал на книжку. Страшно жадничал. И мне не понятно было, отчего он такой упитанный? Оказывалось, что тогда была еще жива его мать, деревенская женщина, и кормила его вволю, а когда умерла, то кормила Бирюкова сестра, тоже мечтавшая о домике в деревне.

Годы шли, перевели его на должность заместителя заведующего библиотекой, а он всё читал объявления в газетах и даже откладывал деньги из своей мизерной зарплаты. Потом женился. Всё с той же целью, чтобы жить на берегу реки в ближнем Подмосковье, где-нибудь в Мамонтовке, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее были большие деньги. С ней он познакомился на презентации книги, в библиотеке же, где был просторный актовъ зал на сто пятьдесят мест, книги ее покойного мужа, известного кинорежиссера.

Он и с ней тоже жил скупко, держал ее впроголодь, а деньги ее положил на книжку на свое имя. С кинорежиссером она привыкла к сервелатам и салатам, а у Бирюкова, как говорится, и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. Еще в СССР. Тут и возраст ее сказался, она была старше Бирюкова на двадцать два года. При ней Бирюков кое-чего успел добиться: например, защитил кандидатскую по трудам Шахматова (переписал чью-то диссертацию), потом открыл свой кооператив в области книжной торговли, переподчинил себе, благодаря связям жены, три большие книжные магазины и свою же библиотеку (просто перевел денежные потоки государства на свой счет, как почти что все тогда делали).

После смерти жены стал высматривать себе участок. В 1989 году Бирюков через один полулегальный кооператив купил двадцать пять соток земли вместе с домом на Клязьме.

Это уже был не робкий прежний библиотечный работник, а настоящий предприниматель, да к тому же - филолог, ученый. Он уже обжился на Клязьме (в верховьях она особенно хороша, прозрачна, с рыбой, быстра, холодна!), привык и вошел во вкус; в кооперативе на него работали молодые хваткие ребята (всем им купил по "жигулям"), ел много, жарил шашлыки с сухим вином, построил на участке баню и мылся в ней чуть ли не каждый день, полнел, называли его теперь "господином". Ездил с охраной. Его принимали за бандита. Стричься он начал коротко, отчего голова стала еще круглее, внушительнее. И о душе своей заботился солидно, по-новому, и ходил не просто, а с важностью. Женился он на молоденькой, но какой-то невзрачной, худой, конопатой, простоволосой женщине. Ходил по огороду с мобильником.

Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Бирюков, который когда-то в библиотеке боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: "Расширение состава русского языка необходимо, но для народа это надо делать постепенно", "Без табуированной лексики нет русского языка, но это не означает, что мы за повсеместное введение мата".

Когда о человеке говорят: "У него доброе сердце, но глупая голова", а о другом: "У него хорошая голова, но злое сердце", - то каждый чувствует, что в первом случае похвала значительно превосходит критику, а во втором случае - наоборот. Поэтому, когда кто-нибудь совершает плохой поступок, его друзья и он сам всячески стараются перенести вину с воли на интеллект и представить ошибку сердца как ошибку ума; дурные поступки называют заблуждениями, говорят, что это было вызвано просто необдуманностью; в случае крайней необходимости ссылаются даже на мгновенное умопомрачение, а если речь идет о тяжком преступлении, на безумие, чтобы только каким-нибудь образом снять вину с воли.

Все это достаточно убедительно свидетельствует о том, что только воля составляет в человеке его ядро; интеллект же - только ее орудие и он может совершать ошибки, в которых не участвует воля. Те, чье предпринятое действие потерпело неудачу, всегда ссылаются на свою добрую волю, в которой не было недостатка. Если человек глуп, его оправдывают тем, что он в этом не виноват;

если кто-нибудь попытался бы таким же образом оправдать того, кто зол, его бы просто осмеяли. И все-таки то и другое - врожденные свойства. Это доказывает, что воля - и есть человек, интеллект же - просто ее орудие.

В выдающихся духовных способностях всегда видели дар природы. Именно поэтому их и называли дарами, рассматривая их как нечто от самого человека отличное, ниспосланное ему чьей-то благосклонностью. Напротив, моральные качества никогда так не воспринимали; в них всегда видели нечто зависящее от самого человека, ему присущее.

Соответственно этому все религии сулят награду в потустороннем мире за достоинства воли, сердца, и ни одна из них не обещает награду за превосходство ума, рассудка. Добродетель ждет своей награды в мире ином; ум надеется обрести ее в этом мире; гений не ждет ее ни в этом, ни в ином мире; его награда в нем самом. Таким образом, воля - вечное в человеке, интеллект - временное.

Связь, общность и общение между людьми основываются, как правило, на отношениях, связанных с волей, редко - на отношениях, связанных с интеллектом. Общность первого рода можно назвать материальной, общность второго рода - формальной. К общности первого рода относятся узы семьи и родства, затем все связи, основанные на какой-либо совместной цели или на интересе, например, профессиональном, корпоративном, партийном, деловом и т. д. Здесь все дело в убеждениях, в намерениях; в интеллектуальных же способностях и развитии членов таких сообществ может существовать величайшее различие. Поэтому члены их могут не только жить в мире и единении, но и совместно действовать и объединяться для общего блага. Брак - также союз сердец, а не умов. По-другому обстоит дело с чисто формальной общностью, цель которой составляет только обмен мыслями; здесь требуется известное равенство интеллектуальных способностей и образованности.

Большое различие в этом разверзает между людьми непроходимую пропасть; она разделяет, например, высокий дух и глупца, ученого и матроса. Такие разные люди с трудом понимают друг друга, если речь идет о передаче мыслей, представлений и взглядов. Тем не менее, между ними может быть тесная материальная дружба, они могут быть верными союзниками, заговорщиками и

поручителями. Ибо во всем, что касается только воли, в которую входят дружба, вражда, честность, верность, обман и предательство, они совершенно однородны и сделаны из одного теста; ни ум, ни образованность не вносят какого-либо различия между ними, и здесь необразованный человек подчас может пристыдить ученого, а матрос партийного функционера.

- Я знаю народ и умею с ним обращаться, - говорил Бирюков. - Меня народ любит, потому что я сам из народа! Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что захочу.

Было неприятно его слушать. Я видел счастливого человека, сравнивая его с разочарованной во всем, циничной, издерганной тощей московской интеллигентской тусовкой. Я видел Бирюкова и понимал, что заветная мечта его осуществилась, что он достиг цели в жизни, получил то, что хотел, что он был доволен своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате, рядом с хозяйской, окнами выходящей на реку... И всю ночь я слышал счастливый храп Бирюкова.

Я с досадой думал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на нашу жизнь: наглость и праздность "демократов", невежество и скотоподобие бомжей, пьянство, наркомания... Мы видим тех, которые ездят на рынок за провизией на иномарках, ночью едят, днем спят, которые играют в казино, распутничают, старятся, в роскошных гробах из красного дерева тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами.

Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то убито в Чечне, столько-то погибло в бандитских разборках, столько-то детей погибло от клея-"момент"... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, как говаривали классики, о которых Бирюков забыл, да и просто, в силу устройства своей большой лысой головы, не помнил, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы сту-

ком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стряется беда - болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, - и всё обстоит благополучно.

Когда я был у Бирюкова в последний раз осенью 1993 года, он повез меня на своей черной (предел его мечтаний) "Волге" по бетонке, далеко, туда, куда мы добирались в юности на электричке, и где никогда не было людей.

Машину он оставил в небольшой деревеньке на шоссе, на дворе у какого-то своего знакомого. Потом мы долго шли по лесу. Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки, на слежавшихся, потерявших запах листьях. Я проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Бирюков посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав толстые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал мобильник, который тут же затрезвонил. Бирюков спросонья крикнул:

- У аппарата!

Потом, выслушав, сказал:

- Если на нефть цены упадут, то будем гнать на Запад только бензин...

Я знал, что теперь он занимался еще и нефтью, и сидел в своем огромном офисе в роскошном особняке в переулке между Арбатом и Пречистенкой.

Я обулся, напряженно, боясь сорваться, слез по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку.

Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепех... Теперь уж лет пять все было заброшено, покотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья.

Дверь в сторожку была сорвана, и я пошел внутрь. Стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости, дождя и солнца сизым. По углам лежали кучи листь-

ев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот?

Я присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой, пыльной паутине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом; из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом, и я задумался с погасшей папиросой о том времени, когда я, совсем молодой, ходил за грибами.

Было мне тогда лет семнадцать. Ошалевший, как молодой же-ребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил я с Бирюковым по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала передо мной - нетронутая, бесконечная, радостная. Потом мы с ним бродили по озерам, лугам, по сумрачным борам, были несказанно счастливы своей молодостью, силой, готовы были переплыть любую реку в самом широком месте. И еще - и это, пожалуй, самое главное - я был влюблен тогда в Анну, беспрестанно со сладкой тоской думал о ней, и казалось мне по молодости, что еще не то будет в жизни, что пока еще не настоящее счастье, а гораздо большее, невыразимое счастье будет впереди. Теперь я понимаю, что это всегда так. Нам все кажется, что лучшее впереди. Я и не предполагал, что через день после нашего возвращения с грибами Бирюкова убьют из "калашникова" в собственной "Волге" у подъезда офиса.

Сколько ушло, сколько прожитого навсегда минуло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда мы здесь скитались с юным увальнем Бирюковым, так и запомнились, как лучшее в жизни, как самое чистое. И я помнил все - все дни и все места, где у нас были счастливые минуты, в которые мы набирали полные корзины грибов, звенящих белых и подберезовиков, помнил приметные деревья, потаенные родники, помнил даже, какие стихи я читал тогда Бирюкову:

...Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
но люблю эту бедную землю,
оттого, что иной не видал...

БИБЛИОТЕКАРЬ

Теперь я снова приехал сюда с Бирюковым, и, когда ехал, было томительно-радостно, что я опять увижу все, а теперь стало тяжело - так все неузнаваемо изменилось, так все постарело, поблекло... Все не то, все не то, только рассвет и роса на траве, запахи - все те же, вечные, навсегда те же! И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть, и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и смотреть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими запахами полевых цветов.

"Наша улица", № 8-2002

МОДЕСТ МЕРТВАГО

рассказ

В шестидесятые годы среди москвичей, попавших в армию, была мода пользоваться в разговорах и в письмах усложненным, интеллектуальным, возвышенным стилем, наполненным всевозможными ассоциациями. Одним словом, мы говорили на языке узкой группы ценителей изящной словесности или литературных снобов. Мы жадно читали книги: и классику, и современников. Иногда играли роли других людей, подделываясь то под деревенских, то под украинцев, как это мастерски делал Мертваго. Поэтому я, чтобы охладить читателя, охочего до разных историй, сразу же делаю несколько предварительных замечаний - сухо и по существу, в меру моих возможностей.

Итак, я много лет своей жизни, может быть, даже все пятьдесят четыре, ощущаю себя чем-то вроде компьютера, загруженного и временами приводимого в действие ради единственной цели - пролить немного света на короткую переменчивую жизнь моего армейского друга Модеста Мертваго, с которым мы служили в учебке, а потом в разных местах, и поэтому переписывались, и который умер тридцати лет от роду и похоронен на Востряковском кладбище.

МУСОРГСКИЙ Модест Петр. (1839-81), рус. композитор, чл. "Могучей кучки". Создал монументальные нар. муз. драмы "Борис Годунов" (1869, 2-я ред. 1872) и "Хованщина" 1872-80, завершена Н. А. Римским-Корсаковым. 1883). Запечатлел живые человеческие образы также в песнях - драм. сценках, в к-рых обращался к социально заостренным темам из нар. жизни ("Калистрат", "Сиротка" и др.). Среди соч.: оп. "Сорочинская ярмарка" (1874-80, окончена Ц. А. Кюи, 1916), фп. цикл "Картинки с выставки" (1874), вок. циклы - "Детская" (1872), "Без солнца" (1874), "Песни и пляски смерти" (1877) и др. В 1968 в с. Карево (ныне Куньинского р-на Псковской обл.) создан Дом-музей М.

ПАСТЕРНАК Бор. Леон. (1890-1960), рус. сов. писатель. Кн. лирики "Сестра моя - жизнь" (1922), "Второе рождение" (1932), цикл "Когда разгуляется" (1956-59); ист.-рев. поэмы "Девятьсот пятый год" (1925-26) и "Лейтенант Шмидт" (1926-27). Повести. В судьбе рус. интеллигента - героя ром. "Доктор Живаго" - обнажены трагич. коллизии рев-ции и Гражд. войны: стихи героя романа - лирич. дневник, в к-ром человеческая история осмысливается в свете христ. идеала (опубл. за рубежом, 1957; в СССР - 1988; Ноб. пр., 1958, от к-рой П. отказался). Автобиогр. проза. Пер. произв. У. Шекспира, И. В. Гёте, П. Верлена, груз. поэтов.

Копаясь в бумагах, я нашел свое не отправленное Модесту Мертваго письмо. В этом существует, мне кажется, некая знаковая связь. "Знаковая" - плохое слово, не спорю, но здесь оно как будто подходит. И больше никаких объяснений.

Этот образованный, воспитанный и одновременно грубый парень, как мне это ни забавно и ни печально, постоянно бывал занят перевоплощениями! Как он, конечно, и сам знал в глубине души и тела, я по нему скучал просто жутко. Мне очень стыдно, но не могу не желать и ему того же. Это до смешного приводит меня в отчаяние, и даже не очень-то до смешного. Ужасное безобразие, если все время чего-то добиваешься в себе, а потом начинаешь поглядывать, как на это реагируют другие. По моему убеждению, если с Чехова во время прогулки по набережной в Ялте сорвало ветром шляпу, приятный долг Бачурина - поднять ее и вернуть Чехову, не заглядывая ему в пенсне и не ища за ними его глаз с выражением благодарности. Постоянно задумываюсь, неужели я не могу научиться скучать по приятным мне людям, не желая, чтобы и они скучали по мне в ответ? Для этого нужен характер потверже, чем у меня. Но однако же, с другой стороны, вы ведь все такие ужасно обаятельные, разве таких забудешь. Как мне не хватает всех ваших живых, выразительных лиц!

В нас живут впечатления прошлого в бессознательных остаточных переживаниях. В течение жизни мы играем разные роли: ребенка, мужа, любовника. То есть - нас зачали, но и мы можем зачать. Эта смена ролей идет постоянно, и задержка - ведет к смерти. Посмотрите на стадо коров. А где же бык? Подумайте и догадайтесь. В колбасе. В первобытные времена та же участь ожидала отцов. Сыновья их убивали и съедали. Коров - стадо, бык - один. Вспомним гаремность Востока.

Я родился безо всякой защиты на случай длительного отсутствия тех, кого я люблю. Простой, упрямый, смехотворный факт состоит в том, что моя независимость - только на поверхности, не то что у моего неуловимого Модеста Мертваго. При том, что мне сегодня без него особенно горько, даже, если разобраться, почти невыносимо, я еще использую предоставившуюся мне редкую возможность, чтобы поупражняться во вновь освоенных простых приемах письменного сочинения и конструкции фраз, приведенных и слегка развитых в моем давнем письме, местами бесценном, а местами - вздор собачий. Хотя для тебя, дорогой Мертваго, это все ужасная тощища, но превосходное - или хотя бы сносное - построение фразы представляет кое-какой курьезный интерес для молодого писателя вроде меня. Я был бы рад за предстоящий год избавиться от напыщенности, которая грозит погубить мое будущее как писателя, философа и дисциплинированного человека. Очень прошу тебя, если случится, в отпуске заглянуть к Марине Фадеевой в библиотеку или повстречаться с ней где-нибудь, пожалуйста, пройдишь холодным, неподвзятым взглядом по нижеследующим страницам и немедленно дай мне знать, если обнаружишь вопиющие или просто неряшливые ошибки в композиции, грамматике, пунктуации, а также погрешности против безупречного вкуса.

Доведись тебе, старик, случайно или намеренно увидеться с Мариной Фадеевой, пожалуйста, попроси ее быть в этом отношении ко мне убийственно беспощадной и объясни ей дружески, что меня пугает пропасть, существующая между моим письменным и разговорным голосом! Очень неприятно и подло иметь два голоса. А также передай этой милейшей невоспелой девушке мой неизменно теплый и почтительный привет. Как бы мне хотелось, чтобы ты, старичок, перестал раз и навсегда считать ее про себя костлявой селедкой. Никакая она не селедка. На свой обезоруживающий и скромный лад эта худенькая девушка обладает простотой и отвагой не хуже какой-нибудь безымянной героини войны.

На уровне общественных отношений события и переживания, которые способны пробудить вытесненный материал - даже и без специфического усиления инстинктов, с ними связанных, - вызваны институтами и идеологиями, с которыми люди ежедневно сталкиваются и которые воспроизводят в самой своей структуре как господство, так и стремление свергнуть его (семья, школа, армия,

предприятие и администрация, государство, закон, преобладающая философия и мораль). Решающее различие между первоначальной ситуацией и ее цивилизованным историческим повторением состоит, безусловно, в том, что во втором случае властителя-отца обыкновенно не убивают и не съедают и что господство больше не носит личного характера. "Я", "Сверх-Я" и внешняя реальность сделали свою работу - и для характера конфликта и его последствий уже не имеет значения, произошло ли отцеубийство на самом деле или от него воздержались.

Елки-палки, ты только попытайся представить себе, ведь для этой достойной девушки нет в наше время даже подходящего уголка! Текущее столетие для нее - одна сплошная вульгарная неловкость. В глубине души она была бы рада прожить свои лучшие годы подругой и доброй соседкой трех сестер, трех в разной мере очаровательных героинь Чехова, а они бы обращались к ней за разумными и практическими советами. На самом-то деле она ведь даже и не библиотечкарь в душе, к сожалению. Как бы там ни было, предложи ей, пожалуйста, какой-нибудь кусок этого письма, на твой взгляд наименее личный или пошлый. И попроси не судить мои писания так уж строго. Честно говоря, они не стоят того, чтобы тратить на них ее терпение и очень приблизительное чувство реальности. К тому же, по-моему, хотя с годами я и научусь писать немного лучше, и мои сочинения станут меньше походить на записки сумасшедшего, все-таки на самом деле они совершенно безнадежны. Каждый штрих пера всегда так и будет нести на себе знак моей неуравновешенности и избытка чувств. Ничего не делаешь!

В Эдиповом комплексе, - то есть в борьбе за первенство, за власть во всем (а лучший враг - мертвый враг), - первоначальная ситуация возвращается при обстоятельствах, которые с самого начала обеспечивают длительный триумф отца. Однако они также обеспечивают триумф сына и то, что в будущем он сможет занять место отца. Каким же образом цивилизация достигла этого компромисса? Сила, идентификация, вытеснение и сублимация совместно принимают участие в формировании "Я" и "Сверх-Я". Постепенно функция отца переходит от его индивидуальной личности к его социальной позиции, к его образу, который живет в сыне (сознание)... Разврат подавила религия (от латинского - связывать), или мораль, как хочешь.

А помнишь то время, когда подошел Новый год? Тогда еще утром мы, раскрасневшиеся и вспотевшие, в одних гимнастерках без ремней, пилили двуручной пилой дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали желтые опилки.

Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Моложавенко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.

- Кругом! - закричал ему старшина Мордмилович, тоже хмельной. - Кругом! Младший сержант Моложавенко - кру-у-гом! Головной убор - на месте!..

Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул. На голых деревьях жалобно каркали вороны. Караульные от нечего делать бродили по двору с оружием.

Я догадываюсь о том, что в основе цивилизации лежит постоянное обуздание животных желаний. Это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но возникает вопрос, стоят ли выгоды, предоставляемые цивилизацией, тех страданий, которые она приносит конкретному человеку? Свободное удовлетворение желаний человека несовместимо с цивилизованным обществом, в основе прогресса которого лежат отказ и задержка их удовлетворения. Счастье не является ценностью цивилизации. Счастье - природное чувство. Оно должно быть подчинено дисциплине труда как основного занятия, дисциплине семьи и ее воспроизводства, а также - существующей системе законодательства и порядка. Цивилизация - это методическое принесение желаний в жертву, их принудительное переключение на социально полезные формы деятельности и самовыражения.

Эта жертва принесла недурные плоды: в технически развитых странах цивилизованного мира практически завершился процесс завоевания природы, в результате чего стало реальным удовлетворение умножающихся потребностей для большего, чем когда-либо прежде, количества людей.

В каптерке после этого пили водку. Ее наливали в алюминиевые кружки. Давид Учрелидзе затянул старый армейский гимн:

Хотят ли русские войны?..
Ответ готов у старшины,
Который пропил все, что мог,
От портупеи до сапог.

МОДЕСТ МЕРТВАГО

Ответ готов у тех солдат,
Что в доску пьяные лежат.
И сами вы понять должны,
Хотят ли русские войны...

Да, мы умеем выпивать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в строю
На землю пьяную свою.

Спросите вы у алкашей,
Спросите вы в пивной моей,
И вы тогда поддать должны
За то, что русские, пьяны...

Командир роты Шульженко был дежурным офицером. На всякий случай он взял, до закрытия, из ружейной комнаты карабин, который висел, как мешок, на плече с примкнутым штыком. А правый карман его галифе был заметно оттянут бутылкой самогона.

Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору казармы, шаркая кирзовыми шлепанцами, надетыми на босу ногу. Белые тесемки кальсон волочились по полу, который малиново блестел от мастики. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме.

Комроты Шульженко приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные солдаты не могли стоять. Тогда он разрешил привалиться к стене. Некоторые сразу сели.

- До Нового года еще шесть часов, - отметил Шульженко, - а вы уже пьяные, как слесари.

- Цэ жызнь, товарищ капитан, обгоняет мэчту, - сказал Мертваго, прикидываясь украинцем, и едва заметно подмигивая мне.

У комроты было гордое красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили...

- Товарищи, - сказал, как с трибуны, Шульженко, - нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Мертваго...

Мертваго стоял, привалившись к стене, с толстой книгой под мышкой.

- Усэ вам Мэртваго! - сказал Мертваго. - А шо Мэртваго? Шо Мэртваго-то? Усегда - Мэртваго, Мэртваго... Ну, я Мэртваго, - ба-сом произнес Модест Мертваго.

- Для чего ты, Мертваго, стоишь на посту? Чтобы мирно спали труженики в твоей родной Москве...

"Политработа должна быть конкретной". Так объясняли Шульженко на курсах в Соликамске.

- Ты понял, Мертваго?

Мертваго немного подумал, незаметно улыбнулся, и громко сказал:

- Запальти бы, как Наполюон, тую родную Москву вместе с трудящимися!..

Мертваго водку пить не стал. Он пошел вразвалку в казарму, где теснились двухъярусные железные койки. Потом стащил сапоги и забрался наверх.

По телу разлилось блаженство.

На соседней койке, укрывшись, лежал Учрелидзе. Вдруг он сел на постели и заговорил:

- Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился... Молитву сам придумал. Изложить?

- Ну и шо? - произнес Мертваго.

Учрелидзе поднял черные блестящие глаза и начал:

- Товарищ Бог! Надеюсь, ты видишь этот бардак?! Надеюсь, ты понял, что значит казарма?!.. Так сделай, чтобы меня перевели в автобат. Или, на худой конец, в артиллерию. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у пехоты самогона навалом, и все идет против морального кодекса...

Цивилизация послушна эротическому побуждению, объединяющему людей во внутренне сплоченную массу. Эта цель достигается лишь вместе с постоянным ростом чувства вины. То, что началось с отца, находит свое завершение в массе. Если цивилизация представляет собой необходимый путь развития от семьи к человечеству, то от нее не отделимы и последствия рожденного ею конфликта - вечной распри любви и смерти. Из него произрастает чувство вины, достигающее иногда таких высот, что делается невыносимым для отдельного индивида.

Я передумал: не заступайся перед Фадеевой за мои писания. Пускай ругает и чихвостит меня за то, что я плохо пишу, сколько ее душевнике угодно, это ей полезно и укрепляет ее жизненные

позиции. Я перед этой девушкой в несказанном долгу! Школа учила ее не за страх, а за совесть. Но, к великому сожалению, единственное, о чем она способна рассуждать свободно и со вкусом, - это как я плохо пишу и как безобразно поздно ложусь спать. До сих пор не понял, почему это ее так огорчает. Боюсь, я по нечаянности ввел ее в заблуждение, когда был маленький, во втором классе: она приняла меня за очень серьезного мальчика, а я просто читаю подряд все, что подвернется. По моей вине она даже не подозревает, что на девяносто восемь процентов моя жизнь, елки-палки, совершенно не связана с таким сомнительным занятием, как погоня за знаниями. Мы с ней, бывало, перебрасывались шуточками, когда я останавливался возле ее парты или когда мы вместе отходили в библиотеке, куда она устроилась после школы, к каталожным ящикам, но это шуточки не настоящие, у них нет внутренностей.

Решающая роль в развитии цивилизации принадлежит чувству вины: более того, есть соответствие между ростом чувства вины и прогрессом. Чувство вины есть важнейшая проблема развития культуры. Платой за культурный прогресс является убыток счастья вследствие роста чувства вины. С прогрессом цивилизации чувство вины возрастает и усиливается. Человеческое чувство вины происходит из Эдипова комплекса и было приобретено вместе с убийством отца объединившимися против него сыновьями, как у Достоевского в "Братьях Карамазовых". Они удовлетворили свой агрессивный инстинкт, но поскольку они испытывали к отцу также и любовь, эта амбивалентность отношения к нему привела к раскаянию и образованию "Сверх-Я" через идентификацию, а следовательно, к ограничениям, налагающим запреты на повторение деяния. После этого воздержание от деяния становится нормой; но агрессивный позыв, направленный против отца и его последователей не отмирает и передается от поколения к поколению, и поэтому от поколения к поколению запрет нуждается в возобновлении.

Очень утомительно поддерживать отношения, в которых нет внутренностей, обыкновенной человеческой глупости и общего знания (очень нужного и живительного, по-моему), что под кожей у каждого читателя есть легкие и разные другие трогательные органы. Конечно, тут много чего еще можно сказать, но мне сегодня слегка не до этого. Сегодня я, кажется, слишком взволнован. И по-

том, ты так далеко, а на расстоянии слишком легко забыть, что я просто не выношу бесполезных разлук.

Большинство ребят в части, могут тебя обрадовать, такие темные и равнодушные деревенские парни, лучше просто не придумаешь, особенно когда они не разбиваются так азартно на группировки ради землячества и сомнительного престижа. Почти все они, черт возьми, - истинная соль земли, надо только изловчиться поговорить с каждым из них поодиночке, в отсутствие их жлобоватых командиров. К сожалению, здесь, как и всюду в армии, пароль: выпить и покурить - предел мечты. Конечно, не мне беспокоиться об общем положении дел, но ведь я же не железный. Из этих чудесных крепких, во многих случаях очень крепких ребят мало кто достигнет зрелости. Большинство, по моему скорбному мнению, перейдет от молодости прямо в старость, или сыграет сразу в ящик. Ну, можно ли на это спокойно смотреть?

Каждый отказ делается динамическим источником совести, он всякий раз усиливает ее строгость и нетерпимость. Воздействие отказа на совесть тогда является таким, что каждая составная часть агрессивности, которой отказано в удовлетворении, перехватывается "Сверх-Я" и увеличивает его агрессию против "Я".

Чрезмерная строгость "Сверх-Я", которое принимает желание за действие и наказывает даже подавленную агрессию, теперь объяснимо в терминах непрерывной борьбы между Эросом и инстинктом смерти Танатосом: агрессивный позыв против отца (и его социальных последователей - властей) является производным от инстинкта смерти. Отделяя ребенка от матери, отец также препятствует инстинкту смерти, стремлению к нирване. Таким образом, он совершает работу Эроса; любовь тоже участвует в формировании "Сверх-Я". Строгий отец, который как представитель Эроса подавляет инстинкт смерти в Эдиповом конфликте, учреждает первые общинные (социальные) отношения: его запреты вводят равенство между сыновьями, задержанную по цели любовь (привязанность), экзогамию, сублимацию. На фундаменте отречения Эрос начинает свою культурную работу по сплочению жизни во все большие единства. Но с умножением числа отцов, их дополнением и замещением общественной властью, а также распространением запретов и сдерживающих моментов увеличивается и число агрессивных позывов и их объектов. Их рост вынуждает общество к усилению защиты путем воздействия на чувство вины.

Тебе, друг Мертваго, следует знать, что от слова "Эрос" (от греческого Hieros - священный) произошли такие слова, как "Россия", "Русь", "русский"(святой), "иерей", "еврей" (священник), "Иерусалим", "Ярославль", "Красноярск", "иероглиф", "Ярило", "ярость", а также сам "хер" и "херху" (облагозвучившееся в "церковь") и др. Все они, как видишь, двоякого смысла: святого и фаллического. Так что самая эротическая страна, мин херц, - Россия...

Вспомнились учения. С запоздалой поспешностью Мертваго, которому присвоили звание сержанта, подался к своему взводу. Солдаты устало брели, где кому вздумалось, - по обочине, возле широкой, полной талой воды канавы и даже за канавой, краем облепленного снегом поля.

Вполголоса, чтобы не услышал ротный, Мертваго начал подгонять солдат. Трое или четверо передних зашевелились (или, может, только сделали вид, что зашевелились), другие же просто оставили без внимания понукание Мертваго.

Шульженко, разумеется, такого стерпеть не мог и со злой решимостью крикнул:

- А ну подбери сопли! И шире шаг!

Комроты - не Мертваго, с ним приходилось считаться, солдаты зашевелились, задние пустились догонять передних, рота оживилась, и строй мало-помалу начал выравниваться.

Мертваго покорно остановился в некотором отдалении от командира роты. Шульженко, подчеркнуто не замечая сержанта, все тем же строгим, категоричным голосом бросил в колонну:

- Учрелидзе ко мне!

Команду тут же подхватили, передали дальше, комроты внимательно проследил за этим, придиричиво вглядываясь в измокшие, закутанные палатками тени солдат.

Он ждал Учрелидзе, но вместо него на дороге появилась Муська - маленькая вертлявая собачонка, которая неделю назад невесть откуда прибилась к роте и которую приютил Учрелидзе. Шульженко к этому, в общем, отнесся терпимо, будто даже с каким-то снисходительным любопытством, и вот уж несколько дней рота забавлялась этим по молодости глупым щенком.

Резво пробежав краем дороги, Муська вдруг остановилась, взглянула на неподвижную в дождливых сумерках фигуру командира роты и, будто испугавшись чего-то, со всех ног кинулась на-

зад. Рядовой в длинной палатке, угол которой волочился по грязи, с силой притопнул ногой - снежная слякоть широко плеснула в стороны, Муська, обиженно взвизгнув, отпрянула за канаву и по самый живот провалилась в грязь. Выскочив на противоположной стороне, она встревоженно заметалась, не зная, как выбраться на дорогу.

Бежавший поодаль Учрелидзе круто повернулся к солдату в длинной палатке:

- У тебя голова на плечах или котелок немытый?

- А чего она лает!

- На дурака лает! Лезь теперь - доставай!

Лезть в воду солдату, разумеется, не хотелось, и он тихонько забирал в сторону, подальше от Учрелидзе.

Тогда Учрелидзе решительно вошел в воду и взял собачонку на руки.

- Напрасно! Надо бы того пентюха заставить, - сказал мне командир роты, и как это часто делал, вдруг повернулся и, будто забыв о присутствующих, быстро зашагал по дороге.

На ходу уже нас догнал Учрелидзе с Муськой, которая в счастливой покорности притихла на его груди, высунув из-под оттопыренной полы телогрейки глупую белую с коричневым пятном мордочку. Учрелидзе коротко доложил, но комроты и ему не ответил - из ветреных сумерек впереди появился наш замполит лейтенант Придыхайло. Присоединяясь к нам, шаркая новой, длинноватой для его скромного роста палаткой, он спросил негромким, с хрипотцой голосом:

- Что случилось?

- Да вон балбес один Муську в воду загнал, - сказал Учрелидзе.

Придыхайло неожиданно сильным движением палатки стряхнул налипший на плечах снег.

- А вообще - зачем вам собака?

- Как зачем? - не понял растерявшийся Учрелидзе.

Замполит, не отвечая ему, продолжал:

- Тоже нашли занятие... Уж хотя бы собака, а то...

- А то щенок шелудивый, - закончил за лейтенанта Шульженко.

Придыхайло, ободренный поддержкой комроты, с уверенностью подтвердил:

- Вот именно. На месте командира я бы приказал застрелить, и все.

- Пусть живет! - с мрачной решимостью сказал Шульженко. - Или боишься: нас переживет?

Прежде чем ответить, Придыхайло помедлил:

- К нам это не относится. А вот лает на марше вовсе некстати.

- Если на Мертваговых, то кстати. Сержант взводом не командует, так хоть Муська полагает.

Мне сзади было хорошо видно, как устало бредший Мертваго ухмыльнулся и поднял голову в каске.

- Усэ вам Мэртваго! - сказал Мертваго с мастерством актера МХА-Та Станиславского. - Що я буду гнаты кожного? Бачьгтэ, яка дорога?

- При чем дорога? Командир размазня.

- Команды?..

- Да, командир! - оборвал его Шульженко. - Потому - командовать надо!

Все замолчали. Как всегда в таких случаях, гнев комроты подавлял не только виновного, но и тех, кто был рядом. Казалось, после Мертваго Шульженко возьмется за следующего, и каждый невольно чувствовал себя этим следующим. Правда, на этот раз Шульженко замолчал. По грязному, оснеженному склону рота выходила на вершину пригорка, ветер тут стал еще сильнее. Крупчатый снег с мелким дождем звучно сек по капюшонам и плечам палаток. Мы быстрым шагом обгоняли колонну.

- Прибавить шаг! - после минутной паузы спокойнее сказал комроты. - Подтяните людей! Удвойте наблюдателей по сторонам! Мертваго, сменить головной дозор!

Мертваго, широко оттопыривая полы палатки, удивленно развел руками:

- Так мои ж от пивдня шлы. Ще его час не выйшав. - Он повернулся к командиру другого взвода.

- Что - его! - Шульженко повысил голос. - Я тебе приказываю!

Командир роты злился, хотя причиной его злости вряд ли был Мертваго. Капитан нервничал уже с полдня, когда роту выделили из полкового резерва и повернули на фланг, чтобы заткнуть какую-то прореху, образовавшуюся в боевых порядках учения.

Батальоны двинулись большаком, а мы попали в грязь на проселке, перешли болото, намокли, измучились и вдобавок ко всему лишились нашего единственного газака, отставшего вместе с полковыми тылами. Правда, нам обещали, как только подойдут тылы, направить вездеход за ротой, но, судя по всему, где-то произошла

заминка, вездехода не было, и перед нами замаячила совсем уж безрадостная перспектива остаться без обеда.

Мертваго ворчал:

- Кого назначу? Попрыстывалы уси.

- А мне наплевать! - объявил Шульженко. - Сам отправляйся, если назначить некого.

- Ну и видправлюсь.

- Только без ну!

Мертваго замедлил шаг и оказался со мною рядом. Он подмигнул мне хитро, хотя делал вид совсем страдальческий, как всегда после стычек с начальством, что, в общем, случалось нередко. Мертваго был специально многословен, часто командовал невпопад, а самое главное - совершенно не мог не пререкаться с начальством, как с учителем в школе, когда то, как ему казалось, поступало неправильно или несправедливо.

Как всегда, дав выговориться командиру роты, в спор вступил его заместитель.

- Как это вы рассуждаете, сержант, - оборачиваясь, сказал Придыхайло. - У вас же взвод.

- Взвод, взвод! Який цэ взвод: двадцать чоловик, та и ти нога за ногу чыпляются.

- Будто одни ваши чепляются? - сказал Придыхайло.

- Так у другом взводе скількы!

- Они ночь в карауле были.

- А мои копалы.

Слушать это было не очень приятно, но спорили они не впервые, и Шульженко относился к их ссорам не строго. Он почти всегда был на стороне замполита Придыхайло, который и сам мог постоять за себя, только иногда у него не хватало на это терпения. Мертваго же спорить мог бесконечно.

- Ладно! - ни к кому не обращаясь, сказал Придыхайло. - На этот раз другой взвод пойдет. Только надо бы и совесть иметь.

Мертваго опять завелся:

- А шчо я, для сэбэ выгадую! Ви гляньтэ, яки у мэнэ ваяки. Та и бисова дорога...

Пригибая голову от ветра, Придыхайло на ходу снова оглянулся на Мертваго.

- Ну и что же - боевая обстановка! А в присяге как сказано: стойко переносить все тяготы и лишения армейской жизни.

Тяготы обычной жизни можно не переносить.

Я увидел - и огорчился из-за этого, - что сам Мертваго остался в любви мальчишкой, новичком, смирившимся, робким, но лишенным невинности, чувственным, но полным нечистой совести. Еще продолжая жадно целовать рот и грудь женщины, еще ощущая ее нежную, почти материнскую руку на своих волосах, Мертваго уже заранее чувствовал разочарование и тяжесть на сердце, чувствовал, как возвращается самое скверное - страх, и его понижало режущим холодом от догадки и опасения, что он по самой своей природе не способен к любви, что любовь может только мучить его и морочить. Еще не отбушевала короткая буря сладострастия, а в душу его уже закрадывались тревога и недоверие, недовольство тем, что его берут, а не он сам берет и завладевает, закрадывалось предчувствие отвращения.

Бесшумно исчезла женщина вместе со светом за закрытой дверью. Только узкий луч, пробивавшийся сквозь щель, разрезал комнату надвое. Мертваго лежал в темноте, как в гробу, и среди насыщенности наступил миг, которого Мертваго уже раньше, уже несколько часов назад боялся, в те вещи, похожие на зарницы секунды, скверный миг, когда богатейшая музыка его новой жизни нашла в нем только усталые и расстроенные струны и за тысячи сладостных чувств пришлось вдруг расплачиваться усталостью и страхом. С колотящимся сердцем почувствовал он, как настораживаются в засаде его враги - бессонница, депрессия, удушье.

В окно глядела бледная ночь.

Нельзя было оставаться здесь и беззащитно терпеть надвигавшиеся мученья! Увы, все возвращалось, возвращались вина и страх, печаль и отчаяние! Все преодоленное, все прошлое возвращалось. Избавления не было.

Сердце кровью обливается. И командиры тоже - только одно название, что сержанты, старшины и офицеры. Почти всем им предназначено пройти по жизни, от рождения до смертного праха, не оставив по себе и следа, сохраняя самые мелочные, жалкие взгляды на все, что происходит за забором и в казарме. Согласен, что это сказано сурово и жестоко. Но, по-моему, еще недостаточно сурово! Ты ведь считаешь, что у меня доброе сердце? Но это неправда, да избьет меня в наказание старик из-под Липецка! Не проходит дня, чтобы я, слыша разные бессердечные глупости, слетающие с уст командиров, не пожелал бы втайне поправить поло-

жение, проломив виновнику голову саперной лопаткой или прикладом карабина! Наверно, я не судил бы так беспощадно, если бы здешние ребята не были в глубине души такими трогательными и милыми. А самый пронзительно трогательный парень из всех, с кем мне доводится беседовать, это Давид Учрелидзе из Грузии. Одно его имя сразу наполняет влагой мои глаза, стоит мне зазеваться и ослабить контроль над эмоциями; я здесь ежедневно работаю над своей эмоциональностью, но пока без особого успеха. Честное слово, хорошо бы любящие родители подождали, пока их дети подрастут и повзрослеют, прежде чем давать им такие имена, как Давид, и тому подобные, которые только утяжеляют малышу бремя жизни. Твое имя тоже было огромной неумышленной ошибкой, ведь взрослым и учителям было бы гораздо удобнее называть тебя в неофициальной беседе каким-нибудь симпатичным уменьшительным вроде Ванюши.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

рассказ

Кто не знает Киевского вокзала! Площадь Европы с памятником "Похищение Европы". Сейчас подойдет электричка, и Рябокось поедет в Переделкино. Рябокось - бывший шахтер, мощный парень лет тридцати пяти, с тяжелыми кулаками и стальными зубами вместо верхних резцов. Пару лет назад окончил Высшие литературные курсы на Тверском бульваре, при Литературном институте. Когда его придавило в забое крепежным бревном, Рябокось подумал, что хорошо бы стать писателем. Писать бы книгу про шахту всю жизнь на теплой террасе, а не самому, как барану, лезть в шахту... Ты кончишься, и книга кончится. И чтобы все это было - правда. Чтобы все - искренне, про отбойные молотки, про пьянки и мрордобой на танцах. Вот Рябокось и пишет, и не знает, что пишет... Прямо на компьютере. Ведь чтобы писать правильно, то есть правдиво, надо уметь это делать. А как тут сумеешь? Садись к компьютеру или поезжай в Переделкино, там все эти писатели окопались.

У Рябокосня есть люди, которых он любит, люди, с которыми он знаком, и люди, которых он не знает. Вот их тут на Киевском вокзале многие тысячи. У всех глаза есть, руки есть, а ведь никто из них не писатель. Может, конечно, кто-то тоже, как Рябокось, из шахты мечтает за письменный стол пересесть, но что-то такие на глаза не попадаются... Вон бомжи где-то бутылку портвейна откопали, пьют жадно из горла... Тоже, как писатели, в шахту не лезут, гуляют себе, как кошки или дворняги. Все эти люди что-то знают, что-то о жизни иногда думают, когда есть к тому повод. А Рябокось совершенно не представляет, что они об этой самой жизни думают. Но ему кажется, они не допускают даже мысли, что можно из шахты пересесть за письменный стол на большую зарплату. Что какой-то Рябокось может добиться в жизни чего-то

большого или хотя бы по-другому, чем они. Он даже может допустить: иначе быть не может. Ведь он же не представляет себе Ястребова, допустим, бригадира, отличным от остальных... Ястребов - тот еще тип! Всю взрывчатку, предназначенную для производственных взрывов, бандформированию продал и не сознался. Говорит, когда отмечали в буфете, пили водку со шпротами, сознаваться никогда ни в чем не нужно, и никто ничего не докажет. Так и не доказали.

То-то и оно! Все люди что-то такое серьезное знают, а никому не говорят, как будто совсем ничего не знают. Их в одной Москве больше десяти миллионов, и никто не скажет, как устроиться в жизни так, чтобы в белых брюках ходить, в парке на лодке кататься и больше всех денег получать. Иногда Рябоконь попадает не в масть. Не в масть - значит, как-то все у него не как у людей, все с ним наперекосяк, все из рук валится, идет одно - а хочется другого. Ничего не получается.

Писатель вовсе не дает коллективной фотографии жизни, и типичность вовсе не есть обязательно преследуемое им качество.

Непонимание психологии формы было основным грехом господствовавшей у нас психологической теории литературы, и что ложные в своей основе интеллектуализм и теория образности породили целый ряд очень далеких от истины и запутанных представлений. Как здоровая реакция против этого интеллектуализма возникло у нас понимание формы, которое начало создаваться и осознавать себя только из оппозиции к прежней системе. Это новое направление попыталось в центр своего внимания поставить находившуюся раньше в пренебрежении художественную форму; оно исходило при этом не только из неудач прежних попыток понять литературу, отбросив ее форму, но из основного психологического факта, который лежит в основе всех психологических теорий литературы. Этот факт заключается в том, что художественное произведение, если разрушить его форму, теряет свое эстетическое действие. Отсюда соблазнительно было заключить, что вся сила его действия связана исключительно с его формой. Новые теоретики так и формулировали свой взгляд на литературу, что она есть чистая форма, совершенно не зависящая ни от какого содержания. Литература - это прием, который служит сам себе целью, и там, где прежние писатели видели сложность мысли, там новые увидели просто игру художественной формы. Литератур-

ное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, а отношение материалов. Поэтому безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя и знаменателя, важно их отношение.

Вот, например, с электричками. Вдруг получается так, что они только что отошли... А Рябоконию как раз надо бежать. Например, он садится на "Новослободской", чтобы доехать до "Киевской". Едет себе под землей и думает о том, как будет писать самую длинную, чтобы денег больше дали, книгу. И выходит на "Курской". Так вот, когда ему нужен Киевский вокзал, он выходит на Курском, а еще бывает и на "Комсомольской" выйдет. Там совсем беда. Целых три вокзала! И ни один не везет к писателям. Хорошо, на курсах подсказали, что все писатели с Киевского живут, в Переделкино. Но предупредили Рябоконию, что там все давным-давно переделали, и вряд ли Рябоконию что-нибудь достанется... Рябоконию, постукивая металлом зубов, всегда думает, когда под землей едет: может, сейчас кровля рухнет и всех тут придавит? Такое дело. Он всегда, когда ездит в метро, думает, что он будет делать, если сейчас все погаснет, вагон сплющится, и кончится воздух? Положим, кто-то выживет... Наверняка выживет, если спасатели придут сразу. Но разве они придут? И как они придут, когда все шахты будут завалены и затоплены. Ведь Москва-река сразу польется в подземелье. А вот как быстро кончится воздух под землей?.. Рябоконию думает, напрягая мышцы, как он выбивает стекло вагона. И вылезает в тоннель. Пока все там гибнут в вагоне, он по шпалам идет к станции. Безусловно ведь, машинист не успеет открыть двери... Но вот Рябоконию выберется через окно.

Так он думает чаще всего, когда ему куда-нибудь позарез надо, куда он едет. Что-то надо, ужасно надо сделать. Последний срок, последняя возможность. А ему удивительно неохота. Как раз сегодня было бы так прекрасно никуда не пойти, а остаться дома и спать. Или пойти в кино на утренний сеанс. Или выпить бутылку с инженером. А потом познакомиться с кем-нибудь. И пойти куда-нибудь прошвырнуться, на Красную площадь, что ли...

И вообще, зачем это? Кто Рябоконию объяснит, что это так уж обязательно надо - то, что делаешь? И почему бы не свернуть в сторону, не прогуляться по шпалам в темном тоннеле метро?.. И тогда бы его доставили домой, и он бы с полным основанием забыл про все дела и ничего бы не делал из того, что обязательно,

просто совершенно обязательно надо было сделать... А им бы Рябоконт потом объяснил, в чем дело. Кому - им? Сам он не знал. Но ему постоянно казалось, что за ним кто-то наблюдает неотрывно, и что ему постоянно нужно кому-то давать отчет. Вот завалило в метро, и так прекрасно: и ты, и общество - полное согласие. И никто от тебя ничего не требует. Все прекрасно между тобой и обществом. Тебе сочувствуют... А раз такой пустяк - погибнуть, не совсем, конечно, а временно, понарошку, в метро - выход, и Рябоконт будет прав, и все его оправдают, что не сделал того-то и того-то, что было так, позарез, надо... Если так... на кой черт ему вообще куда-то надо ехать? Кто это выдумал, что так надо?

В зависимости от этой перемены взгляда писатели должны отказаться от обычных категорий формы и содержания, и заменить их двумя новыми понятиями - формы и материала. Все то, что писатель находит готовым, будь то слова, звуки, ходячие фавулы, обычные образы и т. п., - все это составляет материал художественного произведения вплоть до тех мыслей, которые заключены в произведении. Способ расположения и построения этого материала обозначается как форма этого произведения, опять-таки независимо от того, прилагается ли это понятие к расположению событий в рассказе или мысли в монологе. Таким образом, чрезвычайно плодотворно и с психологической точки зрения существенно было расширено обычное понятие формы.

В то время как прежде под формой в литературе понимали нечто весьма близкое к обывательскому употреблению этого слова, то есть исключительно внешний, чувственно воспринимаемый облик произведения, - новое понимание расширяет это слово до универсального принципа художественного творчества. Под формой мы понимаем всякое художественное расположение готового материала, сделанное с таким расчетом, чтобы вызвать известный эстетический эффект. Это и называется художественным приемом. Таким образом, всякое отношение материала в художественном произведении будет формой или приемом. Точно так же, как в музыке сумма звуков не составляет мелодии, а последняя является результатом соотношения звуков, так же точно и всякий прием литературы есть в конечном счете построение готового материала или его формирование. С этой точки зрения писатели подходят к сюжету художественного произведения, который прежними авторами понимался как содержание. Писатель боль-

шей частью находит готовым тот материал событий, действий, положений, которые составляют материал его рассказа. Его творчество заключается только в формировании этого материала, придании ему художественного расположения. Методы и приемы сюжетосложения сходны, и в принципе одинаковы с приемами строительства здания.

Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них. Кратко выражаясь, фабула - это то, что было на самом деле, сюжет - то, как узнал об этом читатель.

Написать бы книгу - без композиции, без языка, без всех этих фокусов... Ведь есть же что-то самое важное. Главное, так сказать. Все остальное - так, смазка, чтобы легче проходило. Как бы обойтись без этого, оставив самую суть? И самое смешное - допустим, это начало такой книги, то, что он пишет; что вот он собрался и начал, - самое смешное, что будет писать, напишет - и окажется и композиция, и язык (развязка, завязка, метафора) - вся литература налицо. Если книга получится, конечно... Деться тут Рябоконю некуда будет.

Последнее время он все думает: написать бы всю правду. Думает уже месяц. Как раз ему надо очень делать кучу вещей. Позарез надо. Дальше некуда. Просто свет клином сошелся. Не сделает, не выполнит, не напряжется - все рухнет. Все пропадет.

А что пропадет? Что рухнет? Что, собственно, рухнет?! Может быть, электричка с моста?

Ерунда какая-то. Все-то понятно. Просто ему трудно. А хотелось бы, чтобы не было. Чтобы ничего Рябоконь не был должен...

А что он, собственно, должен? Будто бы?! А если и должен, то почему какую-то подобную чепуху?

Уже месяц Рябоконь подумывает: написать бы такую книгу... Вот сегодня ехал он в электричке... Кстати, почему это он все придумывает в электричке? Вон, уже "Матвеевское" проехали. Не подумались еще, чтобы в одну секунду перелетать от дела к делу. Ехать надо. Иногда полчаса, иногда больше, когда меньше. Совершенно законная свобода. Содержание меняется прежде, чем одежда мысли. Хотя ничто не ново под Луню. В вагон входит торговец книжками. Агитирует делать покупки. Всегда полезно услышать свежий и сильный голос из прошлого. Не один Рябо-

конь замечает, как бурно входят в моду сонники, книги астрологов и хиромантов. Люди ищут устойчивости в настоящем и загадывают на будущее с помощью прорицателей и гипнотизеров, спиритов и духовидцев. Рябоконь видит себя классиком. Робея в его присутствии и невольно поправляя галстук, корреспондент решает задать Рябоконю некоторые вопросы. И корреспондент видит, что отвечает Рябоконь на них хоть и с присущей ему желчностью, но не без видимого удовольствия, что его мнением еще интересуются.

- Господин Рябоконь, как воспринимается вами время, в которое мы живем?

- Вообще, я полагаю, что мы переживаем очень нестандартное и интересное время. Такое интересное, что, кажется, никогда ни в одной стране такого не бывало...

- А если конкретнее? Какое впечатление производят на вас встречи с людьми?

- Кого ни послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой - на то, что власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие - что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пакостях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобразие видано?! Даже расхитители казенного имущества - и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. И всякий требует лично для себя конституции: мне, говорит, подай конституцию... Прибавьте ко всему этому бесконечную канитель разговоров о каких-то застоях, дефицитах, колебаниях и падениях, которые еще более заставляют съезжиться скучающее человечество.

- Но не станете же вы, господин Рябоконь, отрицать, что политизация общества имела большое положительное значение?

- Если мы не можем ясно формулировать, чего мы требуем, что же мы можем? Если у нас нет даже ежедневных занятий, а тем менее знания, то какое занятие может приличествовать нам, кроме "политики"?.. От нас отошел труд... Мы сделались свободными от труда вообще и остались при одной так называемой политической задаче.

- Зато, господин Рябоконь, в совке не знали такой привязанности к съездам. Наверное, целый месяц - да какой там ме-

сяц! - люди не отрывались от прямой трансляции речей наших избранных...

- Целый месяц город в волнении, целый месяц нельзя съесть куска, чтобы кусок этот не был отравлен - или: "рутинными путями, проложенными себялюбивою и всесосущою бюрократией", или "великим будущим, которое готовят России новые учреждения". Кажется, будто у всякого человека вбит в голову гвоздь. Люди скромные и, по-видимому, порядочные - и у тех глаза горят диким огнем, и те ходят в иступлении... Всякий за что-нибудь ухватится, всякий убеждает, угрожает, и так как все говорят вдруг, то никто ничего не понимает, никто никому не внимает и никто никому не отвечает...

Едешь куда-то. Ехал бы и ехал. Только бы не вылезать. А там в дом-музей Корнея Чуковского зайти, на велосипед Солженицына посмотреть. Особенно если рано утром. И еще дремлет в Рябоконе сон. А за окном мороз, и окно замерзло, в узорах. И если Рябоконец еще занял место у окна, и как раз под сиденьем - печка... А люди входят и выходят. И Рябоконец стучит стальными зубами, играет желваками и смотрит в лица. Некоторые его боятся. Посмотрят на огромные красные его кулаки, и подальше отходят. И девушки... Они тоже смотрят на него. И тоже отходят. И он едет себе, едет... Тук-тук, тук-тук...

Фабула есть лишь материал для сюжетного оформления. С этой же точки зрения нужно подходить и к психологии действующих лиц. И эту психологию мы должны понимать только как прием писателя. Этот прием заключается в том, что заранее данный психологический материал искусственно и художественно перерабатывается и оформляется художником в соотношении с его эстетическим заданием. Таким образом, объяснение психологии действующих лиц и их поступков мы должны искать не в законах психологии, а в эстетической обусловленности заданий автора. Толстой критиковал Гончарова как совершенно городского человека, который говорил, что из народной жизни после Тургенева писать нечего, жизнь же богатых людей, с ее влюбленностями и недовольством собою, ему казалась полною бесконечного содержания. Один герой поцеловал свою даму в ладонь, а другой в локоть, а третий еще как-нибудь. Один тоскует от лени, а другой оттого, что его не любят. И ему казалось, что в этой области нет конца разнообразию... Мы думаем, что чувства, испытываемые людьми

ми нашего времени и круга, очень значительны и разнообразны, а между тем в действительности почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем, очень ничтожным и несложным чувствам: к чувству гордости, похоти и тоски.

Можно не соглашаться с Толстым в том, что все содержание литературы сводится именно к этим трем чувствам, но что каждое время имеет свою психологическую гамму, которую перебирает литература, - это факт. Если бы не было изменений в психике, порождаемых изменениями общественной среды, не было бы движения в литературе: люди продолжали бы из поколения в поколение удовлетворяться сочинениями прежних писателей. Но рождаются новые, как Рябокось, и все пишут и пишут...

Вот Рябокось ехал и думал о такой книге. И думал, что он обязательно напишет про Ястребова, который взрывчатку продал. И смотрел Ястребов на всех умным взглядом и чему-то такому, умному, в себе ухмылялся. Рябокось не раз видел, как Ястребов ухмыляется! Обязательно надо про него написать в такой книге...

И вот Рябокось приехал домой, сел к компьютеру и решил, хотя и невозможно написать такую книгу, все-таки что-нибудь записать, и сразу вспомнил про Ястребова, и что надо про него написать, и вот Рябокось пишет, пишет и все хочет про него написать, и уже пятую страницу пишет, а даже не знает, о чем будет писать, пишет уже пятую страницу и все думает, что надо написать об этом Ястребове, и никак не может подступиться к нему - все что-то пишет... А Ястребов все выскальзывает из рук, как обмылок.

Рябокось иногда выходит на улицу. Спешит. И, кажется, зачем он вышел? Слово похитило Рябокось из шахты, и усадило за стол. Да можно ли в таком состоянии пускать человека на улицу? Вот идут ему навстречу две женщины. Старые, полные, из последних сил. И говорят друг другу какими-то высокими голосами: "Вчерась мой так нажрался, что под стол упал... М-да... Всю пенсию пропил, паразит! Ну что ты... Пиво он не пьет... Говорит, только водка идет в него! Немцы, говорит, пиво любят, вот войну-то нам, мол, водочным, и проиграли..." Усталые такие. Идут куда-то. А Рябокось вот (разве можно так?) смотрит и видит, какие у них толстые старые ноги в коричневых простых чулках... И вот эта женщина опять покупает карамелей на десятку. И этот пьяница купил четвертинку и сунул ее мимо кармана. Она брякнулась о кафельный пол, и не разбилась... Он стоит, расставив ноги в рваных

кроссовках, и все, не понимая, смотрит на четвертинку, и такое бессмысленное детство бродит по его лицу.

А здесь ходит ворона. И Рябокось смотрит на ворону. А ворона такая умная, ходит, высоко и гордо подняв голову, как философ Кант. Вся из себя философская и очень красивая птица.

И вот вчера Рябокось так глупо ошибся... Бежал, спешил и с ходу влетел в рязанскую электричку. На Казанский вокзал попал, хотя ехал в Переделкино.

А тут думал о чем-то - и вломился в рязанскую электричку. Конечно, можно было бы и к Сергею Есенину съездить, но там денег не дают за писанину. И вот сидят женщины с тюками в рязанской электричке, ждут отправления, и физиономии у всех такие равнодушные, что зевать хочется. Какой там Есенин, им ничего, кроме комбикорма, как курам, не нужно! И все в вагоне молодые, красивые, яркие, отвлеченные какие-то, такие простые... сидят и думают о еде. Некоторые уже дорвались, не стесняясь, едят яйца и пьют пиво из горла. Оголодали. А Рябокось осознает промашку, и вылетает пробкой.

А книга - это чудо. Понимать надо, это все, что он написал вот сейчас, - этого всего не было. То есть это было... В нем, скажем. Великое чудо...

И вот в метро с ним едет человек. Они живут на одной лестнице. И сойдут на одной станции, на "Новослободской". Человек едет с женщиной. Такая, уже не очень, женщина... В первый раз Рябокось ее видит. А вот про человека он кое-что знает! Конечно, они даже не здороваются, не знакомы. Но в том смысле, что Рябокось ходит по улицам, видит тысячи людей, - по сравнению с ними - он знает о нем ужасно много. На одной лестнице все-таки. Так, от случая к случаю, словно и не слушая, узнал о нем от разных людей. Муж сестры, например, был с ним знаком, когда еще был студентом. И сестра... Седой, немолодой уже человек, а глуповат. Торгует косметикой, фирму косметическую открыл, седой человек, а недалеко. Говорят, он замечательно катался на коньках, в парном катании, занимал пятые-седьмые места на разных первенствах, неплохой был фигурист. Но маленький. Росточком не вышел. Партнершу ему трудно было подыскать... Была у него первая жена. Бросила его, и уехала в Германию. Побродил, побродил - появилась еще женщина, фармацевт, с которой торгуют косметикой.

Юрий КУВАЛДИН

Вот Киевский вокзал. Башня с часами светится. Что-то около одиннадцати. Это большая площадь на Бережковской набережной, с круглым сквером посередине, и круглые шары фонарей вокруг сквера. И шары окружены каким-то круглым туманом. К этим шарам тянутся ветки, заиндевевшие, белые. И памятник "Похищение Европы" заиндевел. В греческих легендах Европа - дочь финикийского царя Агенора и его жены Телефассы. Зевс, превратившись в быка, увез на себе игравшую на берегу Европу через море на Крит... Рябokonь падает на спину в сугроб. И он будет долго лежать на спине и смотреть в небо, очень долго - всю жизнь.

"Наша улица", № 10-2003

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

рассказ

На Дону тепло, климат мягкий, птицы поют, розы цветут, в Ростове все есть: и театры, и рестораны, и своя команда "Ростсельмаш", за которую Николай болел, потому что в Ростове-на-Дону жила его дочь. Николай шел рано утром по дороге в Мостки и думал о Ростове. Ботинки его были в грязи, коричневая шея давно не мыта, глаза смотрели мутно, и от самых бровей начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела. В спину ему дул северный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной глины. Между отвалами кое-где зеркально поблескивала вода - дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый, забрызганный грязью конский щавель.

Навстречу попался учитель, высокий, в соломенной шляпе, которую постоянно придерживал длинными красными пальцами, чтобы ветром не сорвало, предпенсионного возраста, худой, в очках, с немного нет от мира сего улыбкой, большой, даже сверхбольшой любитель поговорить. В сущности, все его считали в окрестных деревнях, как говорится, с приветом, но прямо об этом не говорили, поскольку дурного он никому никогда ничего не делал. Он преподавал сразу несколько предметов на центральной усадьбе, и русский язык, и английский, и немецкий, и литературу, и историю, и даже химию с физикой, поэтому его выгодно было держать из-за минимального вознаграждения в виде зарплаты в семьсот рублей, плюс премия в сто пятьдесят рублей. Дочь Николая у него в свое время училась. Все, когда его видели, старались обойти его стороной, иначе не отобьешься, уговорит. Но отступить Николаю было некуда, потому что глина дороги держала ноги. И учитель заговорил. Что он начал говорить, Николай не понял,

только решил сразу уж с пользой направить речь учителя, и спросил у него, почему Ростов-на-Дону называется "Ростовом-на-Дону"? Учитель, глазом не моргнув, начал издали, спросив Николая, знает ли он, почему Россия называется "Россией"? Николай подумал, покрутил кое-какие мысли на этот счет в голове, но ничего путного не придумав, просто ляпнул, что Россия потому "Россия", что в ней русские живут. Учитель тихо усмехнулся в поднесенную к губам, как розу, озябшую щепоть пальцев и, быстро оглянувшись по сторонам, при этом глаза его страшно бегали, и таинственным шепотом, как будто их кто-то подслушивает, сказал, что все ответы по старым русским названиям нужно искать в литературе, точнее в литургии, или в религии, потому что Русь основали религиозные и литературные фанатики. Если там хорошо покопаться, то можно выяснить, что греческое слово "hieros" означает по-русски "святой", от этого и пошло название нашей страны - Россия, то есть святая. Если "хиерос", "херос", "Херусалим" внимательно покрутить, послушать, почитать, то тут услышится и "Херуссия" "Руссия", и "еврос", а потом и Европа услышится, и сам "Херос-на-Адонае". Потом учитель стал говорить о египетском фараоне Аменхотепе IV, который совершил революцию в религии, убрав всех прежних богов, и приказал поклоняться одному богу - Атону, которого потом финикийцы, древние евреи и греки стали называть Адонаем, который там у них все время воскресал, то есть был бессмертным, а уж потом его в Христа переделали и на Русь принесли, хотя сначала Руси не было, а жили просто люди без страны и без названия миллионы лет на наших землях. Вот от этого Адоная и идет название реки Дон, и Дуная, кстати, тоже. Николай весь как-то съежился, и похмелье давало еще себя знать, чуть не упал от таких откровений. Он никогда не думал, что такое простое название, как Дон, как будто вчера придуманное русскими, идет, оказывается, из каких-то страшных, неведомых и непостижимых глубин истории, от самих фараонов египетских. Учитель, видя, как ошеломлен собеседник, добил его тут же сообщением, что слово "Ростов" тоже пришло к нам из глубин веков и, как и слово "Россия", означает святость и секс.

- А секс-то откуда, чисто конкретно, взялся? - испуганно, часто моргая, спросил Николай.

Учитель и тут ловко все поставил на свои места, сказав, что древние поклонялись богу Ваалу, или Баалу, или Фаалу, или Фал-

лосу, что означает, мужскую силу и продолжение рода. А этот египетский Адонай, ставший у эллинов Адонисом, а у нас рекой Дон, правда, сначала наш Дон тоже Адонаем, или Танаисом называли, а сам "Дон" означает "Бог", или "Господь", или "господин"...

- А эллины-то, короче, кто такие? - спросил, чтобы что-то встать в разговор, Николай.

- Да те же греки, - сказал учитель.

- А-а, - протянул утвердительно Николай, как будто только вчера выпивал с этими греками, и еще спросил: - А мы сами-то кто и откуда?

Учитель тут же воодушевился, даже слезинки блеснули от ветра на выразительных голубых глазах, и сказал:

- Прародина славян - Венеция. От этого - венец! Если к "венцу" прибавить приставку "сло-сла", то получатся: славяне, Словения, слово, Словакия, словить (поймать)... Вить венки! (Плести!) Финны до сих пор называют нас Веняйа, а не Россия. Название "Россия" появилось лет триста назад, во времена Петра, который все тащил с Запада. Это название, повторяю, означает в переводе с греческого - святая. Поэтому неправильно употреблять словосочетание "Святая Русь", это масло масляное, а проще - тавтология. наших безропотных людей пришлая элита, закрепостив, шутиливо и нарекла - "святыми", то есть "русскими". Ни одна национальность в мире не обозначается прилагательным, кроме нас, "русских" славян. Пора протереть циферблаты и брать Венецию!

- Иди ты, чисто конкретно, короче?! - произвольно воскликнул Николай.

- Образование для "святых" - это все равно, что дорогой наряд уродливой фигуре: он ее не исправляет, а она его уродует. Хотя само слово "святой" тоже из "венка" и из "Венеции" идет! Свят (Вятка!), свет-свит (вита - жизнь), свить (значит - жить)... Вена (город) и вена, по которой кровь бежит, вина (чувство вины) и вино (напиток)... Вена и Винница - тоже наши города! Гениальность - венец, жизнь - Венеция.

Ополоумевший Николай дрожал мелкой дрожью после вчерашнего перепоя, сильного ветра, который гнул придорожные кусты и верхушки берез и елей, и бесперебойной словесной стрельбы учителя.

Тут в качестве спасителя с грохотом и клубами сизых выхлопных газов появился на дороге огромный колесный трактор, будто

специально придуманный для российских дорог, вернее, для бездорожья, и учитель, подняв руку, попросился его подвезти, и, таким образом, Николай был избавлен от дальнейших исторических погружений.

Накануне Николай сильно выпил у брата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна. Николай сплевывал, поднимал тяжелую голову, с грустью смотрел вперед. Но впереди была грязная с глубокими колеями дорога, уныло темнели копны соломы, и до самого горизонта - низкое свинцовое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце. Николай опускал глаза, привычно выискивал места посуше, но потом, поглощенный мыслями о машине, жене и тут еще об этом, как его... и сразу имя забыл, помнил только, что Дон - это не "Дон", и Ростов - это не "Ростов", опять ступал, как попало, поскользываясь, вяло переставляя ноги, наклоняясь вперед тощим телом. В общем, черт знает что!

Жил Николай в Абрамове, в стоящей отдельно просторной старой избе. Абрамово до 72-го года была большой деревней, и дом их стоял в общем ряду. Но в жаркое лето 72-го пьяные рыбаки из города подожгли лес, и деревня вся сгорела дотла, только они чудом уцелели. После пожара, к перестройке, деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего, и изба Николая очутилась за выездом. Ему предлагали перевезти избу, он и сам собирался, но как-то все не доходило руки, так и остался жить на отшибе.

Дочь его вышла замуж за военного, который служил здесь на аэродроме, и когда его перевели в Ростов, уехала, конечно, с ним. У нее уже был сын. Изба опустела, Николай все чаще нанимался работать на сторону - был он неплохим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Жену Светлану Николай не любил давно. Еще до пожара попал он как-то по вербовке на большое строительство в Вологду, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на диване, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую -

парки, рестораны, кинотеатры и стадионы - любил до того, что и снам ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даже корову продавал, но Светлана шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе, и он раздумывал и остывался.

Все в деревне знали о его страсти к городу и посмеивались над ним.

- Николай, что ж, так и не уехал? - спрашивали его.

- Чисто конкретно, ночная кукушка денную перекукует, - отвечал он, небрежно сплевывая в сторону, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.

Зимой, ближе к весне Светлана заболела. Сначала думали, что пройдет. Потом Светлана стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Николаю зачастили старухи, носили в пузырьках заговоренную воду, настойки на разных травах и корнях. Но и это не помогало. Глаза у Светланы провалились, запали виски, лезли волосы, вся она неправдоподобно быстро худела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней становилось страшно спать: так она была худа и так стонала во сне. Николай стал спать на диване, отдельно.

Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она умрет. А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданным авансом вместо денег. Домой приходил усталый, с красным от солнца лицом, садился на диван, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел исподлобья на жену.

Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных сухих глаз, но все еще красивая, Светлана подавала на стол. Потом, привалясь к стене, трудно дышала, открыв черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

- Коля! - просила она. - Отвези ты меня, честное слово, в город! Отвези! Умру я, должно, скоро... Сил моих нет, больная я вся, Коля!

Николай молча ел, боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли.

- Отвези, Коля! - совсем тихо говорила Светлана и садилась на стул. - Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю... Скотина у нас, Коля! Ходить за нею надо, трудно мне - уж я по стенке... Словно пьяная, за стенку держусь, легче мне так по стенке передвигаться. А внутри-то так и жжет, так и жжет, и будто здоровенным ржавым крючком, как рыбу, зацепило и все тянет, тянет, тянет невыносимо, ох! Свежи ты меня, пускай профессор посмотрит. Я уж тут никому не верю, а только плохо мне, ой, плохо!

И вот теперь Николай шел в Мостки к директору агрофирмы, как теперь колхоз бывший именовался, просить машину для жены, а заодно добиться, чтобы совсем отпустили его из хозяйства. То накрапывал нудный, прямо-таки, сволочной дождь, то усиливался ледяной ветер. Настроение у Николая было плохое, болела с похмелья голова, злба на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее сказать председателю, чтобы отпустил он его в город. В Мостки Николай пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал. Дом председателя выделялся красным кирпичом, величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не рубероидом, как у всех, а шифером. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Николай покосился на колоды, подумал который раз: "Надо бы пчел завести, хорошее дело!" Но, вспомнив, зачем пришел, только крикнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в просторную прихожую с линолеумным полом.

- Добрый, так сказать, день! - хмуро сказал Николай, снимая шапку. - Где Виталий Данилович-то?

Вместо ответа из глубины дома музыкальным, задумчивым и хриплым басом пробили несколько раз часы.

- Зачем он тебе нужен? - после боя часов так же хмуро, не глядя на Николая, спросила Мария, не разжимая губ, в которых искрились булавки.

Мария, наблюдала, как он снимает обувь и надевает шлепанцы.

В доме было чисто, пахло сухой полынью. На столе стояла швейная машинка, на стенке с хрусталем выделялся огромный японский телевизор. Хозяина дома не было. Мария, крепкая чер-

новолосая, как цыганка, женщина, стала крутиться, не стесняясь Николая, возле большого зеркала, рассматривая цветастое, в красных розах по темно-синему фону, платье, которое она, видимо, шила.

- Проблема у меня, чисто конкретно, появилась. Короче, надо решить, - сказал Николай, шумно втягивая в себя влагу ноздрей.

- На эlevator он с утра поехал.

- А когда обещал, так сказать, вернуться? - спросил Николай, рассматривая платье.

- Обещал к обеду, а там не знаю...

- Подожду тогда, чисто конкретно! - решительно сказал Николай, огляделся, помедлил, затем тяжело сел на стул лицом к окну.

На подоконнике стоял кувшин с водой и тихо поблескивал в ожидании солнечного света, чтобы заискриться. Николай достал сигареты, хотел было закурить, но вспомнил, что Мария не любит, когда курят в доме, и спрятал пачку. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум. А тут еще о египетском фараоне Аменхотепе вспомнилось. Но имя фараона сразу потом пропало, как и само слово "фараон". Николай опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро умрет, надо будет тратиться на похороны, а денег нет. Барана придется резать, а то и двух, и на продажу, и на поминки, родни много приедет, поесть любят... Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы на юг, в Ростов-на-Дону, к дочери, а там видно будет. Денег у него, после продажи имущества, соберется, можно будет где-нибудь на окраине Ростова, на берегу Дона какой домишко присмотреть. В больших домах Николай жить не хотел, хотел, как привык с детства, отдельно, в избе. Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы директор хозяйства не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Николая.

- Зачем пришел-то? - спросила хозяйка, наглядевшись на новое платье в зеркало и садясь к столу.

Николай не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на смугловатое лицо Марии, на ее полные губы и голубые слегка навывкате глаза.

- Жена у меня, чисто конкретно, сильно болеет, - наконец сказал он. - Короче, насчет машины я, в город бы ее отвезти. Ну и потом, значит, по своим делам.

- Сколько ей лет-то, Светлане? - без интереса спросила Мария.

- Лет-то, конкретно? - Николай минуту подумал. - А вот, конкретно, считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два года поменьше.

- Молодая еще! - сказала спокойным тоном хозяйка.

Она ушла в другую комнату, потом вышла в халате, держа платье в руках. Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, положила под иглу платье, и мерный стрекот наполнил дом.

Николай опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на диван, который стоял у окна, укрыться с головой пледом, свернутым в несколько раз и лежащим у подушки, не думать ни о чем, а заснуть... Мысль о том, что нужно дожидаться директора агрофирмы, говорить и доказывать, что здесь ему больше невозможно работать и жить, а потом идти по грязной дороге назад в Абрамово, - мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопатками у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Николай забылся под стрекот машинки, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда под окном послышался шум машины, а потом в прихожей затопали плотные шаги, и, спустя минуту, в комнату вошел хозяин.

Был он крупного телосложения, с красным лицом, на котором сильно выделялись густые рыжие усы. Он приехал на своем джипе и, войдя в дом, первое время разминал ноги в тапочках, которые успел надеть в прихожей, и морщился, нагнувшись и глядя на машину в окно.

Николай тоже обернулся и посмотрел: заляпанный новый джип стоял у забора, поблескивая никелем.

- Ну, как? - громко спросила Мария, заканчивая шитье и поднимаясь.

Директор, все еще прохаживаясь, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Николая и, смолчав, протянул ему теплую руку. Потом потоптался еще немного, вздохнул, как человек, сильно уставший, сел на диван и вытянул ноги в тапочках.

Мария, покачивая ядреными бедрами, пошла на кухню. Затем стала ходить туда-сюда, накрывая на стол.

- Ну, как там у вас? - спросил директор. - Сено возите?

- Возим, чисто конкретно, - торопливо ответил Николай. - Возим, но, короче, навряд ли скоро управимся... Дожди не ко

времени пошли, очень сыро... Да и народу мало, по домам сидят.

- Чем у вас там бригадир думает? - поморщился директор. - Сколько раз сказано было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!

Директор посмотрел на жену и снова вздохнул. Николай кашлянул и поерзал на стуле.

- Скоро, что ль, там? - спросил председатель у жены.

- Сейчас поспеет, - невнятно сказала Мария.

Николай томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Николай почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас - опохмелиться бы и лечь поспать.

- Моисеевские поля смотрели, - сказал председатель и ожил, - с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про женщин наших.

Он не спеша достал из кармана, вытянув вперед правую ногу, пачку "Явы" и закурил.

- Ну, чисто конкретно! - притворно удивился Николай и тоже торопливо закурил. - Они напишут, короче! Такое у них дело - писать...

- Задымили, - хмуро сказала Мария и, хлопнув дверью, вышла на кухню.

- Ты зачем ко мне? Дело какое? - спросил директор, подмигивая вслед жене и улыбаясь Николаю.

Николай подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.

- Жена у меня, чисто конкретно, очень болеет, - начал он. - Хочу, короче, я ее в город отвезти. Машину бы мне, Виталий Данилович...

- Машину? - директор побряхтел, поскреб голову. - А что, в медпункт не ходила она?

- Была. Только, я так думаю, операцию надо ей делать.

- Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтоб дали "газик". С утра и поедешь.

- А я-то тоже здоровьем плох стал чего-то... - опять начал Николай, делая грустное лицо. - Да ты зашел бы когда ко мне, а? - перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела на сухую не делаются. - Выпили бы. Сало тоже есть, восемь пудов потянул поросенок... Зашел бы!

- Зайти можно, - сказал директор, улыбаясь.
- А я, Виталий Данилович, - подхватил обрадованный Николай, - решил совсем, значит, с сельским хозяйством расстаться.
- То есть это как же - расстаться? - директор перестал улыбаться.
- А вот так, чисто конкретно, - сказал Николай, набираясь решимости и поводя глазами. - Вот так, что нет больше абсолютно никакого желания работать тут. Жена болеет, дочь из Ростова пишет, зовет... Чего мне здесь! Потом же, давно я собирался... Старый директор отпускал меня, спроси хоть кого хочешь! Пускай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда в городе найду. А тут что?
- Как что! - директор оглядел Николая, будто впервые видел. - Ты что, или забыл, о чем на собрании говорили?
- А чего мне собрание...
- Одну минуточку, как это "чего"?! Работы нет! Вот осенью новый телятник будем ставить - это тебе что? Потом магазин перестроить, это тебе не работа? А парники закладывать - не работа?
- Это верно, только, короче, пусть другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я все-таки свои права знаю, чисто конкретно.
- Знаешь? А что в хозяйстве людей не хватает - знаешь?
- Это меня мало касается. Это вы смотрите, чтобы у вас никто не убежал из хозяйства в городскую торговлю на рынок. От хорошего не побежишь! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний - на диване лежать. А что я с плотничанья имею? Культуру я имею? Выпить и то негде...
- Живешь бедно, да? - директор хищно согнулся и начал желтеть лицом. - На плотницких работах измотался?
- Ты на меня голос не поднимай! - сказал Николай и сдвинул брови. - Не раздражайся! Ты хвост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, у вашего хозяйства зимой снегу не выпросишь.
- Так... Люди работай, люди борись, а ты в Ростов?
- У меня вон жена помирает, - у Николая зазвенело в голове, перехватило дух. - В город ее надо везти? Это как?
- "Газик" мы тебе дадим, - директор встал.
- Не пустишь, короче, значит? - спросил Николай, тоже вставая.

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

- Деньгами разбогател, видно?

- У них денег - куры не клюют, а у нас на водку не хватает, - серьезно пропел Николай.

Тут в голове проскочила какая-то искра, Николай отчетливо вспомнил о египетском фараоне Аменхотепе.

- Известно! - директор громко задышал. - Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да магазин, да парники, а там поглядим.

- Телятник? Нет уж, извини, - сказал Николай с усмешкой, и фараон из памяти опять куда-то исчез.

Из нутра дома пробили тяжелым басом несколько раз часы. Директор отвернулся к окну.

- Кончен у нас с тобой разговор. Катись!

- Ладно, короче, - Николай нахлобучил шапку. - Ладно, чисто конкретно, покачусь... Короче, поглядим!

Хлопнув дверью, он вывалился в прихожую, надел ботинки, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле палисадника кур.

- Поговорили, так твою так... - бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. - Ясно, без пол-литра какой разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к директору без бутылки.

На другой день, с утра выпив водки, Николай пошел в гараж. И, чтоб тебя гром разразил, как говорится, встретил по пути учителя. Тот, как всегда, был в очках и в шляпе, как интеллигент с Тишинского рынка. Хотел было Николай за угол свернуть, но не успел, потому что учитель окликнул его. Николай, как под гипнозом, подошел к нему и взглянул в небесного разлива глаза. Пришлось спросить насчет всяких там египтян и прочих названиях рек. Про Дон в основном. Учитель, как ему и положено, выдал сначала то, что Дон, античный Танаис, в древности считался пограничной рекой между Европой и Азией. Согласно Геродоту, греческому историку, служил границей между скифами и сарматами. Адонай, "господь мой", одно из обозначений бога в иудаизме, с эпохи эллинизма применяющееся также как заменяющее при чтении вслух "непроизносимое" имя Яхве; этимологически близко имени Адониса. По созвучию соотносилось с личным местоимением яни, "я", которое иногда выступало как замена слова "Адонай", по-видимому, на том ос-

новании, что один Яхве, как "абсолютная личность", имеет право говорить о себе "я".

Николай, опустив глаза, как нерадивый школьник, тупо разглядывал стоптанные, с порванными ремешками сандалии учителя, хотя было сыро и холодно, смотрел на грязные желтые носки, особенно бьющие по глазам при этих запредельных речах из-под слишком коротких, каких-то подростковых светло-коричневых брюк учителя.

Адонис, по-финикийски "дн", "адон", "господь", "владыка", в греческой мифологии божество финикийско-еврейского происхождения с ярко выраженными сексуально-растительными функциями, связанными с периодическим умиранием и возрождением природы. В финикийском городе Библе было святилище Афродиты, где происходили оргии в честь Адониса, причём первый день был посвящён плачу, а второй - радости по воскресшему Адонису. В 5 веке до христианской эры культ Адониса распространился в материковой Греции. В Аргосе женщины оплакивали Адониса в особом здании. В Афинах во время праздника в честь Адониса под плач и погребальные песни повсюду выставлялись изображения умерших. Адонии - праздник в честь Адониса - были особенно популярны в эпоху эллинизма, когда распространились восточные культы Осириса, Таммуза и других. Поздней весной и ранней осенью женщины выставляли небольшие горшочки с быстро распускающейся и так же быстро увядающей зеленью, так называемые "садики Адониса" - символ мимолетности жизни. В Александрии пышно праздновали священный брак Афродиты и юного Адониса, а на следующий день с причитанием и плачем статую Адониса несли к морю и погружали в воду, символизируя возвращение его в царство смерти. В мифе об Адонисе отразились древние черты поклонения великому женскому божеству плодородия и зависимому от него гораздо более слабому и даже смертному, возрождавшемуся лишь на время, мужскому, понятно какому божеству.

Иереи - священники - пришли на северо-восток и назвали эти земли Хиерос, потом храмы в рост величиной стали ставить в честь мужского божества с золотой главой, то есть Хиерос в рост пошла и в Россию превратилась, с Ярославлем, в котором херос ясно слышен, этот Эрос, этот Эрот, а там уж и Ростов Великий, хотя Ростов сам по себе велик, стоит стоймя в рост в ожидании женщины, вот и Адонай соединился с Ростовым.

- Но я-то, Николай, хоть русский? - вскричал вопросительно Николай.

- Нет, друг мой, и твое имя насчитывает несколько тысячелетий и переводится с греческого как "победитель народов", - сказал, облизывая тонкие губы, учитель.

Совершенно выведенный из равновесия Николай, пошатываясь и не оглядываясь, поплелся в гараж. Сильно и со злостью наподдал ногой консервную банку, которая подлетела высоко и точно села на заостренную штакетину чьего-то палисадника. В голове был такой мрак, такой хаос, какого сызмальства не знал Николай. Только через полчаса он с шофером подъехал на "газике". На крыльцо вышла Светлана, чисто одетая, со спортивной сумкой в руках. В сумке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Она села в машину, и когда шофер тронулся, Светлана стала с тоской и любовью смотреть на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь, навсегда, свой дом и деревню.

- Коля! - сказала Светлана. - Глянь-ка, красота какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит...

Николай тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханнами клинами, речку, потемневшие от дождей стены домов и заборы, сплюнул и промолчал. Он пытался вспомнить ученый разговор про Россию, Ростов и Дон с учителем, но, кроме "секса", ничего, как ни напрягался, вспомнить не мог.

Светлана сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями. Светлана смотрела и вспоминала всю свою жизнь: и молодость, и замужество, и дочь, любя все это еще сильнее и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.

Машина медленно ехала, пробуксовывая, мимо серых домов и заборов. Женщины, проходившие в эту минуту по улице, останавливались и, молча глядя на Светлану в окне машины, кланялись. Светлана улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась - охотно, низко, едва не касаясь головой головы мужа, сидевшего на переднем сиденье.

Николай же понемногу пьянел. Красное лицо его было напряженно-ожидаящим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан. Он будет сидеть там, и потягивать водочку под жирную селедку, которой очень любил закусывать, и будет поглядывать в окно на проходящие поезда дальнего следования. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших сигарет, а на белой скатерти, в центре стола, как положено, помимо разных там тарелок с закуской и горячим, будет стоять красивая, тяжелая хрустальная ваза с колючими розами. И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как подороже продать дом и все хозяйство, и как половчее уехать из деревни в Ростов-на-Дону.

"А секс-то, чисто конкретно, откуда, короче, взялся?" - подумал Николай, и попытался вспомнить то, что ему рассказал учитель, но ничего вспомнить не мог.

СТРАХ

рассказ

Седову было семнадцать лет, когда он встретил Штеменко. Один молодой поэт рассказал Седову, что недавно образовалось замечательное литературно-художественное агентство под названием СТРАХ - Самое Талантливое Радикальное Агентство Художеств, и что одним из основателей его является художник Николай Штеменко, которому требуется ученик. Так Седов попал в заводской клуб.

Штеменко страшно пил водку, часто портил плакаты и, пьяный, любил рисовать обнаженную натуру. К нему в подвал постоянно приходили такие же пьяные, как Штеменко, тетки, раздевались до гола и, тряся животами и всем остальным позировали ему.

- Подними правое плечо! - кричал он. - Что ты как корова развалилась! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая корова! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты проклята с твоей работой, я - художник! Поняла?

Натурщица обижалась, вскакивала, сырая и пухлая, с разноцветными глазами и мужеподобным лицом, колыхая животом, топала по полу короткими, толстыми ногами к столу, чтобы выпить стакан водки и закусить соленым огурцом, и визгливым голосом вопила:

- Художник! Баб голых рисует! Антисоветчик проклятый! - Растопырив короткие пальцы, она воздевала руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашала: - А если я тебя за разврат в КГБ сдам?

- Народного художника в КГБ? - истерично кричал Штеменко и уже лез на голую женщину с кулаками.

Та, шумно выдохнув после стакана, шла на место, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что она могла сделать, - было раннее утро, время, когда в Москве трудно найти похмелку.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Штеменко пил, портил афиши и плакаты, так как рисунком не владел, и рисовал все новых и новых обнаженных женщин, и все - огромных, толстых, не то что он сам - недоросток, с вскинутой бородатой головой и уже заметной плешью. А Седову, в силу этого, приходилось работать за двоих: рисовать очередную афишу.

Картины у Штеменко получались примитивными, как народный лубок. И он все норовил их продать. Но холсты не брали. Тогда он начал шлепать церквушки с луной на ватмане по трафарету. Седов страстно критиковал его за эту халтуру, на что Штеменко всегда задавал сакраментальный вопрос:

- А на что жить?

Седов задумывался, а потом, подобрав нужный ответ, вслух рассуждал:

- Да устройся хоть слесарем, а потом рисуй свое, настоящее, не на продажу. Тот, кто постоянно творит для того, чтобы продавать, тот деградирует, как художник...

Штеменко парировал:

- Вот ты и иди слесарем!

- Я в Строгановское буду поступать. Мне стаж нужен...

Ватманы пошли за бутылку. Однажды Седов ему посоветовал попробовать работать пером. Штеменко согласился. Только спросил:

- Чего рисовать-то?

Седов посоветовал рисовать то, что ему хорошо знакомо. Например, их клубный двор, прохожих, дворника, собаку. Штеменко в своей лубково-примитивной манере через несколько дней выдал несколько замечательных листов. Пока Седов их рассматривал, он сидел на табурете и молчал, улыбаясь, как бы впервые осматриваясь вокруг. Мастерская помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много красок, кистей, подрамников и разного барахла, грязи и паутины. У стен стояли длинные щиты: один с текстом, другой еще только с грунтовкой, третий пустой. На каждый щит ложилась из окна тусклая полоса света. Огромный транспарант, на котором надо было рисовать Хрущева, занимал почти треть мастерской; около него на грязном полу лежали куски красного сатина. С потолка свисала мощная лампочка, ватт на двести, без абажура, и на серой стене свет от нее колебался и дрожал, точно беззвучно рассказывал о чем-то.

СТРАХ

К вечеру в этом подвале собирались друзья Штеменко. Каждый приходил с бутылкой и закуской. Однажды после первого стакана юный поэт Лобанов надрывно, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми, размахивая руками, продекламировал:

Тебе дан не рай,
А сарай!
Иди умирай,
Лопухом прорастай!

Дым стоял коромыслом, курили все и сразу, дым разъедал глаза и кто-то уже, казалось, плакал. Появились какие-то девицы в школьных платьях. Лобанов залез на стол и кричал:

Славянский мат известен всем.
С ним Эрос встал из мрака Русью,
Где Мариам зовут Маруськой,
А Ванька пьяный глух и нем.

Потом он упал с грохотом. Посыпалась посуда, и собрание запрыгало. Прозаик Вася Воробьев и поэт Юра Каплуновский положили Лобанова в угол. Тем временем Штеменко стал показывать свою графику, на которую Седов его натолкнул.

Включили магнитофон, и тотчас тоненький голос отчаянно кричал под музыку: "Штеменко, ты гений!" Покрытые испариной лица засветились, показалось, что ожили на транспарантах страшные лица вождей, в лампе как будто прибавилось свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали все сразу.

Заплясал Каплуновский с поэтессой Мариной Могилой, заплясал Оленев, заплясал Вася Воробьев-романист с какой-то актрисой в желтом платье. Плясали: Коханов, Апельсинов, маленький Мозер с гигантской Розенблюм. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иштоян из Барнаула, какой-то Дик Стулов из Тамбова, кажется, режиссер, с лиловым родимым пятном во весь лоб, плясали виднейшие представители поэтического подразделения СТРАХа, то есть гитарист Володя Пирожков в атласной красной рубашке, как цыган, Хлебников, но не тот, а Дима-очкарик из Уфы, Саша с телевидения и Лена оттуда же, пляса-

ли неизвестной профессии молодые люди с длинными до плеч волосами, в ботинках на толстой подошве - "манной каше", плясал какой-то очень пожилой отщепенец МОСХа, прижимая к себе и поглаживая растопыренной пятерней аппетитный задик молоденькой козочки, плясала с ним пожилая заведующая библиотекой, в которой происходило рождение СТРАХа.

На другой день настроение у Штеменко было плохое. Да и сводчатый, с облупившейся побелкой потолок давил своей тяжестью. А от соединения дневного света с электрическим образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Штеменко осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

- Пойдем на улицу в скверик, покурим?..

Курил он часто, помногу, затягиваясь так, что щеки западали, как в страстном поцелуе, курил папиросы "Беломорканал".

Они вышли в сквер и сели на скамейку.

- Здесь дышать можно. Я к муравейнику этому сразу не привыкну, - не могу. Сам посуди, от моря я приехал... в Крыму по санаториям работал... и вдруг сразу с широты такой - бух в яму московскую!

Он с печальной улыбкой посмотрел на Седова и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, мутных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Штеменко сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая маленькими пальцами волосы своей бороды. Седов сбоку смотрел на его узкое, бледное лицо и думал: "Что это за человек?" Но не решался заговорить с ним, потому что он был начальником Седова и потому еще, что он внушал Седову странное уважение.

Лоб у Штеменко был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и Седову очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

- Пойдем-ка, пора. Я набросаю Хрущева, а ты будешь замазывать.

Штеменко широкими мазками набросал нечто отдаленно напоминающее Хрущева. Седов опять поразился тому, что этот человек совершенно не умеет рисовать. Седов сказал ему об этом. Штеменко обиделся, и мрачно бросил:

- Рисуи сам... По своим клеточкам...

Седов на клетки разбил новый транспарант и принялся по деталям переносить с фотографии изображение Хрущева...

Потом они сели пить чай. Штеменко сунул руку в карман рубашки, достал какое-то письмо и спросил Седова:

- Хочешь послушать? - и, не дожидаясь согласия, начал читать:

"Дорогой Коля! Кланяюсь и целую тебя крепко. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой, - читал Штеменко. - Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хотя я тобой и разогорчена, потому что ты свинья - уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Коля, о моем устройстве в Москве? Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду устроена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после переезда в Москву стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Людмила".

Штеменко стал вертеть письмо между пальцами одной руки, другою почесывая бороду.

- Написать, что ли, ей? Она, видимо, мерзавцем меня считает, думает - я про нее забыл... Напишу!

- Да конечно, напиши! - поддержал Седов и спросил: - Она кто?..

- Тоже художница... Женщина свободного нрава, м-да... Видишь - о московской прописке пишет. Это, значит, чтобы я устроил ее, а она развратничать здесь будет! Вник?

Штеменко сел к столу и принялся писать. Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

- Ну-ка почитай, как оно вышло? - с нетерпением спросил Седов, заглядывая в листок на совершенно ученические огромные буквы.

Вышло вот как:

"Люда! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь нашел старого знакомого из Симферополя. Он - директор клуба. Взял меня художником, завтра выдаст мне аванс, вышлю их на Гаврилова, и он тебе отдаст. Денег тебе на дорогу хватит. А пока - до свиданья. Твой Николай".

- Гм...- сказал задумчиво, глядя в окно, Седов, - написал ты как-то неважно. Нет образной глубины. Жалости не добился в письме, слезы нет. И опять же - не ругаешь себя разными словами...

- Да зачем это?

- А чтобы она видела, что тебе перед ней стыдно и что ты понимаешь, как перед ней виноват. А так что! Точно отписка! А надо слезу подпустить!

Пришлось ему подпустить в письмо слезу.

Седов попросил его рассказать о Людмиле.

- Людка? Девчонка она, лет семнадцать, как тебе. Из-под Рязани, в ПТУ художественном училась... Да вот бросила. И поехала по южному берегу Крыма гулять! Я ее закадрил в Алуште... Сексуальная, зараза. Из постели месяцами не вылезали! И вдруг я запил и очутился в Батуми, на Кавказе. Потом в Крым пароходом перебрался, а потом вот в Москву попал. Известил ее обо мне один завклубом, и она написала мне в Ялту до востребования.

- Что же ты, - спросил Седов его, - жениться хочешь на ней?

- Жениться, где мне! Если у меня запой - какой же я жених? Нет, так я это. Перетащу ее в Москву - и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, - может, человеком будет.

- Она с тобой хочет жить...

- Да ведь это она болтает только. Они все такие... женщины... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже врачиха одна... Работал я в санатории, она меня и выглядела. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у нее, машина. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего директора, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы - как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: "Чего ты, Танюшка?" А она: "Ребенок, говорит, ты, Коля; не понимаешь ты ни-

чего". Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего, - очень я дураковат, сам знаю. Что делаю - не понимаю. Как живу - не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на Седова маленькими своими глазами; в них светился, как у мышки, не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, отчего заостренное, с мелкими чертами лицо его стало еще острее...

- Ну, и как же ты с врачом-то расстался? - спросил Седов.

- А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору приедается - и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть умирай они - не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: "Татьяна! Мол, помнишь ли дни золотые, кусты сирени и все остальное? Вот забудь о них и отпусти меня, больше я не могу!" - "Что, говорит, надоела я тебе?" И смеется, знаешь, да так-то нехорошо смеется. "Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал". Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: "Что же, иди!.." Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. М-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем как мешок муки, все на машине ездит, пешком не ходит, спортом не занимается... Плакала она долго - привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А, бывало, поедем с ней кататься на катере - во весь дух она любила. Приедем, куда-нибудь в пустынную бухту, а сами в тенек на песочек. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и рассказывает что-нибудь о литературе. Я слушаю, слушаю да и засну. Хорошие вещи рассказывала, очень хорошие. Про то, например, как один человек, звали его Захаром Павловичем, любил паровоз.

И машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича - топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, - но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут

и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей: люди здесь ни при чем. Наоборот, доброта природы, энергии и металла портит людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй - только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов выродятся в ржавчину, - тогда их останется передать работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других - Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машин инструментами.

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что когда вырастет, то поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи, оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины.

Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника подряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать.

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать - на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах - за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

- Без любви какой-нибудь - жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Славный был этот Захар Павлович, о котором мне повествовала Татьяна. Сама она была славная женщина, и посейчас жалко мне ее... Если бы не моя планета - не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была - вот что

первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так - по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое - женщина, как женщина... а найдет, бывало, на нее этакое вдохновение... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как критик или как сам писатель. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее - тоска! Тянет меня куда-то... "Прощай, говорю, Татьяна, прости меня". - "Прощай, говорит, Николай". И - чудная - обнажила мне руку по локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал Седову ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам - два полукруга, почти соединявшиеся концами. Штеменко смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

- Чудачка! Это она на память куснула.

Штеменко вздохнул и принялся шлепать церквушки с луной на ватмане по трафарету. Седов слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого алкаша есть в прошлом "врачиха" или "одна мочалка с высшим образованием", и у всех этих неприкажных художников эта врачиха и с высшим образованием от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно алкаш-художник рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Штеменко, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые Седову черты - чтение самиздата, ласковые слова в адрес ребенка Штеменко...

Седов представил себе большую женщину, спящую у Штеменко, щуплого, на руках, прильнув головой к его груди, - это было красиво и еще более убедило Седова в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о "врачихе" - тон исключительный. Истинный алкаш никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом - он любит показать,

что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

- Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? - спросил Штеменко, и в голосе его звучала тревога. Потом вздохнул и продолжил шлепанье церквушки с луной на ватмане по трафарету. Потом положил кисть и сел на диван, взял в одну руку стакан чаю, который к тому моменту поспел, и Седов налил его в тонкие стаканы в бронзовых подстаканниках, а другой медленно поглаживал бороду. Его голубые булавки глаз остро смотрели на Седова, пытливо и одобрительно одновременно, морщинки на лбу легли резко... - Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, художник, приврать мастер... Нельзя, старик: если у человека в жизни не было ничего хорошего, - он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было, - верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду - так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я пью, но женщине это всё равно, потому что и алкаш, и член КПСС, и футболист - все мужчины... И все перед ней равны, все одного и того же ищут, к чему природа их склоняет, чтобы род человеческий не прекратился, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают - видят, что не обижу, не на смеюсь над ней. Женщина - она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть в пивную пойдем рассказывать, хвастаться станем - вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Седов слушал его и думал: "Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти не подобающие ему речи?" А он, задумчиво уставив на Седова свои мышиные глаза, всё более удивлял Седова своими речами. В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них - большая - блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, - едва видна.

- Ты интеллигентный, талантливый парень! Хорошо это! - говорил он Седову, широко улыбаясь и хлопая его своей маленькой рукой по плечу.

Как-то раз Седов вынул из портфеля самодельную книгу - переплетенные журнальные страницы и, примостившись к окну, стал читать.

Штеменко шлепал церквушки с луной на ватмане по трафарету. Увидев книгу, спросил:

- О чем книжка?

- О тяжелой доле простого человека! - с некоторым пафосом воскликнул Седов.

- Почитай вслух, а?.. - попросил Штеменко.

И вот Седов стал читать, сидя на подоконнике, а Штеменко уселся на диване и, подперев голову кулаками, слушал...

О прошлом Ивана Денисовича знали они мало, но и того, что знали, достаточно, чтобы понять, каков он был человек. Жил Шухов до войны в маленькой деревне, работал в колхозе, кормил семью - жену и двух дочек. Началась война - на войну пошел и воевал честно: был ранен на реке Ловать, ему бы в медсанбат, а он "доброй волею в строй вернулся". Потом армию окружили, многие попали в плен, но Шухов из плена бежал и по болотам да по лесам к своим выбрался. А тут обвинили его в измене: мол, задание немецкой разведки выполнял. "Какое ж задание - ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто - задание".

Сказано это со спокойным и горьким юмором, но, признаться, от юмора такого - мурашки по коже. Словно сидят они со следователем рядом и беседуют дружелюбно, как дело обставить поудобнее, что Шухов-де родине изменил, за которую кровь пошел проливать и столько вытерпел. В самом же деле знал Шухов, что, если не подпишешь, - расстреляют, и хотя можно представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся, протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой усмешкой; на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил человеческих.

Упрекают Ивана Денисовича в том, что он будто бы примирился с лагерем, "приспособился" к нему. Но не то же ли это самое, что упрекают больного за его болезнь, несчастного за его несчастье! Конечно, опыт восьми лет каторги в Усть-Ижме и Особлаге не прошел для Шухова даром, он выработал в себе некоторые внешние реакции, которые тут есть как бы условие существования: соблюдай лагерный режим, поклонись надзирателю, не пускайся в препиратель-

ства с конвоем - ведь "качать права" перед Волковым не только опасно, но и бессмысленно. И можно лишь удивляться, в какой целостности остаются при этом основные его нравственные понятия, как мало поступается он своей гордостью, совестью, честью. Его житейская мудрость и практическая сметка, лукавство и знание, что чего стоит, - эти свойства, которые в крови у русского крестьянина и рождены опытом не одного дня, сохраняют в Шухове силу жизненности, помогающую ему перенести тяжелейшие страдания и остаться человеком.

Иногда Седов заглядывал в глаза Штеменко и встречался с ними - у Седова до сей поры они в памяти - блестящие, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые вверх брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, - вся его неподвижная, внимательная поза подогревала Седова, и он старался как можно внятнее и образнее рассказать Штеменко грустную историю Ивана Денисовича.

Наконец Седов устал и закрыл книгу.

- Всё уже? - шепотом спросил его Штеменко, вздохнул и продолжил шлепать церквушки с лунной на ватмане по трафарету для продажи.

- Меньше половины...

- Всю вслух читаешь?

- Прочитаю. Да и мне самому приятно читать. Вообще, я хотел бы стать артистом... Со сцены читать, громко, выразительно, чтобы на галерке слышали....

- Эх! - Штеменко схватил себя за голову и закачался, сидя на диване. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, и для чего-то сощурил глаза. Седов не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

- Как вдохновенно ты это читаешь! - шепотом заговорил он. - На разные голоса... Как живые все они... Бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, Сенька Клевшин, Цезарь Маркович...

Потом Штеменко с Седовым написали зубным порошком несколько лозунгов, приготовили транспарант под герб СССР, и снова Седов читал книгу. Потом опять пауза - взглянул директор клуба, толстый, как колобок, с одышкой и потный, проверить, как идут дела. А художники, едва услышав его шаги, склонились над лозунгами с кистями в руках.

- Все путем! - сказал звонко Штеменко.

- Ну-ну, - процедил директор и ушел.

Штеменко, нахмутив брови, изредка кратко бросал Седову односложные приказания и торопился, торопился... Буквы у него шли ровные, строгие...

Потом опять Седов читал и чувствовал, что язык у него одеревенел.

Сидя на табурете, Штеменко смотрел Седову в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

- Хорошо? - спросил Седов.

Штеменко замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

- Кто же это сочинил? - В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Седов рассказал, кто написал книгу.

- Ну - человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет - вот до чего живо. Что же он, писатель, что ему за это было?

- Сам сидел...

Штеменко смущенно посмотрел на Седова и робко заявил:

- За такую гениальную вещь должны наградить его. Какое-нибудь постановление должно выйти. Люди ведь поймут, что нужно его поддержать.

В ответ на это Седов прочитал ему целую лекцию о том, что критики, мелькающие время от времени в некоторых журналах, придирчиво и раздраженно отзываются об этой повести. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Одному критику ничего не стоит, например, расхваливая новый роман какого-то графомана "Сержант милиции", с младенческой литературной безответственностью заметить: "В отличие от повести "Один день Ивана Денисовича" роман о сержанте поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни". Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести про Ивана Денисовича роман про милиционера многогранен. Что поделаешь, если автору этой заметки не дорога его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает? Вообще говоря, когда написавшего "Ивана Денисовича" упрекают в том, что он рассказал в

своей повести не все, что можно было бы рассказать о лагерях тех лет и о жизни страны в целом, удивляет искусственный характер этих требований, род странной неблагодарности по отношению к писателю. Вместо того чтобы подивиться его таланту и гражданскому мужеству, тому, как глубоко и правдиво все в нарисованной им картине, где не найдешь, кажется, ни одной точки, ни одного штриха вымученного и фальшивого, – писателя начинают укорять в том, что и за пределами его картины осталось немало предметов и лиц, достойных изображения. Такая ненасытная требовательность еще понятна, когда она есть часть признательности художнику за его работу и поощрение к новым трудам, но она мелка и неумна, когда с помощью такого приема хотят бросить тень и на само произведение как на что-то неполноценное, недовершенное. И скверно выглядит тот критик, который, узнав от писателя о трагедии жизни Ивана Денисовича, пережив первое потрясение и едва дав ему устояться, спешит учить писателя, как надо было рассказать об этом, чтобы удовлетворить его сполна. Тут надо сделать оговорку. Мы принимаем как нечто безусловное, что первым движением души любого читателя повести будет горячее сочувствие ее герою, чувство горечи и возмущения при виде безвинно осужденных на жесточайшие муки людей, негодование по поводу злодеяний поры культа личности. И трудно представить себе такого читателя, который в качестве главного впечатления от повести вынесет недовольство самим Иваном Денисовичем, его характером, образом мыслей, поведением в лагере и т. п.

Но – увы! – лекция не произвела на Штеменко того впечатления, на которое Седов рассчитывал.

Штеменко задумался, поник головой, закачался всем компактным корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая Седову говорить. Седов устал, наконец, замолчал.

Штеменко поднял голову и грустно посмотрел на него.

– Так ему, значит, ничего и не дали? – спросил Штеменко.

Седов не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно не считавшего себя в силах решать мировые вопросы. Штеменко, не дожидаясь ответа Седова, взял книгу в свои руки, открыл, почитал немного, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул...

На следующий год Седов поступил в институт и уволился из клуба. Дороги их со Штеменко разошлись.

СТРАХ

Как-то недавно в Парке искусств у Центрального дома художника на Крымском валу, где проходила персональная выставка Седова, он встретил Штеменко - совершенно сморщенного маленького старика, с грязновато-красным лицом, с жидкой бородой, в оборванной куртке, в худых почерневших, некогда белых, кроссовках. Под мышкой у него был рулон ватмана. Рядом с ним была какая-то алкоголичка с синяком под глазом, в прямо-таки детском красном пальто, в красной фетровой шляпке без полей, испачканной в побелке, с морщинистым, цвета свеклы лицом. Седов поздоровался со старым знакомым. Штеменко долго вглядывался в него, что-то смутно припоминая, а затем довольно равнодушно сказал, что это его жена Люда, и что он идет продавать "картинки", чтобы "жить".

"Наша улица", № 12-2003

НОВЫЙ СОСЕД

рассказ

Устав за день от писанины, я вышел на крыльцо и присел на теплые некрашенные доски ступеней покурить. Я прекрасно представил себе, как иду с Маяковским по Чистопрудному бульвару. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом по гранитному высокому постаменту, по широко расставленным бронзовым ногам, по жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука...

- Владимир Владимирович, - наконец довольно бесцеремонно спрашиваю я, - что вы сейчас пишете?

- Драму о том, как я стреляюсь из-за этой стервы Брик в комнатенке Гендрикова переулка, - каким-то гробовым басом и с нескрываемым презрением отвечает Маяковский.

- Почему же "стервы"? - спрашиваю я.

- Да потому что никто так не умеет любить, как Лилька! - почти что кричит Маяковский и начинает мелко дрожать, разбрасывая брызги слез.

Маяковский пил мало - главным образом, вино того сорта, которое теперь называется "Советским шампанским", а в те годы называлось шампанским "Абрау-Дюрсо".

Хотя Маяковский пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивши, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с крушоном. Вот крушон действительно пользовался его любовью - но это сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная, - с апельсинными корками, яблоками, как в компоте. Может, и пил когда-либо в петербургский период, но это, так сказать, вне моего внимания. Иногда он появлялся на веранде ресторана "Дома Герцена", как Иван Бездомный, весь в белом. Издали уже все замечали его появившуюся в воротах, в конце сада, фигуру. Когда он садился, все шептались, переглядывались и, как всегда перед началом зрелища, откидывались

к спинкам стульев. Некоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак - синий, на его штаны - серые, на его трость - в руке, на его лицо - боксера, бритоголового нового русского, и в его глаза - не-выносимые!

Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая "Ex Libris-НГ", вдруг кинул в мою сторону:

- Кувалдин пишет роман "Ницше"!

Это он прочел заметку в "Ex Libris-НГ". Нет, знаю я, там напечатано про роман "Так говорил Заратустра".

- "Так говорил Заратустра", Владимир Владимирович, - поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной.

- Это все равно, - гениально отвечает он мне.

В самом деле, пишущий роман о Заратустре после Ницше - причем надо учесть и эпоху, и мои способности как писателя - разве я не начитался Ницше?

Вот так сижу и размышляю на крылечке. Летними вечерами со своего шестисоточного участка мне было видно, как на огромном, в полгектара участке, в трехэтажном, с башнями и балконами, особняке у моего нового соседа звучала музыка. Сосед скупил тут несколько заброшенных сараев, которые старые пенсионеры почему-то называли дачами, и за полгода отгрохал этот замок. Конечно, места здесь у нас замечательные, на берегу Москвы-реки. Но таких, как я, шестисоточников, оставалось все меньше и меньше, и на нас с неумолимостью танковой дивизии надвигались новые хозяева жизни. Я смотрел, как мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд.

Это не то что было вчера, - как говорят в таких случаях, - а буквально это происходит сейчас. Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня, на расстоянии лодки, бутылка холодной минеральной воды, газета. Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк. Что же лучшее? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца? Я столкнулся с этой метафорой, читая "Облако в штанах", совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись

встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти "учили" в школе и знакомство с ними было таким уроком, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле... Так вот какая она бывает, поэзия! "Выскочу, - кричит поэт, - выскочу, выскочу!" Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя! Странно, мне представились в ту минуту какие-то городские видения: треки велосипедистов, дуги мостов, может быть, и в самом деле взгляд мой тогда упал на нечто грандиозно-городское... Во всяком случае, этот человек, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат... Так и впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то другим, а не только человеком: не то городом, не то пламенем заката над ним...

Днем мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на речном песочке его пляжа, а его катер режет водную гладь, и за ним на пенной волне летают водные лыжники. По субботам и воскресеньям его черный, с обилием никеля джип превращался в маршрутное такси и с утра до глубокой ночи вместе с микроавтобусом-мерседесом совершал рейсы на станцию к электричке. А в понедельник несколько человек из obsługi, включая специально нанятого садовника, брали тряпки, швабры, молотки и садовые ножницы и трудились весь день, удаляя следы вчерашних разрушений.

Каждую пятницу ящики апельсинов и лимонов прибывали из Москвы - и каждый понедельник эти же апельсины и лимоны покидали дом с черного хода в виде горы полужасохших корок. На кухне стояла машина, которая за полчаса выжимала сок из сотен апельсинов - для этого только нужно было двести раз надавить пальцем кнопку.

Раза два или даже три в месяц на участок являлась целая армия поставщиков. Привозили несколько сот разноцветных лампочек, будто собирались превратить сад Дворникова в огромную

рождественскую елку. На столах, в сверкающем кольце закусок, выстраивались розетки с красной и черной икрой, блюда с тончайше нарезанными ломтиками осетрины и семги, окорока, нашпигованные специями, салаты, пестрые, как трико арлекина, поросята, запеченные в тесте, жареные индейки, отливающие волшебным блеском золота. В большом холле воздвигалась высокая стойка, даже с медной приступкой, как в настоящем баре, и чего там только не было - и водка, и коньяк, и сухие марочные вина, и дорогие портвейны, и вермуты, и какие-то старомодные напитки, вышедшие из употребления так давно, что многие молодые гости не знали их даже по названиям.

У Маяковского я с удовольствием отыскиваю сотни метафор. От булок, у которых "загибаются грифы скрипок", до моста, в котором он увидел "позвонок культуры". Когда Маяковский появлялся, меня охватывало смущение, я трепетал, когда он почему-либо останавливал свое внимание на мне... Что касается моего внимания, то оно все время было на нем, я не упускал ни одного его жеста, ни одного взгляда, ни одного, разумеется, слова.

К семи часам оркестр был уже на местах - не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав: и кларнеты, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху; вдоль подъездной аллеи по пять в ряд стоят иномарки гостей из Москвы, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестрели всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды, и украшения, какие не снились даже царскому двору. Бар работает всюю, а по саду там и сям проплывают подносы с холодной водочкой под маринованный огурчик, с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через минуту будут забыты, и пылких взаимных приветствий женщин, никогда и по имени друг друга не знавших.

Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца; вот уже оркестр заиграл золотистую музыку, и оперный хор голосов зазвучал тонком выше. Смех с каждой минутой льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шуточного словца. Компании гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями, не успеет один круг распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных

молодых красоток: такая мелькнет то тут, то там среди красавиц посolidней, на короткий, радостный миг станет центром внимания тусовки - и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов, в беспрестанно меняющемся свете.

Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, для храбрости залпом выпив выхваченную прямо из воздуха рюмку водки, выбежит на площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина; затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп, и по толпе бежит уже пущенный кем-то ложный слух, будто это Людмила Гурченко. Вечер начался.

В ту субботу, когда я впервые, с подачи Марины, студентки-дипломницы, которая писала в качестве дипломной работы монографию о моем творчестве, перешагнув порог участка Дворникова, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения - туда просто приезжали, и все. Садись в машину, ехали до Николо-Спасского и, в конце концов, оказывались у Дворникова. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке культуры и отдыха. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином, - простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом.

Но я был приглашен по всей форме. Ранним утром передо мной предстал шофер самого дорого "ролс-ройса" и вручил мне пригласительный билет, удививший меня своей церемонностью; в нем говорилось, что господин Дворников почтет для себя величайшей честью, если я ныне пожалую к нему "на небольшую вечеринку". Он неоднократно видел меня издали и давно собирался нанести мне визит, но досадное стечение обстоятельств помешало ему осуществить это намерение. И подпись: Николай Дворников, с внушительным росчерком.

В начале восьмого, одетый в светлый летний костюм и белую рубашку без галстука, я вступил на территорию Дворникова и сразу же почувствовал себя довольно неуютно среди множества незнакомых людей, - правда, в водовороте, бурлившем на газонах и дорожках, я различал порой лица, не раз виденные в пригородном поезде. Меня сразу поразило большое число молодых

людей, вкрапленных в толпу; все они были безукоризненно одеты, у всех был немножко голодный вид, и все сосредоточенно и негромко убеждали в чем-то солидных, излучающих благополучие, по всей видимости, бизнесменов. Я тут же решил, что они что-то продают - туристические путевки, или участки под коттеджи, или автомобили. Как видно, близость больших и легких денег болезненно дразнила их аппетит, создавая уверенность, что стоит сказать нужное слово нужным тоном, и эти деньги уже у них в кармане.

Я вспомнил Маяковского, начинавшего как футурист, писавшего, в общем, для немногих, после революции так страстно стал рваться к массам, к читательской толпе. Почти постоянно он был в разъездах, выступал в разных городах страны, на заводах, в университетах, в военных частях. Он не мог жить без этого общения с массами, оно радовало его, воодушевляло, молодило.

- Новое сейчас прочту им, новое, - говорил он, расхаживая за кулисами Политехнического музея в Москве, набитого гудящей молодежью. И, засучив рукава, как будто собираясь работать, уже сняв пиджак и оставшись в своей "свежевымытой сорочке", шел к выходу на эстраду!

Уже не говоря о стихах и их чтении, само общение его с публикой захватывало. Глаза у него были несравненные - большие, черные, с таким взглядом, который, когда встречались с ним, казалось, только и составляет единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг вас, только этот взгляд существует.

Придя на участок, я, прежде всего, попытался разыскать хозяина, но первые же два-три человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к одному из многочисленных столов с закусками - замечательным местам в саду, где одиноким гостям можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютными и жалкими.

Вскоре после того как я пришел, я увидел, что навстречу мне идет - то есть в данном случае спускается по ступеням от фонтана - высокий и широкоплечий, скуластый, нагло вато держащийся, широко шагающий человек в джинсовом костюме и с дымящейся трубкой.

- Маяковский, - прошептала какая-то девушка, стоявшая чуть поодаль. - Смотрите, смотрите, Маяковский!

Я тотчас же согласился, что это Маяковский. Он прошагал мимо нас, этот человек, весь в индустриальной энергии своего стиха, только никелированного бампера, как на джипе, ему не хватало. Я не был убежден, что это Маяковский, также не были убеждены в этом и другие гости, бродящие по аккуратным асфальтовым дорожкам, но все мы хотели верить в то, что и Маяковский с нами, и в дальнейшем течении вечера все больше укреплялись в той уверенности, что, конечно же, это был Владимир Владимирович, да и по телевизору в это время только и говорили, что о Владимире Владимировиче. В Москве два памятника Маяковскому: один - статуя, к которой он, по всей вероятности, отнесся бы строго, и другой - станция метро его имени, от которой он, влюбленный в индустриальное, несомненно, пришел бы в восторг. Станция со стенами из стальных арок, которые показались мне стальной кофтой Маяковского. Я крикнул официанту:

- Шампанского!

Маяковский сказал:

- Что это вы! Просто скажите - "Абраму"!

Вероятно, я бы напился вдребезги просто от смущения перед Маяковским, но тут я увидел Марину. Она вышла из дома и остановилась на верхней ступеньке мраморной лестницы, слегка отклонив назад корпус и с презрительным любопытством поглядывая вниз. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами.

- Здравствуйте! - завопил я, бросившись к лестнице. Мой голос неестественно и громко раскатился по всему саду.

- Я так и думала, что встречу вас здесь, - небрежно заметила Марина, когда я поднимался по мраморным ступеням. - Вы ведь говорили, что живете рядом с...

Она слегка придержала мою руку в знак того, что займется мною чуть позже, а сама вопросительно повернулась к двум девушкам в совершенно одинаковых желтых платьях, остановившимся у подножия лестницы.

- Здравствуйте! - воскликнули девушки дуэтом. - Вы нас не узнаете, - сказала одна из желтых девушек, - а мы здесь же и познакомились, с месяц назад.

- У вас тогда волосы были другого цвета, - возразила Марина.

Я так и подскочил, но девицы уже прошли мимо, и ее замечание могла принять на свой счет только скороспелая луна. Прodeв свою руку под тонкую золотистую руку Марины, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду между белеющими парковыми скульптурами в стиле ностальгического соцреализма. Вот стоит у голубой ели шахтер с отбойным молотком, вот футболист гонит мяч, вот писатель пишет книгу, и его длинные волосы, как у женщины, распадаются на прямой рядок. Перед женщиной с веслом мы остановились как перед несомненным и нетленным шедевром. Из сумрака выплыл навстречу поднос с водочкой и огурчиками, и мы, взяв по рюмке, присели к столу, где уже расположились желтые девушки и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как сотрудник какой-то очередной новой газеты.

- Вы часто бываете здесь? - спросила Марина у ближайшей девушки.

- Последний раз вот тогда, когда познакомилась с вами, - бойко отрапортовала та. - И ты, кажется, тоже, Маша? - обратилась она к своей подруге.

Выяснилось, что и Маша тоже.

- А мне здесь нравится, - чуть шепелявя, сказала Маша. - Я вообще живу, не раздумывая, поэтому мне всегда весело. В тот раз я зацепилась за стул и порвала платье. Он спросил мою фамилию и адрес - и через три дня мне приносят коробку от Юдашкина, а в коробке новое вечернее платье.

- И вы приняли? - спросила, прицыкнув зубом, Марина.

- Конечно, приняла. Я даже думала его сегодня надеть, но нужна небольшая переделка: в груди широковато. Цвета лаванды, с вышивкой темно-вишневым бисером. Двести шестьдесят пять долларов.

- Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет, - с апломбом сказала первая девица. - Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было.

- Кто - он? - спросил я.

- Дворников. Мне говорили...

Обе девушки и Марина заговорщически сдвинули головы.

- Мне говорили, будто он в Ростове когда-то убил человека.

Мороз побежал у нас по коже. Трое газетчиков вытянули шеи, жадно вслушиваясь.

- А, по-моему, вовсе не в этом дело, - скептически возразила Маша. - Скорее в том, что в совке он был секретарем райкома комсомола.

Один из журналистов энергично закивал в подтверждение.

- Я сам слышал об этом от человека, который знает его как родного брата. Вместе в цекамолу потом работали, - поспешил он нас заверить.

- Ну как же это может быть, - сказала первая девушка. - Ведь он сразу после школы попал в тюрьму за убийство. - И наше доверие опять переметнулось к ней, а она торжествующе продолжала: - Вы обратите внимание, какая страшная у него бывает физиономия, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться: он бывший убийца.

Она зажмурила глаза и поежилась. Маша поежилась тоже. Мы все стали оглядываться, ища глазами Дворникова. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос.

Стали подавать первый ужин - после полуночи предстоял второй, - и Марина пригласила меня присоединиться к ее компании, облюбовавшей стол в другом конце сада. Компанию составляли две супружеские пары и кавалер Марины, студент из породы вечных, изъяснявшийся многозначительными намеками и явно убежденный, что рано или поздно Марина предоставит свою особу в более или менее полное его распоряжение. Вместо того чтобы по приезде разбрестись кто куда, они держались горделиво замкнутым кружком, взяв на себя миссию представлять здесь элитарную часть местного общества.

- Уйдем отсюда, - шепнула мне Марина, когда прошли полчаса, показавшиеся томительными и ненужными. - Мне уже невмоготу от этих церемоний.

Мы оба встали из-за стола.

- Мы хотим поискать хозяина дома, - объяснила Марина.

Мне и самому было неловко, что я ему до сих пор не представлен. Студент кивнул со снисходительной, меланхолической усмешкой.

В баре, куда мы заглянули прежде всего, былолюдно и шумно, но Дворникова там не оказалось. Марина взошла на крыльцо и оттуда оглядела сад, но его нигде не было видно. Не найдя его и на

боковой веранде, мы наугад толкнули внушительного вида дверь и очутились в библиотеке - комнате с высокими готическими сводами и панелями резного дуба на манер ресторана ЦДЛ, должно быть, перевезенной целиком из какого-нибудь разоренного райкомовского особняка.

Пожилой толстяк с черными усиками, в очень узких, как щели, очках, делавших его похожим на китайца, сидел на краю стола, явно в подпитии, задумчиво созерцая полки с книгами. Когда мы вошли, он стремительно повернулся и оглядел Марину с головы до ног.

- Как вам это нравится? - порывисто спросил он.

- Что именно? - отозвалась удивленно Марина.

Он указал рукой на книжные полки.

- Вот это. Проверять не трудитесь. Уже проверено. Все - настоящие.

- Книги?

Он кивнул.

- Никакого обмана. Переплет, страницы, все как полагается. Я был уверен, что тут одни корешки, а оказывается - они настоящие. Переплет, страницы... Да вот, посмотрите сами!

Убежденный в нашей недоверии, он подбежал к полке, выхватил одну книгу и протянул нам. Это был первый том Сергея Довлатова питерского издательства "Лимбус-пресс".

- Видали? - торжествуя воскликнул он. - Обыкновенное печатное издание, без всяких подделок. На этом я и попался.

Он вырвал книгу у меня из рук и поспешно вставил на место, бормоча, что если один кирпич вынут, может обвалиться все здание.

- Вас кто привел? - спросил он. - А может, вы пришли сами? Меня привели. Тут почти всех приводят.

Марина метнула на него короткий веселый взгляд, но не ответила.

- Меня привела Валечка, секретарша Дворникова, - продолжал он. - Валентина. Не слышали? Где-то я с ней вчера познакомился. Я, знаете, уже вторую неделю пьян, вот и решил посидеть в библиотеке, - может, думаю, скорее протрезвлюсь.

- Ну и как, помогло?

- Кажется - немножко. Пока еще трудно сказать. Я здесь всего час. Да, я вам не говорил про книги? Представьте себе, они настоящие. Они...

- Вы нам говорили.

Мы с чувством пожали ему руку и снова вышли в сад.

На широкой площадке, выложенной мраморными плитами, уже начались танцы: старички двигали перед собой пятившихся молодых девиц, выписывая бесконечные неуклюжие петли; по краям топтались самодовольные пары, сплетаясь в причудливом модном изгибе тел, - и очень много девушек танцевало в одиночку, каждая на свой лад, а то вдруг давали минутную передышку музыканту, игравшему на саксофоне или на скрипке. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже солист оркестра Утесова Анатолий Шамардин, тенор, спел "Где ж ты, мой сад" Алексея Фатьянова, а прославленный бард Бачурин - свою джазовую песенку "Машина въехала в тоннель", это в тот тоннель, который на Волоколамке и который ведет на улицу Свободы в Тушино, а в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь, кто как мог, главным образом смачно выпивали и закусывали, и к летнему небу летели всплески пустого, беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и внизу, на воде Москвы-реки лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду.

Мы с Мариной по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели еще двое: деревенского вида желтоволосый с заметной проплешиной молодой человек и шумливая маленькая девушка, похожая на Лилию Брик, от каждого пустяка готовая хотать до упаду. Мне теперь тоже было легко и весело. Я выпил еще две стопки водки, закусил парочкой соблазнительных бутербродов с икоркой, и все, что я видел перед собой, казалось мне исполненным глубокого, первозданного смысла.

Во время короткого затишья молодой человек вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.

- Мне ваше лицо знакомо, - сказал он приветливо, поправляя на руке золотой тяжелый браслет. - Вы случайно не автор повести "Поле битвы - Достоевский" Юрий Кувалдин?

- Ну как же, конечно. В "Дружбе народов" эта моя повесть была напечатана несколько лет назад.

- Вы - гений! Столько шуму наделали, просто уму не постижимо! Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались.

Мы немного повспоминали эту мою повесть.

Потом он сказал, что недавно купил вертолет и собирается испытать его завтра утром, - из чего я заключил, что он живет где-то по соседству.

- Может быть, составите мне компанию, Юрий Александрович? Полетаем на вертолете вдоль берега?

- А в какое время?

- В любое, когда вам удобно.

Я уже открыл рот, чтобы осведомиться о его фамилии, но тут Марина оглянулась на меня и спросила с улыбкой:

- Ну как, перестали скучать?

- Почти перестал, спасибо. - Я снова повернулся к своему новому знакомцу: - Никак не привыкну к положению гостя, не знакомого с хозяином. Ведь я этого Дворникова в глаза не видел. Просто я живу тут рядом, - я махнул рукой в сторону невидимой изгороди, - и он прислал мне с шофером приглашение.

Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.

- Так ведь, прошу прощения, это я - Дворников, - сказал он вдруг.

- Что?! - воскликнул я. - Ох, извините, ради бога!

- Я думал, вы знаете. Плохой, видно, из меня хозяин.

Он улыбнулся мне ласково, - нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, удается встретить четыре, ну - пять раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинувшись неотвратимому выбору, сосредоточивается на вас. И вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла - и передо мною был разодетый деревенский мальчик, лет тридцати с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой.

Почти в ту же минуту прибежал охранник и доложил, что Дворникова вызывает Сахалин. Мне почему-то сразу представились огненно-красные крабы с толстыми золотыми кольцами на клешнях.

Дворников встал и извинился с легким поклоном, обращенным к каждому из нас понемногу.

- Вы тут, пожалуйста, Юрий Александрович, не стесняйтесь, - обратился он ко мне. - Захочется чего-нибудь - только велите охр-ране. А я скоро вернусь. Прошу прощения.

Как только он отошел, я повернулся к Марине: мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе Дворникова солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией.

- Кто он вообще такой? - спросил я. - Вы знаете?

- Ну вот, теперь и вы туда же, - протянула Марина с ленивой усмешкой. - Могу сказать одно: он мне как-то говорил, что учился в Тарту.

В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон; но следующее замечание Марины снова все смешало.

- Впрочем, я этому не верю.

- Почему? - спросил я, выпивая залпом еще одну стопку холодной водки.

- Сама не знаю, - решительно сказала она. - Просто мне кажется, что никогда он в Тарту не был.

Что-то в ее тоне напоминало слова желтой девицы: "Мне кажется, что он убийца", - и это лишь подстрекнуло мое любопытство. Пусть бы мне сказали, что Дворников - выходец из ростовских шахтеров или из самых бомжовских районов Воронежа, я бы не удивился и не задумался. В этом не было ничего невероятного. Но чтобы молодые люди высказывали просто ниоткуда и строили себе дворцы на берегу Москвы-реки - так не бывает; по крайней мере, я, искушенный столичный житель, считал, что так не бывает.

- Во всяком случае, у него всегда собирается много народу, - сказала Марина, уходя от разговора с чисто городской нелюбовью к конкретности. - А мне нравятся многолюдные сборища. На них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно.

В оркестре бухнул большой барабан, и дирижер вдруг звонко выкрикнул, перекрывая многоголосый гомон:

- Дамы энд товарищи! По просьбе господина Дворникова мы сейчас сыграем вам классическую вещь Евгения Бачурина. Слушатели, вероятно, помнят ее, эту песню "Дерева", она была и есть настоящая сенсация. - Он улыбнулся снисходительно-весело и до-бавил: - Настоящий шансон!

Кругом засмеялись.

- И так, - он еще повысил голос: - Евгений Бачурин, "Дерева".

С зачесанными, как всегда, назад кудрявыми седыми волосами, из-за кулис показался маленький, тощий, горделивый и остроносый, как Буратино, Бачурин, в джинсах и водолазке. Он сразу же подошел к микрофону, выдернул его из держателя стойки, отошел в сторону, потом опять подошел к стойке, вставил микрофон на место, сел на стул, взял с пола приготовленную гитару, ни с того ни с сего закашлялся, и кашлял так долго, что публика закашлялась тоже, затем, перестав кашлять, Бачурин тренькнул, презрительно-надменным взглядом оглядел зал, снова отложил гитару, нервно встал, походил туда-сюда по авансцене, затем опять, остановившись у микрофона, выдернул его, подтянул другой рукой шнур...

Но мне не суждено было оценить тысячное исполнение "Дерев", потому что при первых же аккордах гитары я вдруг увидел Дворникова. Он стоял на верхней ступеньке мраморной лестницы и с довольным видом оглядывал группу за группой. Светлая, прямо-таки молочная кожа приятно обтягивала его лицо, пушистые светлые волосы лежали так аккуратно, словно их подстригали каждый день. Ничего зловещего я в нем усмотреть не мог. Быть может, то, что он совсем не пил, и выделяло его из толпы гостей - ведь чем шумней становилось общее веселье, тем он, казалось, больше замыкался в своей корректной сдержанности. Под заключительные звуки "Дерев" одни девицы с кокетливой фамильярностью склонялись к мужчинам на плечо, другие, пошатнувшись, притворно падали в обморок, не сомневаясь, что их подхватят крепкие мужские руки - и, может быть, даже не одни; но никто не падал в обморок на руки Дворникову, и ничья под мальчишку остриженная головка не касалась его плеча, и ни один импровизированный вокальный квартет не составлялся с его участием.

- Простите, пожалуйста. - Возле нас стоял широкоплечий охранник с квадратным, как у Маяковского, лицом. - Марина? - осведомился он. - Простите, пожалуйста, но господин Дворников хотел бы побеседовать с вами наедине.

- Со мной? - воскликнула удивленная Марина.

- Да, - сказал охранник и так сжал свою челюсть, что, казалось, жевачки сейчас лопнут от напряжения.

Она оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за охранником по направлению к дому. Я заметил, что и в вечернем платье, да и в любом другом, она двигается так, как будто на ней надет спортивный костюм - была в ее походке пружинистая легкость, словно свои первые шаги она училась делать на поле для гольфа ясным погожим утром.

Я остался один. И все хотел вспомнить, когда же впервые состоялось мое внимание на этом имени... Я был еще глух к тому чуду, которое происходит рядом со мной, - к рождению метафоры Маяковского. Я еще не слышу, что сердце похоже на церковку и что можно пытаться выскочить из самого себя, опираясь о ребра. Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственной пути политического трибуна. Я вспомнил также, что в то же время - это юноша, задумавшийся о революции, это юноша в тюрьме, снятый на полицейских досье в профиль и фас. Каждый из нас наверняка видел фильмы раннего, совершенно еще немного кино, в которых играет Маяковский. Это, собственно, не фильмы - от фильмов сохранилось только несколько обрывков - странно воспринимать их: трепещущие, бледные, как растекающаяся вода, почти отсутствующие изображения. И на них квадратное, с бандитской нижней челюстью лицо молодого Маяковского - почти плебейское, но грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страдающего от любовной зависимости, от подавления хищной половой разбойницы мартышки Лили Брик, которую по страсти и изощренности в совокуплении никто не мог превзойти.

Было уже два часа. Какие-то невнятные загадочные звуки доносились из комнаты, длинным рядом окон выходившей на веранду. Я ускользнул от студента Марины, пытавшегося втянуть меня в разговор на тему о порнографических сайтах в интернете, который он успел завести с двумя эстрадными певичками, - и пошел в дом.

Большая комната была полна народу. Одна из желтых девиц сидела за роялем, а рядом стояла рослая молодая особа с рыжими волосами, дива из знаменитого эстрадного ансамбля, и пела. Она выпила много шампанского, и на втором куплете исполняемой песенки жизнь вдруг показалась ей невыносимо печальной - поэтому она не только пела, но еще и плакала навзрыд. Каждую музыкальную паузу она заполняла короткими судорожными всхли-

пиваниями, после чего дрожащим сопрано выводила следующую фразу. Слезы лились у нее из глаз, - впрочем, не без препятствий: повиснув на густо накрашенных ресницах, они приобретали чернильный оттенок и дальше стекали по щекам в виде медлительных черных ручейков. Какой-то шутник высказал предположение, что она поет по нотам, написанным у нее на лице; услышав это, она всплеснула руками, повалилась в кресло и тут же уснула мертвецким пьяным сном.

- У нее вышла ссора с господином, который называет себя ее мужем, - пояснила молодая девушка, стоявшая со мною рядом.

Я огляделся по сторонам. Большинство женщин, которые еще не успели уехать, заняты были тем, что ссорились со своими предполагаемыми мужьями. Даже в компанию Марины проник разлад. Один из мужчин увлекся разговором с молоденькой актрисой, а его жена сперва высокомерно делала вид, что это ее нисколько не трогает и даже забавляет, но, в конце концов, не выдержала и перешла к фланговым атакам - каждые пять минут она неожиданно вырастала сбоку от мужа и, сверкая, точно разгневанный бриллиант, шипела ему в ухо: "Ты же обещал!"

Впрочем, не одни ветреные мужья отказывались ехать домой. У самого выхода шел спор между двумя безнадежно трезвыми мужчинами и их негодующими женами. Жены обменивались сочувственными репликами в слегка повышенном тоне:

- Стоит ему заметить, что мне весело, - сейчас же он меня тянет домой.

- В жизни не видела такого эгоиста.

- Всегда мы должны уходить первыми.

- И мы тоже.

- Но сегодня мы чуть ли не последние, - робко возразил один из мужей. - Оркестр и то уже час как уехал.

Невзирая на дружные обвинения в неслыханном тиранстве, мужья все же одержали верх; после недолгой борьбы упирающиеся дамы были подхвачены под мышки и вытащены в темноту ночи.

Пока я бродил туда-сюда, вспомнилось, что впервые я увидел Маяковского во время выступления в театре с чтением своих новых стихов. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум - по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая

огромная сцена, в глубине ее голые стены с какими-то балконами. И вот вышел Маяковский в виде того памятника, к которому мы привыкли на Маяковке. Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под тяжелых бровей его смотрели губительной силы и ненависти глаза... Тотчас же стало понятным, что этот человек хоть и знаменитый поэт, но вышел сейчас не пожинать лавры, а вышел работать. Позже я увижу Маяковского во время его выступления в Москве в Политехническом музее - и тогда образ именно работающего человека еще усилится: он будет снимать на эстраде пиджак и засучивать рукава. Разумеется, и теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной. То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое... Причем даже не о деятельности его - о нем самом!

- Я вчера видел Маяковского, и он...

- А знаете, Маяковский...

- Маяковский, говорят...

Вот что такое легендарная слава. Она была и у Есенина. Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершалось нечто поражающее умы.

В это время отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Марина вместе с Дворниковым. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозила светская любезность.

Спутники Марины были уже в дверях и нетерпеливо окликали ее, но она остановилась, чтобы попрощаться со мной.

- Я только что выслушала совершенно невероятную историю, - шепнула она. - Что, мы там долго пробыли?

- Добрый час.

- Да... просто невероятное, - рассеянно повторила она. - Но я дала слово, что никому не расскажу, так что не буду вас мучить. - Она мило зевнула мне прямо в лицо. Она уже бежала к дверям - легкий взмах смуглой руки на прощанье, и она исчезла среди заждавшихся спутников.

Чувствуя некоторую неловкость оттого, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Дворникову, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер ис-

кал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.

- Ну что вы, какие пустяки, - прервал он меня. - Даже и не думайте об этом, старина. - В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. - И не забудьте: завтра в девять часов утра мы с вами отправляемся в полет на вертолете.

Но тут голос помощника из-за его спины:

- Вас вызывает Омск, Николай Васильевич.

- Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку... Спокойной ночи.

- Спокойной ночи.

- Спокойной ночи. - Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого желал и радовался этому. - Спокойной ночи, Юрий Александрович... Спокойной ночи.

Но когда я спустился с лестницы, выяснилось, что вечер еще не окончен. Впереди, шагах в пятидесяти, свет десятка автомобильных фар выхватывал из ночной тьмы странное и беспорядочное зрелище. Я был молод в дни, когда познакомился с Маяковским, однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским. Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбию. По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей, - вернее, той силой впечатления, которое он производил на них, - он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же, во имя хорошего самочувствия партнера, снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек. Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери.

Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блистает рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского - малолитражный "шевроле".

- Куда, Владимир Владимирович? - спрашиваю я.

- К маме, - отвечает он охотно, с удовольствием. Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно - иметь собственный автомобиль, то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказала его любовь к современному, к индустри-

альному, к технике, к журнализму, выражавшаяся также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых, каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он "Бруклинский мост". И вот в придорожном кювете, выставив ободранный правый бок без переднего колеса, покоился его новенький двухместный автомобиль, за минуту до этого отъехавший от дома Дворникова. Острый выступ стены объяснял историю оторванного колеса - оно, кстати, валялось тут же, и несколько шоферов, побросав свои машины, с интересом осматривали его и ощупывали. На дороге тем временем успела образоваться пробка, и неумолчный разноголосый рев сигналов из задних рядов еще увеличивал сумятицу.

Маяковский вылез из обломков крушения и теперь стоял, широко расставив ноги, огромным памятником посреди дороги, с трогательным недоумением переводя взгляд с машины на колесо и с колеса на зрителей.

- Видали? - басом произнес он. - Угодил в кювет.

Самый факт, по-видимому, безгранично изумлял Маяковского.

- Как это случилось? - спросил я с долей сочувствия.

Маяковский пожал плечами.

- Я в технике ничего не понимаю, - решительно объявил он.

- Но как это случилось? Вы налетели на стену?

- Меня не спрашивайте, - сказал Маяковский с видом человека, умывающего руки. - Автомобилист из меня слабый, можно сказать - никакой. Случилось, и все.

- Если вы неопытный водитель, так не пытались бы ехать ночью.

- А я и не пытался, - возразил Маяковский с негодованием. - Я даже и не пытался.

Все кругом замерли от ужаса.

- Вы что же, самоубийство задумали?

- Скажите спасибо, что отделались одним колесом. Человек садится за руль и даже не пытается рулить!

- Вы не так поняли, - запротестовал Маяковский. - Я вовсе не сидел за рулем. Нас в машине было двое.

Это заявление положительно оглушило всех. Сдавненное "о-ох!" пронеслось над дорогой. Но тут дверца машины начала медленно открываться. Собравшаяся в мгновение ока толпа невольно попятилась, и, когда дверца откинулась совсем, наступила злове-

щая пауза. Затем из машины очень медленно, по частям, высунулась миниатюрная бледная личность Лили Брик и осторожно стала нащупывать почву бальным башмачком кукольных размеров.

Ослепленный ярким светом фар, одуревший от непрерывного воя сигналов, призрак эротоманки Брик закачался из стороны в сторону, пока, наконец, не заметил Маяковского.

- Володя, в чем дело? - прокуренным баском невозмутимо осведомилась Лиля. - Бензин кончился?

- Вы взгляните сюда! - Несколько пальцев указывало на ампутированное колесо. Лиля уставилась было на него, потом подняла глаза вверх, будто заподозрила, что оно свалилось с неба.

- Отлетело напрочь, - пояснил кто-то.

Она кивнула.

- А я и не заметила, что мы стоим. - Пауза. Потом, с шумом набрав воздух в легкие и расправив подростковые плечи, она деловито спросила:

- Кто-нибудь знает, где тут можно заправиться?

С десяток голосов, часть из них звучала немного более твердо, принялись втолковывать ей, что между машиной и колесом более не существует физической связи.

Кошачий концерт гудков достиг своего апогея. Вот одно из черновых прощаний, дорогая жизнь. Между прочим, уже, как говорится за кадром, возникает маленькая комната в типографии, и Есенин, в смокинге, лакированных туфлях, но растерзанный.

Немедленно выпили, закусили.

И Есенин стал, завывая, как ветер, читать "Черного человека". Во время чтения схватился неуверенно, уже был пьян, за этажерку, и упал с ней в обнимку.

- Друг мой, друг мой, я очень и очень болен,

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит над пустынным и диким полем,

То ль, как рошу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь...

Слава Есенина, как и слава Маяковского, была беспредельна. В литературных кругах все время говорили о нем - о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видят, о его скандалах - даже о его славе. Это было вскоре после того, как

закончился его роман с Айседорой Дункан. Он побывал с ней в Америке, вернулся - и вот теперь говорили, что этот роман закончен. Вернувшись из Америки, он напечатал впечатления о Нью-Йорке, назвав их "Железный Миргород".

- Что подельвает Лиля Брик? - Лилия Брик была извилистой женщиной с маленькой черной головкой, гениально игравшая любовь.

- Маленькие - они все злолюбивые! - бросил Есенин, опрокинул рюмку, и посмотрел на меня как бы из тумана.

Есенин ушел молодым, золотым, с плывущими по воздуху нитями волос. Я повернулся и напрямик по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Фара луны сияла над особняком Дворникова, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяйки на дома с поднятой в прощальном жесте рукой.

ПАВЛИНА

рассказ

Прошли новогодние праздники, нужно было сдавать в налоговую баланс, а делать его теперь было некому. Алексею Валентиновичу нужен был новый бухгалтер. Прежняя бухгалтерша нашла себе более денежное место. Аппетиты у бухгалтеров, как и юристов, разгорались. Алексей Валентинович отпустил ее с условием, что она найдет ему замену в том же районе, и чтобы инспекторов налоговой знала, и была с ними в коротких отношениях. Задача, нужно заметить, непростая. И вот к концу января, наконец-то, такая замена нашлась. Он поехал с шофером Левой в пригород, где выросли высокие новые дома. Договорились встретиться у гастронома. Лева вовремя подъехал и остановился на стоянке. Через некоторое время подошла довольно крупная женщина в дубленке. Лева выскочил из машины и любезно открыл ей дверь на заднее сиденье возле шефа. Женщина села рядом с Алексеем Валентиновичем. На вопросы она отвечала низким плавным голосом, каким-то материнским, бархатным. Она была, судя по паспорту, который она с другими документами для оформления предъявила Алексею Валентиновичу, на пять лет моложе его, но выглядела, по его мнению, гораздо старше. Есть такие женщины, которые всегда выглядят вечными матерями. Нельзя сказать, что они раз и навсегда обабились, но вот эта материнская - матерелость - впечаталась в них раз и навсегда. Они обычно высокие, но не длинные, полные, но не толстые. У нее было редкое имя: Павлина. Но она сказала, что все ее называют просто Линой, Линой Витальевной.

Лина Витальевна стала один раз в квартал сдавать балансовый отчет в налоговую инспекцию, которая находилась возле ее дома. Сам Алексей Валентинович зарегистрировал тут одним из первых свой кооператив, поскольку в этом отдаленном районе

за приличное вознаграждение могли зарегистрировать хоть черта с рогами. Таковым Алексей Валентинович не был, но обороты финансовые у него были приличные. Сам он до нового времени протирал штаны в НИИ, имел степень кандидата технических наук, в советский период перебивался уроками - готовил абитуриентов. Раза три в квартал ему приходилось теперь встречаться с Линой Витальевной, чтобы передать ей необходимые бумажки и зарплату. Она внимательным взглядом окидывала его, как бы изучая, словно стремясь рассмотреть его лучше. Алексей Валентинович был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека, носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одет был прилично, но небрежно, выбрит гладко, и волосы его, совсем короткие, мерцали проседью. Примерно через полгода Лина Витальевна пригласила его подняться к себе. То он в машине передавал ей все необходимое, а тут она пригласила. Дело было солнечным вечером летнего дня. Лева остался дожидаться в машине. Алексей Валентинович даже не знал, как Лина Витальевна живет. Квартира ее была на последнем семнадцатом этаже, с окнами на лес. Полные губы Лины Витальевны были накрашены ярче обычного. На ней было светлое шелковистое платье в крупный горошек. Платье сильно подчеркивало объемную фигуру Лины Витальевны. Увидев ее с порога, Алексей Валентинович даже от волнения, внезапно охватившего его, покраснел.

- Проходите! - с придыханием сказала Лина Витальевна, шире раскрывая дверь.

Рука ее медленно отошла в сторону, и так же медленно расползся вырез на платье.

- Какое у вас красивое платье, - сказал Алексей Валентинович, отводя глаза в сторону.

- Фу, - усмехнулась Лина Витальевна, - какое же это платье! Это не платье, а халат.

И чуть ли не распахнула его. Алексей Валентинович на мгновение зажмурился и отвернулся.

- Устали?... - спросила своим бархатным голосом Лина Витальевна.

- Есть немного, - сказал Алексей Валентинович, проходя за Линой Витальевной на кухню.

Он как бы видел и не видел ее. Он воспринимал ее только как бухгалтершу. Поэтому с ходу сел к столу, поставил на колени

портфель и принялся выкладывать бумаги на стол, на котором возле трехлитровой банки с грибом лежали: старенький калькулятор, школьная зеленая тетрадка с потертыми углами и фантик от какой-то карамели. На подоконнике в тяжелых горшках цвели бордовыми, розовыми, белыми цветами густые герани. Вся кухня была превращена в подобие сказочного теремка. Лакированные, как палехские шкатулки, шкафчики, тумбочки, столики были в ярких узорах.

- Чай или кофе? - спросила, оглянувшись, и второй подбородок нежно колыхнулся, Лина Витальевна.

Она стояла к Алексею Валентиновичу спиной у плиты. Алексей Валентинович обратил внимание на этот второй подбородок, но больше - на совершенно античный профиль с прямым носом, с едва заметной горбинкой.

- Чай, - сказал он и спросил. - А в комитете статистики вы были?

- Конечно, была. У них новые формы ввели, я уже сдала, - сказала она, ставя на кухонный стол чашки с блюдцами.

Разобравшись с бумагами, они пили чай. К чаю Лина Витальевна нарезала лимон, который теперь искрился на тарелке в лучах заходящего солнца. Было тихо. Некоторое время они молчали. Лина Витальевна помешивала ложечкой чай, и звук ложки о чашку был тих и прозрачен, как новогодний колокольчик. Лина Витальевна смотрела в окно. Большие зеленые глаза ее поблескивали и чуть-чуть улыбались. Алексей Валентинович тоже улыбался и смотрел на лес, на линию горизонта, на садящееся огромное малиновое солнце, которое, казалось, сейчас сорвется с места и влетит в это окно на семнадцатом этаже. После солнца, и вместе с солнцем он думал о рядом сидящей сдобной женщине, которую можно было спокойно потрогать. Кухонный стол небольшой, они сидят рядом, его рука спокойно может быть положена ей на колено, или сверху - в открытый выем халата на грудь. Лина Витальевна словно прочитала эти мысли, и как-то так шевельнула плечами, распрямила спину, что выем стал гораздо шире, и уже обе груди над кружевными лифчика были видны Алексею Валентиновичу. Он смутился. Хотя только что, казалось, усилием воли принял решение положить свою ладонь ей на грудь и сжать ее нежно, томительно и страстно. А если вдруг Лина Витальевна запротестует, или хуже того - отбросит руку его или даже ударит.

Ведь вполне может быть такое. Он как бы востепенел и сказал, что ему пора.

- Вы хоть квартиру посмотрите, - предложила Лина Витальевна.

Сам Алексей Валентинович жил в двухкомнатной квартирке с восьмидесятилетней матерью. Он понимал, что ему срочно нужно решать семейный (жениться) и квартирный (покупать квартиру) вопросы, но Алексей Валентинович считал, что времени в запасе много. Жениться было сложно. Никто из женщин его, практически, не устраивал. А квартиру он собирался вот-вот покупать. Предлагали шестикомнатную в старом доме. Хозяева уезжали в Израиль. Но дом не понравился Алексею Валентиновичу - подъезд у ворот автобазы дорожных машин. Запредельная цена не смущала Алексея Валентиновича, и он бы мог спокойно ее вывести из оборота, но варианта не попадалось. Хотя, откровенно, не занимался он вплотную этим вопросом. Некогда все было. С шести утра - до часа ночи, работа и переговоры, переговоры и работа. В день не менее двадцати встреч. А время - это не деньги (хотя и деньги, конечно), а связи. Особой роскоши в квартире Лины Витальевны не было, но всюду были какие-то самодельные плетеные, вязаные, расшитые пестрые коврики, салфетки, накидки, подушки, занавески, шторы... Со странной улыбкой, которая была ей неприятна, он осмотрел каждую комнату, стены, и окна, и старые высокие шкафы в прихожей и в коридоре, все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к ней из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо, и все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как Лине Витальевне казалось, недобрый или враждебным. Быть может, она ошибалась.

- А у меня весь дом в книгах, - сказал он, не обнаруживая в квартире ни одной книги.

Ну, в буквальном смысле слова, ни одной книги он не заметил, даже по бухгалтерскому делу, даже журнала какого-нибудь, даже брошюры, даже газеты...

- Времени нет читать, - вздохнула Лина Витальевна. - Он сын тут от безделья притащил одну книжку про пьяницу... Забыла, как звать-то автора... Про станцию Петушки написал...

Лина Витальевна положила ладони на бедра, отставив в стороны локти, и возвела глаза к потолку, пытаясь вспомнить автора.

- А-а, - протянул, догадываясь, о чем идет речь, Алексей Валентинович, - это же самый известный писатель у нас в России сейчас - Венедикт Ерофеев, автор книги "Москва - Петушки".

- Во-во! - оживилась Лина Витальевна. - Пьяница написал о пьянице скандальную книгу, и ее провозглашают книгой века! Быть известным от прилавка винного магазина до вокзала - это уже какая-то скандальная известность, и она не имеет никакого отношения к литературе. Я и талдычу сыну - не пей, и книжку эту выброси. Муж у меня не пьет...

Алексея Валентиновича поразила кровать в спальне - метра три в ширину. Он даже почувствовал прилив страсти и чуть было не увлек Лину Витальевну на это семейное ложе, даже руку ей на талию положил, почувствовав сладость застоявшегося тела. А почему он так подумал, что Лина Витальевна застоялась? Только он это подумал, как отдернул руку. А Лина Витальевна даже чуть не упала на кровать, покрытую розовым шелковым покрывалом, конечно, вышитым гладью, выставив руку, утопая растопыренной кистью в перине.

- А там что? - отвлек ее от падения Алексей Валентинович, кивая на дверь в углу.

Лина Витальевна выпрямилась и как-то недовольно вскинула брови.

- Там - кладовка.

- А где же все ваши? - спросил он и немного успокоился.

- Муж у меня инвалид, - сказала Лина Витальевна, выходя в коридор и направляясь опять на кухню.

Алексей Валентинович, поглядывая на колышущиеся под тканью халата формы Лины Витальевны, мысленно обхватывая, сжимающая, гладя их, шел следом.

Продолжили чаепитие.

- Муж только изредка навевается. А так - живет в деревне. Там у него корова. Дочь вышла замуж и живет отдельно. А сын учится в ПТУ... Сейчас он с отцом в деревне. А вы, Алексей Валентинович, уж слишком стеснительны... - Она едва заметно порозовела. - Воспитаны вы, Алексей Валентинович, поэтому и несчастны...

Алексей Валентинович почувствовал себя уличенным, словно она видела его, как говорят люди, насквозь, и удивленно вскинул на нее глаза.

- Почему вы решили, что я несчастен? - каким-то шепотом выдал он.

- Так мне кажется, - сказала она лаконично, - и это хорошо.

И тут на ее лицо, которое и в самом деле было для Алексея Валентиновича каким-то волшебным зеркалом, набежала тяжелая туча серьезности, вдруг все это лицо задышало только серьезностью, только трагизмом, бездонным, как в пустых глазах маски. Медленно, словно бы через силу произносилось слово за словом, она сказала:

- Да потому что женщины у вас нет!

- Кто вам об этом сказал? - обидчиво спросил он.

- Это у вас на лице написано, - с усмешкой сказала она.

И по этим словам он понял, что сидит с деревенской простой женщиной, которая замаскировалась под городскую. Вдруг разорвал тихую беседу громкий дверной звонок. Лина Витальевна вздрогнула и тревожно посмотрела в сторону прихожей. Звонок повторился. Вставая, и прямо на ходу Лина Витальевна крикнула:

- Кто там?

- Да это я! - раздался мужской голос. - Ключи в деревне забыл...

Лина Витальевна застыла в страхе, приложила палец к губам и шепнула Алексею Валентиновичу:

- Идите в дальнюю комнатку. Это сын. Я не хочу, чтобы он видел...

Алексей Валентинович взял портфель и, мягко ступая, быстро прошел в дальнюю комнатку и плотно закрыл за собой дверь. Здесь стояло два мягких кресла, диван и платяной шкаф. Весь подоконник был заставлен кактусами. Он сел в кресло и прислушался. Открылась дверь.

- Чего ты приехал? - донесся голос Лины Витальевны.

- Да мы с ребятами на футбол сейчас идем, я помыться заскочил. А то в деревне отец печь в бане разобрал, две недели не мылись, новую складывает, настоящую каменку...

Потом послышались шаги, зазвучала музыка. Видимо, сын включил магнитофон. Грубая мелодия с тяжелыми басовыми ударами, ритмичными, как строевой шаг часовых, и жаркими,

как пар от сырого мяса, обдала Алексей Валентиновича. Завибрировали потолок и стены, что всегда угнетало и выводило из равновесия Алексея Валентиновича, потому что дома над их с матерью квартирой жил шестнадцатилетний меломан, который оглушал своими концертными динамиками весь дом, и повлиять на него никак не могли, поскольку он никогда не открывал дверь, и его никак не могли подловить на лестнице, словно он никогда не выходил из квартиры, а милиция не реагировала, говоря, что у них и так "делов" по горло и выше. Потом зашумела вода в ванной, а музыка смолкла. Когда она смолкла, сразу сердце Алексея Валентиновича успокоилось. Он подумал о том, что живет в постоянном страхе, оттого что его правильно поймут. Потом защелкнулась дверь в ванной. Через минуту в комнатку вошла Лина Витальевна. Сразу села в другое кресло. При этом халат так распахнулся, что Алексея Валентиновича обожгла белизна полных ног много выше колена.

- Он сейчас уйдет! - сказала она таким родным тоном, словно Алексей Валентинович только что был с нею в одной постели.

- Я очень спешу, - ответил он и, не оглядываясь, прихватив портфель, бросился к двери.

Но дверь оказалась закрытой. Лина Витальевна дышала, что называется, ему в затылок. Даже один раз грудью его коснулась.

- Откройте, пожалуйста, дверь, - сказал он.

Из ванной по-прежнему доносился шум воды.

- Я вас не пущу, - решительно сказала Лина Витальевна.

Глядя ему в глаза, она умолкла, ее лицо перестало быть напряженным, оно расправилось, как распускающийся цветок, и вдруг на губах ее появилась восхитительная улыбка, хотя глаза еще мгновение оцепенело глядели в его глаза. Это "не пущу" прозвучало для него убедительно, как неотвратимая предопределенность. Алексей Валентинович принял это без всякого сопротивления, и, тем не менее, несмотря на ужасающую серьезность, с какой она это сказала, все это казалось ему не вполне реальным и серьезным. Одна часть его души впивала ее слова и верила им, другая часть его души успокоительно кивала и принимала к сведению, что и у такой умной, здоровой и уверенной "Павлины" тоже, оказывается, есть свои причуды и помрачения. Едва было выговорено "не пущу", как вся эта сцена подернулась дымкой нереальности и призрачности. Алексей Валентинович интеллигентно стал

протестовать, но Лина Витальевна его не слушала, взяла за руку и повела, хотя он немного и сопротивлялся, в дальнюю комнатку.

- Я сказала, что культурны вы слишком, Алексей Валентинович, поэтому и несчастны, - сказала она, садясь в кресло.

Алексей Валентинович сел на валик ее кресла и сказал:

- Может быть, я, в самом деле, слишком обходителен, а вы хотите, чтобы я ушел от вас утром?

Он даже попытался обнять Лину Витальевну, правда, очень несмело. Все нереальнее становилась недавняя сцена с "не пущу", все невероятнее казалось, что лишь несколько минут назад эти глаза глядели так тяжело и так леденяще. О, в этом "не пущу" была сама жизнь: всегда лишь мгновенье, которого нельзя учесть наперед. Эта женщина, разглядевшая Алексей Валентиновича насквозь, знавшая о жизни, казалось, больше, чем все родственники вместе взятые, ребячилась, жила и играла мгновеньем с таким искусством, что сразу превратила его в своего ученика. Была ли то высшая мудрость или простейшая наивность, но кто умел до такой степени жить мгновеньем, кто до такой степени жил настоящим, так бережно ценил случай, как Павлина Витальевна. Шум воды резко прекратился, и они сразу тоже затихли. Лина Витальевна быстро встала и, опять приложив палец к губам, вышла. Послышался голос сына, после этого опять загрела музыка, а вскоре раздался звонок в дверь. Поплыл голос Лины Витальевны: "Кто там?". Щелчки замка, новые голоса, мужские и женские, шум. Минуты через две заглянула Лина Витальевна, шепнула:

- Сидите тихо, они не идут на футбол, они будут смотреть его по телевизору. Я им там накрою...

Дверь закрылась. Механическая музыка смолкла. Зато заиграла гармошка, и хор голосов проворно запел частушки:

У меня залётка есть
По имени Тима,
Этот Тима, Тима, Тима
Прямо создан для интима...

Вновь приоткрылась дверь, и возникло улыбающееся лицо Лины Витальевны.

- С деревни девки с парнями пожаловали! Ишь, как справно поют! - проговорила она.

- Но мне нужно уходить. Мне некогда, - сказал Алексей Валентинович.

Лина Витальевна отрицательно замотала головой.

- Никак нельзя. Они сразу вас увидят... А потом мужу в деревне все расскажут. Вам это что - объяснять нужно? Сплетни пойдут!

Какое ласковое, какое материнское было у нее лицо, когда она это говорила! В ее глазах, холодных и светлых, витала умудренная грусть, эти глаза, казалось, выстрадали все мыслимые страдания и сказали им "да". Губы ее говорили с трудом, словно им что-то мешало, - так говорят на большом морозе, когда коченеет лицо, но между губами, в уголках рта, в игре редко показывавшегося кончика языка струилась, противореча ее взгляду и голосу, какая-то тайная, женская чувственность, какая-то искренняя сладострастность. На ее тихий, ровный лоб свисал короткий локон, и оттуда, от той стороны лба, где он свисал, изливалась время от времени, как живое дыхание, эта волна материнства, любовной магии. Алексей Валентинович слушал ее испуганно и все же, как под наркозом, словно бы наполовину отсутствуя. Ему казалось, что это ужасно тяжелая работа - ничего не делать. Он всегда удивлялся сам себе и считал, что это единственное, ради чего стоило жить. Но эти женские разговоры о сплетнях выводили его из себя. Еще в детстве мать частенько говорила, чтобы он своим поведением не давал повода для сплетен, то есть был тише воды, ниже травы.

- Какие могут быть сплетни?! - чуть слышно все же вскричал Алексей Валентинович. - Я, директор фирмы, зашел к своему главному бухгалтеру. И это может стать основанием для сплетни?

Лина Витальевна только томно вздохнула и закрыла дверь. Минут пять ее не было. Зато частушки усилились, и ее голос вплетался в них. "По всей видимости, выпила", - подумал Алексей Валентинович.

Спустя какое-то время Лина Витальевна вошла украдкой в комнату с рюмкой водки и огурчиком на вилке.

- Тихо, - прошептала она. - Выпейте за мое здоровье. М-да.

Алексей Валентинович взял протянутую рюмку, покрутил ее, подумал и выпил.

- Вот и молодец, - сказала Лина Витальевна. - А то вы пойдете, а они увидят, и будут потом городить черт знает что...

Она замурлыкала известную мелодию и запела:

Дерева, вы мои деревья,
Что вам головы гнуть-горевать.
До беды, до поры
Шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема...

Затем взяла его за руку и притянула к себе. Алексей Валентинович обнял ее и сделал первые шаги, еще удивляясь тому, что она так просто ведет себя, но она уже поняла, как обстоит с ним дело, и стала вести его под свою мелодию. Танцевала она превосходно, он вошел во вкус и на время забыл всю необычность ситуации, он просто плыл вместе с ней, чувствовал горячие бедра, чувствовал быстрые податливые колени Павлины, глядел в ее приветливое, сияющее лицо и признался ей, что танцует сегодня после десятилетнего, как минимум, перерыва. Она улыбнулась и ободрила его, отвечая на его смущенные взгляды. В смущении ей виделся тайный эротоман.

- Вот и не надо уходить, а то они, - кивнула она на дверь, - увидят и подумают...

- Лина Витальевна, пусть думают, нельзя же мне все время здесь прятаться, - сказал Алексей Валентинович.

Не слушая, Лина Витальевна окончила танец и выскользнула из комнаты. Из глубины квартиры послышалось очень громкое, кто в лес - кто по дрова, переходящее в развязное пение:

Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в шикарный ресторан,
Там сидела Мурка с лягавыми на пару,
А в руках у ей блестел наган.

- Мурка, в чем же дело? Ну, что ты не имела?
Разве ж я тебя не одевал?
Кольца и браслеты, шляпки и жакеты
Разве ж я тебе не покупал?

Потом опять вплыла с полной рюмкой и огурчиком Лина Витальевна. Раздался звонок в дверь. Лина Витальевна поспешила открывать. Спустя буквально минуту, вернулась, сказала, что шо-

ПАВЛИНА

фер Лева ждет ответа, поедет ли Алексей Валентинович или нет? Лина Витальевна посмотрела на Алексея Валентиновича вопросительно. И он уловил в этом взгляде подступающее против воли опустошение. Когда достигаешь цели, то понимаешь, что путь и был целью.

- Передайте, пожалуйста, Леве, что я... задержусь. Пусть он уезжает без меня... - сказал тихо, но изменившимся голосом он.

Лина Витальевна чуть слышно рассмеялась.

"Наша улица", № 2-2004

ЗИМА НА СУХАРЕВКЕ

рассказ

Большой Сухаревский переулочок спускался вниз к Цветному бульвару, до этого, на Трубной улице, сменив имя на Малый Сухаревский. Была очень холодная зима, воробьи замерзали прямо в воздухе и ледяными камнями падали на асфальт. Пожив в Москве без работы несколько месяцев, Серафимов, щуплый, остроносый, с глубоко и близко посаженными черными глазами, отчего походил на скворца, стал рано возвращаться в комнату в огромной коммуналке, которую уступил ему Лядов, приятель-москвич, с которым он познакомился на вступительных экзаменах, почти что у самой Сретенки, и ложился в кровать, укутавшись теплым одеялом. Батареи были чуть теплыми.

С наступлением ночи на улицах уже властвовал лютой мороз. Из подворотни дул резкий, свистящий, как паровоз, промозглый ветер, а с крыш шел такой гул и лязг, как будто разгружали листы железа, бросая их остервенело, как это любят делать пьяные грузчики, на мостовую. Даже обладатели шуб, съевшись и уткнувшись в воротники, спешили по обледеневшим улицам, чтобы поскорее укрыться в натопленных домах. Что уж говорить о Серафимове, который промерзал до костей в своем заношенном демисезонном пальтишке и в кепке! Даже на шапку-ушанку денег не было. И зачем он остался в Москве? Надо было ехать домой, в деревню, к матери. Нет! Он решил и на следующий год поступать в театральное училище. Вот вынь и положь, чтоб актером был Серафимов и точка!

Лядов поступил, учился, иногда забегал с бутылкой и сокурницами, переночевывал и надолго исчезал. В первые дни Серафимову никак не удавалось уснуть. Он постоянно повторял стихотворение Мандельштама, которое приказал ему учить Лядов, чтобы на следующий год поступить:

Я не увижу знаменитой "Федры"
В старинном многоярусном театре...

Но к середине декабря Серафимов привык к тому, что в доме было холодно. И на этот раз, войдя в комнату, он тотчас же сбросил полуботинки, в которых ноги от мороза задеревенели, и нырнул в кровать. Часов пять-шесть он лежал без сна. Ему было довольно-таки тепло под ватным одеялом, и он следил, как оконные стекла постепенно затягивало, как тюлем, хрупкими морозными узорами ледяной красоты.

Поздно - часа три ночи. В комнате полутемно и тихо. Час назад здесь толпилось и болтало много народу - слышались магнитофон, пение, смех. Но теперь гости разошлись, в углу на полу выстроилась батарея бутылок из-под водки, из-под бормотухи, из-под шампанского, из-под четвертинок, из-под пива, а в неярком желтоватом свете лампы "полуночичают" Серафимов и несколько его приятелей. Один из собеседников выделяется - одет он каким-то мужичком из балета. Это сам Лядов. Розовая рубашка, золотой поясок, гребень на тесемочке. Впрочем, весь этот туалет был все тем же костюмом "стиляги", хотя и навыворот. И на "о", как Солоухин, Лядов произносит так же старательно. Лет ему немного - не больше восемнадцати, но он студент актерского факультета. Лицо простоватое, хотя он коренной москвич, милое, косит под Есенина. Идут разговоры о стихах, чтение стихов. Вот - Лядов нараспев читает. Талантливо, даже очень талантливо... если бы только не портила сусальная "народность", та же самая, что в гребешке и поясочке.

Иногда ночью набегают мимолетные виденья. Случается, что Серафимов видит ту девушку из аэропорта, когда он ожидал своего самолета на Москву. Лететь! В Москву! Учиться на артиста! Что может быть прекраснее? Еще раз он увидел девушку из аэропорта, когда брился жутко жужжащей бритвой "Спутник", глядя, как в зеркало, в прозрачную стену кафе. Девушка была за стеной. Она завтракала. Серафимов внимательно поглядывал на нее через собственное нечеткое отражение. Девушка едва заметно улыбнулась ему, а он, сам не зная почему, сделал над собой усилие и не улыбнулся, изображая из себя нечто абсолютно целеустремленное, прямолинейное, как рельсы из Владивостока в Москву, продолжая со всей тупой се-

ррезностью свое несерьезное занятие. Тогда девушка поставила чашечку кофе на стол и рассмеялась. После этого лицо Серафимова сделалось совсем сердитым. Выбритым, чистеньким, но сердитым - взял и обиделся. А девушка по-детски как-то показала ему язык. Она, конечно, не могла ему не понравиться. У нее было лицо, как у всех красивых девочек 64-го года.

- Садитесь сюда, - сказала она с загадочной улыбкой, когда он с яичницей оглядывал почти пустое кафе, выбирая место.

И неожиданно для себя он сел к ней, как бы подчиняясь ее словам, и, садясь, в неловкости и оттого, что она наблюдала за ним, задел ногой непрочный современный столик, шатнул его, покраснел и молча сердито принялся за яичницу.

- А вы - с хлебом, - она пододвинула ему хлеб. Серафимов ел под ее взглядом, добрым и взрослым, хотя она была равной по годам, а может быть так, что она была моложе его. В кафе играла музыка, "Маленький цветок", такая пьеса для кларнета и эстрадного оркестра, но она, эта музыка, подходила сейчас к их состоянию. Девушка в такт музыке тихо прихлопывала ладонями, прижимала их к губам, а он ел яичницу вилкой, смотрел только в тарелку, голы не поднимал.

- Сейчас потанцевать бы, - сказала девушка очень просто.

- Рано еще, - сказал Серафимов, лишь бы что-нибудь сказать.

- Это не важно, не в этом дело.

- А ты что, улетаешь? - Серафимову хотелось, чтобы разговор не был уж совсем односторонним.

- Встречаю мужа.

- Ну да - мужа? - он не поверил.

- Мужа.

- У тебя муж есть? - спросил Серафимов.

- Угу.

- Счастливые, кого встречают.

- Женишься - и тебя будут встречать.

- Где уж тут жениться, когда все девушки уже разобраны, - сказал Серафимов.

- Ну что ты! Нас же в два раза больше.

- Это для утешения говорят. Утешают таких, как я, - Серафимов помолчал. - В общем, у вас все хорошо?

- Очень хорошо.

- Но ведь так не бывает, - серьезно сказал Серафимов.

- А вот бывает! - Она улынулась.
- Улыбка у нее счастливая. Действительно счастливая.
- Надо подумать, - сказал Серафимов.
- А ты куда летишь?
- В Москву.
- Зачем?
- Как "зачем"? На артиста поступать. Больше в Москве делать нечего, - твердо сказал Серафимов.

Только что экспресс мчался по шоссе среди полей и деревьев. И вдруг, внезапно, за окном возникли огромные светлые корпуса новых зданий. Город как бы раздвинулся, это были его окраины, выстроенные совсем недавно, светлые, современные, сверкающие чистым стеклом. Серафимов сидел, прижавшись щекой к нагретому солнцем окну автобуса. А когда открыл глаза, то увидел, что Лядов-Есенин отчитался, сидит, наливает бормотуху по граненым стаканам. Тогда уж, засадив полный стакан черно-красной жидкости, читает стихи сам черноглазый Серафимов:

Я не увижу знаменитой "Федры"
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суеде актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
- Как эти покрывала мне постылы...
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданием крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог...
Я опоздал на празднество Расина!
Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии

Очнувшийся сосед мне говорит;
- Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

Дни шли за днями. Серафимов ложился и вставал, умывался и ходил, ел и говорил, оставался с собою одним в комнате. В эти минуты Серафимову слышно было, как по коридорам быстро проходили люди из комнаты в комнату и как ссохшиеся половицы скрипели у них под ногами. Скоро Серафимов почувствовал, что к нему в комнату сквозь щели в стене проникает теплый воздух. Рядом с Серафимовым в комнате справа жила какая-то молодая женщина с маленькой дочкой, и тепло от ее электрообогревателя проникало и к нему. До Серафимова доходил запах разогретого воздуха и вкуса горячей картошки. И он лежал, прислушиваясь, как они движутся по комнате, и представление о них, медленно складываясь, впечатывалось в сознание Серафимова. К полуночи он заснул, помня только, как в соседней комнате легко движется молодая женщина и как тихо и нежно говорит с матерью маленькая девочка. И спал он хорошо, вкусно, с добрым сном о родной стороне, когда неспешно вышли к реке, и пошли крутым берегом. Все время приходится с неясной тревогой посматривать на высокое небо. Медленно наползают с тревожного запада серые, рыхлые облачка. Падать - означает идти на за-пад, западать и падать. А восходить, подыматься, - значит идти на вос-ток, на вос-ход, восходить, чтобы в конце концов опять падать на запад. По широкому матовому зеркалу реки переливается, дрожит мелкая золотая зыбь. Когда налетит легкий ветерок, чеканный узор сусального золота не спеша растянется, как облако, вширь, и покроет всю речку. Когда стихнет, в зыбком, зубчатом зеркале, вздрагивая, колышется очень узкая ярко-зеленая полоска другого берега, за ней коричнево-черная пашня с красно-пегими пятнами двух женских фигур, почерневшая избушка за пашней и возле нее грациозный конь, похожий на вспышку молнии, - напряжен, вскинул голову и сейчас, взмахнув хвостом, ударит копытом. И в неподвижных белых облаках край низенького неба, молчаливого

и грустного, а под ним две старые-старые могилы, два кургана с крутыми боками, - но такие, как в южных степях, - и черные зубцы растрепанных, кучерявых сосенок на них. И кроткая тишина над всем, таинственные чары вековой немоты и бездонного смирения... О, нежная, покоряющая грусть и безглагольная красота родной земли! Вошли - в бор. Облака все бегут, бегут. Наползут на солнце, закутают его, - и сразу станет кругом смутно-зелено, душная сырость липко обнимет со всех сторон. Выглянет солнышко - вдруг усмехнется все светло и радостно, блеснут серебром, загорятся длинными, колкими лучами лужи по дороге, заиграет мшистая зелень под соснами, и черные, толстые линейки протянутся от деревьев через просеку. Но вон там, впереди, уже закурилась влажная пыль, как сквозь сито просеянная. Бежит навстречу нам. Налетает... Дождь...

После этой ночи Серафимов стал приходить домой много раньше, чтобы, тепло укрывшись одеялом, лежать без сна и прислушиваться ко всему, что происходит в соседней комнате. Молодая женщина готовила ужин девочке и себе, а потом они обе садились за маленький стол у окошка и не спеша ужинали, смеясь и болтая. Девочке было около восьми лет, и когда они вдвоем смеялись и болтали, мать казалась ее сверстницей.

Холод в холодной комнате был не так нестерпим с тех пор, как Серафимов узнал их.

На исходе декабря Серафимов знал их обеих так, как будто он их видел своими глазами. Сквозь фанерную перегородку, заклеенную розовыми обоями, Серафимов слышал все, что они говорили и делали, и даже через фанеру видел и следил за каждым движением их рук, за выражением их лиц - минута за минутой, с часу на час. Молодая женщина, судя по всему, нигде не работала, она оставалась в комнате большую часть дня, выходя только утром на полчаса, чтобы проводить дочку в школу, и второй раз среди дня, чтобы привести ее домой. Все остальное время она сидела у окна, глядя на ту сторону переулка, и ждала того времени, когда ей, наконец, можно будет идти за дочкой в школу.

В доме жило много народу. Серафимову казалось, что весь этот народ был каким-то бессмысленным, куда-то постоянно спешил, сновал, уходил, возвращался, а в чем был смысл этого движения, никто Серафимову не объяснял. Все комнаты во всех этажах были заняты мужчинами и женщинами, которые прихо-

дили и уходили, но никто из них не подходил к двери Серафимова, и никто не подходил и к двери в соседнюю комнату, где жила молодая женщина. В выходные из какой-нибудь комнаты неслись звуки гармошки, или голос Руслановой с "Валенками", или голос Шульженко с "Синим платочком", или голос Бернеса с "Я люблю тебя жизнь"... А иногда слышались тяжелые мужские шаги, торопливо приближавшиеся по коридору, и молодая женщина вскакивала со своего стула возле окна и опрометью бежала к двери, прижималась к ней, придерживая ключ в замке, и прислушивалась к звуку мужских шагов. Когда они удалялись, она медленно брела обратно к окну и снова садилась на стул смотреть на ту сторону Большого Сухаревского переулка.

С каждым днем становилось все холоднее, но Серафимову было тепло лежать под одеялом и слушать шорохи, доносившиеся сквозь тонкую перегородку.

Только заметив, что она бежит к двери при каждом звуке тяжелых мужских шагов, Серафимов понял: что-то должно случиться. Серафимов не знал, что именно, но каждое утро, уходя из комнаты, он приостанавливался и несколько минут вслушивался, стоит ли она у двери или сидит у окна. Вечером, вернувшись к себе, Серафимов снова прикинул ухом к холодной стене и слушал.

В этот вечер, простояв так более получаса, Серафимов опять почувствовал: что-то должно случиться, и тут, стоя на холоду, он в первый раз за всю свою жизнь подумал, как хорошо быть отцом. Серафимов не стал тушить свет, а забрался прямо в кровать, даже не сбросив ботинок. Насторожившись, он долго лежал, прислушиваясь к происходящему там, за стеной. Молодая женщина двигалась быстро и нервно, ее лицо было бледно и озабоченно. Сразу после ужина она уложила дочку в кровать и, не сказав ни слова, прошла к окну и застыла в ожидании. Она сидела молча, долгое время даже стул ни разу не скрипнул. Серафимов поднял голову с подушки, и скоро шея у него озябла и напряглась от неудобного положения.

Только в одиннадцать часов соседняя комната подала признаки жизни. За те три часа, что Серафимов пролежал в кровати, молодая женщина не двинулась со стула. А в одиннадцать она встала, выпила стакан воды и прикрыла дочку еще одним одеялом. Закончив с этим, она на минуту подошла к своему стулу, потом перенесла его и села у двери. Она сидела и ждала. Прошел еще час,

как вдруг в коридоре по скрипучим половицам послышались тяжелые шаги. Серафимов и она слышали их приближение, и оба вскочили на ноги. Серафимов подбежал к стене, приложил ухо к фанерной перегородке и ждал, что будет дальше. Молодая женщина прижалась к двери, пальцы ее сжимали ключ. Она прислушивалась, затаив дыхание. Дочурка ее крепко спала.

Через несколько минут Серафимов почувствовал, как холод леденит ему руки и ноги. В тепле под одеялом Серафимов уже забыл, какой стоит холод, и кровь быстрее текла в нем, пока он тихо лежал, напряженно вслушиваясь во все звуки дома. Но теперь, стоя у стены в этой ледяной комнате и прижимаясь щекой и ухом к холодным розовым обоям, Серафимов весь дрожал.

К двери соседней комнаты приближались мужские шаги. Серафимов слышал, как дрожит женщина, как тяжелое прерывистое дыхание сотрясает ее тело, и Серафимов ждал, что она вот-вот вскрикнет.

Он стукнул в дверь только раз и подождал. Она не отпирала. Он взялся за ручку и потряс ее. Она изо всех сил придерживала дверь и крепко вцепилась в ключ прикипевшими к нему пальцами.

- Я знаю - ты здесь, Надя, - медленно сказал он. - Отопри, впусти меня.

Она не отвечала. Серафимов слышал сквозь тонкую перегородку, как она всем своим телом придерживает хрупкую дверь.

- Ну, так я сам войду! - сказал он.

И тотчас же что-то хрустнуло под его плечом, дверь не выдержала, и он ворвался в комнату. И тут женщина не издала ни звука. Она бросилась к кровати, прикрыла своим телом мирно спавшую девочку, отчаянно обхватив ее руками.

- Я пришел не для того, чтобы спорить, - сказал мужчина. - Я пришел, чтобы положить всему этому конец. Пусти меня к ней.

И тогда в первый раз за весь этот вечер Серафимов услышал ее голос. Она выпрямилась и стояла перед ним, заслоняя кровать. Серафимов прижимался щекой и ухом к холодной перегородке и ждал.

- Она моя не меньше, чем твоя. Ты не смеешь отнимать ее у меня!

- А ты разве не отняла ее у меня? Увезла танком. Теперь мой черед. Я ее отец.

- Слава! - взмолилась она. - Слава, прошу тебя...

- Молчи! - сказал он.

Он подошел к кровати и взял девочку на руки.

- Если ты унесешь ее, Слава, я тебя убью, - медленно сказала она. - Я это сделаю, Слава.

С девочкой на руках он подошел к двери и остановился. Он был совершенно спокоен, и сквозь тонкую перегородку не слышалось его дыхания, но женщина была в исступлении. Руки и ноги Серафимова окоченели, он не мог управлять даже мускулами своего языка. Женщина еще не плакала, но сквозь обои Серафимов слышал ее тяжелое дыхание и быстрые движения.

Он обернулся к ней.

- Что сделаешь? - спросил он.

- Я убью тебя, Слава.

Наступило молчание, короткое и полное. Он стоял у двери, девочка у него на руках медленно просыпалась, он ждал. Каждая секунда казалась часом.

- Меня ты не убьешь, - наконец сказал он. - Я сам с тобой разделаюсь, Надя.

Сквозь тонкую перегородку Серафимов слышал, как рука его мягко опустилась в кобуру и выскользнула из нее.

Когда он направил на нее пистолет, она вскрикнула. Он подождал, пока она не замолкла, а потом нажал спуск, почти не целясь, но, все же прищурив левый глаз, словно он брал ее на мушку. Прислонясь к розовым обоям, Серафимов какое-то время стоял, весь содрогаясь, ему казалось, что это он был отец, беспрепятственно позволивший похитить девочку. Стоял, весь дрожа от пронизывающего холода комнаты.

Раскаты выстрела оглушили, и не сразу прекратился звон в ушах. Серафимов услышал скрип двери и шаги. Он схватил бутылку из-под шампанского и выскочил в коридор. Широкоплечий милиционер с девочкой на руках шел навстречу. Серафимов размахнулся и даже подпрыгнул, обрушивая удар на голову милиционера. Во все стороны полетело разбитое стекло. Милиционер мгновенно рухнул на пол. Девочка пронзительно закричала. Серафимов метнулся в свою комнату, накинул пальто и выбежал из квартиры. Он стремительно шел, почти бежал в тапочках к Цветному бульвару, не оглядываясь. Перейдя бульвар, Серафимов нырнул в Колобовский переулок и вошел в первый попавшийся подъезд. Поднявшись на третий, последний этаж, Серафимов лег под горя-

ЗИМА НА СУХАРЕВКЕ

чую батарею и затих до утра. На другой день, босиком, он вошел в одну из аудиторий Школы-студии МХАТ, где было в самом разгаре занятие по сценической речи. Рыженькая девочка-студентка следом за полногрудой преподавательницей выполняла, активно открывая и закрывая рот, артикуляционные упражнения. Увидев вошедшего, она так с открытым ртом и застыла. А Серафимов, чувствуя себя в это мгновение Василием Ивановичем Качаловым, с порога, сильно размахивая руками, прочитал:

Я не увижу знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре
С прокопченной высокой галереи
При свете оплывающих свечей...

"Наша улица", № 3-2004

ЖАЛКО ЯГОДУ ВИНОГРАДА

рассказ

Для геолога, который значительно позднее стал бы изучать наш окаменевший земной шар, самой удивительной из революций, испытанных Землей, была бы, несомненно, та, которая произошла в начале периода, весьма справедливо названного психозоем. Имяпсеков постоянно находился в подобных размышлениях.

Можно подумать, что дожди в Бирюлево шли всегда. Но когда туда попадал Имяпсеков, дожди были обязательными. В 1973 году Жадкова, школьного приятеля Имяпсекова, переселили с улицы Кирова в Бирюлево.

Жадков занимался культурой этруссков. Это, разумеется, неплохо. Но был большой зануда и, как говорила его жена, Татьяна Николаевна, совершенно лишен житейских навыков, и мягко говоря, безразличен к любви. Бывало, начнет бубнить себе в бородку, он носил эспаньолку, про изменения в художественных формах пластики, которые, по мнению Жадкова, довольно ярко выступают в женской терракотовой голове из святилища Минервы Вейях, что хочется чего-нибудь попроще. А он говорил о мастере, который с большей, нежели его архаические предшественники, внимательностью отнесся к изображению лица. Приближение к видимой действительности все более и более занимало скульпторов.

У Жадкова была рослая, полногрудая жена, Татьяна Николаевна, и когда Имяпсеков вошел, она неожиданно взяла его за талию, посмотрела маслянистыми глазами ему в глаза, и вдруг поцеловала его своими пухлыми и влажными губами в губы, не обращая внимания на мужа и дочерей. Розовый прозрачный бант, как на девочке, удерживал пышные каштановые волосы Татьяны Николаевны от шторма. Татьяна Николаевна была пьяна, и две дочери: старшая - Светлана, уже имея привлекательные формы, и младшая

- Людмила, с намечающимися формами, тоже выглядели не совсем трезвыми.

Имяпсеков вошел бесшумно... Прошло около столетия с тех пор, как перед наукой возникла проблема происхождения человека. И после ста лет упорного изучения прошлого в его первоначальной точке гоминизации все большим числом исследователей, резюмируя открытия предыстории, Имяпсеков не мог найти более выразительной формулы, чем эта. Чем больше находят ископаемых остатков человека, чем больше выясняется их анатомическое строение и геологическая последовательность, тем очевиднее становится из всех признаков и доказательств, что человеческий "вид", несмотря на уникальность уровня, на который его подняла рефлексия, ничего не поколебал в природе в момент своего возникновения. В самом деле, рассматриваем ли мы его среду, изучаем ли морфологию его ствола, исследуем ли совокупную структуру его группы, филетически, то есть в развитии, человеческий вид выступает перед нами точно так же, как любой другой вид.

Имяпсеков перевозил тогда Жадкова. Имяпсекову не очень хотелось этого делать, поскольку он писал тогда кандидатскую, и его тянуло в Дорохово, на дачу, чтобы от души поработать в прохладной баньке, которую сам смастерил пару лет назад из горбыля и покрыл рубероидом, где можно было сосредоточиться и где никто и ничто не помешает работать. Но уж очень нравилась Имяпсекову жена приятеля и его дочери. Пока договаривались, Жадков пару часиков убивал Имяпсекова этрусскими, мол, хотя возвышенная и обобщенная идея продолжала оставаться основой произведения, создававшийся образ все явственнее уподоблялся реальности, какую видел перед собой художник. Волосы изображались не условно, а гибкими, завивающимися на концах прядями, правильнее понимался рельеф лица, и скульптор показывал глаза уже не такими выпуклыми, как раньше, но сидящими глубже. Сочнее вырисовывались объемы губ, гармоничнее становились соотношения отдельных пропорций лица. Процесс стиливых изменений на рубеже архаики и классики, хорошо известный по памятникам греческого искусства, протекал и в этрусской художественной практике. Назвать этот процесс переходным к классике и тем самым перенести терминологию греческой периодизации на этрусские явления вряд ли правомерно, но нельзя не отметить его большого значения и для этрусского искусства.

Жалко ягоду винограда, к которой прикоснулся тупой нож, других ножей, как обычно, не было, эти ножи не резали, а кромсали хлеб, такой нож скорее раздавит ягоду, чем разрежет ее. И выльется на блюде настоящий виноградный сок. Хотя какой чудак будет резать ягоду винограда ножом?

В Бирюлево Имяпсеков никогда до этого не был. Впрочем, там не обязательно было бывать. Такой же безвкусный, если не сказать, убогий район однообразных высоких блочно-панельных домов, как и в Бескудниково, как и в Солнцево, как и в Крылатском, как и в Перово, где жил сам Имяпсеков... Дождь, какой-то полумрак, грязная платформа "Бирюлево-товарная", грязные пьяные, с недельной щетиной мужики, бабы в пуховых серых платках и телогрейках, как будто эти бабы вышли из пещер времен Ивана Калиты.

Он шел и думал о том, что животная форма никогда не выступает в одиночку, а вырисовывается в недрах мутовки соседних форм, среди которых она как бы ощупью начинает оформляться. Так же обстоит дело и с человеком. В нынешней природе взятый зоологически человек почти одинок. У своей колыбели он был больше окружен. Теперь уже нельзя сомневаться: на огромной, но вполне определенной площади, которая простирается от Южной Африки до Китая и Малайи, в конце третичного периода в горах и лесах антропоиды были гораздо более многочисленны, чем теперь. Кроме гориллы, шимпанзе и орангутана, теперь оттесненных в свои последние убежища, как ныне оттеснены австралийцы и негритосы, тогда жило много других крупных приматов. Среди этих форм некоторые типы, например африканские австралопитеки, представляются значительно большими гоминидами, чем все, что нам известно из живых существ.

Мощная булыжником дорога спускалась с какого-то холма, поворачивала направо, и оказывалась невидимой в туннеле. Но Имяпсеков-то отчетливо видел продолжение дороги под высоким сводчатым потолком. Кирпичи казались Имяпсекову больше обычных, а в расшивке между кладкой как бы светился известняк.

И - унылая железная дорога! Кто вынесет эту дорогу России, которая словно создана для того, что отрезать головы алкашам, возить из деревень и барачных пригородов живую рабсилу на заводы Москвы, и врезаться головными вагонами электричек в ржа-

вые, забитые до удушения автобусы на переездах, чтобы убивать людей, как мух, одним ударом.

Прошлым летом легко в солому упал Имяпсеков, руку нежно положил на полное румяное колено Татьяны Николаевны. Она же ему начала рассказывать о своей недавней поездке в Кострому, а там и в Углич... Татьяна Николаевна серьезно занималась поездками по родной стране, побывала уже во многих городах, собирала буклеты, альбомы, открытки, фотографировалась "кодаком" на фоне монастырей, церквей и памятников великим соотечественникам. Но Имяпсеков ощущал, как она начала возгораться, а Имяпсеков все выше вел руку по очень полной шелковистой ляжке, а Татьяна Николаевна, закрыв глаза, не сопротивлялась, а напротив, каким-то энергичным движением совсем опрокинулась на спину, и подол ее летней юбки поднялся, и в минуту она и совсем осталась голой, и на Имяпсекова со всей откровенностью матери-земли смотрел иссиня-черный куст треугольной формы, а над ним вздымался пупок и след от резинки. Большая женщина с розовыми полными плечами, с темными сосками огромных грудей, опавших по обе стороны тела, лежала перед ним.

Имяпсеков вдруг почувствовал, что его везут чрез этот туннель, причем везут на телеге с высокими задними колесами, и Имяпсекову вдруг стало очень холодно. Он пошарил рукой вокруг себя, нащупал какое-то тряпье и натянул на себя. Но ему тут же кто-то сказал, что этого делать не следует.

Бесцветные, вызывающие нервный тик дома, полное отсутствие дорог и дорожек, потому что даже если здесь и лежал асфальт, то глубоко под водой, поскольку строители асфальтировали проезжую часть и тротуары так, чтобы во время дождя они превращались в каналы, в озера, в пруды... ибо вся рукотворная поверхность была вогнута, против того, чтобы ее замостить выпукло, чтобы вода стекала на газоны, а не наоборот!

Постепенно туннель увеличивался в размерах, разрастался, пока не разросся в довольно приличных размеров площадь, но не под открытым небом, а все под таким же высоким сводом. Причем все стены и своды были влажными и оттого серебрились, и пока Имяпсеков ехал, мог видеть свое изображение. Внутренние башни, внутренние дома были без окон и дверей. Но отовсюду выходили и выглядывали люди в самой разнообразной одежде.

А Татьяна Николаевна все шире разводила очень полные, в складках, ноги, так разводила, что уже раздвинулся черный куст, в котором Имяпсеков увидел огромную розу со многими влажными лепестками. И Имяпсеков ощутил в самом себе такую непомерную силу, что его тюльпан стал столь величествен, и так изыскан, что сначала погладил розу, а затем как бы утонул в ней, и вышел из розы, потом вновь въехать на цветочной повозке в туннель, дабы при этом Татьяна Николаевна надтреснутым баском буквально взмолилась: "Ещё..."

Но даже там, где асфальт был выпукл, все равно стояла грязная, с битым стеклом бутылок, клочками афиш... вода и пройти было невозможно. Но Имяпсеков шел, наплевав на бездорожье, по щиколотку в грязи и воде, шел упрямо, как Павел Корчагин, по унылой улице, глядя на дома, на которых не было табличек с названием улиц и номерами домов, выискивая примету, о которой ему сказал Жадков, - ржавый "Москвич" без колес на чурбаках, доставшийся от отца, у подъезда четвертого дома слева от помойки, между железной дорогой и поликлиникой.

Людмила, когда разговаривала со Имяпсековым, все время расплетала и заплетала от не очень естественного смущения русую косу. Несколько пуговок сверху ее платья были расстегнуты, так что Имяпсеков видел начало темной впадинки, приковавшей его взгляд. Людмиле было семнадцать лет. И она все время усаживала Имяпсекова на диван, брала книгу Цветаевой и, нараспев, закатив глаза, читала что-нибудь, например, такое:

Гамлетом - перетянутым - натуго,
В нимбе разуверенья и знания,
Бледный - до последнего атома...
(Год тысяча который - издания?)

Наглостью и пустотой - не тронете!
(Отроческие чердачные залежи!)
Некоей тяжеловесной хроникой
Вы на этой груди - лежали уже!

Девственник! Женоненавистник! Вздорную
Нежить предпочетший!.. Думали ль

ЖАЛКО ЯГОДУ ВИНОГРАДА

Раз хотя бы о том - что сорвано
В маленьком цветнике безумия...

Имяпсеков думал о морфологии ствола человека. При приближении к узлу листья сближаются. Вид, схваченный Имяпсековым в зарождающемся состоянии, не только образует букет с несколькими другими видами, но он также обнаруживает гораздо отчетливее, чем в зрелом состоянии, свое зоологическое родство с ними. Чем дальше в прошлое проследить какой-либо животный ряд, тем многочисленнее и яснее становятся его "первобытные" черты.

Светлана в это время разговаривала по мобильнику. Она была современная девушка лет девятнадцати, со строгими серыми глазами и низким голосом, ходила в джинсовой юбке, тесно обтягивавшей ее достаточно широкие бедра, почти ничего не делала по дому, только часами сидела в кресле в наушниках, слушая музыку. Впрочем, несмотря на дожди, было лето. Имяпсеков попросил ее любезно пустить музыку "вслух". Светлана с улыбкой сняла наушники и включила магнитофон достаточно громко. К счастью Имяпсекова это был не "металл", а "битлы"...

Пока шла обычная в случаях переезда суета расположения в новой квартире, Имяпсеков предложил сходить в магазин, ему вызвалась помочь Светлана с огромной спортивной сумкой, кстати, в которую хотели купить картошку. Едва вышли из подъезда на улицу, где по-прежнему было пасмурно, Имяпсеков как-то так нежно обнял ее за талию, что Светлана вдруг склонила голову ему на плечо, а он тут же взял в свою руку одну крепкую ее грудь. Светлана сначала тихо вскрикнула, а затем потянулась к его губам своими губами. Имяпсеков сразу же свернул с тропинки в небольшой лесок, и там так прижал к себе Светлану, что она затряслась от страсти. И здесь Имяпсеков в целом строго подчиняется привычному механизму филетики, то есть развития. Попробуйте поставить по нисходящей линии питекантропа и синантропа, после неандерталоидов, ниже ныне живущего человека. Имяпсекову не часто удается начертить столь удовлетворительную прямую линию... Имяпсеков нежно подвел ее к березе, повернул Светлану к себе спиной, поднял подол, и свой напряженный голландский тюльпан сначала даже не мог прокатить по древнему туннелю, поскольку он очень был тесен. "Можно..." -

прошептала Светлана, и сама с охотной нежностью, даже изысканностью присела на тюльпан.

Каждый в квартире занялся чем мог: кто расставлял посуду на столе, кто вешал гардины, кто передвигал мебель, кто разбирал коробки с разными вещами. Имяпсеков, как самый высокий, прибавил палку, по которой должна была бегать полиэтиленовая занавеска в ванной комнате. Помогала Людмила, но так, что неосторожно выронила молоток на лампу, и свет в квартире погас. Жадков пошел на лестницу чинить пробки, а Имяпсеков поцеловал сначала нежно, а потом грубо, взасос Людмилу, перегнул ее через бортик ванны, взяв за длинную косу, почувствовав в этом что-то животное, и успел с превеликим напряжением ввести свой тюльпан в ее узкий туннель и увидел свечение ее фарфоровых ягодиц. При этом Людмила не переставала шептать: "Я не представляла, что это так классно!".

Когда мебель была расставлена, и собрались гости на новоселье, то всех поразила необыкновенно широкая кровать, на что Татьяна Николаевна не без гордости говорила: "Египетская!"

По неписаной советской моде были привезены два канделябра с белыми свечами, купленные на Котляковском кладбище. И потом, когда сидели за столом и выпивали, при свете их было как-то таинственно и ненастояще. Татьяна Николаевна сидела рядом со Имяпсековым, а тот все время под скатертью гладил ее толстую ляжку.

К полуночи гости, хотя и нехотя, начали расходиться, но Имяпсеков не торопился, поскольку, честно сказать, сильно поднабрался, да так, что не заметил, как был уложен на "египетскую" кровать поверх покрывала. Жадков-то уже давно похрапывал в маленькой комнате. Погасили свет, посуду решили пока не убирать. Где-то под утро Имяпсеков почувствовал на своем не вполне боевом тюльпане чью-то руку. Имяпсеков разлепил глаза и посмотрел сначала направо - там лежала Татьяна Николаевна, затем посмотрел налево - там лежали, обнявшись, Светлана с Людмилой.

Лесбия, где ты была?
Я лежала в объятьях Морфея...

Причем глаза у всех были закрыты. Далее Имяпсеков догадался, ощутив себя, что лежит под одеялом совершенно голый. Он не

ЖАЛКО ЯГОДУ ВИНОГРАДА

рехватил ту руку, которая пробуждала его тюльпан. Рука принадлежала Татьяне Николаевне. Она некоторое время возбуждение проводила рукой, но затем как-то смело откинула одеяло, склонила пышноволосяную голову и стала сначала целовать тюльпан, потом понемногу увлекать его в пышногубый рот и как бы увлекала его все дальше и дальше в туннель, пока Имяпсеков не ощутил, что он давно миновал гортань и находится действительно в туннеле. Татьяна Николаевна действовала, как насосная станция, щеки ее то сжимались, то разжимались, она стонала, ее густые каштановые пряди закрыли не только цветок любви, но даже самую грудь Имяпсекова, которая была не менее волосата, чем голова Татьяны Николаевны. Застонал и сам Имяпсеков от невиданных приливов удовольствия. А тут еще пробудились сестры, одна из которых, кажется, Светлана легла поперек кровати таким образом, что Имяпсеков отчетливо увидел ее розу в зарослях жасмина, и ему захотелось поцеловать ее, и он стал это делать со сладчайшим чувством ощущения соленой воды на пляже. Другая же сестра, Людмила, с нежностью увлекла волосатую руку Имяпсекова в свой обжигающий тугостью туннель. Все были настолько увлечены всеобщим удовольствием, что не заметили вошедшего в трусах с канделябром Жадкова, который равнодушно, как забивают гвозди плотники, ударил этим канделябром в темь Имяпсекову. И даже в настоящий момент какому-нибудь марсианину, способному анализировать как физически, так и психически небесные радиации, первой особенностью нашей планеты показалась бы не синева ее морей или зелень ее лесов, а флуоресценция эроса.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

рассказ

Накануне, когда ведущая представила телезрителям смуглого, чернявого с мерцающей проседью, с длинной остроклинной бородкой, тоже с сединой, священника какой-то самостоятельной церкви, Логинов сразу узнал в этом священнике своего школьного друга Куликова. Он из той породы людей, которые входят в дверь вторыми, а выходят первыми.

Сколько лет минуло, а черты лица его оставались все теми же, несколько надменными и вместе с тем мелкими. Чем меньше вы собираетесь делать, тем больше вы должны об этом говорить. Мелкая надменность сквозила у него во всем: он на секунду величественно выпрямлял спину, чтобы сразу ссутулиться, затем задирает голову, чтобы длинный крючковатый нос его казался короче, как это часто делают при фотографировании длинноносые женщины, при этом Куликов часто моргал и суетливо поправлял крест на груди или просто хватался за него, чтобы куда-то деть руки. Руки у Куликова всегда были, как говорят в актерской среде, лишними. Он ковырял пальцы возле ногтей, то правой руки - левой рукой, то левой руки - правой рукой, грыз ногти, одергивал одежду, часто растопыренной пятерней вместо расчески проводил по длинным, постоянно спадающим на лоб волосам. Ну, срежь ты эти волосы, и проблемы не будет! Нет. Как женщины, которым нравится откидывать резким кивком головы волосы назад, чтобы открыть глаза, он мотал постоянно головой, волосы со свистом отлетали назад, на несколько секунд открывая лоб и глаза, затем опять на них нависали.

Логинов помнил, как они сидели с Куликовым на скамейке над прудом, наблюдая отражения звезд и прибрежных деревьев. То были плакучие ивы. Эти ивы каждую минуту меняли свой вид и, казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как буд-

то молились... Вероятно, они навели Куликова на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся к Логинову и спросил, грустно улыбаясь:

- Скажи, старик (в молодости они так друг к другу обращались), почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно изсерьезной художественной с философским уклоном литературы?

- Страшно то, что непонятно, - отозвался Логинов.

- Пусть литература тебе непонятна. А разве жизнь тебе понятна? Скажи: разве жизнь ты, Коля, понимаешь больше, чем литературу?

Вообще, интересна идея самоубийства, идея разрыва, идея уединения, идея путешествия, идея жертвы и т. д. Логинов может вообразить несколько разрешений творческого кризиса и не перестает так и поступать. И, однако, каким бы сумасшедшим он ни был, ему не составляет труда выловить за всеми этими навязчивыми идеями одну-единственную пустую фигуру - просто фигуру выхода. В смысле - бросить все, и уйти. Да еще рассмеяться. У меня независимый ум, вы эксцентричны, он - человек с приветом.

Логинов охотно уживается с фантазмом чужой роли - роли кого-то, кто "из этого выбрался". Так в очередной раз разоблачается языковая природа писательского чувства: всякое решение безжалостно сводится к одной лишь своей идее - то есть к существу словесному. Едешь в Киев, а приезжаешь в Египет к Эхнатону! Так что, в конечном счете, будучи языковой, идея выхода точно соответствует полной безысходности: писательская речь - это некоторым образом разговоры о выходах взаперти. Слово тебя берет за руку и ведет туда, куда ему хочется, а не тебе. Ты и идешь за ним, как нитка за иголкой. Даже, можно сказать, с удовольствием пишешь слово за словом, и так пишешь до бесконечности. А чего тебе еще делать, если ты писатель? Садись и пиши, не выходя из дому всю жизнь. Это только поэты на сцену все норывают высочить и в зал громко так что-нибудь прокричать, или провять. Но поэты и не считаются писателями, и к литературе не принадлежат. Они в лучшем случае - эстрадные артисты, а в большинстве своем - члены клуба самодетальной песни. Причем страдают аграфией - болезнью, при которой полностью утрачивается способность писать. А бесконечность, поясню тем, кто не понимает, это эскалатор в ме-

тро, поскольку у него нет конца, а с детства мы помним, что конца нет у кольца, а это самое кольцо можно свернуть в восьмерку знака "Бесконечность". Вот и крутись по кольцу, или по орбите, как Земля-матушка накручивает километры миллиарды лет. Будущее - это то, навстречу чему каждый из нас мчится со скоростью 60 минут в час. И все одно и то же!

Перо сломалось, но пока что пишет.
Остыло сердце, но пока что бьется...

Куликов подсел к нему совсем близко, так что он чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его смуглое, худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода - чернее угля. Глаза у Куликова были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать Логинову что-нибудь страшное. Он смотрел Логинову в глаза и продолжал своим, по обыкновению, умоляющим голосом:

- Коля, наша жизнь и литература одинаково непонятны и страшны, как загробный мир, если он есть, разумеется. А он есть, и я в него верю. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее чем выходцы с того света. Гамлет (тогда только что вышел фильм Козинцева со Смоктуновским в роли Гамлета, и все о нем говорили) не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон. Этот его знаменитый монолог мне нравится, но откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь тебе, как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час, моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю тебя, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, старичок, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает всё, что видит и слышит, а я вот утерял это "кажется" и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь - агорафобия - боязнь пространства, этой болезнью страдала поэтесса Анна Ахматова, Сенатскую площадь она никогда в жизни так и не перешла, так вот, старик, и я

болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на комара, который родился только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что его жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

Первое правило политика: никогда не верь ничему, пока не поступит официальное опровержение. Идея - всегда патетическая сцена, которую Логинов воображает и которая его волнует. И волнует его главным образом лицедейство. И этой театральной природой идеи он пользуется: такое стоическое лицедейство его возвеличивает, придает ему значительности. Воображая некое экстремальное решение (иначе говоря, окончательное - то есть все-таки конечно определенное), Логинов создает художественный вымысел, становится художником - в рассказе оставляет только изображение, как Тарковский в кино, и этим определяет для себя выход.

- Что же собственно тебе страшно? - спросил Логинов.

- Мне все страшно. Особенно мне страшны и непонятны женщины. О них поэтому я готов говорить часами. Что это за создания? Не знаю. Но мне хочется любить, иногда по-звериному, чисто физиологически. Я человек от природы не глубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь в высь философскую. Мне страшно серятина наших повторяющихся дней, от которой никто из нас не может спрятаться. Я неспособен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня. Я сознаю, что условия жизни и воспитание заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Хотел поступать во ВГИК и испугался, вот сюда приехал, и тоже боюсь... Я вижу, что мы мало знаем, и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клеветаем, расходует все свои силы на какой-то вздор, который нам не нужен и мешает нам жить, и это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому всё это нужно. Я, Коля, не понимаю людей, особенно женщин, и боюсь их. Что такое женское сердце? А ведь нас рожали женщины. Зачем? Мне страшно смотреть на людей, я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь

есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди. Если же цель и смысл жизни - в нужде и непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта пытка. Никого и ничего я не понимаю.

По телевизору Куликов начал рассуждать о женском сердце. Говорил сложно и красиво, ударяя на то, что сердце - орган сугубо женский, а посему, чтобы судить о нем в моральном плане, требуется столь же специальная компетенция, как для гинеколога в плане физиологическом. Потом Куликов вспомнил какую-то журнальную советчицу из одного модного журнала, прицепился к ней и начал развивать идеи, поясняя для некомпетентных, что в этом смысле журнальная советчица занимает свой пост благодаря накопленным познаниям в области моральной кардиологии (здесь он, по-видимому, имел в виду себя - священника новой церкви, лечащей сердца в основном женщин); но ей требуется, конечно, и особый характер, составляющий, как известно, достославную принадлежность российского врача (и отличающую его, например, от американских коллег); право быть ученым определяется сочетанием многолетнего опыта, предполагающего почтенный возраст, и вечной юности сердца. Таким образом, сердечная советчица воплощает в себе популярный в новой России тип благодетельного ворчуна, которому присуща здоровая прямота (вплоть до суровости в обращении), находчивость, просвещенная, но полная веры мудрость; его ученость, вполне реальная, но скромно прикрытая, всякий раз сублимируется с помощью магического понятия, разрешающего все нравственные конфликты, - понятия "здравый смысл".

Идея наглядна - таков ударный (особо осмысленный, выделенный) момент житейской драмы; иногда это сцена прощания, иногда торжественное письмо, иногда полная достоинства встреча много лет спустя. Художественность катастрофы Логинова успокаивает. Все воображаемые им решения находятся внутри текстовой системы, будь то уединение, путешествие или самоубийство - заточает себя, уезжает или умирает всегда непременно творящий; если он видит себя в заточении, уехавшим или мертвым, то видит он непременно писателя: Логинов приказывает самому себе все еще быть творчески активным и более им не быть.

Далее Куликов начал обобщать, говоря, что сердечные советчицы теперь у нас всюду, куда ни кинь, и в газетах, и по радио, и

на телевидении. Они мастерицы по писанию писем, и за свою не очень короткую жизнь успели написать всем известным людям мира сего. Этих писем у них накопилось на три Библии! Сердечные советчицы, насколько можно о них судить по их ответам на письма читателей, тщательно очищены от всяких следов какого-либо конкретного социального положения; как под беспристрастным скальпелем хирурга социальное происхождение пациента благородно выносятся за скобки, так и под взором советчицы обращающаяся к ней просительница сводится к одному лишь своему органу - сердцу. Она определяется одной лишь своей женственностью; социальное положение рассматривается как бесполезная реальность, способная лишь помешать исцелению ее чистой женской сущности. Одни лишь мужчины, составляющие иную, вынесенную вонне породу людей и "предмет" советов ("предмет" в логическом смысле, то есть то, о чем говорят), имеют право быть социальными (иначе и не может быть, ведь они зарабатывают); поэтому для них можно установить некоторый потолок - обычно таким оказывается процветающий бизнесмен.

Такой тождественностью задачи и ее решения в точности и определяется тупик: Логинов в тупике, поскольку изменить систему - вне пределов его досягаемости; он "сделан" дважды - внутри своей собственной системы и поскольку не может подменить ее другой. Этим двойным узлом характеризуется, насколько известно, определенный тип безумия (попадаешь в тупик, когда несчастье лишено противоположности: "Для несчастья необходимо, чтобы к худу оборачивалось и само благо").

Эти сердечные советчицы выдумали своеобразную сердечную почту в интернете. В электронной сердечной почте воспроизводится сугубо юридическая типология людей; человечество здесь, чураясь всякого идеализма, а равно и исследования жизненной реальности, плотно держится устойчивого порядка, установленного гражданскими нормами поведения. Женский мир подразделяется на три класса, различных по своему статусу: девушка, супруга и незамужняя женщина, либо вдова, либо оставившая мужа, но, так или иначе, в данный момент одинокая и обладающая жизненным опытом. Им противостоит все внешнее человечество, источник помех или опасностей: это, во-первых, родственницы, те, что обладают родительской властью; во-вторых, муж или вообще мужчина, также обладающий священным правом подчинять себе

женщину. Отсюда хорошо видно, что, несмотря на свою смазливую внешность, мир сердца отнюдь не импровизирован; в нем неукоснительно воспроизводятся устойчивые юридические отношения, человечество сердечной почты, даже тогда, когда оно говорит "я" самым душераздирающим или наивным голосом, априори представляет собой всего лишь узкий набор точно фиксированных и поименованных элементов, из которых и складывается институт семьи; сердечная почта утверждает неизбежность семьи, при том что, разбирая бесконечные семейные конфликты, она как будто и выполняет освободительную миссию.

Головоломка: чтобы "выбраться", Логинову нужно выйти из системы, из которой он хочет выйти и т. д. Если бы в самой "природе" литературного бреда не был заложен его преходящий характер, способность спадать самому по себе, никто никогда не смог бы положить ему конец. И какой конец может быть у согнутого в восьмерку кольца?

В таком эссенциальном мире сущностью самой женщины оказывается угрожаемость, причем угроза исходит иногда от родственников, но чаще всего от мужчины; в обоих случаях спасением, разрешением кризиса является законный брак; идет ли речь о неверном муже, соблазнителе (впрочем, данная "угроза" довольно двусмысленна) или же равнодушном возлюбленном, панацеей от всех бед выступает именно брак как социальный контракт о праве собственности. Но именно потому, что цель изначально зафиксирована, если ее достижение не удастся или откладывается (а это, по определению, и есть тот самый момент, когда в дело вступает сердечная почта), то приходится прибегать к нереальным компенсаторным средствам. Любовь переносит и прощает все, но ничего не пропускает. Она радуется малости, но требует всего. Все прививки, которые делает сердечная почта от агрессивного или коварного поведения мужчин, нацелены на сублимацию понесенного поражения, которое либо освящается как самопожертвование (молчать, не думать о нем, быть доброй, сохранять надежду), или же утверждается как чистая свобода (не терять голову, трудиться, не обращать внимания на мужчин, помнить о женской солидарности). Господь не сыплет чудес на природу, как перец из перечницы. Чудо - большая редкость. Оно встречается в нервных узлах истории - не политической и не общественной, а иной, духовной, которую людям и невозможно полностью знать.

Итак, при всех своих внешних противоречиях, мораль сердечной почты непременно постулирует женщину, как существо сугубо паразитарное; она существует лишь благодаря браку, дающему ей юридическое наименование. Перед нами возникает структура гинекея, понимаемого как свобода внутри замкнутого пространства под мужским присмотром. В сердечной почте сильнее, чем где-либо еще, женщина утверждается как особый зоологический вид, своего рода колония паразитов, которые хоть и способны двигаться сами по себе, но не могут далеко уйти и всякий раз возвращаются к привычной опоре (каковой является мужчина). Следует честно и откровенно сообщать прессе все то, что она легко обнаружит сама. Влюбленность - самый непрочный вид любви. Такой паразитизм, провозглашаемый под фанфары женской независимости, естественно влечет за собой полную неспособность открыться реальному миру: прикрываясь своей профессиональной компетенцией и добросовестно очерчивая ее пределы, советчица всякий раз не желает высказываться по любым проблемам, способным вывести за рамки собственно женского сердца. Все события на свете - ответы на молитвы, в том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены.

Женщина в мужском черном, в белую тонкую полоску пиджаке, в черной монашеской косынке, мыла полные, с выпуклыми узловатыми венами ноги, обнаженные много выше колен, под мощной струей водоразборной колонки. Эта издающая прохладу в жаркий день колонка, выкрашенная синей масляной краской, которая во многих местах облупилась, обнажив тяжелый ржавый металл, стояла на тропинке, заросшей лопухами, сурепкой и крапивой, возле широкой пыльной дороги, с глубокими колеями от грузовиков и колесных тракторов, уходящей куда-то далеко в поле. У этих колонок обычно очень тугие ручки, но и рука у женщины, согнутая в локте, была с мускулами молотобойца. Сразу из-под арки ворот открывался главный монастырский собор. Никогда не доводилось Логинову видеть монастыря краше. Никогда не обухался он искусству архитектора, однако сразу понял, что палаты древнее всех окружающих их построек, и были воздвигнуты, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а монастырь основался около них гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни палат были соотнесены с приделами собора, вернее, наоборот, ибо ар-

Юрий КУВАЛДИН

хитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали космосом, то есть "изукрашенным"; он целостен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. В Боге - три Лица, как у куба - шесть квадратов, хотя он - одно тело. Нам не понять такой структуры, как не понять куба плоским. И пребудь благословен Создатель за то, что, по свидетельству Иоанна Богослова, для каждой вещи определил число, тяжесть и меру, а также за то, что Куликов успешно выдержал экзамены и его приняли в тот год в Духовную академию, а Логинов с треском провалился.

"Наша улица", № 5-2004

МОРЕ ИСКУССТВА

рассказ

Солнце отражалось в море, слегка волнистом, потому что дул небольшой южный ветерок и выкатывал на коктейльскую гальку пушистые волны. Я написал эту фразу и посмотрел на море. Существование служит для изображения. Глагол выражает действие. Хорошая проза наполовину состоит из изображения, из сорока процентов авторской речи, и лишь из десяти процентов диалога. Самые легкие формы прозы, которыми, как правило, пользуются начинающие, наивные авторы, - это письма, дневники, мемуары, сценарии (диалоги). В настоящей прозе, являющейся искусством, изобразительное и повествовательное (содержание) уравновешено. Море в Коктебеле необычное, ни ресторанных декораций ялтинской набережной, ни скал Гурзуфа, ни алуштинского львиного уюта, там по берегу - бутафорские нимфы, мраморные лестницы, здесь камни, скалы и рыбацьи лодки, вместо восточного занавеса Алушты, расшитого трафаретными кипарисами, - лысые вершины гор да изредка низкорослый кустарник с двумя-тремя сухими графическими деревьями. Море в Коктебеле простое и древнее, как небо.

В сумерки вышли на берег - Максимилиан Волошин, я, Кирилл Ковальджи, Володя Купченко, молодая вильнюсская поэтесса Вера, еще кто-то. Под ногами песок, выброшенные на берег морские травы, галька. Волошин рассказывает один из греческих мифов. Его очень занимает выдумка о пребывании на коктейльских берегах Одиссея. Вера придирается к какому-то слову и без остановки задает скучные вопросы, все начинающиеся "а почему", "а зачем", "а для чего". Волошин вынужден окончить миф улыбкой и тут же сочиненной концовкой: "А потому, что эти боги были созданы для наказания людей, надоедавших им своими неразумными просьбами".

- Надо как-нибудь отвлечь Макса от нее, - шепчет Ковальджи.

Останавливаемся и меняем направление движения и разговор. Но тут из-за белых колонн писательской столовой на набережную выходит в белом холщовом пиджаке и ярко-желтых шортах Тургенев. В Тургеневе, прежде всего, хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным человеком из России, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными хозяйственными интересами...

Я лежал на пляже на коктебельских камушках, чувствуя, как они ласково впиаются в мою спину. На лицо, чтобы не слепило солнце, я сдвинул белую летнюю кепку, повернутую козырьком назад, больше походящую на панаму. Я наблюдал, как рисует Волошин. Море у него выходило от светло-зеленого до тяжелого коричневого. Он намеренно пренебрегал жирными и сочными красками. Скупой четкий пейзаж гор, черный абрис голых деревьев. Акварельная графика. Рисунок начинает легко, не задумываясь. Окончит один, приступает к другому. Может быть, по многочисленным акварелям Волошина когда-нибудь будут изучать душевную настроенность автора. Но мне кажется, он пишет акварели, не видя их. В движениях его руки нет сосредоточенности - его мысли далеко где-то, и рука ходит привычно - в ее жестах ни задумчивости, ни волненья. Как будто эти утренние акварели выдуманы здесь для того, чтобы убить время, создать спокойное течение дням. Этими же акварелями одариваются все гости. А гостей бывает много. К полудню вся комната наполняется солнцем. Тогда Волошин прикалывает к раме окна кусок картона. На бумагу падает тень. Чуть-чуть пахнет вымытым некрашеным полом, свежестью морского утра и множеством книг. Устанавливается почти осязаемое равновесие между солнцем, утром и тишиной. Но это длится недолго. Кто-нибудь приходит. Или надоевшие сын знаменитого композитора и Вера с расспросами, стихами и неловким молчанием. Или мы с Тургеневым и Ковальджи. Начинаются разговоры о стихах, о литературе, о книгах...

- Кувалдин, где ты увидел Тургенева? - спросила сидевшая рядом со мной тринадцатилетняя дочка известного писателя, Лариса, жившая в коттедже со своей мамой рядом с моим коттеджем. Вечера вечером, на веранде, сидя в плетеном кресле, я любовался

формирующейся фигуркой Ларисы, и читал ей "Колосова" Тургенева, а вот теперь видел его, идущего по набережной к спуску на пляж.

- Лариса, что ты привязалась к человеку, ты же видишь, он отдыхает. Сиди смирно, слышишь? - Мама Ларисы, Валентина Михайловна, женщина большая, полная и изнеженная, с ярким маникюром, растирала кремом от загара спину Ларисы.

Лариса, покачиваясь на туго надутом красном матрасе, сидела лицом к морю. На ней был такой же красный, как матрас, купальник - трусики и лифчик, поддерживающий уже заметно сформировавшиеся груди...

Дни годовщин Волошина на даче каждый год отмечаются шумными и веселыми празднествами - самодеятельными спектаклями, концертами и играми. Больше всего, конечно, веселятся сами гости, ибо приготовления к спектаклю начинаются задолго до самого праздника. К участию привлекается почти все население дачи, и репетиции идут днем и ночью при общем хохоте, с различными курьезами и выдумками. Однако от виновника торжества все это держится в тайне, и хотя он, несомненно, знает, что происходит, и все слышит, но вход на репетиции ему строго запрещен.

- Меня, к сожалению - лишают, - говорит с притворной досадой Максимилиан Александрович, - всех этих удовольствий. Мне приходится в эти дни или делать вид, что я ничего не вижу и не слышу, или сидеть одному в кабинете. Все комнаты в эти дни заняты, и отовсюду меня изгоняют. В одной - пишутся декорации, в другой - репетируют музыканты, в третьей - шьют костюмы. Мне оставлено только одно - терпение...

Такое отношение и к Тургеневу маскировало в глазах людей чутких много характерных свойств, принадлежащих ему, как типу, созданному и русской и международной жизнью. У нас до сих пор мало разбирали людей, достигших известности в сфере литературы, науки и искусства, с бытовой точки зрения. Первую попытку этого сделал когда-то в своих превосходных статьях незабвенный Аполлон Григорьев. Его интересовала родина различных писателей и поэтов; он находил у земляков многие различные черты творчества, склада ума. Это родство заключается, конечно, и в них самих: в их характере, манере, внешнем типе. И в Тургеневе сказывался барин из центральной великорусской местности, поюжнее от Москвы. Кто знал его и вместе с тем знаком был с Львом

Николаевичем Толстым, тот, конечно, согласится, что они оба очень похожи по типу, а по тону и складу речи их положительно можно было принять за родных братьев, хотя голос у них и не совсем был похож. Толстой также, если не родился, то обжился в местности из того же района. Тула и Орел по бытовой жизни близки между собою. Там, между прочим, живет автор "Нашей улицы" врач и писатель Сергей Михайлович Овчинников.

- Достаточно, можешь загорать, - сказала Валентина Михайловна, завинчивая колпачок на тюбике с кремом. - А мы, с Кувалдиным пойдут к автоматам и выпьем молодого вина по стаканчику.

Я снял кепку с лица, приподнялся на локтях и, действительно, почувствовал жажду и предвкушение прохладного виноградного, чуть мутноватого молодого сухого вина. Валентина Михайловна уже стояла надо мной, с рассыпанными кудрями и медовыми глазами, накрывая меня своей пышной тенью, и протягивала мне руку. В ней было что-то провинциальное, ленивое и податливое. При этом она чуть склонилась ко мне, отчего ее огромные, еще белые, нежные, не успевшие загореть груди чуть ли не вывалились из узких колпаков лифчика. Я взял ее руку, она выпрямилась, и я легко поднялся. Валентина Михайловна только позавчера приехала с Ларисой, без мужа, известного писателя, который ожидался через неделю прямо из Испании, куда отбыл, как барин (а он и был барин) в составе советской писательской делегации.

Мы словно в повести Тургенева:
Стыдливо льнет плечо к плечу,
И свежей веткою сиреневой
Твое лицо я щекочу...

Я употребил слово "барин". Знаю, что оно сделалось почти бранной кличкой. Но всякую тенденциозность мы оставим; она должна уступить место правде, определению характерных особенностей; с чем бы они ни были связаны в глазах иного читателя, известное сословие жило несколько столетий не одними только грубыми хищническими интересами и побуждениями. Оно было и главным носителем образованности вплоть до начала двадцатого столетия.

Я шел в плавках, Валентина Михайловна в купальнике по горячему асфальту босиком. Впрочем, здесь все так ходили. Но не на

всех так смотрели, как мужчины на Валентину Михайловну, поскольку она своими величественными формами вызывала нестерпимые эротические чувства. Мы отстояли небольшую очередь, помыли стаканы, я опустил в щель автомата несколько монет и наши стаканы наполнились молодым вином. Оно было чуть горьковато, но сразу ударило в голову, приятно пьянило. Валентина Михайловна пила маленькими глотками, прижимая края стакана к пухлым накрашенным губам, отчего красная помада отпечаталась на стекле.

Вспомнил об одной книге. Она написана давно, но дожила до наших дней. Средневековый Париж и княжеский Суздаль, Европа и Скифия, Рим и Византия живут на ее страницах, сплетаясь в причудливые образы веков и народов. У нее один автор и герой: изысканный декадент, поэт монмартрских кварталов, русский студент-бунтарь, библиофил, живописец, эллин и француз и трижды русский.

Нет, подумал я. Этот дом, эту дачу, как старинную книгу, надо привязать железной цепью, поставить под стекло и показывать любопытным и странствующим. Издали Волошин похож на Валентину Михайловну, хозяйски расхаживающую по своему двору. Ближе он кажется седым полным иереем, переодевшимся в желтую блузу и детские штанишки. Иногда он просто русский бородач-мужик. И однажды он был... Паном. Не врубелевским - болотным, студенистым, волшебным. Нет. Обрусевшим Паном эллинов. Я видел его однажды в роли заклинателя. У известной киноактрисы болела голова. Задрапированная в розовую купальную комбинацию, актриса с хорошей театральной искренностью держала свою кинематографическую ладонь. Волошин в желтом и длинном камзоле, в открытых сандалиях, блестя пенсне, водил по ее ладони своими короткими полными пальцами, казалось, знающими все тайны исцеления, и молча заговаривал.

Каждому думавшему о законах психологической жизни известно, какую роль играют преемственность и наследственность. Вот эту-то наследственность барского склада и можно было изучать в Тургенева. Совершенно справедливо, что две трети жизни, проведенные за границей, совсем не обесцветили его в этом отношении. В целой тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса. Такому голосу при подобной фигуре у иностранцев труд-

но сложиться; он был бы непременно сильнее, гуще или жестче, вообще гораздо эффектнее. Звук остался чисто русский: слабоватый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела, и опять-таки барский, а не чиновничий, не профессорский, даже не литераторский, если взять среднюю манеру говорить петербургского журналиста за последние тридцать лет. Тургенев немного шепелявил, не резко, но с прибавкою чуть заметного звука "с". Это недостаток тоже дворянский, а не чиновничий и не купеческий. Но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее.

Книги заменяют стены, занимают два с половиной этажа мастерской, верхний ярус с лестницей и кабинет. Конечно, есть "Весы", "Наша улица", "Аполлон", "Новый путь", "Золотое руно", "Скифы"... И много старинных русских книг. Мастерская в три окна, больших, узких и высоких, полукругом. Кроме книг - собрание вещей и безделушек со всех стран, начиная от Египта и кончая Средней Азией. Столы завалены рисунками, красками, кистями, бумагой.

Мы собирались ложиться спать. Поскольку шел двенадцатый час и дом затихал. По далекой гальке тяжело прошуршали последние шаги. Со двора слабо донеслось чье-то "спокойной ночи". Где-то внизу закрыли дверь, и из углов поползла тишина. Только в открытое окно чердака мерно и шумно колыхалось море и, как будто уставшее за день, затихало.

Очертание головы в последние двадцать лет оставалось то же; волосы и бороду Тургенев носил без перемены прически. Манера держать ее была также барская; но вся голова, особенно в последние годы, напоминала русские деревенские типы. И между родовитыми купцами встречаются такие лица. И, несмотря на то, что руки и ноги у Тургенева были большие, походка замедленная и тяжеловатая, в нем жил настоящий барин, все приемы которого дышали некоторой робостью. Ею надо было объяснять и ту сдержанность, кажущуюся суховатость тона, манеру говорить и руководить беседой, которые в Тургеневе многих приводили в недоумение. Но рядом с этим жило в нем всегда одно, тоже настоящее барское свойство - способность сразу человеку малознакомому говорить о таких обстоятельствах своей жизни, которые обыкновенно усиленно припрятываются...

Проводив взглядом удаляющуюся пару, Лариса встала и легко побегала в сторону мыса Хамелеон. По дороге она остано-

лась, брыкнула ножкой мокрый, развалившийся дворец из песка, построенный детьми, и скоро очутилась далеко от писательского пляжа.

Она прошла метров двести и вдруг понеслась бегом, прямо к мертвой бухте, где вместо гальки на берегу был настоящий морской песок. Она добежала до места, где на спине лежал молодой человек, сын знаменитого композитора.

- Пойдешь купаться, Вадим? - спросила она.

Юноша вздрогнул, схватился рукой за отвороты купального халата. Потом перевернулся на живот, и скрученное колбасой полотенце упало с его глаз. Он прищурился на Ларису.

- А, привет, Ларисочка!

- Пойдешь купаться?

- Только тебя и ждал, - сказал Вадим. - Какие новости?

- Чего? - спросила Лариса.

- Новости какие? Что в программе?

- Кувалдин пошел с моей мамой пить вино! - сказала Лариса, подкидывая ногой песок.

- Только не мне в глаза! - сказал Вадим, придерживая Ларисину ногу. - А что, разве Юрий Кувалдин приехал?

- Приехал три дня назад. Он живет рядом с нами, - сказала Лариса.

- А я совсем недавно проглотил его книгу "Кувалдин-критик"! Какой он молодец! Действительно, давно пора этот совковый "Новый мир" закрыть.

- Дай мне почитать, - попросила Лариса.

- Книга дома, в Питере, я не повез ее с собой. - Вадим стряхнул песок с соломенного цвета негустых волос. Он все еще лежал ничком и теперь, сжав кулаки, поставил один кулак на другой и оперся на него подбородком. - Ты лучше спроси меня что-нибудь попроще, Ларисочка, - сказал он. - До чего у тебя купальник красивый, прелесть. Больше всего на свете люблю зеленые купальники.

Лариса внимательно посмотрела на него, потом - на свои плавки.

- А он красный, - сказала она, - он вовсе не зеленый.

Меня черта эта поразила как раз в первый же разговор, который я имел с Тургеневым. Перед тем я к нему обращался письменно как редактор "Нашей улицы". Приехал он, сколько я помню, осенью или зимой. Повод моего визита был редакторский: просить его дать что-нибудь журналу. Мне памяты все подробности:

небольшая комната с камином, костюм его (синяя визитка по тогдашней моде), диванчик, на котором мы сидели слева от входа из темненькой передней.

- Вот, видите ли, - сказал он мне, - я ничего вам не могу обещать, потому что теперь я оканчиваю свою деятельность...

Это, конечно, не могло меня не изумить. Припомню, что тогда Тургенев еще испытывал удручающее его впечатление "Отцов и детей" на молодую русскую публику. Но никакого особенного раздражения я в нем не видел; на эту тему он не сказал ни одного слова. Объяснение его было гораздо проще, и вот в нем-то и сказались это свойство: не утаивать даже деликатных вещей из своей жизни, даже перед человеком, являющимся к нему в первый раз.

- Сочинять, - продолжал он, - я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было. И вот теперь случилось так, что я поселился за границей... - Без всякого колебания или многозначительной паузы он добавил: - Жизнь моя сложилась так, что я не сумел свить собственного своего гнезда. Пришлось довольствоваться чужим. Я буду жить за границей почти безвыездно, стало быть, прости всякое изучение русских людей. Вот почему я и не думаю, чтобы написались у меня что-нибудь. Надо на этом поставить крест.

Когда Кувалдин ему заметил, что невероятно такое писательское самоубийство, что, наконец, он сам не выдержит, заскучает по работе.

- Кое-что буду писать, - сказал Тургенев. - Вот сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод "Дон-Кихота". Буду собирать свои воспоминания... Что же делать!

Днем в коридоре мимоходом слышу: "Нет, вы не пойдете. Сейчас у вас ванна". Голос Макса: "Да, у меня сейчас ванна". На секунду останавливаюсь, потрясенный. Оказывается, Пан купается в ванне... Он - седой. У него небольшая борода лопатой. Странно выглядит его портрет маслом, висящий над лестницей, на нем он написан с медными горящими волосами. Он не любит электричества, кино, радио. В кабинете ночами сидит с керосиновой кухонной лампой. Вечера на террасе проводит с фонарем. А рядом в колхо-

зе резонерствует громкоговоритель радиоприемника. Проходя вечером мимо колхозного огорода, мы слышим, как громкий радиобас рассказывает о пользе коллективного ведения хозяйства.

- Однако, как ни старается Макс уйти от новшеств, они наступают на него со дня на день, - говорит Тургенев.

Сам Тургенев любит желтый цвет, желтый занавес, желтые шорты, желтую ширму. А Волошин каждый день упорно, систематически, по привычке, выработанной годами, пишет утрами акварели. Кладет перед собой листик плотной бумаги. Прикалывает его кнопками к доске. На столе расцветают белые фарфоровые чашечки с красками, в стакане ждут десятки тонких кисточек. Иногда сначала набрасывает карандашом легкие контуры гор, развалины береговой стены или башни. Но в каждом рисунке одна тема - море. Море ночное, море солнечное, море лунное, горное море.

Вечером он читал свои записки о художнике Сурикове. Скорее, это были рассказы из жизни художника. Сурикова Волошин помнил еще с молодости, когда жил в Москве. Там, в Новой Слободе, художник, писавший тогда "Боярыню Морозову", был его соседом. Детство Сурикова на этих страницах - свирепое, медвежье. Многолюдные открытые казни на торговых площадях, чудовищные палачи, буйные люди, не знавшие, как пользоваться своей энергией, нравы кулачного права, быт Красноярска начала девятнадцатого века, жестокое детство, воспитывавшее фанатизм Аввакумов. Кстати, образ этого расколоучителя семнадцатого века, протопопа Аввакума, просидевшего четырнадцать лет в земляной тюрьме Сибири и не отказавшегося от своих убеждений, увлекает Волошина.

Какой-то пьяный поэт ночью на лунном пляже кричал:

Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке грязной мчаться,
То к окурку, то к пушинке
Скользким боком прижиматься.

Пусть с печалью или с гневом
Человеком был я плюнут,
Небо ясно, ветры свежи,
Ветры радость в меня вдунут.

В голубом речном просторе
С волей жажду я обняться,
А пока мне любо - быстро
По канавке грязной мчаться.

В другой раз Тургенев опять поразил Кувалдина своею откровенностью, хотя в то время они уже были в отношениях довольно близкого знакомства, и Кувалдин из молодого человека превратился в человека зрелых лет. Кувалдин вошел на крыльцо, а Тургенев спускался с трудом, даже на одном костыле, от себя. У подъезда стояла карета. Тургенев рассказал Кувалдину, что это его первый выезд после двухнедельного сиденья в комнате.

- Надо сделать несколько визитов. Совестно, ни у кого не мог еще быть.

И тут, на вопрос Кувалдина: "Что вас, Иван Сергеевич, задержало?" - ответил такой подробностью, которая показала Кувалдину, что в Тургеневе в известные минуты сидела настоящая барская откровенность, которой не найти у людей другого типа, как бы они ни были просты, искренни и смелы: известных вещей они не скажут от той щекотливости, которой в Тургеневе не было. Сойдя с лестницы, он попросил зайти Кувалдина вместе с ним в магазин известного токаря Александра, помещающийся в том же доме, чтобы выбрать себе табакерку.

- Стал нюхать, - говорил он Кувалдину с улыбкой, - как старухи у нас толкуют: для глаз хорошо.

Вообще, Тургенев был в очень милом настроении и передавал мне, как, сидя дома, пристрастился к картам, собирал у себя двух-трех приятелей, из которых один оказался неудобным по своей горячности и манере ругать партнеров. В среде иностранцев, особенно французов (Кувалдин больше всего и видал его с ними), Тургенев, сохраняя свой народный барский тип в манере говорить, в тоне, превращался гораздо больше в европейца, чем большинство русских. Это происходило, главным образом, оттого, что он употреблял новейший, несколько жаргонный парижский язык. У других, например, у Герцена, несмотря на его долгие скитания, самый звук, когда он говорил по-французски, был чисто московский до самой смерти. У Тургенева не только выбор выражений, отдельные слова и словечки, но и интонации отзывались новейшим Парижем.

У Волошина было двойственное отношение к гостям. Кончается холодная зима - приходят солнце, тепло, люди, которых он любит и без которых ему трудно жить, но с ними кончается и своя работа. А с октября опять ветры, штормы и одиночество. Очевидно, к концу лета надоедают люди и втайне хочется скорее остаться одному, с незаконченными стихами, старыми книгами и новыми мыслями.

Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал в течение многих лет, а между тем не дальше как несколько месяцев тому назад я, признаюсь, был не особенно приятно настроен, прочтя случайно маленькое предисловие Тургенева к митавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим "вторым отечеством". То же он высказывал и по-русски в своих воспоминаниях, но там это как-то смягчается. И, вероятно, когда он уходил в самого себя и обзревал историю своего умственного развития, то признавал тот несомненный факт, что немцам, их университетам, их литературе, философской всесторонности, эрудиции он обязан тем, что стал настоящим европейцем по своим идеям, стремлениям и вкусам.

К французам Тургенев вплоть до переселения в Париж относился, правда, немножко брезгливо; можно даже сказать, что он не любил их. Очень хорошо припоминаю свой разговор с его ближайшим приятелем по поводу переселения Тургенева с семейством Виардо из Баден-Бадена в Париж. Переселение это было сделано из патриотизма. Виардо и его жена не хотели оставаться у "пруссаков", продали, так же как и Тургенев, свои виллы, переменили совершенно образ жизни и поселились на постоянное житье в Париже.

- Да, бедный Иван Сергеевич, - говорил мне его приятель, - должен теперь сидеть во Франции.

А ведь он до французозов куда не охотник, и весь-то склад жизни в Париже ему не по душе! Это говорилось как вещи, давным-давно известные всем, кто близок с ним. Но патриотизм семейства Виардо, последствия франко-прусской войны, падение Второй империи и новый режим, множество живых связей с писателями и политическими людьми Франции, симпатии и вообще уважение, чуткость французозов, и в особенности парижан, к таланту и ко все-

му, чем, по выражению Тургенева, "красится и возвышается жизнь", сделали то, что в конце 70-х годов никто бы уже не сказал про Тургенева, что он не любит французов и живет, скрепя сердце, в Париже.

Этот русский тонкий европеец, несмотря на то, что у него было хорошее дворянское состояние, прожил свой век во временных квартирах и таких же временных собственных домах, совершенно так, как Герцен. Тот умер в меблированных комнатах. И Тургенев умер в павильоне дачи, который владелица объявила своей собственностью вплоть до последнего стула его спальни, а его назвала в своем встречном иске "жилецом", не имевшим будто бы никакой движимой собственности. Такое же сходство с Герценом по части собирания книг, составления библиотеки. Не знаю, есть ли в усадьбе Спасского-Лутовинова обширная библиотека, но в Баден-Бадене и в Париже я не помню у Тургенева библиотеки, настолько крупной, чтобы она занимала, например, целую залу или просторную комнату.

В обстановке Тургенева, даже в изящной, баденской вилле, чувствовался холостяк. Кабинет был узкий, суховато отделанный, совсем не наполненный множеством вещей, которые накаплиются в комнатах семейного и домовитого человека...

- Ах, проза в стихах Тургенева! Как это ты все время про него вспоминаешь? Мечты и сны... - Он вдруг вскочил на ноги, взглянул на море. - Слушай, Лариса, знаешь, что мы сейчас сделаем. Попробуем поговорить с живым Тургеневым.

- Он же давно, уже в позапрошлом веке, в девятнадцатом, умер.

- Настоящие писатели не умирают! - сказал он и развязал пояс халата.

Он снял халат. Плечи у него были белые, узкие, плавки - яркосиние. Он сложил халат сначала пополам, в длину, потом свернул втрое. Развернув полотенце, которым перед тем закрывал себе глаза, он разостлал его на песке и положил на него свернутый халат. Затем он взял Ларису за руку. Они пошли к Дому творчества.

- Ты-то уж наверняка не раз видела Тургенева? - спросил он.

Лариса покачала головой.

- Не может быть! Да где же ты живешь?

- В коттедже недалеко от столовой, - сказала Лариса.

- Как это не знаешь? Не может быть!

Лариса остановилась и выдернула руку. Потом подняла ничем не приметную ракушку и стала рассматривать ее с подчеркнутым интересом. Потом бросила.

- Остоженка, серенький дом с колоннами, "Андрей Колосов", - сказала она и пошла дальше, покачивая взрослыми бедрами.

- Остоженка, серенький дом с колоннами, "Андрей Колосов", - повторил ее спутник. - А это случайно не около радиальной станции метро "Парк культуры"?

Лариса посмотрела на него.

- Я забыла, что ты из Санкт-Петербурга. А я живу в Гагаринском переулке, рядом с Андреем Яхонтовым! - сказала она нетерпеливо. - Я живу, между Остоженкой и Пречистенкой. - Лариса пробежала несколько шагов, подхватила левую ступню левой же рукой и запрыгала на одной ноге.

Весь дом Волошина после крымского землетрясения был опоясан железным обручем, как бочка. Дом большой, двухэтажный, с многочисленными лестницами, балконами, каморками, с жилым чердаком, обросшим дедовской пылью и легендами. О, эти пыльные бутылки, треснувшие глиняные кувшины, кованые бабушкины сундуки, недоломанные кресла и изгрызенные мышами книги - вас любят дети и поэты! Одна четвертушка чердака была мне спальней. Во дворе три флигеля. На чердаке одного из них, по преданию, Николай Гумилев писал своих "Капитанов".

Вот уезжает гостивший на даче Бачурин, седой и худощавый. Во дворе прощание. Бачурин берет гитару, поет пронзительным своим тенором:

Отстучали колеса, отпели твои поезда.

Отмерцали огни, отмелькали узлы

и вокзалы.

Умудрился ты где-то от поезда спяну

отстать.

Проводница про то всю дорогу потом

вспоминала...

Эта песня называется "Памяти Рубцова". Вся сцена прощания - как фотография из выцветшего семейного альбома прошлого столетия. Да, тут умеют прощаться - долго и терпеливо. Конечно, тут же и неизменные фотографии. Об этих фотографах отдельно.

Обычно каждый приезжающий сюда кроме одеяла привозит и "кодак". И без счета, к месту и не к месту щелкает им куда пошло. Максимилиан Александрович говорит смеясь:

- Снимаемся мы раз десять на день, а фотографий своих не видим никогда.

Волошин хорошо владеет иронией. Все рассказы его пропиты иронической ниткой мастера, познавшего богатство и нищету материала. Рассказывает ли он о прошлом Коктебеля, об играх дачных детей, или о греческих мифах, или о своих гостях, - ирония оживляет, сравнивает, снижает, восхищает, но никогда не убивает...

- До чего ты все хорошо объяснила, просто прелесть, - сказал ее спутник.

Лариса выпустила ступню.

- Ты читал "Колосова"? - спросила она.

- Как странно, что ты меня об этом спросила, - сказал сын Вадим. - Понимаешь, только вчера вечером я его дочитал. - Он взял руку Ларисы. - Тебе понравилось? - спросил он.

- Очень! - воскликнула Лариса.

Вадим надел халат, плотнее запахнул отвороты и пошел один по горячему, мягкому песку к столовой.

Поднимаясь по ступеням, заметил полную женщину, смотрящую на его голые ноги.

- Я вижу, вы смотрите на мои ноги, - сказал он.

- Простите, не расслышала, - сказала женщина.

- Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги...

Свои стихи Волошин читает немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие, по-особому выговаривая слова семнадцатого столетия. "Сказание об иноке Епифании" написано в стихах. Чудовищная в наше время тема должна восприниматься иронически. Но благодаря наивности тона, искренности и духу примитива сказание трогательно живо. Максимилиан Волошин свое сказание называет современным.

Тургенев имел свою особенность: уменьше изобразительно-художественной беседы без пылких тирад и проблесков чувства или негодования, но с редким обилием штрихов, слов, определений, жизненных итогов и взглядов на всевозможные стороны литературной и бытовой жизни, на людей, книги, картины, пьесы, русские и западные порядки. Не нужно скрывать и того, что он, при всем своем мягком нраве, доходившем до слабости, бывал иногда

весьма ядовит в беседах, рассказах и письмах. Это свойство вошло и в его произведения, в романы и воспоминания. Овладеть общим разговором он мог так, что сейчас же начинался его монолог и мог длиться несколько часов сряду. Завтракать или обедать с ним вдвоем было истинным наслаждением: до такой степени щедро осыпал он вас всем, до чего вы только касались в ваших вопросах и замечаниях. Так содержательно, тонко, правдиво и колоритно рассказывать умел только он. Придирчивый человек заметил бы разве то, что в Тургеневе-собеседнике и рассказчике, как в артисте на сцене, всегда чувствовалась забота о форме...

Но все это исчезало в публичных сборищах, на больших обедах, как только нужно ему было подняться с места и связать несколько фраз. Никто не поверит, кто слышал его в гостиных, до какой степени он терялся. Целую неделю сидел я рядом с ним за столом конгресса литераторов. Чтобы сказать три-четыре слова, он нанизывал, путаясь, множество ненужных слов и вообще как председатель выказывал трогательную несостоятельность...

Тропинка вьется между скалами и редкими кустарниками, то падает на дно высоких горных ручьев, то взлетает на голые открытые площадки и вдруг пропадает. Карадаг по преданию - потухший вулкан. Его вершина усеяна тяжелыми камнями черно-серого цвета, напоминающими застывшую лаву. По краю кратера, одной стороной низвергающегося в море, тянутся острые громадные утесы, торчащие как вызов: разрушаясь в течение многих десятков лет, они под действием ветров принимают фантастические формы какого-то взволнованного доисторического пейзажа.

Не могу не сказать, кстати, и того, что Тургенев был весьма не прочь рассказать какую-нибудь эротическую историю и делал это мастерски. В нем в таких случаях сидел настоящий барин восемнадцатого века. Да и вообще идеализм его повестей, оттенок чувственности и сладкой элегичности почти совсем не являлся в его беседах... Иностранец, не читавший его, никогда бы не подумал в иной веселый вечер или обед, что перед ним автор "Андрея Колосова" или "Дворянского гнезда". Под этим отсутствием чувствительного тона таилась, быть может, известного рода стыдливость, даже немножко ложный стыд, очень знакомый нашим отцам. Стыдлив, в обнаружении своих душевных волнений Тургенев был настолько, что раз, говоря со мною о работе с секретарем, о диктовке, заметил:

- Я и больной никогда не пробовал диктовать. Иногда ведь взволнуешься, слезы навернутся... При постороннем совместно станет...

Такую же стыдливость и тонкую оценку красоты и грации выказывал Тургенев и к женщинам. Привязанность к одной особе взяла у него всю жизнь, но не делала его нечувствительным к тому, что немцы называют "вечно женственное". Лучшего наперсника, советника, сочувственника и поощрителя женщин, их таланта и ума трудно было и придумать. Способен он был и стариком откликнуться на обаяние женского существа. В Петербурге, в зиму оаций, я был в числе других гостей свидетелем шуточного разговора Тургенева с одной из своих поклонниц. Он ходил по комнате, утомленный, без голоса, и вдруг говорит:

- Ах, если бы мне лет десять с костей, я бы в вас ужасно влюбился.

- А вы попробуйте теперь, - ответили ему, - право, можно!..

Не только женщинам, но и мужчинам он всегда, здоровый, на досуге, занятый или в постели, отвечал на каждое письмо, по-европейски, иногда кратко, иногда обстоятельно, но всегда отвечал. Это в русском человеке дворянского происхождения великая редкость. Потому-то его корреспонденция так огромна. В ней много писем без особенного интереса для его личности; эти тысячи ответов показывают, как человечно и благовоспитанно относился он ко всем, кто обращался к нему.

У Волошина в стихах о Карадаге есть такая строчка: "напряженный пафос Карадага". С вершины горы Кок-Кая коктейль-ский залив кажется половинкой разбитого блюда цвета густой сливы. Сверху не знаешь, чего больше - моря или неба.

ТОКАРЬ МАКЕЕВ

рассказ

С вечным окурком в углу пухлых, как сосиски, губ токарь Макеев крутит натертые до блеска ручки токарного станка. Курит Макеев очень много, одну за другой. Хотя помнил, как дед Василий, материн отец, отучал его от курения. Курить Макеев рано начал - лет в восемь. Тайком, конечно. Как-то сидит за сараем возле таганка, он дымит, и Макеев потихоньку дым пускает, чтобы незаметно было. А дед Василий его застукал. Весь зад оббил хворостиной! Потом Макеев уже из армии пришел, родня собралась - гуляют. Тут дед заходит, а Макеев сидит с сигаретой. Как увидел дед Макеев, так у него зад сразу заныл. Макеев одной рукой за зад, а другой сигарету в пепельницу. А дед Василий сразу все понял, смеется: "Чего уж теперь, кури - раз куришь, анчихрист..."

Вряд ли где можно было найти токаря, который так жил бы в своей профессии. Мало сказать: он токарничал ревностно, - нет, он работал с любовью. Там, в этом постоянном вращении детали, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. "Все в этом мире крутится, даже Земля вокруг Солнца", - думал он и изумлялся своему уму. Наслаждение выражалось на лице Макеева; как только резец, заточенный по новой технологии, касался детали, и с легким посвистом начинала стекать с нее стружка, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами с окурком в углу, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всю структуру металла, приготавливаемого для разрыва. Разорвет Надежда Николаевна деталь, запишет цифры, и выбросит разорванные части.

Макеев смолоду был мал ростом и получил обидную кличку - Окурком. Вырос, стал мужиком, детей завел - кличка осталась. Так и зовут за глаза на заводе - Окурком. Операция у него очень короткая, но и за этот отрезок успевают что-нибудь подумать, типа приснившегося сегодня сна: умер директор завода, лежит в гробу,

в проходной, гроб стоит у вертушки на подоконнике, и, директор, слегка приподнимаясь, пожимает руку каждому входящему рабочему. Макеев пишет стихи и короткие рассказы в стиле Чехонте в заводскую многотиражку, и выступает в клубе. Критерий творчества у Макеева такой: если есть в стихах романтическая дурь - есть и поэзия. А нет ее - и поэзии нет. Весь завод хохотал однажды от таких строк Макеева:

Все солдаты спят на койках
И своих целуют жен.
Только я, как шут какой-то,
На посту стоять должен...

Но ему все кажется, что он мало написал и мало выступил. И все как-то не так. Это чувство возникает у Макеева всякий раз, когда он время от времени начинает ворошить свои старые бумаги. В блокноте (где-нибудь прямо на обложке - чтобы позаметнее), на обрывке замызганного тетрадного листа или на потертой сигаретной пачке нет-нет да и встретит он короткую, сделанную второпях запись. За ней чем-то захватившая его когда-то житейская ситуация, картинка с натуры, а то и вовсе одна единственная фраза. Что-то теперь Макеев воспринимает равнодушно, уже не помнит - зачем писал и по какому поводу, а что-то по-прежнему обжигает его, рождает цепь воспоминаний, будоражит душу... И почти всякий раз охватывает досада: сколько слов отправлено в белый свет, а вот эти, куда более сочные, искренние, томятся взаперти.

Если бы соразмерно рвению Макеева давали награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в Герои Советского Союза; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, прибавку к окладу в десятку и плешь на некогда кудрявой голове. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Давно Макеев мечтал иметь дачу, хлопотал, записываясь в очередь в профбюро, но дело не двигалось, поскольку у завода не было земли. Директор объяснял ему, что, как только отрежут землю заводу, так он Макееву даст целых восемь соток. Прошло лет десять и заводу отвели эту землю под Наро-Фоминском. Макееву отвели, как и было обещано, ровно восемь соток... в болоте с осинами и камышом.

Макеев вытачивает из заготовки толщиной в карандаш маленькую штангу, образец для испытания на разрыв металла. Лаборатория, в которой на специальном стенде рвут металл, находится рядом за переплетом застекленной перегородки, с той стороны занавешенной белыми шторками. Одну из своих публичных речей в заводском клубе Макеев (а выступал он практически на каждом собрании) начал так: "Уважаемое аудиторное присутствие!" На собрании в очередной раз утверждали на должность председателя профбюро прежнего председателя. Макеев высказался против и обосновал свою позицию: "Да будь у него хоть семь пятен на лбу, я все равно скажу "нет": разве можно доверять профбюро человеку, который полностью атрофировался от коллектива". В зале смешки, легкий шум, вот, мол, Окурок опять чудит. Уставшие от долгого сидения, надоевшей всем процедуры, люди не прочь отвлечься... Но председательствующий требует порядка, урезонивает Макеева: "Не носи ахинею, а то лишу слова!" Макеев некоторое время молчит, соображая. "Может, еще скажешь - галимотню? - парирует Макеев и, перекрывая хохот в зале, громогласно заканчивает: - Ну, нет, теперь-то уж я точно в принцип встану!"

В лаборатории сидит полногрудая Надежда Николаевна, которую время от времени Макеев навещает с готовыми штангами. И не просто навещает, но и зажимает. А Надежда Николаевна однажды, после зажима, рассказала, отчего ей хорошо: "Я до сих пор помню те свои чувства. Поздняя осень, но еще тепло. Тротуар весь в палых листьях. Я в новом сером пальто, в туфлях на шпильках. Иду из суда, где нас только что развели. Все мое существо, каждая клеточка поет: "Все, его больше не будет в моей жизни, мне не надо больше его видеть. Я свободна!" Я не иду, а лечу! Я счастлива, как в детстве!"

С женой Шурой и дочерьми Верой и Наташей Макеев стал выезжать на природу, возить тачками песок и землю, нанимать бульдозер для выкорчевывания деревьев. С утра до ночи с улыбкой на губах с окурком пахал на собственной земле, пока года через три не поставил щитовой дом, больше похожий на сарай, и не посадил несколько грядок клубники. Жена Шура ползала между грядками на коленях, в другой позе редко видел ее Макеев. А он сам все постоянно что-то копал, пилил, сажал, полол, бил комаров на лице и теле, поскольку деться от комаров было некуда...

Новая заготовка в виде бруска зажимается в патрон шпинделя, подпирается задней бабкой, включается мотор, заготовка бешено вращается, резец со свистом снимает стружку, стекающую спиралью в поддон, и штангочка готова. Заготовки делает белесоватый и краснолицый фрезеровщик Чубуков. Лет ему под тридцать, но он весь белый, таким родился, поэтому лицо всегда красное. Он молчалив, все время молчит. Поднимает кран-балкой огромную чушку на станок, и выпиливает из нее брусок. Из одной огромной болванки выпиливает один малюсенький брусочек. Для Макеева. А Макеев выточит штангу для Надежды Николаевны. Нужно же узнать самостоятельность металла каждой чушки...

Макеев одевается в темноте, чтобы не будить жену и дочек. Идет в ванную, умывается. Старый паркет коридора потрескивает под ногами. Выходит из квартиры, на лестничной площадке обрывки газет, на подоконнике стоит батарея пустых бутылок и, разумеется, пахнет мочой. Макеев приходит на завод рано, когда еще вороны не летают, хотя живет далеко, у линии Октябрьской железной дороги на Лихоборских буграх. Едет на работу долго, в переполненном автобусе, потеет, как в бане, сначала до Белорусского вокзала, а потом еще на автобусе, другом номере, по валу и по Малой Грузинской прямо до завода. Завод этот военный, никаких тебе табличек и указателей, просто ворота и калитка между двумя столбами, за ней, в каменной будке, проходная, берешь свой оцинкованный пропуск и идешь себе к цеху. Завод расположен в очень старинном здании из темно-красного кирпича, с архитектурными разукрасами, как музей Ленина. Сразу бросается в глаза на побеленной короне угловой башни, похожей на шахматного ферзя, на высоком древке красное полотнище. Сам Макеев поднимал флаг пару дней назад в честь Первомая, снизу кричали и пели, а потом хорошо выпили. Флаг развевался теперь в синем утреннем ветре красной кровью всех рабочих страны, заметный даже от "Краснопресненской". Первого Макеев пойдет на демонстрацию правофланговым с красной повязкой на рукаве. Он поднимается по ступеням и видит, как в заводском клубе идет собрание, посвященное итогам первого квартала. Чествуют победителей соцсоревнования. Директор объявляет фамилию токаря, занявшего третье место, и сообщает о том, что ему полагается ценный подарок - электрический чайник. Называется второй и причитающийся ему приз - наручные часы. В зале гремят аплодис-

менты. Розовые от смущения герои труда принимают подарки. Доходит очередь и до победителя - Макеева. Ему, единственному из всех, директор вручает почетную грамоту и, не успевая сообщить, что к ней еще полагается телевизор "Рекорд", слышит вместе со всем залом его раздосадованный фальцет: "Так это что ж... получается? Мне, выходит, почти что ни хрена?"

Вообще, Макеев с начальством не ссорится, любит даже похвалить начальство. На что ему иногда работяги бросают упрек: "И чего ты, Макеев, лебезишь перед начальством!" Макеев отвечает так: "Это я-то лебедю? Я вообще никогда не лебедю!"

Преодоление сопротивления ветра флагом вызывало красную радость в груди Макеева, он думал в эти минуты о Красной площади и о том, что вчера много выпили с ребятами после смены...

- Когда-то и мы под стол пешком ходили, - задумчиво говорит Макеев. - Как это мы возникли?

- А вот как, - серьезно начинает Надежда Николаевна. - Сначала родился маленький, маленький человечек и начал расти. Рос, рос и вырос. И стали мы.

Заметив, что Макеев улыбается, Надежда Николаевна толкает его локтем.

- Не веришь? Я сама читала про лилипутов...

Макеев хохочет.

Целое утро где-то в глубине себя Макеев слышит шум. Словно вертолет кружится за облаками. Но вот мысль пробилась в голову: "Всем нашим ребятам так же трудно, как и мне. Вероятно, и они вчера получили от своих жен встряску. И Царев, и Чубуков... Нет, пожалуй, надо совсем завязать".

Когда Макеева укоряли маленьким ростом, он хладнокровно парировал: "Это ничего: маленькие, они в хрен растут!"

Макеев работает в лаборатории, здесь всего два станка, и относительная тишина с чистотой. На окнах стоят герани в горшках. Не то - этажом ниже в первом цеху. Десятки станков в длинном пролете, среди станков стоит свист, металлический пол в опилках. На каре летит чумазый подсобный со сверкающими, только что выточенными деталями. Через этот цех Макеев ходит на обед в столовую. В столовой на раздаче Макеев слышит, как женщины, стоящие в очереди перед ним, обсуждают своих мужей. И так выходит, что ни одного путного: тот пьяница, тот лодырь, тот любитель сходить налево... Из-за прилавка повариха, обычно в подобных

разговорах не участвующая, неожиданно вставляет одну-единственную фразу: "Лучше без хлеба, чем без мужика!" Работницы умолкают, берут тарелки и быстро расходятся. После столовой, в буфете, Макеев получает праздничный продовольственный заказ, укладывает бутылку, свертки в авоську...

Макеев любил, когда наступал дачный теплый вечер, и в воздухе пахло елками, что росли по забору, и сухой травой. Листья на яблонях тихо шелестели от ветра, и все, казалось, начинало успокаиваться и приходило в себя после знойного дня.

Территория дачи казалась Макееву очень большой. По обе стороны от дорожки росли яблони, посаженные им двадцать лет назад. На яблонях были уже спелые яблоки. В глубине сада висел большой гамак, в котором Макеев любил лежать, читать газету, сочинять стихи и заметки.

Бордовое солнце заходило за далекий лес, и низко возле куста шиповника летали жуки. Было тепло, и вечер, обещая хороший сон, что-то тихо нашептывал Макееву. На террасе на столе возле большого фарфорового чайника стояла сахарница, чуть поодаль - хрустальная вазочка с вареньем и шоколадные конфеты на блюде. Дочери особенно налегали на конфеты, и жена Шура то и дело шипела на них. Потом в гости зашли соседи, Юрий Иванович и Антонина Александровна. Сели, разговорились, выпили домашней наливки.

- Сейчас много красивых девушек, но мало хороших семей! Все живут сами по себе, так и род человеческий кончится! - сказал Юрий Иванович, глядя на дочерей Макеева.

- Да, я все понимаю! - убежденно сказал Макеев, но Юрий Иванович, с белой бородкой, пожал плечами, не желая, очевидно, знать, что Макеев понимает в женщинах.

Потом стемнело, и на террасе зажгли свет. На небе одна за другой появлялись звезды. Антонина Александровна и Шура о чем-то тихо беседовали, а Макеев и Юрий Иванович, выпив уже прилично, спорили и не соглашались друг с другом. Вера сидела в гамаке, а Наташа раскачивала ее, стоя под яблоней. Вера смотрела на звезды. Наташа смотрела то на звезды, то на Веру. На траве под гамаком, закрыв пластмассовые глаза, спала кукла Веры в красном платье.

Наташа перешла в четвертый класс, и ей уже десять лет! Вера перешла пока в третий. Потом слышались шаги гостей и родителей. Шура звала дочерей умываться.

Донесся пьяный голос Юрия Ивановича:

- Вы посмотрите! Это что-то из русской классики. Одна дама лежит в гамаке, а другая раскачивает ее, и они говорят, вероятно, о любви!

Ему ответил такой же пьяный голос Макеева:

- Это что-то чеховское!

- Да ну что ты! Это же Тургенев! - возразил Юрий Иванович...

Но еще хуже, чем в первом цеху, было в литейном. Там гарь и дым, пыль и полумрак. Льют алюминиевые болванки, а из них в приткнутом к цеху сарае вытачивает кружки для соковыжималок приятель Макеева фрезеровщик Царев, сухощавый, высокий, с бородкой, в очках. Крутит ручки, прыгает у маленького для него вертикально-фрезерного станка. Тоже пойдет на демонстрацию. Царев спрашивает у Макеева: "Как дела?" Макеев, перекачивая по губам окурок из одного угла в другой, говорит: "Да уж получше, чем у государства!"

Наконец, прошлой зимой дачный дом сожгли бомжи, которые каждый год ломали дачи, крали все, что только можно было урвать...

Рабочий день окончен. План выполнен, заметка в газету написана, на собрании выступил, стал победителем соцсоревнования, завтра - на демонстрацию трудящихся. Макеев идет по улице в приподнятом настроении, голова полна новых радужных надежд, каких-то планов, в углу рта бычок... Окурок, одним словом. Идет быстро, энергично, уверен в себе. И вдруг запнулся и со всего размаху - бац, на асфальт! Авоська улетела в сторону, содержимое рассыпалось, бутылка разбилась, ушиб колено и локоть, измазался... Макеев с трудом поднимается, приводит себя в порядок, собирает вещи и уже потихоньку бредет на автобус. Это судьба, как будто играя, предупреждает: "Не забывайся! А то, ишь ты - воспарил!"

ШКОЛЬНИК

рассказ

Черные парты с откидными крышками (коричневые лавки в одном комплекте со столами) выстроены в ряд, черная доска, школьники в форме: мальчики, как солдаты, в гимнастерках, а девочки в мрачных коричневых платьях и черных фартуках. Тридцать семь человек в классе, тридцать семь фамилий в классном журнале. Его фамилии завидовали все в классе - Отвагин. Сам же Илья Отвагин отважным не был. На длинной шее маленькая голова с белобрсым чубчиком, лицо узкое, с зеленоватым оттенком, как у детей подземелья, длинные руки торчат из фиолетовых рукавов школьной гимнастерки. Да, Отвагин жил в десятиметровой комнате вместе с двумя сестрами и матерью в сыром подвале. Он постоянно болел, и, казалось, все детство пролежал в больницах. Из окна своего подвала он видел только ноги прохожих. Так что никакой тут отваги в Отвагине не было, и не приходилось, по-видимому, ожидать. Вон Сволочкова Лена, длинноногая, всем видом своим тянувшая лет на семнадцать, действительно была сволочью, а Зина Шкурникова, с необъятным задом, как у взрослой доярки, - хорошей шкурой. Они вдвоем однажды затащили Отвагина в подъезд, сказали, что покажут, как делают детей матери с отцами. Но как только Сволочкова, с которой он рядом сидел за одной партией, и Шкурникова залезли к нему в брюки, схватили за морковку и придвинули к своим разделенным надвое персикам, он вырвался и сбежал. Так что Илье Отвагину отваги явно не доставало. Меланхолично любил, развесив уши, сидеть у радио, отгонять мух от варенья и слушать песни:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.

Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,
Какие полushалки ей
Красивые дарил.

Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума...

На уроках Отвагин всматривался в одноклассников, искал умные лица, вслушивался в разговоры, старался не пропустить ни одного значимого слова - напрасно. Отвагин всем подсказывал, подсовывал свою тетрадь, чтобы одноклассники могли списать. Он сердился, что соседка Сволочкова не способна скатать диктант или контрольную. Все время Отвагин находился в напряжении. Локти его, как приучила мать, постоянно были прижаты к бокам, чтобы не касаться соседа.

Отвагин был задумчивым и тихим, ходил один, часто останавливался на улице, рассматривал карнизы и крыши, читал вывески, и очень любил торчать на бульваре у стендов с газетами и читать по целым статьям. Но фамилия у него была, как говорится, что надо!

В духоте и толкотне нового магазина "Детский мир" на площади Дзержинского протолкнулись к прилавку обувного отдела. Было так жарко, что пот стекал горячей струйкой по позвоночнику. Казалось, что вся Москва сбилась в этом центральном магазине накануне открытия нового учебного года. Мать подталкивала его вперед, а Отвагин стеснялся любых глаз, краснел и ничего не хотел. Наконец стал примерять ботинки. А потом еще и галоши. Мать убеждала его, что без галош никак нельзя, вдвое дольше будут носиться ботинки с галошами, тем более, осенью, зимой и весной, когда воды "по колено", как говорила мать.

На большой перемене раскрасневшийся, взъерошенный и потный Женя Батов бежит над проходом - левая нога на левом ряду, правая - на среднем. Ребята кричат ему:

- Ебатов, упадешь!

Конечно, Женя не виноват, что у него фамилия Батов, а имя Евгений. Однажды в стенгазете он подписал свою заметку о сборе макулатуры и металлолома - "Е. Батов". Ну, разумеется,

так и пошло. Кто-то его случайно толкнул или он сам оступился... Директор Иван Николаевич завернул Батова Женьку в свое драповое пальто и по снегу потащил в травмопункт.

Сидит Отвагин на коммунальной кухне под полкой с дуршлагами, хлебает гороховый суп, давит указательным пальцем наглых тараканов на стене, а из соседской комнаты радио громко поет:

Мы, друзья, перелетные птицы,
Только быт наш одним нехорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь...

Отвагин все больше замыкался в себе, углублялся в себя, старался перелезть из внешнего мира - бесцеремонного и бессовестного, в мир внутренний - прекрасный и тихий. Отвагин любил тишину. Сядет с книгой, когда дома никого нет, и читает, не отрываясь, до того момента, пока кто-то не придет домой. А, читая, исчезал из этого мира, перемещаясь, перевоплощаясь в иных людей, в другой мир, преобразуя в своем мозгу черные символы в полнокровную жизнь, возникающую в его сознании.

Сильное впечатление произвел на Отвагина показ искусственного звездного неба в Московском планетарии. Отвагин был, как и все одноклассники, захвачен этим зрелищем. Класс вышел из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом. И вдруг как бы впервые Отвагин увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пыланье небесного свода.

Конечно, Отвагин переживал увлечение экзотикой. Желание необыкновенного преследовало его с детства. Он никогда не видел ни темных тисовых лесов, ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал золотой арфы. Он даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая он узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов золотую арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Любимым уроком Отвагина была география. Она бесстрастно подтверждала, что земля - шар, и что на нем есть необыкновенные страны. Его состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и - тоска из-

за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в его воображении.

В комнате всю дорогу поет радио, ну, никогда не выключают:

Где ж ты, мой сад, вешняя заря?
Где же ты, подружка, яблонька моя?
Я знаю,
Родная,
Ты ждешь меня, хорошая моя...

Часто Отвагин ошибочно соединял в одно целое два разных понятия - то, что называется экзотикой, и то, что называется романтикой. Он подменял романтику чистой экзотикой, забывая о том, что эта последняя является лишь одной из внешних оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания. Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Отвагин ушел от экзотики, но не ушел от романтики - от очистительного ее огня, порыва к душевной щедрости, от постоянного ее непокоя. Романтическая настроенность не позволяла Отвагину быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в обыденной жизни...

Раз у булочной бежит навстречу в своем красном пальто с черным меховым воротником Сволочкова и кричит, довольная:

- Заболела немка! Уроков не будет.

Сколько раз Отвагин потом у булочной сам решался дезориентировать ребят и заворачивал их возгласом: заболела немка, уроков не будет. Немка была еще и классной руководительницей.

Сколько раз он сам сказывался больным. Когда Отвагин врал, что болен, то, кажется, сам заболел по-настоящему. Болезнь - это чистая совесть, покой, законное утешительное занятие - чтение. В который раз "Записки сумасшедшего" и "Степь". Новое: Достоевский. С десяти лет Достоевский яростью и потоком совершенно новых мыслей стал любимым на всю жизнь.

Классная красotka Сволочкова - светло-желтые, вытравленные перекисью водорода волосы, надо лбом завитая волна, маленькие глаза, большие щеки, все время приглашает Отвагина к себе домой, пока родители на работе, полежать. Потом спрашивает у Отвагина:

- Какая у тебя самая любимая книга?

Отвагин, как положено, полным ответом:

- Моя любимая книга - роман Достоевского "Подросток"...

И начинает вздохнуть говорить о дорогих для русского сердца камнях Европы...

У Отвагина с Ольгой Иосифовной, учительницей немецкого языка, нелады. Сегодня она Отвагина съела. "Отвагин не смей, мерзавец, разговаривать!" - орет. "Дай противный мальчишка дневник!" Дал Отвагин дневник и вежливо говорит: "Ольга Иосифовна, оставьте мне место в дневнике, уроки чтобы записать", - и это Отвагин говорит самым спокойным тоном. Лицо у нее вытянулось, как у крысы. В растерянности она орет: "Пересядь на последнюю парту!" Отвагин: "Пожалуйста, если доставлю вам удовольствие", - тоже очень спокойно. А потом, щучка, продешевилась, вызвала отвечать и поставила "5".

Ольга Иосифовна носит интеллигентные очки, у нее Отвагин любит ямочку на подбородке и тонкую талию с крупной грудью. На ней белая блузка с крахмальным многослойным воротником. Такой воротник называется жабо, и он больше характерен для монарших особ старой Франции. Сжав руки на этой высокой груди, Ольга Иосифовна с придыханием, и чуть картавя, спрашивает:

- Кто знает, откуда произошло слово алфавит? Может, кто догадается?

- От названия букв, - сказал Отвагин, - от "альфы" и "беты"... "Бету" переменяли на "Виту", что значит "жизнь"...

- Какой ты молодец, Отвагин, - сказала Ольга Иосифовна и вдруг спросила: - А что означает твоя фамилия?

Отвагин без запинки ответил:

- Отвагу!

- А еще что? - спросила она с придыханием и прикусила пухлую губку.

Отвагин задумался. Весь класс тоже затих. Ольга Иосифовна сказала, обращаясь к Отвагину:

- Останься после уроков, я тебе расскажу...

После уроков она повела его зачем-то в пионерскую комнату. Когда они вошли, она плотно притворила за собой дверь и закрыла ее на ключ. На тумбочке, покрытой красным сатином, стоял пронзительно белый алебастровый бюст Ленина. Рядом лежали горн и барабан с палочками. Ольга Иосифовна зачем-то

задернула шторы на окне и стала с каким-то странным напором говорить Отвагину, что все в мире движется любовью, и что в фамилии его содержится тоже любовь. При этом она как-то странно стала поднимать свою юбку. Вот кончились уже капроновые чулки, прикрепленные застежками на резинке. По глазам полоснула белая нежная кожа ляжек. Отвагин вобрал голову в плечи и попятился. Ольга Иосифовна провела обе ладони в трусы и, помогая задом, спустила их до колен. Отвагин отвернулся. Придерживая юбку, Ольга Иосифовна, часто дыша, так что шевелился черный пушок над ее верхней губой, схватила его за руку, повернула к себе. Отвагин смотрел во все глаза, не мог моргнуть, не мог вздохнуть, окаменел, одним словом. Она развела полные колени, потянула за руку Отвагина и попросила, чтобы он посмотрел туда. Отвагин посмотрел и снова отвернулся. Она надвигалась на него, сильно раздвинув красивые ноги. Губы Отвагина искривились, он зажмурился. Она выше подняла юбку. Отвагин уткнул лицо в рукав.

- Садись. Садись и успокойся.

Отвагин опустил на стул и закрыл лицо ладонями. Ольга Иосифовна быстро опустила юбку и села рядом.

- Ну, что с тобой, Отвагин? - шепотом спросила она и ласково обняла его за плечи и погладила по голове. - Глупый ты, Отвагин. Тебе что, действительно ни одна девочка это место не показывала? - Она приподняла юбку, развела пухлые ноги, выдавила дрожащим фальцетом: - Тогда смотри... смотри, не отворачивайся...

Отвагин взглянул из-под нахорхленных бровей. Ольга Иосифовна поправила сползшие трусы, шире развела колени. Отвагин, сжав зубы, смотрел. Она встала перед ним, чтобы ему лучше было видно. Отвагин смотрел на ее густо поросший черными волосами большой лобок. Над ним нависал гладкий живот с пупком посередине. На животе ясно проступал след от резинки.

- Если хочешь, можешь потрогать... потрогай, если хочешь...

Ольга Иосифовна взяла его руку, положила на лобок. Отвагин потрогал жесткий мохнатый холмик. Голова Ольги Иосифовны плавно покачивалась, накрашенные губы нервно и страстно подрагивали. Она шире развела дрожащие ноги. Отвагин потрогал ее набухшие половые губы.

- Вот это место у меня по-немецки называется "вагина". А ты Отвагин. Понял?

Отвагин минуту, казалось, соображал, что бы это значило, про себя прибавил к "вагине" приставку "от", ужаснулся, нервно задрожал и бросился к двери, в которой торчал ключ. Отвагин повернул его, открыл дверь и выскочил в коридор...

На другой день, когда накрапывал дождь и медленно темнело, Отвагин к школе почти бежал, как будто кто-то другой, сидящий в нем, тащил его туда. Изредка он все же останавливался от скрипа собственных галош. Ну почему они так скрипели?! И куда он так стремился? Ему ведь нужно было уходить к утешительному занятию, чтобы он был один и в покое. Покой был, весьма относительный. Один он почти никогда не бывал. Делая уроки, громко пел, чтобы заглушить пьяные голоса соседей.

Вот она - в темноте скорее угадывалась, чем виделась, - его четырехэтажная школа из буро-красного кирпича, с широкими окнами. С волнением Отвагин снял сначала с себя галоши и со злостью зашвырнул их в кусты.

Вот такое простое решение. Как же Отвагин от вагины-то произошел? Простота, даже обыденность жизни заключается в том, что все люди бывают маленькими и бывают старыми. Отвагин сейчас был маленьким, но он будет и старым. Мысли детства обманчивы. Куда он пойдет? В чиновники или по партийной линии, то есть накрепко будет прикован к социуму, к своей социальной функции, вернее, будет не личностью, а функцией, а детство и старость - это не социальные функции, это лежит выше, над схваткой, как творчество. Ах, как просто все казалось Отвагину! Проще выброшенных в кусты противно скрипящих галош. Детскую мечту можно узнать по походке. Осуществленная мечта в походке, идет, как пишет, - верный признак глупости. Чаше всего мы сознательно довольствуемся суррогатами детской мечты. Хочется быть вождем народа, а становишься бригадиром плотников и держишься за это место, оправдываясь перед самим собой и перед друзьями, что место это дает право быть немножко вождем. А все уже ясно: зарплата и плюс регулярная халтура, возможность не руководить, а унижать, квартиру, машина, колбаса, садовый участок и прочее. Одним словом, корысть и больше ничего. Ну, походка еще, может быть. Как же не понять природу детских мечтаний? Ведь они наивные и чистые, мечты-то! И страшные, чудовищные, надо признаться, потому что они - от животной природы человека, от правил естественного отбора. Разве не мечтал никто о славе Павлика Морозова?

ШКОЛЬНИК

Затем Отвагин долго шарил под забором, чтобы найти камень, а когда нашел, поднялся и, размахнувшись, бросил его в окно пионерской комнаты. Со звонким лязгом разбилось стекло и осколки посыпались на асфальт. Отвагин сладостно в страхе задрожал, и его словно ветром сдуло из школьного двора.

Когда ел гречневую кашу с молоком, из радио несло:

В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест.
Оттого, что пахнут липы
И река блестит,
Мне от глаз твоих красивых
Взор не отвести...

На другой день, перед первым уроком, директор Иван Николаевич кричал, наливаясь краской, и на его шее, стянутой галстуком, надувались вены:

- Отвагин, встать! Чего молчишь? Встать!

Отвагин не шевелился, как будто он был прибит к парте.

- Весь класс - встать! Отвагин сидеть.

Весь класс, издеваясь над директором, сидел, а Отвагин нехотя поднялся. Директор сначала расстелил на столе газету, затем извлек из сумки галоши, поставил их на стол и сказал:

- Ишь, заботливый какой, обе галоши надписаны химическим карандашом, четко выведено на обеих, на красной подкладке: "Отвагин".

И класс зашевелился, зашушукался. А на Отвагина, не мигая, смотрели из угла глаза Ольги Иосифовны.

ФИКУС

рассказ

Была у Фикуса в детстве собака. Привел ее Сашка из угловой комнаты, вернувшийся из тюрьмы. И продал Фикусу. Прозвище у него такое было - Фикус, потому что он был на самом деле высокий и лопухий, просто слоновьи уши, таких не бывает. А собака сбежала, шустрая. И через месяц Фикус услышал громкий, срывающийся от чувств на визг лай своего Дика. Потом Фикус изображал с Диком пограничника Карацупу, сидел в засаде. Но Сашка однажды увидел Фикуса с Диком, вырвал поводок у него. А когда Фикус стал кричать, дал по шее. Очень сильно, по-мужски. Дик залаял на Сашку, но и Дикуну досталось, и он заскулил, поджал хвост и заискивающе посмотрел на Фикуса, прощаясь навсегда.

Муха жужжала над самым ухом протяжно и нудно, несколько раз заходя на посадку, и действительно, в конце концов, села на щеку. Фикус открыл глаза и увидел все тот же огромный фикус в ведре на полу. Одна половина фикуса освещалась солнцем, и листья казались золотистыми и легкими, другая находилась в тени, тяжелые и будто чугунные. Листья как у лопуха. Взять бы этот фикус и выбросить в окно. Да мать орать начнет. Фикус вчера с ребятами сильно поддал на танцах в клубе завода, потом проводжали каких-то девушек, а потом Фикус уже ничего не помнил. И только сейчас открыл глаза и увидел фикус. Откуда этих фикусов навезли, по всей Москве стоят в кастрюлях, горшках и ведрах? Даже в школе возле нянечки стоял в кадке чуть ли не до потолка. И в классе стоял, на втором окне. И в пионерской комнате стояло два даже фикуса. И в отделении милиции, куда их на прошлой неделе затащили после драки в пивной, стоял на тумбочке возле дежурного старшины пыльный лопухастый фикус. И его самого Фикусом за длинный рост и огромные уши прозвали.

От широколистного фикуса взгляд Фикуса медленно перешел на железную кровать матери, убранную, с узористым подзором и пятью подушками, уложенными пирамидой. На стене над кроватью висел черный самодельный коврик, мать сама вышивала крестиком, с лебедями в пруду между, опять-таки же, фикусами. Мать как будто нарочно вышила фикусы над прудом, чтобы ее любимый цветок и над прудом рос, хотя на самом деле он там расти не мог. Мать ушла на работу. Фикусу никуда идти не нужно было. Полгода он шлялся просто так, нигде не работал, и работать не хотел. Осточертела ему учеба, бросил после семи классов и решил годок пофилонить. Неужели человек рожден для того, чтобы учиться и работать? Нет уж, человек рожден, чтобы девушку зажать, выпить и попеть блатные песни, например, такую:

Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в шикарный ресторан,
Там сидела Мурка с лягавыми на пару,
А в руках у ей блестел наган...

Да-аа... А в милиции тяжело работать. Это говорит отец Тольки, он в милиции лет десять работает, через день дежурит с утра до ночи, как этот. Но вообще помусорить интересно, к блатным в доверие войти, кассу взять. И даже где-то в глубине души Фикус не против был бы мусором заделаться, своим.

- Фикус, выходи! - донесся с улицы голос Тольки.

Фикус потянулся, вскочил с дивана и качнул этажерку, с которой упал сундучок. Матери Фикуса в приданое дед Иван подарил этот деревянный сундучок своей работы. При Фикусе он уже был старым, побитым, невзрачным. Мать в нем хранила документы. Фикус смеялся над ее сундучком, чуть ли не требовал выкинуть его. Однажды довел мать до слез своими нападками. Было у Фикуса также два стула работы деда Ивана. Жили стулья долго, Фикус их еще помнил. Фикус любил залезать на чердак, где хранились серпы, которыми мать в молодости работала в огороде. Там были также сечки, которыми раньше рубили капусту в корыте. Еще там были чугуны, которые раньше служили вместо кастрюль. В них до войны готовили еду в печке, а в больших чугунах - и корм для скота. Еще был старый угольный утюг. В такой утюг засыпали угли из печки и потом гладили белье. Была и еще

одна памятная вещь - молочная кружка. Это простая алюминиевая кружка на пол-литра. Кружкой отмеряли молоко при продаже. Уж сослужила она службу семье Фикуса! Была еще фляжка для подсолнечного масла. Эта фляжка была немецкая, с хитрым запором. Ее привез дядя Коля с войны и подарил матери, и она служила потом много-много лет. Недавно Фикус встретил такой запор на бутылке пива. Много было разных вышитых полотенец, накидок, салфеток. Все делала мать сама. На большом ковчаном сундуке, покрытом плетеным пестрым ковриком стояла гармошка, под белой накидкой. Фикус взял гармошку на руки, как ребенка, зевнул, накинул ремень на плечо, растянул мехи, пробежал по кнопкам и запел:

Барыня, барыня,
Сударыня-барыня...

Фикус посмотрел на улицу. Внизу стоял Толька в сатиновых своих черных шароварах, в китайских кедах и с мячом под мышкой. Стоял и плевал себе под ноги. Вот у человека привычка - постоянно плевать себе под ноги. Плевался везде и всюду. Фикус отодвинул графин, в котором вода искрилась от солнечных лучей, встал коленом на подоконник, приоткрыл форточку и крикнул в нее:

- Иду-у-у!

На столе стояла банка с солеными огурцами. Фикус открыл крышку и заглянул внутрь банки. Поверхность была подернута, как пруд, желтовато-белой ряской, из которой торчал зонтик укропа. Фикус сунул руку в прохладную банку, нащупал небольшой твердый пупырчатый огурчик, вытащил его и, зажмурившись, с хрустом откусил. Удовольствие было невероятное. Прожевав и проглотив огурец, Фикус поднял тяжелую банку и сделал через край несколько жадных глотков острого рассола. Комната была узкая и тесная, в коммунальной квартире на пять семей. Одежда Фикуса валялась в углу на табуретке, под материнской иконой, золотисто-черной. Глядя на нее, Фикус думал: "Если Бог есть, то почему его нет?" По длинному коридору с дощатым некрашеным полом пошел умываться на кухню. Под ноги выскочила пятнистая кошка, стала усиленно притираться к ногам Фикуса. На кухне он первым делом

достал из шкафчика уже завялившую кильку. Бросил кошке на блюдце. Кошка с каким-то диким урчанием, страстно принялась грызть рыбку. Фикус ежился от утренней прохлады. Вода на кухне была только холодная, из позеленевшего латунного крана текла медленно, скручиваясь винтом. Небритый сосед Федор Иванович, в тельняшке, положив ногу на ногу в калошах, курил. На шатком кухонном столике перед ним лежало два больших гвоздя и молоток, в одном месте ручка которого была обмотана черной изоляцией.

- Может, помочь чего забить? - спросил Фикус.

- Да вон, под полку, засади пару гвоздей, - сказал Федор Иванович и почесал недельную щетину.

Фикус взял молоток, подпер плечом покосившуюся полку для посуды и вбил гвозди. Стена была деревянная. Но на стук, как из рога изобилия, из всех углов высыпали светло-рыжие, как жареные тыквенные семечки, тараканы, забегали, затрещали, валились на стол, на пол, на подоконник. Но через секунду все разбежались по щелям.

- Видал?! - воскликнул сосед. - Самое главное в жизни то, что я не умер!

Когда Фикус был маленьким, то очень любил заводить патефон. Вон он до сих пор на тумбочке стоит. Ручку, изогнутую, блестящую, вставляешь и крутишь до упора. А в уголочке - выдвигаемая коробочка с толстенькими иголками. Потом трубку никелированную заводишь на пластинку, иголка касается вращающегося диска, шипение, а за ним голос Руслановой:

Валенки, валенки -
Не подшиты, стареньки!..

Идет Фикус с Толькой дворами к вытоптанному футбольному пятачку. Старый деревянный дом в два этажа, как лабаз, бревна потрескались, почернели, с большим крыльцом. Рядом школа-семилетка в три этажа из красного кирпича, с белой звездой над подъездом. Мужики в телогрейках играют в домино и пьют портвейн. На пыльном пустыре за гаражами, рядом с детским садом, под забором которого растет крапива в рост человека, постучали по воротам полчаса. На улице тепло. Хотя немного и ветрено. У деревянного дома стоит старуха в зимнем пальто и

теплом платке. На ногах валенки с калошами, смотрит на бегающих ребят. Стоит и смотрит неотрывно и злобно.

Фикус бил по мячу и щечкой и шведкой точно, а Толька все мячи ловил. Надо сказать, что Толька вообще был похож на настоящего вратаря, голова в плечах, сутулый, даже вроде горба спина была, складывался весь в калачик, когда хватал мяч, а летел за ним рыбкой. И, главное, не боялся падать, как-то плавно пружинил на твердую землю.

Пошли вокруг дома, в котором была парикмахерская, прошвырнуться. На решетке подвального люка сидели парикмахерши, перекуривали. Чем сложнее действие, тем проще персонажи: одна, тощая и высокая, с которой Фикус имел уже отношения, отошла и у другой сразу бросились в глаза Фикусу ноги, разведенные так широко, что виден был лобок, перетянутый белой полоской трусов, из-под которых выбивались черные густые волосы. Фикус толкнул плечом Тольку, тот тоже вперился глазами между ногами, и оба заржали. Парикмахерша это заметила и развела полные ноги еще шире, мол, пусть смотрят.

Фикус был заядлый собачник, у него была не одна собака, а разные. Человек он был чувствительный: его любовница, вот эта самая тощая и высокая парикмахерша, каждый день получала букет цветов. Надо сказать, что о ее романе знали все женщины, поощряли этот роман, соперничали, и Фикус слышал этот откровенный и бесстыдный разговор-сопереживание, когда привез цветы и подарки. Сел в кресло, ему подправили височки, сделали компресс и попрыскали тройным одеколоном, который держали специально для него.

Потом Толька появился в галстук. Фикус сразу забыл про все и поехал с Толькой в ГУМ. Там Толька купил костюм, и они на такси поехали к его бабке. В такси Фикусу очень понравилось. Щелкал счетчик, травил анекдоты таксист с золотым зубом, кудрявый, веселый, благополучный. Фикусу так и казалось, как деньги сыплются на таксиста, и Фикусу захотелось тоже быть таксистом. Потом с Толькой поехали к его невесте. У невесты в гостях была будущая жена Фикуса, с усиками и необъятной грудью. А Фикус был как всегда, в ударе и, когда хорошо выпили, он эту будущую жену раздел в ванной, и грудь у нее свисла до пупка, так что Фикус потерялся в этой груди. А будущая жена шуровала у него в брюках и все приговаривала: "Какой у тебя большой, Фикус!", и

села, в конце концов, на этот фикус влажной и горячей варежкой, или, проще говоря, загнала вагончик Фикуса в свое депо, почти что до тупика. Фикусу этот процесс привычен был лет с восьми. Первая у него учительница была дочка Сашки, который сначала собаку продал, а потом отобрал, тогда сказала Фикусу, давай я тебе покажу, как делают это муж с женой. Она была старше Фикуса года на три-четыре. Дочь Сашки рано стала жить взрослой жизнью. Мужчину она познала лет в двенадцать-тринадцать. Это был в кирзовых сапогах плотник дядя Коля. Так что дочка Сашки, который собаку продал, вор, сидевший чуть ли не по два раза в год, была в делах любовных уже опытная, коль у нее был великолепный наставник в кирзовых сапогах плотник дядя Коля.

Счастье и горе входят в одну и ту же дверь. Про дачу заговорили, когда в кирзовых сапогах плотник дядя Коля погиб при загадочных обстоятельствах у опоры высоковольтной линии. Установили: убит током. Потом уточнили: молнией. Но загадка осталась. Расшифровка дачи происходила еще и через дочь Сашки. Подруги, любовники, одноклассники и т. д. После Фикуса у нее появился пожилой любовник. Но Фикусу она всегда давала.

И, надо сказать, грамотно первый раз она показала. Фикус к этому отнесся, как к естественному делу, и не пришел в особый восторг, не говорил там всяких красивых слов, и вообще при этом деле мало говорил, просто завел ее на дачу, задрал подол, и всадил то, что имел, куда природой определено. Правда, тогда не так быстро получалось, потому что на ширинке не было "молнии", а были пуговицы, у Фикуса, например, одна была белая, другая большая черная, плохо входившая в петлю. По окончании процедуры деловито помогал надевать ей трусы, сам застегивал брюки, откашливался и, бросив на прощанье: "Бывай!" - шел себе по своим делам. С дочкой Сашки дела были плохи. Она сменила трех или четырех мужей.

Под линией электропередачи, на которой провисли дугой провода, в стороне от людских глаз, но в то же время недалеко от пруда, был расположен сарай Фикуса. Этот сарай Фикус называл дачей. Правда, смешно это чудо, сотворенное из ящиков и обитое железом, назвать словом обыденным и привычным: дача! Да и мать, надо сказать, не стеснялась Фикуса, когда к ней приходил, пока жив был, в кирзовых сапогах плотник дядя Коля, со вставны-

ми стальными зубами, ставила ему четвертинку, потом забиралась с ним на кровать и, Фигус слышал, делал вид, что уже спит на своем диване, как дядя Коля делает то, что нужно делать мужу на кровати с женой, только кровать ритмично поскрипывала. После дяди Коли стал приходить плотный дядя Вася, грузчик, с бельмом на глазу.

К Ноябрьским праздникам Фигус пошел работать на завод, сначала разнорабочим, потом учеником литейщика, в огне и в грязи. А сам мечтал про такси. Но на курсы брали с восемнадцати лет. Так до этих восемнадцати лет и пилил на заводе. Потом поступил на шоферские курсы. Когда поддаст, говорил:

- Шофером часто мечтал стать. А теперь неинтересно мне это. А чего, правда, интересного? Вот артистом интересно стать! И музыкантом. Мечтать-то мечтал, а... - разводил философски руками. - Теперь уже поздно. На гармошке играю малость... - Помолчал. Слушает "Темную ночь" Никиты Богословского, льющуюся из приемника его такси. - Артистам вот, говорят, вместо вина воду наливают... Не слышал анекдот такой? Как-то известный артист говорит режиссеру: "В первом акте настоящее шампанское налейте, пить воду не буду". "Лады, - говорит режиссер, - тогда во втором акте тебя убьют по-настоящему!"

Фигус любил русские народные песни, плакал, слушая их, выменивая карточки артистов у подружек жены. Жена, та, из ванной, хороша у него была! У нее был огромный зад, даже не зад, а житница, при ходьбе она, эта житница, так раздражающе колыхалась, что мужики затихали, когда она проплывала мимо. У нее, кроме житницы, были еще и огромные груди, которые тоже колыхались. Фигус любил наблюдать за ней, когда она загорала на пруду, который был за детским садом, и часами мог лежать животом на песке и смотреть на принадлежащие ему тело, и радовался, когда другие завидовали ему, тоже лежащие животами на песке мужики, до боли бурывая песок своими корнями.

До сих пор соседи не могли понять тайны Фигуса. Парикмахерша была, как доска, плоская. Да и лицо ее было не из лучших - мужеподобное, перекрашенное, и даже не похотливое. Спроси любого мужика из двора сейчас, он бы выбрал житницу.

На вечеринке, устроенной дочерью Сашки в свой день рождения, Фигус осчастливил всех своим непринужденным присутстви-

ФИКУС

ем. Когда он выпивал, то сильно оттопыривал мизинец, а, выпив, приговаривал:

- Шире всего улыбается череп!

Он танцевал с дочкой и ее подружками вальс, галантно придерживая их за спину большим пальцем, остальные пальцы держал на отлете. Роман с парикмахершей продолжался. Потом Фикус постарел, поседел весь и похудел, и в один прекрасный момент его разбил паралич. Он стал ходить с костылем, волоча ногу. И рука висела беспомощно, как-то вывернуто, ребром ладони наружу, как будто он собирался расстегнуть ширинку.

"Наша улица", № 11-2004

ОСЕННИЙ ДЕНЬ НЕЗАМЕТНО БЛИЗИЛСЯ К ВЕЧЕРУ

рассказ

Внизу под окнами с шумом проехал грузовик, заставляя дрожать стекла окон. Владимир Освальдович Хоршен, казахстанский немец, пять лет живущий в Москве, представил, что это везут за город его мертвое тело, покрытое брезентом, из-под которого торчит его белая ступня, может быть, даже его колено. Понемногу смеркалось, хотя во дворе и у рынка еще было светло. Встревоженный Хоршен не торопился идти с Дунаем, здоровой овчаркой, мохнато-черной с рыжими подпалинами на груди и на лапах. Пес постоял в прихожей, вздохнул и, не дождавшись хозяина, пошел на кухню добирать из миски недоеденное с утра. На немца Хоршен, однако, не очень был похож: невысокий, смуглый, как араб, но раскосый, как казах, говорил несколько провинциально, даже с некоторым налетом прибалтенности, растягивал слова "зна-а-ашь", понима-а-а-ашь"... Жены у него не стало еще там, в Казахстане... Но жива была его мать, которая из Казахстана не в Москву с сыном поехала, а сразу переселилась на постоянное место жительства в Германию. Хоршен в казахских степях работал под землей на огромном военном заводе, и не просто работал, а был его директором. Сразу после перестройки стал ворошить в буквальном смысле огромными деньгами. Имел свой большой дом на зависть соседям. Дом охранял Дунай, натасканный, как зубастый охранник. Хоршена не любили, и как только Казахстан стал отдельной страной, дом Хоршена подожгли и разграбили. Связи у Хоршена были. В Москве в министерстве нашли ему высокую должность. Он купил квартиру в новом районе, перевез дочь и Дуная...

Хоршен, в черных джинсах, белых кроссовках и джинсовой куртке, то и дело с опаской поглядывал в окно на улицу, ждал, когда покажутся люди, следящие за ним. И все слушал, стараясь в ти-

шине квартиры поймать чужой подозрительный звук. Но, как и всегда, в квартире стояла тишина, и на улице никого подозрительного не было видно, шли обычные прохожие, не частые, к рынку и в обратном направлении. Ветер неумоимо теребил на березках пожелтевшую листву, щедро усыпая ею стриженный газон, асфальтовую дорожку, цветы-бархатцы на клумбах. Хоршен заглянул на кухню, увидел пустую миску для воды Дуная, поднял ее, налил из чайника холодной кипяченой воды и поставил перед Дунаем. Но тот лишь обмакнул губы и не пил, почему-то поглядывая, задрав морду, в окно, будто ожидая оттуда чего-то. Надо было идти с ним гулять, но Хоршен не спешил...

Он вспомнил, что жены Светланы внизу тогда не было. Хоршен обошел все комнаты первого этажа и поднялся по лестнице в свою комнату, где в окне стояла луна. При ее свете он увидел фигуру Светланы, лежащей на тахте. "Света", - произнес он.

Она не пошевелилась. Она лежала лицом вверх, с открытыми глазами, отражавшими лунный свет. Хоршен подумал, что она спит с открытыми глазами. Он осторожно тронул ее за плечо. Она не пошевелилась. Он коснулся губами ее ледяного лба. Ужасная догадка остановила его дыхание. "Светка!" - умоляюще сказал он, тряся ее за плечо. Голова жены повернулась и осталась неподвижной на ковровой подушке. Хоршен приложил ладонь к ее почерневшему рту, желая почувствовать ее дыхание. Светлана не дышала. Он уже понимал, что в ней нет жизни, но не мог этому поверить. "Светочка, - всхлипнув, как в детстве, заговорил он, - Света, ну Светланка же, ну Светочка..." Всеми силами души он упрашивал ее воскреснуть. На полу рядом с графином и стаканом лежал стандартный лист писчей бумаги. На бумаге черным фломастером было написано толстыми буквами: "Будь ты проклят со своими деньгами!" Все, что она успела написать, прежде чем заснула. Синие тени вечного покоя лежали на лице жены, с остекленевшими глазами, и на ее босых мраморных ногах, покрытых степной пылью. Туфли валялись на полу врозь каблучками. Видно, они причиняли ей неудобство и она их сбросила. Хоршен смотрел на мертвую жену, не зная и не понимая, что теперь нужно делать. Он окаменел. Но вдруг потребность деятельности охватила его. Скорее позвонить в "скорую". Может быть, еще можно вернуть ее к жизни. Ведь возвращают же к жизни кого-то...

Сегодня утром Хоршен поздоровался и присел в кресло у конца стола возле белых дверей, знал, спрашивать нечего, сейчас и без того все прояснится. Он только сдержанно взглянул на озабоченное, даже чем-то угнетенное лицо президента группы компаний, который сидел над какой-то бумагой, перевел взгляд на ладную, подтянутую фигуру топ-менеджера Левицкого, в новом стилистом с отливом костюме, его щегольские, с высокими носами туфли, в которых он энергично вышагивал между окном и застекленными шкафами с фирменными скоросшивателями и, видимо, говорил что-то важное перед приходом Хоршена. Черный жесткий чуб его то и дело спадал на лоб, и Левицкий, энергично встряхивая головой, откидывал его назад. Длинноногая секретарша с обнаженным пупком, в котором была серьга, бесшумно вкатила стеклянный столик с минеральной водой и фруктами, среди которых колюче возвышался большой ананас...

Дунай однажды заболел. В лифте Хоршен встретил соседа по подъезду Ярового, журналиста-международника, с профессорской клиновидной седой бородкой, в неизменной бабочке вместо галстука, в черном берете и с тростью. Хоршен рассказал ему о заболевании Дуная. Яровой пригласил Хоршена зайти к нему за книгой о собачьих болезнях. Все стены квартиры Ярового занимали книжные стеллажи, и когда Хоршен их увидел, то несколько затравленно спросил:

- И вы все это прочитали?

Яровой посмотрел на него как на потенциального интеллигентного собеседника и сказал:

- Каждую книгу, а их здесь около десяти тысяч томов.

Хоршен присвистнул, беря в руки книгу о собаках.

В другой раз Яровой был приглашен на чай к Хоршену. Входная дверь, бронированная, чуть ли не с золотой ручкой, была снабжена замками с цилиндрическими языками и сложным наборным устройством. Вместо линолеума был уложен самый натуральный дубовый паркет. Евроремонт полукругижем арок и белизной проемов так и бил по глазам. Но еще стоял в ушах Ярового грохотом, в который был погружен подъезд на целый месяц, и не давал Яровому работать - он писал книгу о Мали, в столице этой страны - Бамако - отработал пять лет. Хоршен буквально хвалился плазменным телевизором с экраном в два метра, музыкальным центром, аквариумом во всю стену с экзотическими рыбами с ла-

донь величиной литров на тысячу, коврами, кухней, сервизами, баром... Только в гостиной Яровой заметил в застекленной стенке книги. Их было ровно пять штук между хрусталем и золотом: "Ягодные места" Евгения Евтушенко, справочник "Консервирование плодов и ягод", "Избранное" Героя Советского Союза, главного редактора журнала "Новый мир" Владимира Карпова, толстый том маршала Жукова в красно-белом супере и "кирпич" Габита Мусрепова "Пробужденный край".

Посидели, дочь Хоршена с хохлацким выговором, румяная и деловитая, болтала о кондитерском изобилии в Москве, Яровой и сам Хоршен, пили чай, говорили о том о сем. Яровой все пытался на высокие темы перевести разговор, а Хоршен говорил все о "курсе валют"... Потом он включил видеомэгаффон, на огромном "живом" экране возник Дунай, черный с золотыми подпалинами, как и обычно, но на необычном ландшафте - в степи, ковыль, ветерок, красные маки...

Часть книг Ярового еще лежала у приятеля-художника. Он попросил Хоршена помочь перевезти книги. Хоршен, как показалось Яровому, с удовольствием согласился. Здесь впервые Яровой увидел вишневого цвета огромный джип Хоршена с никелированным колесом-запаской сзади. Когда ехали, Хоршен всем видом показывал свое отличие от простых смертных: легко обходил "девятки" и "десятки", не говоря о "шестерках" и "пятерках".

- Ну мог ли я в советское время на такой машине ездить? - спрашивал он.

- Счастье не в этом, - говорил задумчиво Яровой, поглядывая по сторонам.

- А в чем? - спрашивал, обнажая золотой зуб, Хоршен, и его арабско-казахское лицо немца становилось непроницаемым.

- В спасении души, - как бы между прочим и как о давно решенном говорил Яровой.

- Вы, что, идейный?! - язвительно бросал Хоршен.

- Да, я идейный, - говорил Яровой. - Прежде я этого стеснялся, но теперь декларирую открыто.

- Вот вы и завели страну в тупик! - с раздражением бросил Хоршен.

- Ошибаетесь, - сказал Яровой и попытался развить мысль, но Хоршен его прервал, вскричав:

- Вы, что, нас за быдло держите?

Если бы дано было человеку хоть немного заглянуть вперед, увидеть уготованное ему, но пока скрытое за пластами времени, то, что со всей очевидностью откроется в наплыве грядущих дней, он наверняка предпринял бы что-нибудь заранее. Но не может человек узнать ничего из своего будущего и, бывает, радуется тому, что вскоре обернется причиной горя, а то горько плачет над тем, что потом вызовет разве что усмешку.

После некоторого молчания, Яровой сказал:

- Да нет. Просто человеком становятся единицы, остальные рождаются животными и животными покидают сей мир, не осознав метафизики...

- Ну ва-а-а-аще! - воскликнул расхоже Хоршен, и больше не проронил ни слова до самой мастерской.

Книг оказалось так много, что Хоршен с опаской стал поглядывать на с виду мощный джип. Машина сильно просела, рессоры у нее оказались очень слабыми. Ехали медленно и колеса терлись о крылья...

- Она не рассчитана на груз, - сказал Хоршен. - Там вообще груз на таких машинах не возят. Там просто ездят сами. Это в России все возят на легковых машинах, как нищие, картошку мешками, цемент, доски, книги, как вот вы...

Яровой догадался и без этого, что книги для Хоршена шли после досок или цемента, как некий необязательный товар.

Дружба не получилась, но при встречах раскланивались. Хоршен прогуливался с собакой. Он ходил всегда в овраг, к речке, где разбивали парк и уже поставили фонари. Один раз, когда Яровой раскланялся и чуть поднял руку, Дунай взвился и схватил его за эту руку так больно, что Яровой вскрикнул, и потом сказал даже:

- Ну, нельзя же так!

А Хоршен пошел дальше, как ни в чем не бывало.

Хоршен часто оглядывался, говорил, что никто за ним не следит, подбадривая этим себя и успокаивая Дуная, хотя сам не меньше его сомневался: так ли это? Знал и чувствовал только, что надо как-то переждать откатное время, затаиться, притихнуть, а там, смотришь, изменится что к лучшему. Не вечно же длиться этим откатами?! Но, чтобы остережться от беды, надо вести себя как можно осмотрительнее и тише. Это как незнакомые перед злым Дунаем стараются пройти мимо, не показывая страха, делая вид, что они вовсе Дуная не боятся, но и не дай бог зацепить его. Если Хоршен

деловых партнеров не отцепит, неужели же они без причины будут к нему вязаться?

Хоршен медленно стал спускаться по довольно крутой, местами даже обрывистой тропинке в овраг к речке. Дунай бежал впереди, и Хоршен не отставал, лишь перед обрывом испуганно тормознул, испугавшись крутизны. Вскоре они оказались в сырых сумрачных зарослях возле речки, высокие ольхи с поредевшей листвой стояли над их головами. Дунай стремился все дальше, увлекая Хоршена в притихшие вечерние дебри лесного оврага.

Сознание Хоршена словно провалилось куда-то из этого страшного вечера, он перестал ощущать себя в этом суматошном мире, который все сужался вокруг него, уменьшался, чтобы вскоре захлопнуться западней. Он знал, его конец близился скоро и неумолимо, и думал только: за что? Что он сделал не так, против партнеров и контрактов, почему такая кара обрушилась на него? Почему в его и без того трудную жизнь вторглись эти мускулистые парни с бычьими загривками и все перевернули вверх дном, лишив Хоршена даже маленькой надежды на будущее?!

...Затаив страх в душе, Яровой боязливо подошел к расплывшему под фонарем телу Хоршена в черных джинсах, белых кроссовках и задранной джинсовой куртке, голова его была запрокинута, на виске возле уха присох комок грязи или, может, крови; бурые кровавые подтеки на голом, перепачканном землей животе тоже подсохли. Яровой нерешительно остановился, не зная, как взяться за убитого, или не взяться, и стоял. Но санитары, не дожидаясь его, ухватили Хоршена за лодыжки - один, и за запястья - другой, будто бревно, безразлично положили на носилки. Руки Хоршена неловко раскинулись, голова на худой тонкой шее задвигалась, словно у живого. "Боже, боже! - ужаснулся Яровой, сам не свой, направляясь следом. - Что делается! Как же так можно?! - думал Яровой, размеренно шагая из оврага к дому. Было совсем темно, уличные фонари слабо освещали дорогу. - Как же так можно, - мысленно переспрашивал себя Яровой, - чтобы свои своих?! Ведь еще недавно в стране ценились добрые отношения между людьми, редко кто, разве выродок только, решался поднять руку на соседа, враждовать или ссориться с таким же, как сам, человеком. Случалось, конечно, всякое, не без того в жизни, но чаще всего из-за пустяков - стакан не полный налили, жена изменила, поспорили на футболе. Но теперь-то какие дела! Откаты! Дол-

лары! Иномарки! Евроремонты! Виллы! Человек голым рождается и голым в землю уходит. Материальные блага трагичны. Люди распустились. Раньше молодой не мог позволить себе в транспорте, чтобы старик стоял, а он сидел нагло на местах для инвалидов и пожилых, при встречах со старшими снимали шапку, а теперь эти вот молодые развалились по всем сиденьям, и снимают другим головы вместе с шапками. И ничего не боятся - ни милиции, ни осуждения человеческого. Как будто так заведено издревле, как будто на их стороне не только сила, но еще и правда. А может, им и не нужна правда, достаточно денежной массы и кровожадной силы? На правду они готовы наплевать, если та будет мешать им в их кровавых злодействах. Однако правда им все же мешает, - подумал Яровой, - иначе бы они не оглядывались каждый раз на верх, не объединялись бы снова в единую партию, не заливали бы совесть водкой, не хватались бы за пистолет с глушителем, когда не находят веского слова в стычках с подобными себе. Воспитанные-то с ними не спорят, культурные люди молчат, да их и очень мало, культурных-то, тысяча человек на весь бывший многомиллионный Союз, именно таков ныне тираж серьезной художественной книги прозы".

...Врачу, молодому полному парню в очках, достаточно было опытными пальцами опустить веко Светланы на глаз с закатывшимся зрачком, достаточно было взглянуть на пол с остатками рассыпанных таблеток, на графин, на стакан, чтобы покачать головой и сказать Хоршену, что смерть его жены наступила, по крайней мере, три часа назад. Хоршен тогда представил себя под прожектором съемочной группы. О нем снимали фильм "Как он стал миллионером". И он стоял, как памятник Дзержинскому на Лубянке, на клумбе анютиных глазок и петуний, недалеко от кучки снятой с него одежды, голый, в чем мать родила. И ему представлялось, что это он своими финансовыми мозгами утверждает рыночную экономику в России. В то время как неодолимая сила нововведения насильственно уносила его в обратную сторону в совок, к ОБХСС и КГБ в лапы, как фарцовщика и мошенника. Дальше и дальше от такой реальной, мясистой, потной жизни, неудержимо и беспощадно - сначала мимо туманного намека на свой дворец в трех километрах от МКАДа, мимо туманного намека на "мерседес", мимо вращающихся громадных турбин собственного "боинга"... А потом он вдруг пронесся мимо черной скульптуры все того же

ОСЕННИЙ ДЕНЬ НЕЗАМЕТНО...

Дзержинского посередине площади Дзержинского и понял, что уже никакая сила в мире его не спасет. И Хоршен бросился на колени перед невысоким человеком с водянистыми близко посаженными голубоватыми глазами, со светлой пионерской челкой, с большим ртом и вдавленной переносицей, отчего этот все сильный человек походил на утенка.

Хоршен хватал голубоглазого утенка за руки, с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки и часами же на этой руке, он целовал слюнявым испуганным ртом ботинки, до глянца начищенные гуталином. А в голове пронеслось: "Неужели и он чистит ботинки гуталином?"

...Перед глазами Ярового все еще лежал с окровавленной головой, с наостренными ушами Дунай. Убийца шел сзади быстро, извлек из черного пакета пистолет с глушителем, почти что приставил к голове Хоршена и выстрелил. После чего разрядил всю обойму в голову не успевшего среагировать на смерть Дуная. Хоршен не знал, что нельзя прямо идти на деньги, деньги - это смерть.

Его толкнули в темный холодный подвал лицом к бетонной стене, посыпалась цементная пыль, и Хоршен перестал существовать, хотя сновидение продолжало нести его в обратную сторону - в СССР. Но если бы не внезапная боль, как раскаленная игла пронзившая голову, то сновидение бы занесло Хоршена в траурные звездные вихри. Но боль вернула ему жизнь, и Хоршен, как бы всплыв из самых потаенных глубин сна на поверхность сознания, увидел нормальный осенний вечер и своего верного пса Дуная.

ОСТАЛЬНОЕ

рассказ

Посвящается Андрею Яхонтову

Падает снег и льет дождь, распустились листья и опадают они же, летом идет снег, зимой идет июльский дождь. Весенние, приукрашенные снегом сараи в старых московских дворах, вишни в снегу за бревенчатым домом в подмосковной деревне, янтарные крашенные скамейки на Тверском бульваре, с летними заиндепевшими от мороза проводами троллейбусов напротив театра имени Пушкина, после литературного института с его имени Герцена черными витыми чугунными решетками, с пьяной болтовней в общаге на улице социального критика Добролюбова, не любившего добро, после хоккея, после смертельного купания вечером в проруби в парке культуры и горького отдыха: прыг с деревянных обледенелых мостков в дыру, ледяную тяжелую воду - и вынырнул, как гвоздь. А потом в гостеприимный декабрьский полдень сесть под снежной яблоней за стол, где уже лаково отражают солнечные лучи тяжелые помидоры на блюде, вместе с укропом, твердые, только что собранные из-под снега, только что вымытые. Рядом лежат мокрые огурцы, и среди них есть уже разрезанные вдоль на четыре дольки, и они так пахнут, что Сергей немедленно набрасывается на них. Затем берет молодую картошку, от которой поднимается паровозным дымком пар...

А потом открыть книгу и долго читать, долго, очень долго, пока глаза не сомкнутся, читать и читать, когда буквы уже станут снегом, сыплющимся с потолка, читать, и лучше всего по слогам, шевеля губами:

" - Тебе нельзя пить, - сказала она. - Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.

- Нет, - сказал он. - Мне это полезно.

Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается - пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец.

То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает.

Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак ее мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь.

- Не надо было приезжать сюда, - сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы. - В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам.

- Всему виной твои поганые деньги, - сказал он".

А потом день протянется длинным переходом через звенящую от майского мороза железную дорогу по дощатому настилу со щелями в палец толщиной пешеходного моста, внизу в эти щели видно несколько товарных коричнево-угольных вагонов, гудит сипато недокормленный мазутом с красной звездой во лбу тепловоз, морозно блестят осатанело по-палачески ясно и пред-решенно рельсы, как топоры, и проезжает ножом, свистя на точильном кругу колес, высекая искры, электричка. А долговязый, нескладный Сергей направлялся в эту весеннюю стужу с приятелем в клуб смотреть фильм "Летят журавли". Перед каждым фильмом Сергей волновался так, как будто он играл в этом фильме главную роль, или снимал как оператор и режиссировал как постановщик его. Пронзительное чувство личной причастности было настолько реальным, что Сергея, как только погас свет, не-

сколько расстроила не рифмующаяся с его настроем среда (Достоевский - среда заела): киномеханик никак не мог сфокусировать изображение, старые динамики хрипели и дребезжали, опоздавшие люди бродили в проходе и между рядами в поисках места, все время слышался шелест в темноте, стучали откидные деревянные сиденья, впечатление складывалось такое, что все тут собралось случайно, не осознавая, что сейчас начнется новое кино... Однако постепенно наступила относительная тишина, лишь на мгновение которую нарушил чей-то пьяный голос: "Женька, куда ты дел стакан?" И вот побежали по Александровскому саду Самойлова и Баталов. Очень странное для российских метельно-болотных широт летнее освещение. Последовательно нужно показывать события. А когда Сергей представлял свое будущее кино, то у него не получалось расположение сцен по порядку, а все выходило по фрагментам, мало связанным друг с другом, показывалось сразу, потому что он торопился, хотел рассказать и том, и о другом, и о третьем. А тут, пожалуйста, смотрите на белое платье Самойловой. Смутно Сергей понимал, чтобы что-то рассказать, нужно недосказать, умолчать. Например, изобразить утро, когда рано еще, свет неяркий, рассеянный, сыро еще, капля падает на железный отлив окна, на котором находился мокрый голубь и смотрит огромным глазом сквозь стекло на Сергея... Воздух, солнечные пятна на траве. Москва-река и зимой не замерзала, и сейчас в тумане ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных каменных берегах. Пустая, бесконечная набережная...

Сергею нравилось смотреть хорошие фильмы в клубах, где-нибудь на окраине города, в "Каучуке", в имени Русакова, в "Компрессоре", в "Красном пролетарии"... Да, собственно, в этих клубах все хорошие фильмы (интеллигентные, эстетичные, стильные, для избранных) и шли по клубам. И вот фильм кончился, после короткой, но мертвой тишины, вдруг раздались аплодисменты. А через некоторое время фойе наполнилось толпой, часть из которой направилась вниз, а другая часть, менее значительная, все еще толпилась между колоннами, ожидая чего-то, однако ожидать было вовсе нечего - все уже кончилось на сегодняшний день, и оставалось всем только идти домой, но, однако, люди расходились под впечатлением от фильма медленно, переговариваясь.

Сергей сразу же потерял своего приятеля, хотя некоторое время тот стоял с ним рядом, наблюдая за зрителями в фойе клуба, но мысленно он уже был не с ним, да и не только мысленно - всем своим существованием был там, где увидел ее. Да, Сергей на короткое время увидел девушку, привлекательную своей юностью, в какой-то белой кофточке. И вдруг рядом с ней возник его приятель. И не просто возник, но стал разговаривать с нею, и Сергей робко подошел к ним...

За время, пока он смотрел "Летят журавли", и думал о своем сценарии, улица совершенно преобразилась, поскольку ее покрыл снег. Светили фонари, и снег медленно падал, задумчивый, нежный, - снежинки были нанизаны на прозрачную нитку, как в школьном актовом зале на празднике новогодней елки, в свете фонарей на темном фоне висят. Тротуары, сараи, помойные баки, заборы, деревья, все подряд, включая прохожих, сразу побелело, засветилось уютом, приобрело гармонию и ясность, которой обладает зима в майскую пору. Снег выпал как всегда неожиданно, поскольку население в Москве с утра до вечера переваривает сообщения по радио и по телевизору о прогнозе погоды, в котором снег не предусматривался, а снег без спросу упал на землю и растаял.

Снег падает и тает,
И падает опять...

И опять Сергей, тощий, длинный, тащился после последнего сеанса с "Летят журавлями" и расставания со Светланой по ночной улице. Сергей ясно видел перед собой человека, ясно до реальных галлюцинаций. Человек был похож на Гамлета, каким его представлял себе Сергей, но не таким, каким был Смоктуновский. Смоктуновского Сергей невзлюбил за манерность, наигрыш, в общем, за подделку. А Сергей видел другого Гамлета, как бы самого себя, но не вполне, а отстраненно, как будто существовало два Сергея, один - в зеркале, другой - он. Но не точно он, а с прекрасными чертами. И этот "он - не он" произносит монолог о постоянных, романтических поисках через мрак неизвестности, о постоянных потерях и находках, перемежающихся, как день и ночь, как смерть и рождение, о священной сущности и непостижимости искусства. Сергею кажется, что он придумал, как

оберегать этих людей не от мира сего, редкостных придурков, вполне поэтичных. Их гораздо больше, чем может показаться. Жизнь и творчество они не измеряют деньгами. Деньги предназначены для всех, но не для избранных, не для таких, как Сергей. Изгнать из храма торгашей, биологических дрожащих тварей! Все имена сменились на Руси, но не все имена известны. Кто более всего заинтересован в талантах? Вчера, сейчас, позже, всегда? Те, кто переводят бессмертных на деньги, подсчитывают доход от использования имен и произведений тех, которые вполне презирали деньги, а эти кормятся сейчас и будут долго кормиться за их счет.

Есть литература, а есть номенклатура. Литература делается превосходными, бескорыстными художниками по любви. Номенклатура везде и всюду ставит рогатки деньгами, чтобы себе взять побольше, себе, в свой кожаный бумажник, в свой чемодан, на покупку модной сантехники, португальского марочного портвейна, сервелата, икры, дорогой обуви, машины, дачи, костюмов, четвертинок, покупок гробов для себя и родных и близких, покупать. Как только они покупают гроб и ложатся в него, то мгновенно исчезают с лица земли и из памяти народной. А в памяти народной живут те, кто денег за свои произведения не поучал, кто изгонял торгашей из храмов. Вот на продаже достижений бессмертных нищих художников и барствует номенклатура от литературы, от искусства, от интеллектуалов, недоразвитые люди, дети известных людей, по благу занимающие места в иерархической лестнице по распределению материальных благ. Они очень умело захватывают власть везде и во всем, они усредняют любое талантливое начинание, они враждуют и канонизируют сами себя на время биологического существования. Их тьмы и тьмы, и тьмы. Но дело в том, что сам Сергей не представлял себе, как следует теперь писать сценарий, но каким-то шестым чувством он догадывался, что современный сценарий для современного уровня кинематографа надо возводить, как возводят сложное сооружение. Гениальный сценарий, конечно, если он может быть написан, энергичен, обладает неким магнитным полем, притягивающим читателя-зрителя помимо его воли и тащит по тексту-изображению от начала до конца на одном, как говорится, дыхании, пронизан запахами, звуком, цветом, музыкой, - такой сценарий наиболее продвинутый род со-

временной литературы. Здесь, надо сказать, необходимо писательское мастерство, или, по-видимому, - полный отказ от этого мастерства. "Серый, не мастерись!" - кричали мальчишки Сергею на футбольном поле, когда он начинал элегантно, как ему казалось, обрабатывать мяч и отдавать его непременно пяткой. Какой же писательской техникой нужно обладать в таком случае - даже невозможно сформулировать. Однако привести достойный пример из русской литературы можно, вспомнив, допустим, построенную практически на одном изображении "Степь" Чехова. Что это? Поэма? Роман? Исповедь? Разросшийся деревом черновик? Письмо к самому себе? Чтобы не продолжать список догадок, Сергей сказал себе сразу: это и есть тот самый сценарий, воздвигнутый фильмом "Летят журавли"... Как это вышло - загадка, тайна. Леса убраны, собор стоит. Осталось только ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути человека от рождения до смерти...

Три раза в неделю Сергей ходит в театральную студию, звонко читает со сцены: " - Где нам столковаться! Вы - другой народ!.. Мне - в апреле двадцать, Вам - тридцатый год. Вы - уже не юноша, Вам ли о войне... - Коля, не волнуйтесь, Дайте мне... На плацу, открытом С четырех сторон, Бубном и копытом Дрогнул эскадрон; Вот и закачались мы В прозелень травы, - Я - военспецом, Военкомом - вы... Справа - курган, Да слева курган; Справа - нога, Да слева нога; Справа наган, Да слева шашка, Цейс посередке, Сверху - фуражка... А в походной сумке - Спички и табак. Тихонов, Сельвинский, Пастернак..."

Сергей чувствовал, что где-то внутри любимая тема о красоте реки перельется через край и хлынет потоками слов. Так и случилось. Он долго простоял над Москвой-рекой на обрыве. С веток деревьев капала вода. Как всегда в столице шел дождь, даже со снегом. Но вдруг небо прорвало и оно стало ослепительно голубым, и в глаза ударило солнце. Столько сырого и поблескивающего было вокруг, что Сергей на минуту прищурил глаза. Но больше всего в этот день Сергея поразили свет. Он вглядывался в него, видел все новые пласты света, падавшие на любимую реку, на весь город, на всю Москву. Как только он раньше не замечал этого? С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и величественными казались высотные дома. На город падали косые лучи, и ближайšie дома были того мягкого зо-

лотистого оттенка, какой бывает в церкви при свете свечей. И с необыкновенной в то утро зоркостью Сергей заметил, что высотные дома отбрасывают свет на другие невысокие дома очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона. И, наконец, он увидел сегодня, как деревья внизу, над рекой, были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Территория Москвы в прошлом имела густую речную сеть: около 150 рек пересекали ее в разных направлениях, расчлняя поверхность. К XX веку многие из них были взяты в подземные трубы, а другие, мешавшие прокладке улиц и строительству зданий, засыпаны.

Самой крупной рекой города является Москва-река. На холме, который ныне называется Боровицким, левого берега реки в 178 км от ее устья и в 324 км от истока задолго до 1147 года (предположительно с 700-х годов) существовало поселение Москов (что, в сущности, означает - мечеть; можно заглянуть хотя бы в английский язык). Вот здесь на стыке востока и запада, мусульманства и христианства, и возник новый язык - русский, а следовательно и новая нация - русские.

Москва-река является левым притоком Оки, впадая в нее на 848 км от устья у города Коломна. По длине, равной 493 км, а по некоторым данным 502 км, река занимает третье место среди рек окского района после Клязьмы, длина которой составляет 721 км, и Мокши, равной по длине 698 км. Бассейн реки обладает хорошо развитой речной сетью. Общее количество притоков Москвы-реки, включая и мелкие ручьи, определяется равным 912, без ручьев же это количество уменьшается до 592. В бассейне имеется 44 реки с длиной более 15 км.

Речная сеть бассейна Москвы-реки наиболее развита в его левобережной части, где главными притоками являются: Иночь, Искона, Руза, Истра, Пехорка, Яуза, Сходня, Гжелка, Нерская; главные притоки правобережной части: Лусьянка, Колоча, Пахра, Севра, Коломенка, Городня в Братеево.

Первое место среди притоков Москвы-реки по длине занимает река Руза, длина которой равна 154 км, второе и третье места принадлежат рекам: Пахре (129 км) и Истре с длиной 120 км. Исток Москвы-реки лежит на абсолютной высоте 256 м, а устье на отметке 100,5 м. За исток принято считать реку Коноплянку, которая вытекает из леса у деревни Поповка. Отсюда ре-

ка течет более 2 км в узком и глубоком русле, мимо деревни Липуниха, по болоту, известному с древности под названием "Москворецкая лужа". После выхода из болота русло расширяется и на 12 км от истока впадает в озеро Михалевское, при выходе из которого река получает название Москвы-реки. Об истоке в "Книге Большому Чертежу" указывается: "А Москва-река вытекала из болота, по Вяземской дороге, за Можайском, верст тридцать и больше".

Знакомый город был весь обласкан светом, просвечен им до последнего строения. Разнообразие и сила освещения вызвали у Сергея то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше, его нельзя было терять, надо было тотчас возвращаться домой, садиться за стол и наспех записывать увиденное. Сергей писал сценарий, который все время казался ему расплывчатым и сложным, но он добивался ясности изложения.

Был май, под заборами лежали почерневшие ледяные сугробы, появилась первая неуверенная листва, где-то на востоке над Москвой уже белело небо, пробовали голос незаметные, как воздух, воробьи. Это был Суцевский вал. Сергей изучал Москву и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был маленьким и ходил с отцом по улице Горького до самого Кремля. Отец любил пешие прогулки. Настоящие москвичи являются всегда настоящими пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядываются в окружающий их мир Москвы во всех его подробностях. Старые улицы перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием. А в провалах памяти Сергея, хотя он молод, остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков... Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий... Иногда эти призраки более реальны для Сергея, чем те, которые их заменили. Москва начала заново отстраиваться с пригородов, с подмосковных бревенчатых деревенек, с пустырей, со свалок, с оврагов, на дне которых сочились сточные воды, поблескивали болотца, поросшие ряской и всякой растительной всячиной. На их месте выстроены новые кварталы, районы, целые города белых домов, издали ни дать ни взять напоминающие школьные пеналы, поставленные вертикально... До поры до времени старую Москву, ее центральную часть не трога-

ли. Почти все старые московские уголки и связанные с ними воспоминания оставались примерно прежними и казались навечно застывшими. Тут и там было разбросано множество стареньких, давно не ремонтируемых церквушек неопишимо прекрасной древнерусской архитектуры, иные со снятыми крестами, как бы обезглавленные. Теперь и сам Сергей чуть ли не каждый день открывал для себя новые подробности города. Когда же он ехал в автобусе или в троллейбусе, то улицы, по которым он некогда проходил, останавливаясь на перекрестках и озирая дома, мелькали за окнами, не давая возможности всматриваться в их превращения. Сергей ходил пешком, на голову выше всех прохожих, изредка останавливаясь среди толпы, для того чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную строчку, сравнение или метафору.

Где-то в районе Марьиной Рощи Сергей увидел встречное такси, идущее в сторону Щереметьевской улицы. Он стремглав перебежал на ту сторону с поднятой рукой. "Волга" с шашечками на бежевом фоне сильно со скрипом затормозила. Сергей обрадовался и облегченно вздохнул, потому что идти уже не было сил. В кино он был в "Сокольниках", девушку провожал на 9-ю Парковую, а домой шел к Белорусскому, на Нижнюю улицу. В подъезде Сергей прижал Светлану молча, сильно сопя и сглатывая слюну, к стене, поцеловал, но не крепко, потому что она сжала намертво рот, а когда он положил ладонь на яблоко ее груди, ни с того ни сего сильно ударила Сергея ладонью по щеке. И теперь Сергей шел по ночной улице и слышал звон этого удара, и кожа на щеке горела. Конечно, нужно было ему разговориться с нею, а не сразу хвататься. Но Сергей стеснялся говорить, даже не мог говорить, наберет в рот воды и молчит. Это только про себя он произносит большие монологи, и теперь, когда он шел и думал об этом, то слова сами подбирались, потому что слова любили одиночество, сосредоточенность.

Сергей открыл дверцу, таксист в черной форменной фуражке-шестиклинке и блестящим фибровым козырьком, над которым на кокарде сияла буква "Т", повернул голову, искоса посмотрел через плечо и, выпрямившись и блеснув золотыми зубами, спокойно сказал:

- Не могу, еду в парк.

ОСТАЛЬНОЕ

- Очень вас прошу! Очень устали ноги, пока шел пешком из Измайлово.

Шофер снова хмуро взглянул на Сергея, затем чуть-чуть улыбнулся и согласительно кивнул. Когда он тронулся, то запел вполголоса, как бы задумчиво и для себя:

Помню двор занесенный
Снегом белым пушистым.
Ты стояла у дверцы
Голубого такси...
У тебя на ресницах
Серебрились снежинки,
Взгляд усталый и нежный
Говорил о любви...

Сергей блаженно откинулся к спинке сиденья. Слушал пение шофера с открытым ртом и думал, как он возьмет деньги из сумки матери, чтобы расплатиться с таксистом. Уютно и тепло было в "Волге"...

Пришлось проникать в родительскую комнату, и родители делали вид, что спят, но Сергей чувствовал, что они не спали, вслушивались в едва слышный скрип паркета, в каждое движение сына, в тихий шелест денежных бумажек...

Потом Сергей долго читал, лежа в свете ночника, "Капитанскую дочку". Утро было пасмурным, шел мелкий дождь, но Сергей отправился на завод. Когда он стоял у верстака в синем халате, пилил деталь ножовкой, подошел полный, лысый, с химическим карандашом за ухом, мастер, которому, знал Сергей, хотелось поговорить, вернее, наставить молодого рабочего на путь истинный.

- Ты, Серега, парень, вроде, ничего, самостоятельный, но... В жизни всякое бывает, сходят с круга и не такие. Я вижу, ты все книжками да кинами увлекаешься, но, знамо дело, пустое все это... Из книжки костюм себе не справишь, и щей не сварганишь... Главное в жизни, это зарплата, семья и чтобы садовый участок был... Вон я в выходной картошки мешок посадил на даче... Понимаешь меня? Вот, значит, зарплата, семья и участок, - сказал задумчиво мастер и, подумав, добавил: - А книжки там всякие, да кина - это все остальное...

Юрий КУВАЛДИН

Сергей кивал, как будто соглашался с мастером. С детства родители его воспитали так, что возражать старшим, а тем более спорить с ними - неприлично. Сергей работал и думал об этом основном, которое казалось ему самым главным в жизни, о том основном, которое он увидел в фильме "Летят журавли", а сам вдруг прочему-то представил себя за рулем "Волги" с никелированным оленем над пробкой радиатора. И тут же это представление записал в маленькую книжку.

"Наша улица", № 1-2005

У РЯБИНЫ

рассказ

Пожилой, но еще достаточно подтянутый, даже спортивный Гаркуев любовался огнем рябины красной, который никого до сих пор никак не может согреть, и изредка прикрывал видящий глаз, другой глаз у него был стеклянный, который тоже прикрывался веком, но Гаркуев этого не видел, а о том, чего не видят, о том не говорят. Он стоял в трусах, широко расставив босые ноги в траве и уперев руки в боки, возле своего дощатого садового домика, выкрашенного в голубой цвет, смотрел на рябину и ждал, когда сварится каша. Солнце недавно взошло, Гаркуеву нужно было ехать на работу на шестичасовой электричке. Дочь, жена и внук, трехлетний Женя, спали. А Гаркуев любил вставать рано. Всю жизнь он работал на заводе. Трава в солнечном свете искрилась от росы. Вдруг из-за ельника со стороны пруда с шумом и свистом налетела стая дроздов, и сразу устремилась к рябине. Едва Гаркуев опомнился, как прожорливые птицы склевали половину ягод. Гаркуев хотел закричать, но, жалея спящих, схватил шест для захвата и снятия яблок с прикрепленной к нему веревкой, и кинулся на дроздов. Гаркуев дергал веревку, прицеливался к дроздам, чтобы ухватить какого-нибудь разбойника, но птицы были настолько наглыми и юркими, что сделать это было невозможно. "Еще песню про них придумали:

Вы слышали, как поют дрозды?..

А чего их "слыхать"?! Они и петь-то не умеют. Сколько раз я их видел, столько раз они налетали кучей на сады и огороды, опустошали их и смывались. Сущая банда! И про бандитов этих песни петь?! Сколько же их в этой черной стае? Штук тридцать, не меньше", - думал Гаркуев, размахивая шестом. Действительно, дроздов

было очень много, но не тридцать, как думал Гаркуев, а семьдесят шесть штук!

Дрозды довольно лениво снялись с оголенной рябины и одной черной тучей перелетели на соседский участок, на черноплодку, которая росла по забору.

Умывшись холодной водой из бочки, сполоснув плечи и грудь, Гаркуев съел овсянку, и, притворив дверь, пошел, сочувствуя рябине, на электричку. Где-то за лесом уже был слышен ее шум. Когда Гаркуев вступил на малолюдную в этот утренний летний час платформу, вымытая росой электричка как раз прошуршала мимо него и остановилась. Гаркуев вошел в просторный полупустой вагон, сел у открытого окна на желтую скамейку, открыл прихваченный томик Есенина, нашел стихи "про рябину" и углубился в чтение.

Сошел на платформе в Москве прямо возле завода. По пути купил газету, выпил кружку кваса из бочки у проходной.

Во время обхода цеха за Гаркуевым следовал мастер Ягодкин, такой же пожилой человек, как и Гаркуев, да еще с седыми усами, лысый и прихрамывающий, одна нога у него была короче другой. Гаркуеву стало казаться очень подозрительным, что пиджак Ягодкина был застегнут не на те пуговицы, рубашка помята и давно уже не белого цвета, а галстук был чем-то залит. Гаркуев пристально посмотрел на мастера и понял, что тот переживал мучительное состояние похмелья, страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.

Гаркуев, не любивший Ягодкина и имевший на то свои причины (в молодости сам часто пил с ним), почувствовал сильное желание сказать ему: "Я вижу, старик, ты пьян!" Ему вдруг стали противны пиджак, галстук, сальная лысина, но он сдерживал свое злое чувство. Почему он, Гаркуев, интересуется песнями, изредка кое-что почитывает и совсем теперь не пьет, а этот пустой человек поддает каждый день! Как можно пить каждый день? Ну, на неделю организовать хороший, смачный, вдохновенный запой с малосольными огурчиками, с зернистой икрой, с блинами, с селедкой под холодный, запотевший хрусталь до упору, когда уже водка обратно идет через край, можно было. А этот пьет каждый день в течение десятилетий и ему хоть бы что! Только нос еще краснее делается и все лицо подернуто фиолетовой капиллярной сеткой...

Разговаривая с одним фрезеровщиком, Гаркуев взглянул на технологическую карту, где записывались выполненные операции, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо, и задыхаясь:

- Почему фрезеровка пазов не записана?

- Нет, записана! - сказал мягко Ягодкин, но, поглядев в карту и убедившись, что фрезеровка пазов, в самом деле, не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: - Не знаю, это, наверно, нормировщица...

- А почему кронштейн не фрезеруется? - продолжал спрашивать Гаркуев. - Только пьянствуешь, черт тебя возьми! И сейчас ты пьян, как бомж с трех вокзалов! Где технолог?

Технолога не было в цеху, хотя он должен был каждое утро присутствовать на планерке. Гаркуев поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в цеху все так же пьяны, как Ягодкин, и все перекошено, как одежда Ягодкина, и Гаркуеву захотелось бросить все, плюнуть и уйти. Особенно его раздражал огромный металлический ящик со стружкой, которая своими цветами побежалости напоминала новогодний серпантин. Этот ящик никогда вовремя не вывозился, был переполнен, стружка свисала по бокам, валялась на полу, что могло легко привести к травме рабочих, потому что стружка была остра, как бритва. Но Гаркуев сделал над собою усилие и продолжил осмотр цеха.

За фрезерным участком следовал шлифовальный. Здесь дела шли неплохо, но не хватало двоих шлифовщиков. Один шлифовщик-притирочник, старик уже, работал сразу на трех станках. Четверо других рабочих с трудом справлялись с двумя каждый. Гаркуев остановился возле пожилого шлифовщика и похвалил его за труд.

"Это вчера они пили с токарями, я им премию подписал... - подумал Гаркуев, медленно осматривая готовые детали. - Подождите, я покажу вам, как пить на работе! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу. А как я сам лет тридцать назад с Ягодкиным пил?! Однажды под токарным станком спал всю ночь..."

Гаркуев взял одну из деталей, придирчиво осмотрел ее своим одним глазом, нашупал на поверхности воображаемую шероховатость и сказал:

- Дай микрометр!

Ягодкин, старавшийся показать, что он уверенно стоит на ногах и в состоянии не только работать, но и оперативно реагировать на команды начальника цеха, рванулся с места и быстро подал микрометр.

- Не этот, тут лониус сбит! Дай новый, - сказал Гаркуев, при этом стеклянный глаз его полыхнул электрическим разрядом.

Ягодкин, проклиная в сердцах одноглазого дружка, засеменял к металлическому шкафу, где находился измерительный инструмент. Он долго шептался о чем-то с нормировщицей, усатой женщиной в синем халате, двигал инструменты по полке, шуршал, что-то раза два уронил, а начальник цеха стоял, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.

- Скоро ты там? - спросил Гаркуев. - Ты, по всей видимости, микрометр уже от штангеля не в состоянии отличить...

Ягодкин, хромая, подбежал к нему и подал другой микрометр, причем не уберегся и дыхнул водкой в сторону Гаркуева.

- Это не тот! - сказал раздраженно Гаркуев. - Я говорю тебе русским языком, дай новый. Впрочем, иди и проспись, от тебя несет, как из пивной! Ты невменяем!

- Каких же тебе еще микрометров нужно? - спросил немного визгливо Ягодкин и медленно пожал плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят станочники и нормировщицы, и чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:

- Каких же тебе еще микрометров нужно? Все на "Калибре" сделаны...

Гаркуев, сверля живым глазом Ягодкина, почувствовал в этом глазу слезы, и ощутил дрожь в пальцах. Он сделал над собой невероятное усилие и проговорил дрожащим голосом:

- Иди проспись! Я не хочу говорить с тобой пьяным...

- Ты можешь только за дело на меня кричать, - продолжал Ягодкин, - а если я голову поправил, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я работаю? Что ж тебе еще! Ведь я вышел в свою смену?

Тут Гаркуев резко шагнул к Ягодкину и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и крепко сжатым кулаком изо всей силы, как профессиональный боксер, ударил мастера в голову. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар с правой пришелся как

раз в левую скулу. Ведь когда-то Гаркуев занимался боксом в "Крылышках". Гаркуеву страстно захотелось ударить Ягодкина еще раз, но мастер и так упал на металлический пол. А Гаркуев, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица рабочих, перестал ощущать удовольствие, смешанное с ненавистью, махнул рукой и пошел к себе.

На лестнице Гаркуеву встретилась секретарша главного инженера, девушка лет 25, в такой короткой юбке, что видны были трусы.

В кабинете Гаркуев долго стоял у окна, переживал случившееся, смотрел на заводские корпуса, на железнодорожные пути, на трубы, на бетонные заборы, на горы ржавого металлолома... На подоконнике стоял графин, в котором от солнечного луча золотилась вода. Гаркуев взял графин, полил цветущие герани в горшках. Затем сел в кресло за стол, полистал бумаги, и, подумав, включил приемник, стоявший тут же на столе и настроенный на радиостанцию "Маяк".

Приятный мужской баритон заговорил о песне "За дальнею околицей". Что, мол, музыка Будашкина, а слова Акулова, и что композитор Будашкин Николай Павлович родился в деревне Любаховке Мосальского уезда Калужской губернии. В семье Будашкиных любили народную музыку, отец будущего композитора обучал сына нотной грамоте...

"Это из моей юности, - подумал Гаркуев. - Мать стряпает за занавеской, а радио поет... Потом с гармонистом провожали меня в институт".

Между тем диктор продолжил:

- Сохранилась запись воспоминаний народного артиста РСФСР, лауреата Государственных премий СССР композитора Николая Будашкина...

Откашлявшись, заговорил негромким голосом сам Будашкин:

- Незадолго до войны я познакомился с молодым поэтом, сотрудником литературной редакции Московского радиокомитета Глебом Акуловым. Однажды он прочитал мне стихотворение "За дальнею околицей". Стихи понравились своей искренностью, любовью к русской природе, к родной земле:

За дальнею околицей,
За молодыми вязами

Мы с милым, расставаяся,
Клялись в любви своей.
И были три свидетеля:
Река голубоглазая,
Березонька пушистая
Да звонкий соловей...

Мне показалось, что из этого может получиться песня. Придя домой, я тут же сел за рояль, и почти сразу легко и свободно полилась мелодия...

Диктор продолжил рассказ:

- Случилось так, что авторам в то время не удалось закончить песню. А когда началась война, они были отправлены на фронт: Николай Будашкин на флот, а Глеб Акулов - в танковые части. В годы войны на Балтике действовала большая группа писателей, художников, композиторов, артистов. В нее вошел и Николай Будашкин. В те тяжелые дни систематически выходили сборники "Песни Краснознаменной Балтики", открытки "Письма-песни", на одной стороне которых были начерчены линейки (для письма), а на другой - тексты новых песен. Более того, здесь даже выпускали пластинки с песнями для воинов! Работая над новыми сочинениями, Будашкин вспомнил о своей незаконченной песне "За дальнюю околицей". Но, может быть, сейчас не нужны немного грустные лирические строки о молодых влюбленных и трех невольных свидетелях?.. Все же композитор закончил песню и передал ее "на пробу" в эстрадный оркестр Балтийского флота, которым руководил его ленинградский коллега Николай Минх. В текст были внесены некоторые изменения, вызванные событиями военных дней. Премьера состоялась зимой 1942 года в осажденном Ленинграде. Она показала, что сомнения автора были напрасны: песня полюбилась морякам, полюбилась ленинградцам. А вскоре мелодия, отпечатанная на серой оберточной бумаге, ушла в жизнь. Вышла и пластинка в отличном исполнении певицы Зои Рождественской...

При этом имени Гаркуев вздрогнул и побелел. А диктор продолжил:

- Остается только добавить, что автору стихов не суждено было услышать свою песню. Боец Глеб Акулов погиб в июле 1941 года в одном из первых танковых боев. Но написанные им стихи жи-

вут и поныне в чудесной песне...

На Гаркуева нахлынули раздробленные фрагменты воспоминаний. Сначала он вспомнил фильм Михаила Козакова "Покровские ворота", сцену на катке, где звучит песня про каток. Это Зоя Рождественская.

Вьется легкий вечерний снежок.
Голубые мерцают огни.
И звенит под ногами каток,
Словно в давние школьные дни...

Вот и мчится туда, где огни.
Я зову, но тебя уже нет.
- Догони, догони! -
Ты лукаво кричишь мне в ответ...

- Догони, догони! -
Ты лукаво кричишь мне в ответ...

"Да, память жива... - подумал Гаркуев, чувствуя, как сильно бьется его сердце. - Солистка Ленинградского радио Зоя Рождественская! Ведь выпивал я с ней в середине 50-х годов в пивной в Ленинграде! Был в командировке, как молодой специалист, на Кировском заводе... Она еле стояла на ногах, руки тряслись, лицо свекольного цвета, и молящие о похмелье глаза. А у меня с заводскими ребятами две бутылки водки было с собой. Вобла, помню, еще была с икрой. Мы взяли шесть кружек пива. Я к Зое Рождественской придвинул одну кружку. Взгляд ее сразу ожил в предчувствии скорого избавления от страданий. А в пивной стоял дым коромыслом, народу битком, не протолкнуться, шум, гам... Она соль на ободок кружки пальчиками насыпала. А я ей еще в пиво грамм сто водки плеснул..."

Здесь какой-то тип фиксатый в кепочке потянулся к ее кружке, Гаркуев машинально ударил его по руке, завязалась драка, кто-то слева въехал ему кружкой в глаз так, что даже кружка разбилась, все мгновенно погасло, и Гаркуев упал без сознания...

Вьется легкий вечерний снежок.
Голубые мерцают огни.

И звенит под ногами каток,
Словно в давние школьные дни...

При жизни о ней нечасто писали, зато записей на питерском радио было более 150. После ухода вспоминают редко, мало кто знает, где покоится ее прах.

В фонотеке радио не осталось и десятка пленок. Правда, живут грампластинки, но время их не щадит. Первая фонограмма датирована 1945-м годом... Этот редкий по красоте, звучащий прямо из души голос бередит сердце и зовет воспоминания о былом...

Да, пила, да, была любовницей Дунаевского, сгубила проклятая водка... Стала пить, как Серова у Симонова... Вот Дунаевский от нее и избавился, отправив к Минху в Ленинград... И стала его любовницей... Но... кто-нибудь попытался заглянуть в эту плачущую, поющую душу и задать сакраментальный русский вопрос: кто виноват? Ну, или хотя бы: почему?..

- Догони, догони! -
Ты лукаво кричишь мне в ответ...

Ах, как она пела!? Готовя юбилейную радиопередачу о Зое Рождественской, все, кто принимал участие в этом, заслушивались. Старожилы города на Неве, да, думается, не только северной столицы, а и многие любители музыкального искусства всего тогдашнего СССР, до сих пор находятся под обвораживающим обаянием этого голоса с безупречной музыкальностью и отточенной дикцией. Легко ли петь дочери репрессированного артиста?! Легко ли вообще жить в этой скорлупе "врага народа"? Легко ли, когда недавно называвшиеся друзьями травят и мучают? Нет, все-таки на земле хороших, добрых, честных людей гораздо больше и не надо говорить об актерской наивности! Николай Минх писал для нее песни, делал аранжировки, взял в свой знаменитый джаз солисткой...

Гаркуев вспомнил о Ягодкине, поморщился. Ну, почему этот алкаш живет, а гениальная певица в могиле?! Зоя была "лучшей среди самых лучших". Но по пятам таланта всегда несется зависть. Можно забыться только на сцене, только на записи, на репетиции, только в любимой работе и петь, петь, петь... И лишь в

этом жизнь Артиста. А когда не поешь? Вот тут уже водка снимает стресс и, чего врать-то себе, затягивается петля на горле. Да еще Бог не дал детей, да еще не умела дружить так просто, надо было всю себя отдать в дружбе, а много ли достойных всей глубины чуткой души?! Ах, как хочется мажора! Хочется петь джаз, оперетту, танцевать, радоваться жизни! А тут горькие дороги войны - фронтовые бригады, где без усталости голос зовет солдат на бой за Родину; послевоенное строительство, когда снова призывает песня на битву за победившую Державу! Любимая работа. Слава популярной певицы. И злая неудовлетворенность простой обыденной жизнью, не приносящей счастья...

В этот момент как раз объявили песню композитора Георгия Носова на стихи поэта Александра Чуркина "У рябины" в исполнении Зои Рождественской. Надо сказать, что поэт-песенник Александр Дмитриевич Чуркин автор слов многих хороших песен. Это именно он написал слова к знаменитой песне Василия Павловича Соловьева-Седого "Вечер на рейде", где есть такие слова:

Прощай, любимый город...

При первых звуках аккордеона, который начинает песню "У рябины", Гаркуев прижал ладонь к губам и затих, потому что Гаркуеву особенно нравилась эта песня в исполнении Зои Рождественской.

Пели эту песню и другие певицы. Например, в 1949 году ее даже молодая Галина Вишневская под баян записала на ленинградской артельной пластинке. Тогда, в далекой молодости, когда он стоял с ней в пивной у стола и пил водку с пивом, он не поверил в то, что она певица. Так, обычная алкоголичка с морщинистым желтым лицом и пустыми глазами, каких и в Ленинграде, и в Москве было достаточно. Ходили они все почему-то в коротких демисезонных пальто, в сбившихся на коленях простых чулках, и в туфлях с покосившимися каблучками. Лак на пальцах облупился, и под ногтями была грязь. А когда она говорила, то в уголках рта сбивалась белая пена. Но, что самое трагичное в той встрече, это то, что Гаркуев потерял в пивной глаз. И вот божественный голос Зои Рождественской звучал теперь из радио:

Над широкой рекой
Опустился сиреневый вечер.
И скатилась звезда,
Догорая в просторах степных.
И речной стороной
На свиданье с другой,
Напевая, идешь
Мимо окон моих...

Невозможно найти ее фотографий, искренне желая увидеть ее страдальческие глаза, в которых отражается натянутая, как тетива, душа редкой женщины, ушедшей из жизни, не перешагнув полувековой порог бытия.

Ты не знаешь, что я
Из окошка люблюсь тобою,
Синевою твоих глаз
И волной непокорных кудрей.
Разве брови мои,
Разве очи мои
Не черней, чем у ней,
У подружки твоей?

И чтобы заплакали. Нет, не надо жалеть Зою Рождественскую. Судьбу не перепрыгнешь. Ее голос живет и дает возможность жить людям. "Когда послушаешь записи Зои Николаевны, поневоле становишься лучше, чище, добрее", - это слова молодой сотрудницы радио, которая соприкоснулась с искусством Зои Рождественской по работе и "полюбила ее пение". Зою Рождественскую никто и никогда не сможет представить себе старой или хотя бы пожилой. Юная прелесть ее чарующего голоса останется с нами навсегда, а еще память, которая жива в наших благодарных сердцах.

Гаркуев ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. От пронзительного голоса Зои Рождественской и оттого, что он ударил мастера, старого друга, алкаша, в сущности, такого же, как Зоя Рождественская, сердце Гаркуева еще сильнее забилось. Да, но кто такой Ягодкин? Пыль, ничтожество. Разве можно его сравнивать с Зоей Рождественской! Ее давно

нет в живых, а она живет. А Ягодкин живет, но его нет в живых, нет нигде, а не то что в памяти народной.

Гаркуев хотел плакать и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил мастера.

- Господи, что за тип он! Просто питекантроп! Первый обезьяно-человек, знаменитый питекантроп, или Homo Erectus, то есть человек выпрямленный, жил около миллиона лет назад и в нем было уже очень много человеческого. Череп питекантропа очень похож на человеческий. Он умел обрабатывать камни и делать из них примитивные рубила. Питекантроп умел разводить огонь. И греться у костра со стаканом в одной руке и с колбасой в другой! - буквально простонал Гаркуев, и вдруг спросил сам себя: - А я-то кто? Кто такой Гаркуев? Неужели никто?

Хорошо, что работало радио, успокаивало, говорило:

- Зоя Николаевна Рождественская родилась 16 декабря 1909 году в семье оперного солиста Николая Рождественского, репрессированного в известные годы. Окончила ленинградскую консерваторию в 1940 году и готовила сугубо камерный репертуар. Однажды услышала с патефонной пластинки зарубежный вальс "Под звуки гитары" и напела под него свою первую песню. Позже певица помогала сочинять стихи к инструментальной пьесе музыканта утесовского оркестра Альберта Триллинга. Так родилась песня "Над заливом". Зоя Николаевна была не явным соавтором и многих других песен. В годы войны Зоя Рождественская стала солисткой ансамбля Дунаевского, сформированного для выступлений перед фронтовиками. Именно она была первой исполнительницей легендарной песни "Моя Москва", ставшей через многие годы гимном Москвы. После войны Зоя Николаевна стала солисткой джаз-оркестра Ленинградского радио под управлением Николая Григорьевича Минха. Часто записывалась на пластинках, выступала на радио. К сожалению, многие песни, исполненные певицей, не соответствовали идеологическим установкам и были сняты с эфира, запрещены к концертному исполнению, переставали тиражироваться на пластинках. В конце 40-х годов в жизни певицы наступила тяжелая пора. Привычка к "боевым ста граммам" стала тяжелой болезнью, сказавшейся и на голосе. Зоя Николаевна незаметно ушла с эстрады, а затем в 1958 году из жизни...

Юрий КУВАЛДИН

Песня, конечно, песней, но зачем он ударил Ягодкина? Ведь весь смысл жизни состоит, кажется, в том, чтобы сдерживать себя от любых проявлений насилия. Вот пальцем муху нельзя трогать, а не то что на человека руку поднимать. Идешь по улице, камушек на мостовой хочется поддать, но ты сдерживаешь себя, не бьешь носком ботинка по камушку, обходишь его стороной. Гаркуев весь дрожал, и тут еще воспоминания молодости, эти песни!

Я хочу, чтобы ты
Позабыл к ней пути и дороги,
И ко мне приходил
Под окошко вечерней порой,
Чтобы пела гармонь
Про сердечный огонь
Для меня, для одной
У рябины родной.

"Наша улица", № 2-2005

КРИК ВО ДВОРЕ

рассказ

Белая гвардия, путь твой высок...

Марина Цветаева

Меня внезапно разбудил крик во дворе. Я с трудом открыл затекшие от бессонницы глаза и с болью в груди выпрямился. В темной, едва освещенной каким-то мыльным светом сумерек маленькой комнатке с низкого потолка ручьями текла вода. Пол был залит сплошной грязной лужей...

Было страшно, но все-таки успела промелькнуть мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой, а я первый открыл неприятеля. "Где же Редько? - в смятении, с тревогой подумал я, поспешно оглядываясь по сторонам. - Что же это он?" Я уже хотел скатиться вниз и разыскать его, как внимание мое привлек чуть шевелившийся куст на левом скате оврага. С противоположного ската, осторожно высунувшись из-за ветвей, Джевильский подавал мне рукой какие-то непонятные, но тревожные сигналы, указывая на дно оврага.

Сначала я думал, что он приказывает мне спуститься вниз, но, следуя взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал голову. По густо разросшемуся дну оврага шел красноармеец и вел в поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из дозорных флангового разъезда, охраняющего движение колонны, но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки. Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами. Мне виден был только Джевильский. Но ему, очевидно, с противоположной стороны было видно еще что-то, скрытое от меня. Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю, и держал вытянутую в мою сторону руку, предупреждая, чтобы я не двигался, и в то же время смотрел вниз, приготовившись прыгнуть.

Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться. Красноармейский кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь. В тот же момент Джевильский широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них я узнал Редько, в другом - неприятельского красноармейца. Не помню даже, как я очутился возле них. Редько был внизу, он держал за руки красного, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того чтобы сшибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжел и отпихнул меня. Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Красноармеец вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись, появился до пояса мокрый Джевильский и четким учебным приемом на бегу сбил красноармейца прикладом.

Откашливаясь и отплеываясь, Редько поднялся с травы.

- Джевильский! - хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой на щипавшего траву коня.

- Ага, - ответил Джевильский и, схватив тащившийся по земле повод, дернул его к себе.

- С собой, - так же быстро проговорил Редько, указывая на оглушенного красноармейца.

Джевильский понял его.

- Давай, свяжи ему руки!

Джевильский поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося красного.

- Бери за ноги! - крикнул он мне. - Живее, господин! - крикнул он, заметив мое замешательство.

Перевалили пленника через спину лошади. Джевильский вскочил в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался назад по неровному дну оврага.

- Сюда! - прохрипел мне багровый и потный Редько, дергая меня за руку. - Лезь за мной!

И, цепляясь за сучья, он полез наверх.

- Стой, - сказал он, останавливаясь почти у края, - сиди!

Только-только успели мы притаиться за кустами, как внизу оказалось сразу пятеро краснозвездных всадников. Очевидно, это

и было ядро красного разьезда. Всадники остановились, оглядываясь; очевидно, они искали своего товарища. Громкие ругательства понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один соскочил с коня и поднял что-то. Это была шапка красноармейца, впопыхах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговорили, и один из них, по-видимому, старший, протянул руку вперед.

"Догонят Джевильского, - подумал я, - у него ноша тяжелая. Их пятеро, а он один".

Тут я увидел, как в руке Редько блеснула граната и полетела вниз.

Тупой грохот ошеломил меня.

Я увидел себя со стороны, увидел русые волосы, подстриженные в кружок и слегка вьющиеся, затем сердито завозился и засопел.

- Редько! - крикнул я в сени.

Никто не отозвался. Красноармейцы стояли как каменные.

- Редько! - повторил я, вызывая своего спутника.

- Он уехал... рысью... Его тоже хотели забрать, - робко сказала женщина. - В него из ружей стреляли вдогонку...

- Ты!.. - злобно крикнул один из красноармейцев, замахиваясь на нее саблей.

Я почувствовал, как по моему лицу скользнула и погасла улыбка. Я опустил на ладони голову и стал дремать.

Женщина шла посреди улицы по жидкой грязи, растолченной отступавшими обозами, и громко кричала. Она не выбирала дороги - может быть, не видела ее. Ноги ее выше щиколоток тонули в грязи. Она потеряла или сбросила платок, покрывавший голову ее, и распущенные длинные волосы трепал ветер. Женщина шла к своей хате. Крик ее, резкий и жалобный, разносился по всему селу. В отчаянии она ломала руки, все время выкрикивая имя мужа:

- Юрочка!.. Юрочка!..

На нее удивленно глядели прохожие. Там и тут в сенях щелкали щеколды, и любопытные и испуганные взгляды женщин провожали ее вдоль села.

Недалеко от края села ей встретилась группа красноармейцев. Они были без оружия, в грязи. Они быстро шагали, переругивались, ругали какого-то прыща, через которого им пришлось по колена лазить в грязь. Они с удивлением убавили шаг, завидев пе-

ред собой тоскливую кричавшую женщину. Женщина не свернула с дороги, и она будто не видела красноармейцев. Мутным взглядом она глядела вперед поверх голов в лохматое небо и кричала, как под ножом.

Женщина дошла до своей низкой хаты с оскалившимися стропилами, толкнула ногой дверь и упала на пол. И, лежа, не переставала кричать, захлебываясь слезами. Около нее плакали дети. В хату стали входить соседи, теребя ее за зипун и спрашивая, что с ней, хотя знали, что муж ее арестован или убит. Она не отвечала, горестно выкрикивая боль и проклятья. Пришла ее сестра. Села на пол возле женщины. Положила голову ее на колени свои и беззвучно заплакала, глядя жесткие, мокрые, растрепанные волосы ее. Тупыми темными взглядами глядели на нее люди, недоумевая, как можно за свою овцу, за последнюю уцелевшую кроху добра убивать человека; все были уверены, что муж несчастной убит в штабе. Да она и сама кричала, что муж убит. Дом все больше наполнялся любопытными и вот уж не вмещал всех. Из сеней, с порога, между плеч просовывались лохматые хмурые лица.

Женщина продолжала кричать, но голос ее стал уже слабее, она обессилела. Теперь тело ее извивалась какая-то судорога. Она глубже зарывалась лицом в колени сестры, которая, обхватив плечи руками, качала ее как маленькую, шепча:

- Сестрица... Сестрица...

И как только женщина слышала это слово - сестрица, она кричала болезненней, обнимая ноги сестры. Глаза присутствующих женщин были наполнены слезами. В хате в перерывах между криками слышались их вздохи, сморканья, плач и тихий шепот. Хата была бедная, с прогнувшимся закоптелым потолком, поддерживаемым у матицы кривым посошком. Потрескавшаяся печь кишела прусаками. Не видно было ни путной одежды, ни утвари, ни обычных в хатах украшений в переднем углу. По голбцу, лавкам, на плесневелом кутнике валялись какие-то гнилые тряпки, лыковые отопки, разбитые, пыльные махотки, на крюке болтался хомут с пеньковыми гущами. Каждая грязная тряпка, каждая щель кричали о нужде, бесхлебье, непосильном каторжном труде и невыплаканном горе.

Наконец женщина затихла, будто уснула. Сестра вскинула на соседей свои карие, блестящие глаза, улыбнулась недоверчиво и попросила выйти из хаты. Она уложила женщину на голбец и при-

крыла плюшевой жакеткой. Потом налила девочкам похлебки, и девочки стали жадно есть ее. А вышедшие в сени и на улицу мужики злобно перешептывались.

Одного из этих мужиков, в то время когда жена его исходила слезами, вели на допрос в "колбасную".

Охрипший от крика, он торопливо шагал за толстогубым красным чекистом. Чекист этот был сыном чернорабочего из Тулы, старый член партии. Мужик был перепачкан навозом, с соломой в бороде и волосах. Он потерял шапку, когда в тоскливой злобе бился у дверей, и волосы его стояли дыбом, он был жалкий и страшный. Свет керосиновой лампы на минуту ослепил его. Он дико озирался. За столом, покрытым газетой, он, наконец, увидел перед собой изможденного человека в кожаной фуражке со звездой, который расстреливал в хлеву "кулацких" парней. И сердце его сразу упало. "Убьет, пропал, тут и оправдываться нечего..."

И нечеловеческая злоба исказила его лицо. В ушах мужика пронзительно прозвучал вой жены - вой, который заставил задрожать его. Голова его закружилась, как от хмеля.

- За что держишь? - запальчиво крикнул он, шагая к столу.

Он весь напрягся, сжигая сидевшего человека ненавистью своих желтых выпуклых глаз. Он не был теперь жалким.

- Что, убить хочешь, гад? Врешь, всех не перебеешь!..

И этим допрос кончился.

Человек за столом поднял глаза на чекиста.

- Уведите его, - тихо сказал он.

И мужика вывели из хаты...

Женщины, прижавшись друг к другу, сидели на скамье, набросив на головы дерюжки. Они перешептывались, украдкой глядя на часовых и на меня. Я оглядел клеть, выбирая глазами местечко посуше, но везде текло. Только посредине клетки, под матицей, серел сухой клочок земли. Я перенес квашню, на которой сидел, и сел на это место. Тотчас же красноармейцы, охранявшие меня, встали по бокам. Было похоже: я приготовился бриться. Красноармейцы стали слишком близко, и я приказал им отодвинуться. Они молча стали под струи воды с потолка. Я достал записную книжку и на клочке серой бумаги в клетку торопливо написал несколько строк, загораживая записной книжкой записку.

Вечерело. В клетки густел полумрак. Серые лица людей стали расплывчатыми. Только поблескивали обнаженные шашки часо-

вых да краснела узенькая полоса неба по-над крышами сараев, медленно переходя в лилово-пепельную. Да булькала вода на полу. Я искоса вглядывался в бесстрастные лица красноармейцев и думал: "Те же. И лица, и позы, и приемы, с которыми они держат сабли. Те же, как при царе, когда ими командовали чужие им люди, которых они ненавидели. Оловянные солдатики. Прикажи им этот краснозвездный зарубить меня, даже не сам, а чекист его прикажи, и они, не дрогнув, изрубят, хотя знают, что я - командир кавалерийской части и член Учредительного собрания. Ни одной черточки, ни одной бороздки не провела революция на их деревянных лицах. Дерутся, умирают, участвуют в казнях, меряют землю аршинными сапожищами, голодают, кормят вшей и - не знают, за что? Машины. Тупые и страшные. Нашелся человек сильной воли, и они стала бездушными..."

И я вспомнил своих солдат. Вспомнил лето. Мой в ту пору еще многочисленный отряд пробирался в тыл неприятеля: там было надо взорвать железнодорожный мост, который бы отрезал большевиков от Москвы. Мы гнали лошадей и лишь пыль подымалась над нами столбом и долго стояла в воздухе. Лошадь вздрагивала, когда заводились машины. Кавалеристы съезжались на дорогу, поднимая пыль, которая садилась на меня. Я смотрел на людей вокруг - все это были опытные солдаты, новичков я не заметил. Я смотрел, как проезжают мимо всадники, как садятся по коням солдаты из роты напротив меня. Потом я скомандовал тоже садиться на коней. Вскакивая в седло, держа ногу в стремях, а левой рукой ухватившись за гриву лошади, я увидел, как на дороге формируется колонна по четыре всадника в ряд. Впереди мелькали полковые знамена. Каждая рота подъезжала, по команде останавливалась и ждала своей очереди. Я тоже сейчас поеу. Повозки, отступающие пешком с тюками, вьючные быки, новые и новые всадники...

Я ждал, сквозь облака пыли ища взглядом Редько, но вместо него увидел полковника и капитана. Они, разговаривая, выходили из здания, потом отдали друг другу честь. Полковник остался стоять, глядя, как капитан вывел на открытую площадку женщину с маленькими детьми: мальчиком и девочкой, а потом стал прощаться с ними. Вокруг были кавалеристы, подходили офицеры. Капитан нагнулся, чтобы поцеловать дочь протянул ей маленький гостинец в яркой обертке, затем оглядел сына, протянул гостинец ему

и поднял мальчика на руки. Потом он повернулся к жене и поцеловал ее в губы. Я увидел, как капитан что-то говорит ей. Потом я услышал свой голос: "Марш". Я вздрогнул, взглянул на капитана, потом на полковника, отпустил поводья, сжал круп лошади коленями и двинулся вперед.

Тут я увидел Редько. Посреди открытой площадки, к которой подъезжали кавалеристы, в облаке пыли Редько неподвижно сидел на лошади и смотрел, как капитан целует жену. Потом капитан отошел от семьи, повернулся и направился к Редько. Мимо меня проскакала цепочка всадников и скрыла Редько. Двигаясь вперед, я попытался оглянуться назад, ничего не увидел и снова повернул голову.

Вскоре я остановился позади всадников, прибывших чуть раньше. За моей спиной останавливались другие. Затем я услышал приближающийся шум моторов: это подъезжали грузовики. Вскоре вдоль колонны проскакал капитан, за ним Редько. Я снова прокричал: "Марш", и увидел, как кавалерийские шапки, сбитые направо, и чубы слева пришли в движение. Опять проскакал Редько. Я обернулся, глядя на него, потом снова посмотрел вперед и подстегнул лошадь.

Мы пересекли Дон около часа дня. Было 21 августа, со времени налета прошло шесть дней. Возникали опасения, что красные будут настигать нас, но позади не оказалось никого, кроме старика, маленького мальчика и собаки. Через час кавалеристы набрали скорость, двигаясь по выжженной солнцем степной дороге, которая вскоре превратилась в тропу, а потом ее и вовсе нельзя было различить среди ковыля и песка. В жаре, в пыли, посреди движущейся колонны некоторые кавалеристы от скуки затагнули песню, сначала нестройно, потом все слаженнее. К ним присоединились и другие. Капитан стал смеяться, и, когда его спросили, что его развеселило, он ответил, что песня.

Этому рейду в штабе придавали большое стратегическое значение. Я вспомнил золотые поля, которые мы топтали своими лошадьми, бедную деревушку, жители которой, как мыши, попрятались по погребцам. Вспомнил тихую утреннюю зарю и звучный храп лошадей, хрустевших удилами. Было томительно красиво, хотелось припасть к земле и целовать грудь ее. Но лица солдат были серы и тверды, как кора. Я вспомнил первые брызги радостного солнца, янтарь и жемчуг росы и тихое с веселой голубоку-

польной церковкой село, еще туманное от сна, неожиданно выросшую перед нами, - этого села даже на карте не значилось, так оно было мало и мило. У околицы его галдела толпа красноармейцев. Они взмахивали руками. Тощий человек с красной звездой во лбу в чем-то убеждал их, но солдаты упрямо трясли серыми шапками. Я приказал атаковать их. Но красноармейцы, как только увидели отряд, радостно загалдели и бросились навстречу с поднятыми руками. Я понял, что красноармейцы сдаются в плен. Поняли это и кавалеристы и, осклабясь, чуть придержали лошадей. Но я подумал: "В сабли!" - тогда каждый мой кавалерист, после минутного колебания, мог кинуться с видом отчаянной решимости и самоотвержения в самый центр краснозвездных в буденовках неприятелей. Эти буденовки тотчас же слетели бы у них с голов далеко в сторону. Пример смелых заразит всю мою белую рать - и вдруг, точно хлынувший внезапно дождь, они стремительно кинутся на своих временных врагов с озлобленными и отчаянными лицами, будут рубить их по "мордам", по "бокам", "по чем попало", будут кричать и ругаться, громко и крепко и, наконец, после отчаянных усилий, достигнут того, что неприятель падет ниц.

"В сабли!" - теперь уже крикнул я, и лица кавалеристов мгновенно отвердели, и сотня людей, доверчиво протянувших нам руки, через час была превращена в месиво. Потом мои солдаты грубо шутили, вспоминая, как ловко они накрыли этих дураков.

И эти, наверное, будут шутить, когда потащат мой труп в канаву.

ЯБЛОЧКО КРАСНЫЙ БОЧОК

рассказ

С розовыми щечками, с полными ножками в белых колготках Леночки, дочери заведующей лабораторией военного завода Тамары Сергеевны Яблонской, статной женщины с большой грудью и тонкой талией, не было дома: она была у Зои, добродушной старушки из соседней квартиры. Когда полногрудая с точеной талией Тамара уходила, как и обычно по утрам, на работу, то она отводила Леночку к Зое, хотя все знакомые настоятельно советовали ей отдать ее в детский сад. Но детского сада Тамара боялась, и этот страх был у нее довольно сложен.

Когда она еще была беременна Леночкой, она случайно прочитала в каком-то популярном журнале, может быть, даже в "Огоньке" или "Работнице", о том, как на Востоке когда-то будто бы делали уродов. Ребенка сажали в толстостенную глиняную банку причудливой формы: то оставляли руки, ноги и голову на свободе, а корпус заключали в банку; то помещали только руки и ноги; то придумывали еще какую-нибудь комбинацию, изощренную и зловещую. Несколько лет, иной раз пять-семь, ребенок рос в такой мучительной банке, которая насилывала его естественное развитие, искажала природную пропорцию членов, уродовала эти члены и искривляла одни из них за счет других. Из ста несчастных детей, заточенных в эти банки, девяносто пять умирало, но пятеро чудом выживало. Тогда банку разбивали и извлекали из нее жуткого уродца: или тоненькие ниточки-червячки, вместо рук и ног; или, наоборот, страшные, слоновые, бесформенно разбухшие конечности на тщедушном, хилом, жалком тельце; или громадная, нечеловеческая, чудовищная голова, тупо и бессмысленно представленная к кошмарному подобию недоразвитого тела, искривленного и измятого.

Впечатлительную Тамару, она всегда помнила это, тогда же охватил страх, в котором было даже что-то мистическое. Страх был сложным и мучительным, и Тамара, нося в себе Леночку, все старалась забыть о необыкновенной фабрике уродов, не думать о ней. Она подолгу утром лежала в постели, поскольку была в декретном отпуске, отгоняя от себя страхи, нежно поглаживала едва заметно пульсирующий и вздрагивающий большой живот, переводя постепенно длинные, слегка пухленькие пальцы с длинными накрашенными ногтями вниз к волосам, раздвигая щель и вводя пальцы во влажную глубину, достигая упругой матки, испытывая при этом двойное удовольствие: ожидания ребенка и внезапно подходящего оргазма. Она учащала движения, напрягалась, вздрагивала, нервно жевала губами, приподнималась и, кончая, наконец, падала в счастливом чувстве материнства на пуховую подушку. Мужа уже не было. То есть, еще не успела родиться Леночка, а муж уже сбежал. Муж был переводчиком с английского, и убежал за границу, вернее, остался там, отстав в аэропорту от советской военной делегации. Когда муж прежде гладил тайные волосы Тамары, требовательно скользил крепкими пальцами вниз, раздвигая полные губы, он говорил: "Можно ли в мирное время окунуться?" - "Можно, можно!" - горячо шептала Тамара, ожидая встречи с Яковом мужа. Да, Тамара просто называла мужской аппарат "Яковом", маскируя божественное имя "Йахуй". Коротко, точно и прилично. "Мирное время", "peace-time" по-английски, произносилось мужем как "пистайм", иногда даже несколько ближе к русской интерпретации этого всеобъемлющего понятия как "пизда". Несомненно, для каждого понимающего симфонию языка, что это очень хорошее слово, теплое, мирное, сближает, радует, вдохновляет, вселяет веру в будущее... К этому муж еще добавлял слово "ebullience" (возбуждение), произнося его как "ибальенс". Тамара отвечала: "Ибальенс, будьте любезны, ибальенс!". И смеялась, звонко, решительно, жизнеутверждающе.

Муж любил выпить и закусить, пропадал в ресторанах ЦДЛ и Дома композиторов, приводил друзей-стиляг с веселыми девицами и шампанским, до утра крутил магнитофон, и сам подпевал:

ЯБЛОЧКО КРАСНЫЙ БОЧОК

За что ж вы Ваньку-то Морозова,
Ведь он ни в чем не виноват,
Она сама его морочила,
А он ни в чем не виноват.

Он в цирк ходил на старой площади,
И там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
А он циркачку полюбил...

Когда же сладкий плод всепоглощающей до кончиков пальцев, прикасающихся к твердой шейке матки, любви Леночка родилась, когда Тамара вся наполнилась осветленной любовью матери к голенькому тельцу ребенка, такому умилительному, беспомощному и такому до слез любимому тельцу, то к прежнему страху добавился еще и новый: а вдруг ее Леночку заточат в такую банку? Она хорошо понимала, что этот страх - смешной вздор, что таких банок нет нигде, да и вряд ли они когда-нибудь были, даже на Востоке. Но страх не проходил и постоянно стерег ее.

Когда родилась Леночка, сразу возник тяжелый вопрос: что делать с ней? Все говорили Тамаре, что ее надо отдать в детский сад, но она колебалась и откладывала. И все-таки жизнь, как говорят в подобных случаях, заставила вести Леночку в детский сад. И теперь Тамара бежала с работы в детский сад за своей Леночкой. Сослуживицы с долей заинтересованности спрашивали:

- Как там твоя Леночка?

- Хорошо. Этот же сад мне совсем по дороге! - с удовольствием говорила Тамара. - Очень, очень удобно! Когда я иду на работу, я Леночку туда отвожу, а когда возвращаюсь, я ее забираю...

Детский сад действительно был по дороге, и Тамара заходила в него все рабочие дни. В один из первых же дней ее встретила молоденькая воспитательница в коротенькой юбочке, со светлыми глазами и с ямочками на щеках. Она так приветливо и так радостно улыбалась безо всякой причины, что всякий, взглянув на нее, начинал тоже улыбаться и радоваться.

- Вы за Леночкой? - сразу узнала она Тамару. - Я сейчас приведу ее!

И убежала легким эротичным бегом, поскольку мелькала тонкая полоска трусов между развалами полных ягодиц, и через ми-

нута возвратилась, ведя Леночку за руку. Леночка, увидев маму, вырвалась и побежала, обняла маму за круглые колени, пряча лицо в ее юбке, а воспитательница присела перед ней на корточки, обнажив ляжки в прозрачных колготках до лобка, и стала тереть ее: ласково и любовно.

- А вот и Леночка! А вот и наша Леночка! Леночка домой пойдешь, да? К мамочке?

Она, все еще сидя на корточках, подняла свое лицо к Тамаре.

- Она у вас такая сообразительная, послушная и ласковая! Прелесть! - заулыбалась она. - И умница она такая! Вот она у нас всего лишь пятый день, а посмотрите, как она уже во всем разбирается!

Она торопливо повернула Леночку лицом к стенке и, показывая ей на портрет Брежнева, спросила, стараясь спрашивать серьезно и даже строго:

- Леночка, а это кто? Кто это?

Леночка посмотрела по направлению ее руки, немного поспешила, но очень послушно ответила:

- Безнев!

- А это? А это? - блестя глазами, спросила воспитательница и показала на портрет Ленина.

- Енин! - сразу ответила Леночка.

- Видите! Видите! - в восхищении захлебнулась воспитательница. - А это кто, Леночка? - даже немного испуганно спросила она, поворачивая Леночку к большому бюсту Карла Маркса.

- Кайамайа! - пропыхтела в одно слова Леночка.

Тамаре стало холодно: "Леночка... в банке!" - с замиранием сердца вдруг подумала она. Еле сдерживая вспыхнувший в сердце знакомый страх, она взглянула на Леночку и почти увидела, как в этой банке будет изуродована ее душа. Она глянула на славную воспитательницу с радостной улыбкой на веселых губах. "Что она делает? - замирая, подумала Тамара. - Знает ли она, что она делает?"

И когда Тамаре потом говорили, что Леночку надо вернуть в детский сад, что ей там же было хорошо, что там - и досмотр, и уход, и воспитание, она в испуге всполашивалась, хватала Леночку обеими руками и судорожно прижимала к себе:

- Нет, нет! Леночку? Ни за что!

Положение создалось чуть ли не трагическое, но выручила соседка-старушка, Зоя Петровна. Она предложила присматривать за Леночкой, пока Тамара сидит на работе.

Тамара, конечно, с радостью ухватилась за эту возможность, но боялась, что это будет стоить непосильно дорого. Но когда она, конфузясь и запинаясь, завела речь о плате, Зоя даже слегка обиделась:

- О какой такой плате можно говорить? Что ты, Тамара! Я, слава Богу, дружбой и услугами не торгую!

Так и установилось, хотя Тамара два раза в год обязательно заготавливала подарок Зое: на Пасху с красным яичком и Новый год.

Конечно, Тамара могла отвозить на неделю Леночку к родителям, но с дедушкой Леночка никак не могла оставаться. А мать Тамары еще работала. Дело было не в том, что Сергей Витальевич не умел присматривать за ребенком, а дело было в том, что он не хотел присматривать, как он всю жизнь не хотел ничего того, что хотя бы отчасти, хотя бы с какой-нибудь стороны мешало или не нравилось ему.

Он был разборчив и капризен во всем, особенно в еде, как будто был каким-нибудь видным человеком, а был всего лишь бухгалтером на пенсии. За обедом он брезгливо копался вилкой в тарелке, фыркал и позволял себе даже принюхиваться. Часто он с оскорбленным видом вставал из-за стола и молча уходил в свой угол, бросая сквозь зубы:

- Не понимаю, как можно есть подобную мерзость!

Тамара вопросительно, даже с испугом, взглядывала на мать, а та спокойно говорила:

- Ну, ничего, потом доест.

И действительно: папа, проголодавшись, доедал.

Он всегда был сластолюбив, но раньше он сдерживал себя с женщинами и не позволял себе выходить за известные рамки. Но, распускаясь во всем, он перестал сдерживаться и, пользуясь свободой хрущевской оттепели, вел себя настолько откровенно, что однажды имел пренебрежительный разговор в милиции, а в другой раз был избит на улице. Но "иметь женщин на стороне" он считал для себя обязательным, находил, что "это в тоне", что "это стильно", и с первых же годов женитьбы всегда имел "что-нибудь на стороне". Его красивая барская внешность, элегантные манеры, и приятный баритон (он говорил - "мхатовский баритон!") позволяли ему иметь успех, хотя, строго говоря, он к тому времени уже опустился. Достигнув победы, он вел себя "рыцарем и джентльменом", хотя рыцарство и джентльменство понимал че-

ресчур по-своему: никогда не позволял себе приходиться на свидание без цветов и без конфет. Потом он умер, лежа на диване в кальянах и майке, его похоронили тихо, с работы бывшей никто не пришел, потому что там все сменились новые, а потом о нем забыли, потому что мама решила устроить обмен, потому что за большую квартиру было очень дорого платить, и они поменялись на этаже своем на двухкомнатную, отдав свою четырехкомнатную и получив приличную доплату.

Потом как-то очень быстро и без всяких видимых причин, поскольку не было никаких болезненных симптомов и врачей не вызывали, умерла мама, в своей постели, счастливая, летом, когда в Москве стояла несусветная жара и дышать было нечем, просили шофера похоронного автобуса помочь погрузить гроб, хоронить было некому.

Тамара опустошенно смотрела телевизор, восемь часов отсиживала за столом в своей лаборатории, аккуратно перекладывая многочисленные бумажки с одного угла стола на другой, смотрела в окно на крыши домов и на церковь, блестяще справляясь, как и весь советский народ, с имитацией углубленной деятельности, вышла второй раз замуж за каменщика со стройки, который собирался поступать в строительный институт, но муж напился на рабочем месте и упал с восьмого этажа. Тело из морга забирали его родители, Тамара, впадшая в совершенную прострацию, на похороны не пошла. Она пошла на работу: сначала автобус, потом переполненный вагон метро, потом семь остановок на трамвае. В шесть возвращалась, усталая, надевала шлепанцы и садилась на диван к телевизору. И работой для нее считалось именно вставание утром, умывание, приведение себя в порядок, поездка на автобусе, метро и трамвае, сидение за столом, перекладывание бумажек, изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, и обратный путь - до дивана с телевизором. С места на место свои драгоценные тела перевозят, и со всей серьезностью, присущей каждому человеку с руками, глазами, ушами, надменно думают, что понастоящему работают. Леночка, налившаяся яблочком с красным бочком, кричала надтреснутым голосом продавщицы рыбного отдела, что располагалась в их доме:

- Опять, бездельница, расселась!

Тамара воспитанно не отвечала.

За Тамарой пытался ухаживать Мерецкий из отдела главного конструктора, седовласый, голубоглазый, стройный. Говорил Ме-

рецкий всегда несколько возвышенно, отдаленно напоминая Тамаре "мхатовский" баритон отца:

- Каждый автор, как бы он ни был велик, желает, чтобы его творенье хвалили. И в Библии, этих мемуарах божьих, сказано совершенно ясно, что создал он человека ради славы своей и хвалы.

Тамаре очень хотелось, чтобы Мерецкий занялся ее "реасе-
time", даже домой в отсутствие Леночки его пригласила, приняла душ и встретила его в одном халатике, но Мерецкий, как только Тамара обнажила сочную с голубенькими венками ляжку, побелел, сказал:

- Как разумные люди бывают часто очень глупы, так глупцы подчас отличаются сообразительностью. - Схватил шапку и убежал.

На другой день в холле сказал Тамаре:

- Сталин шествовал так, словно страна была его полной собственностью. Брежнев же, напротив, ходит так, будто страну он взял напрокат.

Она с некоторым недоумением взглянула на него из-под длинных ресниц, а он, думая о своем, произнес актерски громко, так что все в фойе слышали:

- Я полагаю, что книге необходимы сроки, как ребенку. Все наскоро, в несколько недель написанное Жванецким или Аркановым возбуждают во мне известное предубеждение против подобных авторов. Порядочная женщина не производит ребенка на свет до истечения девятого месяца.

Это вчера по телевизору показывали Арканова со Жванецким, и все "балдели". Далее Мерецкий перешел на женщин:

- Когда-то я думал, что всего ужаснее женская неверность, и, чтобы выразиться как можно ужаснее, я называл женщин змеями. Но, увы! Теперь я знаю: самое ужасное - то, что они не совсем змеи; змеи ведь могут каждый год сбрасывать кожу и в новой коже молодеть.

Вот так пропадают всяческие надежды на "мирное время".

Потом к озабоченной сексуальной неудовлетворенностью, не все же пальчиками с нежным маникюром шейку матки гладить, Тамаре повалился регулярно ходить без всяких комплексов маленький плешивый электрик с их работы. А Леночке, покручивающей попкой, это не понравилось. Она вспыхнула солнышком и без всякой задней мысли сказала:

- В какой помойке ты нашла этого урода?!

Тамара промолчала, пошла в ванную, налила воды, разделась, ошупала большие груди с карими сосками перед зеркалом, легла в теплую воду, положила руку на черные, густые, кудрявые волосы лобка, раздвинула возбужденную, располневшую половую щель и страстно ввела все пальцы, собранные в щепоть, всю руку в "мирное время", "peace-time" по-английски, произносимое ею теперь как "пис-там"... И вспомнила электрика, и прямо с другого дня стала неудержимо и страстно с этим любящим мирное время, то есть "peace-time" по-английски, электриком перебиваться, стоя, сзади, в закутке его мастерской на работе. А однажды, когда отпросилась с работы пораньше из-за сильной головной боли, то обнаружила Леночку, шумно сопящую, пожевывающую губами, на кровати с милиционером. Причем Леночкины запрокинутые полные голые ноги крепко сжимали в объятьях милиционера. Милиционер от буквально животного страха застигнутого врасплох сразу же вскочил, он был в своих темно-синих с красной жилкой по бокам милицейских брюках и в пахнувших гуталином хромовых сапогах с металлическими подковками, а из распахнутой ширинки на Тамару нагло взирал одним глазом огромный напряженный розовый Яков, от вида которого Тамара сначала всхлипнула, потом, прикрыв глаза, задрожала, схватилась за косяк двери, чтобы не упасть, по телу пробежал электрический разряд, и она кончила, только затем утихла, слегка вздрагивая плечами.

Так Леночка незаметно подрастала, познавала гостей "мирного времени", "peace-time", а когда похоронили Брежнева, и ей было четырнадцать лет, спеша на автобус, перебегая улицу в неполюженном месте, попала под машину ее мама. На Хованском кладбище появилась еще одна стандартная могила, похожая на детскую песочницу, с бетонным квадратом балок ограждения и серой металлической табличкой с черными буквами: Тамара Сергеевна Яблонская (1941-1982).

КРАСНОВА У ТОЛСТОГО

рассказ

Дом Толстых находился недалеко от кольцевой станции метро "Парк культуры", близ Девичьего Поля, на улице Льва Толстого. Двухэтажный, довольно большой, с разнообразными, большими и маленькими окнами, окруженный забором и садом, дом стоял внутри двора.

Краснова вошла в отворенные ворота и позвонила у подъезда. Во дворе на одной из построек Краснова заметила вывеску: "Контора издания сочинений Л. Н. Толстого".

Двери Красновой отворил слуга и впустил ее в довольно просторную переднюю с зеркалом и диванчиком направо, с двумя дверьми, одной направо и одной прямо, с большой вешалкой налево у двери и с лестницей, устланной ковром, идущей прямо наверх. Под лестницу был проход, из которого явилась, когда Краснова вошла, горничная и спросила ее: "Кого вам угодно?" Краснова попросила ее доложить графу Льву Николаевичу ее имя. Горничная пошла в дверь, которая находилась прямо, несколько правее лестницы. Из-за затворенной двери, в которую ушла горничная, до Красновой доносился стук тарелок и стаканов и говор многолюдного семейного обеда.

Через минуту горничная вышла и сказала, что граф просит ее подождать, пока он окончит обед.

Слуга снял с Красновой пальто, а горничная повела ее наверх по лестнице и затем через довольно большой зал с зеркалами и роялем.

В углу зала, налево, была маленькая дверь, и через нее Краснова вошла за горничной в узенький темный коридор с дверьми по обеим сторонам. Они прошли через одну дверь налево в небольшую комнату, в которой стояли ширмы, стол у окна, кровать и стулья.

Минут через десять по уходе горничной в коридоре послышались твердые мужские шаги, и в комнату вошел Л. Н. Толстой. Впереди его шла, виляя хвостом, легавая собака.

Он подошел к Красновой твердой, осанистой, как ходят военные, походкой и протянул ей свою большую руку.

На Краснову Толстой произвел, при этой первой ее встрече с ним, очень большое и приятное впечатление. Наружность его была оригинальна и внушительна. В приветливом и добродушном взгляде его серых глаз, под энергично сдвигающимися порой дедовскими бровями, чувствовалась непреклонная, даже упрямая воля, мощный характер, светился глубокий интеллект, суровая и напряженно-деятельная мысль. Скромная, серая, подпоясанная узким ремнем блуза, очень широкая и длинная, с множеством складок, идущих каскадом из-под русой, в то время еще только с проседью, бороды, очень шла к его мощной фигуре.

- Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, - сказал Толстой, и когда Краснова села, он тоже сел против нее на стуле. - Я читал ваши стихи, - сказал он. - Способности у вас есть, и вообще вы пишете недурно. К примеру, про меня совсем недурно написали:

Ох, и любит девок Левка,
Охмуряет девок ловко,
Восемь девок охмурил,
Дихлофозом всех морил.

- Стараюсь, - сказала Краснова.

- Но у вас много подражания моим стихам, которые потом при-
соит себе Евгений Лесин, - продолжил Толстой, - а нового, свое-
го мало. Хотя мне трудно не подражать:

Когда-то здесь был Военторг.
А ныне платная парковка.
Ночь. Улица. Метро. Ментовка.
Аптека. Рюмочная. Морг.

Помолчали.

- Да, - вздохнул Толстой, - много нашего народа по ментовкам и моргам разбрелось... Но это увлечение народом пора бросить. Не писать нужно, а вывозить навоз, который все мы, дармоеды, накопили...

Толстой остановил немного свою речь и, помолчав, спросил Краснову:

- Умеете вы что-нибудь делать, то есть знаете какое-нибудь ремесло?

- Нет, я не училась никакому ремеслу. Хочется научиться переплетному делу. А то самиздата накопилось много и все в листочках, а надо сброшюровать и переплести, чтобы активнее рекламировать запрещенных авторов.

- Что ж, это недурственно. Нынче и меня пиарить следует. А вот то, что ремеслом никаким не владеете, это плохо. Надо учиться. Первое, что нужно каждому из нас, это заняться простым, черным делом. Переплетное дело очень нужное, хорошее. Но и другим не пренебрегать. Пусть даже это будет чистка нужника - не надо брезговать. Всякий труд нужен и полезен, как бы ни был он грязен, только бы он служил общей пользе. Дармоедов и белоручек теперь так много развелось, что трудящимся людям на них нужно день и ночь работать, и то не поспеть.

На это Краснова заметила Льву Николаевичу:

- Ручной труд мне всегда нравился, и я иногда перепечатаваю на машинке запрещенные произведения, не как заработок.

- Вот и прекрасно, - сказал Толстой. - И занимайтесь этим серьезно.

Некоторое время разговор колебался по сторонам, удаляясь от существенного, но потом Толстой высказал Красновой приблизительно следующее:

- Много написано и напечатано, - сказал он, - но для народа, кормящего всех нас, для большой публики ничего не сделано. Этот народ, как галчата голодные с раскрытыми ртами, ждет духовной пищи, и вместо хлеба ему предлагают бизнесмены-издатели низкопробную порнуху со стрельбухой... Знаете ли вы новые, недавно появившиеся в продаже, народные книжки улучшенного содержания?

Краснова сказала, что видела эти книжки в продаже, но что читать не приходилось, кроме "Чапаева" Фурманова, которую она читала в "Библиотеке юного ленинца".

- Я вам могу их дать, - сказал Толстой.

- Очень рада буду, - сказала Краснова. - Я охотно попробую написать что-нибудь для народного издания, если сумею.

- Вот и хорошо, - сказал он.

С этими словами он встал и предложил Красновой следовать за ним.

Она пошла за ним, прошли по коридору до самого конца и спустились несколько ступеней вниз. Здесь была маленькая белая дверь, затворенная наглухо. Толстой отворил ее и пропустил Краснову вперед. Она вошла в небольшую, с низким потолком комнату, из которой была еще такая же, как первая, плотно затворенная дверь. Толстой отворил и эту дверь, и Краснова попала в его кабинет.

Комната казалась тесной вследствие того, что была невысока. Толстой подошел к шкафу и отворил его. Нагнувшись к нижней полке, он стал набирать народных книжек. Набрал книжек, Толстой подал их Красновой. Потом вынул из шкафа тетради Красновой.

- Несколько ваших стихотворений я отметил здесь, как лучшие, по моему мнению, - сказал Лев Николаевич, передавая ей тетради. - Садитесь, пожалуйста.

Краснова села близ стола у окон. Толстой сел на диван против нее. Краснова заглянула в свои тетради, чтобы узнать, какие именно стихотворения одобрительно отметил Лев Николаевич.

Краснова обратилась к Толстому с просьбой, не может ли он дать ей почитать что-нибудь из его неизданных произведений, - тех, о которых она уже слышала, но прочитать которые ей не приходилось. Например, "Тихий Дон".

- У меня, кажется, нет теперь лишних экземпляров. Серафимович все унес в "Московский рабочий" под другим именем издавать для конспирации, - сказал Толстой. - Впрочем, я посмотрю, может быть, что-нибудь и найдется.

С этими словами он встал, подошел к шкафу, отворил дверцы, посмотрел на полках, достал три тетради и передал их Красновой. Это были: "Один день Ивана Денисовича", "Москва-Петушки" и "Записки из похмелья".

Краснова взяла со стола эти издания и стала их рассматривать. Заметив, что она пристально разглядывает рисунки на обложке книги "Москва-Петушки", где Веничка бронзовый стоит на площадке Борьбы с заплетающимися ногами и с чемоданом, Лев Николаевич сказал:

- "Москву-Петушки" написал человек из крестьян, и очень хорошо написал: правдиво, искренно, и вызывает добрые чувства и хорошие мысли, и хочется с ним выпить. А вам, повторяю: нужно работать, и если есть большая потребность, то пишите нужное для всех, и если имеете сказать что-нибудь новое и доброе...

- В Литературном институте, где я училась у Евгения Долматовского, меня никакому ремеслу не обучили, - сказала Краснова.

- Какой такой еще Литературный институт?! - воскликнул удивленный старик.

- На Тверском бульваре, где Герцен родился. А неподалеку в церкви в Богословском переулке его крестили, в этой же церкви потом Аполлона Григорьева крестили, - пояснила Краснова.

- Литературный институт нужно закрыть, как рассадник социалистических графоманов! - гневно сказал Толстой. - Разве можно писателей под гребенку готовить? Писатель - это вольная птица, выпорхнувшая из социальной матрицы. Писатель сидит на облаке, не участвует в распрях, потому что он Бог. А Богом быть очень трудно. Все время так и хочется во что-нибудь вмешаться. Например, изгнать с телевидения бизнесменов-циников. Я же один "Тихий Дон" писал, а их там сколько? По два человека на канале и оставить. Один за камерой, другой - Толстой - в кадре! Вот смотришь по телевизору на разукрашенных блядей в Новогоднюю ночь, по всем каналам блуждающих, так и хочется быть Нероном. Поэтому я свой телевизор выкинул в навозную кучу. Ибо опрощаться нужно. Как я, в мужижкой косоворотке ходить...

- Как вы, такой нашелся паренек в двадцать лет, косоворотку пояском кожаным подпоясал и свое имя поставил на вашем "Тихом Доне"! - эмоционально пояснила Краснова.

- Не может быть! - изумился Толстой.

- В стране советской все может быть! - парировала бывшая работница хлебозавода № 6, уроженка города Рязани.

- М-да... Образованщина, как говорил дружище Солженицын...

- Что, по вашему мнению, еще нужно знать мне? - спросила она.

- Самые нужные науки - языки, затем - чистописание, а затем и другие, более легкие науки, букварь, веселые картинки, - сказал Лев Николаевич. - Относительно изучения языков, - продолжал он, - скажу, что есть очень простой и легкий, испытанный мною способ изучения языков. Научитесь читать на каком-нибудь языке и потом берите хорошо знакомую книгу и прямо переводите. Для этого хорошо взять Бодлера; это, ведь, самая всем хорошо знакомая книга - "Цветы зла". Если, например, хотите научиться по-французски, читайте вместе русский и французский тексты

Бодлера и переводите. Так вы очень скоро и незаметно для себя усвоите язык. Это много легче обучения по учебникам.

Среди этого разговора в двери показался лакей и сказал Льву Николаевичу, что его желает видеть какая-то дама. Толстой велел просить.

Минуты через две в кабинет вошла Марина Цветаева в черном платье, с книгой Толстого, которую потом присвоит себе Лесин, "Записки из похмелья", и стала просить Толстого дать ей автограф. Он очень ласково и любезно обошелся с нею, сделал надпись на "Записках из похмелья" и представил Красновой.

Вскоре Цветаева ушла. Краснова после ее ухода тоже поднялась и стала прощаться. Толстой проводил ее через залу и просил не забывать его, заходить.

Когда Краснова шла к метро "Парк культуры", то заметила, что свидание с Львом Николаевичем произвело на нее сильное впечатление, но еще более сильное - его стихи из "Записок из похмелья", поскольку она не знала, что Лев Николаевич тайно и сильно пьет, иногда запоем и любит пивные в Тушино. Она всю дорогу думала только о Толстом и находилась под обаянием его личности, хотя была против его идей, насколько знала о них.

Книжки у нее брали читать все знакомые нарасхват, и книжки эти всем нравились. Некоторые же из них, как "Москва-Петушки", "Записки из похмелья" и "Котлован", прочитывались по два раза.

Под впечатлением прочитанных изданий Краснова начала писать два произведения, подражая слогу рассказов Толстого.

Через несколько дней Краснова пошла к нему отнести ему прочитанные рукописи и книжки и рассказать о своей неудаче устроиться учиться у переплетчика (который запросил с Красновой "за выучку" 600 долларов в год - цену для нее невозможную), а также о своих опытах подражания содержанию изданий Толстого и о впечатлении ее от прочитанных рукописей и брошюр.

У Толстого, когда Краснова к нему пришла, был в кабинете Пушкин, с которым Лев Николаевич Краснову тут же познакомил.

Пушкин представлял собою в то время совсем молодого, цыганистой наружности, изящного и интеллигентного джентльмена. В руках у Пушкина Краснова заметила книжку "Записки из похмелья". Пушкин, раскрыв книжку Толстого на первой попавшейся странице, проскандировал своим звонким царскосельским тенором:

Надоели, словно мухи
 Голобрюхие толстухи.
 Между брюками и майкой
 Жир свисает - налетай-ка!
 Налетай - подешевело.
 Летом очень много тела.
 Мясо лезет из-под юбки.
 Не хватает мясорубки.

Толстой стал что-то говорить Пушкину по-французски; не понимая французской речи, Краснова все-таки догадалась, что он говорит о ней. Потом Толстой спросил ее, приходилось ли ей жить в деревне. Она сказала, что приходилось и подолгу. Завязался разговор, и Краснова высказала Льву Николаевичу, что его издания ей очень нравятся и вызвали в ней желание писать, подражая их содержанию.

- Это хорошо, - сказал он.

Во время этого разговора Краснова передала Толстому свое эссе и стихотворение, - то и другое из народной жизни. Толстой прочитал и отнесся к ним отрицательно. Стихотворение он передал Пушкину, как пишущему стихи и любителю поэзии, который тут же прочитал его. Краснова смотрела на миниатюрного Пушкина и думала, что памятник ему отгрохали в бронзе уж слишком не соответствующий этой миниатюрности.

- Александр Сергеевич, не прочтете ли вы что-нибудь из своего новенького? - спросила Краснова.

- Да нет, Ниноля, не прочту. Вслух читает только Евтушенко со сцены Лужников, а я пишу для вечности втихаря на бумаге. На бумажке меня читайте и представляйте огромным, как колокольня Ивана Великого в Кремле, памятником! - сказал он без тени иронии.

Скоро Пушкин вышел из кабинета. Краснова рассказала Толстому о своей неудаче у переплетчика, он пожалел об этом. Потом она высказала Толстому мнение о прочитанных его сочинениях "Записки из похмелья" и "Котлован", что содержание этих сочинений ей очень интересно и ново, так как вкусы, усвоенные с пионерским галстуком, в ней давно поколеблены чтением книг антисоветского содержания. Она попросила у Толстого что-нибудь еще из его нелегальных произведений. Он встал, пошел в другие

комнаты, принес рукопись, раскрыл ее, внес пером в текст ее какую-то поправку и подал Красновой. Это был его роман "Родина", о котором уже много говорилось, и который позже присвоит себе Юрий Кувалдин. Рукопись была написана довольно четким почерком с собственноручными поправками Толстого.

Когда Краснова сказала ему, что христианство ее всесторонне интересуется и что поэтому она с громадным интересом читала его сочинения о христианстве, то он внимательно выслушал ее и тепло сказал:

- Да, да, это хорошо.

Разговор перешел на другое. Толстой стал говорить о своей книге "Черный корабль", которую, спустя время, присвоит себе Александр Тиняков, что произведения этой его книжки стоят того, чтобы их читали как можно больше. Сущность того, что Лев Николаевич высказал Красновой о своем "Черном корабле", помнится, сводилась к нравственному положительному началу, проникающему "Черный корабль", и к умению Толстого перевоплощаться в любые роли, в раба, червя и царя, что и он - Лев Толстой - актер, но никому об этом не говорит.

Толстой советовал Красновой попытаться сокращенно изложить некоторые произведения "Черного корабля" для народного издания, так как целиком его стихи во многом могут быть непонятны простому народу. Краснова сказала, что очень рада последовать его совету, но у нее нет последних его стихов.

В комнате совсем стемнело. Лакей внес зажженные свечи и поставил их на письменный стол. Толстой вернулся и передал ей переплетенную книгу. Это был Толстой, присвоенный Тиняковым (Одиноким), издания "Водолея". Дочь Льва Николаевича Мария Львовна, в то время еще молоденькая барышня, принесла чаю. Пришел в кабинет Пушкин, шаркнул ножкой, сделал ручкой, простился и ушел. Вскоре ушла и Краснова.

Прочитав "Родину", узнав, что миллионы лет назад черная волосатая обезьяна в Африке встала на задние лапы, почесала затылок и нанесла камнем на камень две палочки, перекрещенных, от которых рождаются дети и язык, Краснова сущим образом (Аз есмь альфа и омега) обалдела, как Моисей на горе Хорив при виде пылающего огненным эросом Господа, появившегося из неопалимой купины, и восторженная понесла "Родину" Льву Николаевичу обратно. Она застала у него в кабинете вели-

чественную, всю в черном, как Марина Цветаева, поэтессу Анну Ахматову. Лев Николаевич познакомил Краснову с ней.

Среди разговора Ахматова попросила у Толстого для прочтения что-нибудь из его нелегальных произведений, что выражало бы его взгляд на общественный строй жизни. Толстой, выслушав ее просьбу, посмотрел на нее как-то задумчиво и вопросительно, потом торопливо подошел к шкафу и достал из него рукопись будущей его книги "В круге первом", которую потом присвоит себе Солженицын, и дал Ахматовой.

Толстой заговорил о переделках произведений известных авторов. Краснова отозвалась восторженно о романе Толстого "Родина". Толстой сказал, что "Родина" - это Пушкин наших дней и в бронзе и в плазме. Так и сказал.

Ахматова высказала свое мнение о дайджестах, то есть переделках для малообразованной публики - осколках Союза писателей СССР - произведений лучших авторов, - что всякая переделка произведения лучшего автора подобна копии с картины хорошего художника. Как копия, переделка может быть более или менее дурна и, как копия, она, популяризируя оригинал среди широкой публики, заменить его никогда не в состоянии. Толстой согласился с ее мнением. А Краснова сказала, что упрощать ничего не надо, что не Толстого нужно опускать до народа, а народ должен подниматься до Толстого.

Так, от времени до времени, Краснова приходила к Толстому. Она добросовестно записывала в дневник некоторые интересные подробности этих ее первых посещений Толстого.

Иногда она заставляла его в обществе какого-нибудь посетителя из разночинцев, подобного ей, имевшего к нему дело или вопрос жизни. Для интимных бесед с Красновой или с кем-либо из посетителей Толстой притворял двери или уводил своего собеседника в уединенную комнату. Иногда Краснова заставляла его за тасканием со двора дров и топкой печей в комнатах, занятых им, или за шитьем каких-то огромных, из толстой кожи, башмаков. Принимая посетителя, Толстой иногда продолжал и при посторонних заниматься сапожным мастерством, причем просил Краснову или кого другого из посетителей выровнять молотком на утюге подошву или подать тот или другой из нужных ему в работе предметов.

В одно из первых посещений Краснова принесла ему свои мысли о переделке и сокращении "Войны и мира" и "Анны Каре-

ниной" для народных изданий. Ей пришлось подождать, пока Толстой управился с печами и сапожным инструментом. Окончив свои хлопоты, он прилег на диване в халате и попросил Краснову прочесть ее писание. Во время чтения он характерными сдвигами бровей, не поддающимся описанию изменениями взгляда и выражения лица, междометиями, изредка звучавшими из его уст, без разговора подчеркнул, молча и лежа на боку, все существенное в том, что Краснова ему читала. Она заметила, что он слушает ее чтение одним краем своего сознания, что в глубинах его души идет какая-то скрытая, обширная и глубокая работа.

Искренность и простота его обращения с Красновой и с другими, с первого шага ее знакомства с ним, являлась для нее единственной и неподражаемой, при его глубокой серьезности, необычайно и тесно соединявшейся в нем то с веселостью и шутливостью, то с добродушной любезностью, то с суровым прямотушием и какой-то мощной властностью... В беседах Толстой часто увлекался, страстно отстаивая какой-нибудь принцип. В обращении с посетителями он был замечательно тактичен, краток и находчив. Оставляя на некоторое время посетителя в кабинете одного, он почти всегда займет его на время уединения книгой или чем-нибудь еще.

Из воспоминаний о первых днях своего знакомства с Толстым Краснова сохранила одну подробность, правда, случайную и незначительную, но интересную для характеристики отношения Льва Николаевича к домашним условиям, в которых он тогда жил.

При ней, около полудня, привезли с базара во двор дома дрова. Софья Андреевна вызвала Льва Николаевича из кабинета в коридор и стала настаивать на том, чтобы он сам лично уплатил 15 рублей за дрова. Лев Николаевич не соглашался, заспорил. Взволнованный, он торопливо вошел в кабинет, вынул из стола деньги и отнес их в коридор жене. Софья Андреевна что-то быстро и громко сказала ему по-французски и ушла. Лев Николаевич вошел в кабинет и сказал Красновой с досадой:

- Зачем ей нужно, чтобы я непременно сам расходовал деньги? Ведь она знает, что это мне неприятно. Можно ли так навязывать человеку то, чего он не хочет?

Окончив свое очередное произведение, Краснова понесла его для оценки Толстому. Когда она вошла в кабинет Льва Николаевича, у него сидел представительный господин в золотых очках, с седыми волосами. Они читали вслух какую-то рукопись.

Толстой познакомил их, и они подали друг другу руки. Это был Юрий Кувалдин.

Толстой попросил Краснову сесть и заметил Кувалдину, что и ей будет интересно послушать чтение, так как она - пишущая.

Усевшись в кресло у письменного стола, Краснова стала слушать чтение рукописи. Слушая, она наблюдала интеллигентное, с умным взглядом и по временам с тонкой усмешкой на губах, лицо Кувалдина.

Кувалдин читал Толстому свое сокращенное изложение романа Льва Николаевича "Так говорил Заратустра". Рукопись предназначалась для народного издания. Кувалдин читал ее Льву Николаевичу для оценки ее в отношении литературном.

Рукопись скоро была оставлена, потому что она составляла только часть работы Кувалдина по переделке им полного романа Толстого. Кувалдин заговорил о начатой им другой работе - подборе народных авторов для журнала Л. Н. Толстого "Наша улица". Он очень умно и дельно изложил Льву Николаевичу обдуманную им систему выбора и группировки авторов. Толстой очень сочувственно и одобрительно отозвался об изложенной Кувалдиным системе подбора авторов. Однако потом заметил, что никто из них больше года не задержится, так как не понимает сущности писательства, а те, которые задержатся, все равно исчезнут, уедут на дачу. Хоть режь их, подай им дачу с укропом и яблоками. Так что в писатели выходят только такие, как Толстой, которые свою жизнь кладут навозом для цветения загробной метафизики собственного творчества.

- А Краснова как же? - спросил Кувалдин.

- Краснова тоже готова для загробного цветения, - сказал Толстой, - ибо уже знает, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда...

В продолжение всего этого разговора лицо и взгляд Толстого были то сурово-вдумчивыми и строго-серьезными, то с неуловимой быстротой сияли радостным настроением.

- А теперь я прочитаю вам свое эссе "Четыре рифмующих женщины", - сказал Лев Николаевич, обращаясь к Красновой, когда разговор их с Кувалдиным кончился.

В эссе Толстого описывалось следующее: "...12 апреля 1997 года в доме на Большой Ордынке Татьяна Бек читала свои стихи из новой книги "Облака сквозь деревья", в маленькой гостиной с

Юрий КУВАЛДИН

несколькими рядами стульев, переполненной слушателями, как Большой зал ЦДЛ во время интересных кинофильмов:

В этом мире - морозном и тающем,
И цветущим под ливнями лета,
Я была вам хорошим товарищем...
Вы, надеюсь, запомнили это?

Большое старинное тускло-матовое, будто задернутое дымкой времени роскошное трюмо между дверью и окнами вбирало в себя всю аудиторию. Рейн и Кувалдин выступили со своими нестандартно интеллектуальными и эмоциональными речами о виновнице торжества - Татьяне Бек и о ее стихах. И я, Толстой, сказал Тане ласковые слова.

"Все времена - как одно - в настоящем" сошлись в тот вечер. И мне казалось, что в зале присутствуют и Ахматова с Цветаевой. Но незримо, как два святых духа. Чтобы не смущать всех нас и не переключать на себя внимание зала.

А потом все пили шампанское из изумрудной бутылки художника Александра Трифонова, из бутылки с его картины..."

Эта последняя деталь вызвала похвалу Красновой, которая, обращаясь к Кувалдину, сказала:

- Вот в этих подробностях, в этих "из бутылки с его картины" - вся судьба каждого автора; нет этого, - этих "чуть-чуть", - значит, все пропало, нет произведения.

Толстой покраснел.

- У вас это есть, - обратилась к нему Краснова, - вы можете писать.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

рассказ

Иван сидел на диване и, поставив локоть на валик, подперев рукой голову, смотрел на Марию.

Он за эти десять лет почти физически не изменился, только пополнил, возмужал: из деревенского парня превратился в городского, но не в такого городского пижона, каких ныне развелось очень много, а в парня в лучшем смысле слова, в парня, который без ропота, по совести прет и попрет дальше взваленный самим на себя бизнес, честно и с тонкостью всего своего ума будет проводить свои идеи в жизнь.

Глядя на него, Мария видела в нем, несмотря на указанные в нем перемены, все того же простого и милого Ивана, Мария видела того же безбородого, безусого краснощекого блондина, Мария видела тот же немного курносый с чуть-чуть вывернутыми ноздрями нос, те же блестящие синие глаза, которые сейчас как будто стали еще глубже, синее, напоминали собой только что распустившиеся и омытые утренней росой васильки.

Мария слышала тот же мягкий звенящий голос, тот же звонкий добродушный и искренний смех, похожий на смех ребенка, что десять лет тому назад заражал ее, и Мария тогда хохотала до слез, а Иван, глядя на нее, больше смеялся, а Мария еще больше, и до тех пор, пока оба не охрипли.

Глядя на Ивана, Мария думала: сколько было тогда молодости, веселья в их смехе! Сколько было тогда в них задора, здоровья! Они тогда не замечали солнца, яркой ослепительной зелени, весенних цветов, даже теперь необычной, прекрасно-царственной весны, которая резко шествовала по садам, по полям и по лугам, щедро обряжая в роскошные благоуханные наряды землю.

А не замечали они солнца, зелени, цветов и весны не потому, что они не хотели замечать, а не замечали потому, что они сами были солнцами, что они сами были яркой зеленью, что они сами

были самыми прекрасными цветами изо всех цветов, какие только бывают на земле, что они сами были лучезарной весной, какие тоже бывают на земле только...

А вот теперь?... Да что Мария? Она может говорить только о себе. А он, Иван, остался все таким же, каким был десять лет тому назад. Его не сломали наезды бандитов, налоги, пожарники, милиция и номенклатурная мошकारа из управ, префектур, мэрии, министерств, ведомств и администраций... Он стал еще более закаленным, чем был тогда. В нем все та же весна, все та же молодая черноземная сила, которая обильно выделяет соки, необходимые для жизни. Его глаза цветут еще ярче, чем тогда, десять лет тому назад. Глядя на него и рассуждая так, Мария почувствовала, как ей стало больно, как сжалось ее сердце, как по всему ее телу поползла снизу вверх судорожная жуть, подползла к горлу, стала давить, да так, что в глазах потемнело, брызнули слезы, закружилась комната, волчком завертелся Иван, и все - и он, и комната поплыли куда-то в далекое туманное пространство. Мария, чтобы не упасть, крепко ухватила обеими руками за край стола и не помня, как опустилась на стул, протянула руки, положила кверху ладонями на стол, уронила на них тяжелую, как будто не свою, темную голову и так пролежала несколько минут, а сколько - хорошо не помнила. Подняла голову она только тогда, когда через все ее существо переползла корявая жуть, когда успокоилось сердце, тьма отвалила от головы, глаза отчетливо увидели очертания комнаты и человека, сидевшего все так же неподвижно против нее.

Когда Мария подняла голову, Иван встал с дивана, вышел из-за стола и, заложив руки за спину, медленно стал прохаживаться по комнате. Комната была у Марии небольшая, но светлая, опрятная. Обстановка: старый с выпирающими пружинами диван с валиками, два легких кресла, стол, три мягких стула, этажерка с книгами, зеркальный шкаф, около входной стены, выходящей в коридор, стояла массивная, доставшаяся от прежних жильцов и теперь вошедшая в моду кровать с блестящими ширшами, около кровати тумбочка, на тумбочке коробка пудры "Балет", будильник и черный том стихов Нины Красновой с красной собачкой на обложке "Цветы запоздалые".

Мария только сейчас, когда он встал и заходил по комнате, заметила, что Иван гораздо стал шире в плечах, немного сутулился. Сутулость и выпуклость его спины рельефно отражались в зерка-

ле шкафа и были более заметны, чем на нем. Он обратил внимание, что Мария смотрит на него, остановился, взглянул на нее васьковскими, небольшими, но необыкновенно умными глазами.

- Что вы на меня все смотрите? - сказал он, чуть помолчал и продолжил: - Неужели я так резко изменился? Я был на родине, и мне деревенские говорили, что я только пополнел, а постареть не постарел. Мама только одна говорила, что я здорово постарел... Но это она просто так из любви к сыну.

- Нет, вы все такой же, как были и раньше, и нисколько не постарели, разве вот только сутулость, - сказала Мария, стараясь улыбаться.

- Это от офисной жизни, - сказал Иван, остановившись. - А вот вы, Мария, очень изменились...

- Не думаю, - вздохнув, ответила Мария. - Ну что мне может сделаться, ровно ничего. Десять лет уже живу в Москве. А в Москве, вы сами знаете, неплохо живется, так что сюда изо всех городов, окраин валом валят, в особенности молодежь... Центр капитализма, с мечтой колхозников - колбасами в сто сортов...

- Нет, вы все-таки резко изменились, - оборвал Марию Иван и очень внимательно посмотрел на нее. - Знаете, если бы я вас встретил на улице, то, пожалуй, не узнал бы, а если бы и узнал, то с большим трудом.

- Неужели я так резко изменилась, постарела? - спросила Мария, вскидывая бровь.

Иван не ответил, он только глубоко вздохнул, сделал несколько шагов, потянулся к тумбочке, взял с нее книгу и прочел имя автора: "Нина Краснова", - и, обращаясь к Марии, улыбнулся: - Это перед сном или после сна?

- Не перед сном и не после сна - эта книга не моя, а одного знакомого, - с некоторым раздражением сказала Мария. - Вы, Иван, не смейтесь надо мной, а главное не подумайте, что у меня на тумбочке пудра "Балет" и стихи Нины Красновой.

- Разве я над вами смеюсь? У меня остались самые лучшие воспоминания о деревне, о нашей совместной работе, - вполне добродушно сказал Иван.

Тут он густо, как девушка, покраснел, и, чтобы спрятать вспыхнувший неожиданный румянец стыда, наклонил голову и стал перелистывать книгу:

- А недурно Нина Краснова пишет стихи? - спросил Иван.

- Не знаю, - ответила Мария сухо.

А он остановился на одной странице и стал довольно громко читать:

Я в "слюду", в целлофан завернула цветы,
Красно-розовые пионы.
Были чувства во мне и чисты, и святы,
И нежны, как пионы оны.

Ничего не сказав никому, никому,
Носом в душу свою не влезая.
Я пошла без дорог, по сугробам к нему,
По колени в снегу увязая,

Вся блее офсета, блее белил,
Не вдова, но с тоской-то вдовойей.
Он меня как весну, как веснянку любил
И Рязаночкой звал Авдотьей.

Был бы парнем, заслал бы ко мне сватов
И меня бы сосватал, милку.
Я ему никогда не дарила цветов.
Вот принесла, на могилку.

- И нежны, как пионы оны... - кладя обратно на тумбочку книгу, повторил Иван одну строчку и пояснил: - Эта строчка очень хороша и мне нравится, и остальное прекрасно. Вот никому не дарила цветов, а ему на могилку принесла, - и он снова взглянул на Марию.

В его взгляде Мария увидела страшное и жуткое для нее. Она почувствовала, как опять в ней заныло больно сердце, и она, чтобы он не сказал ей того, что она видела в его глазах, старалась побороть себя, старалась быть к нему за его глубокою к ней любовью грубой и злой. Мария резко изменилась в лице, выпрямилась и неожиданно изменившимся голосом крикнула:

- Все это пошлово! - и, упираясь ногами в перекладину стола, шумно отодвинулась от стола, повернулась и грубо закинула одну ногу на другую, так, что юбка задралась до кружев трусов, а сама откинулась на спинку стула, скривила губы и закатила глаза.
- Дайте мне покурить.

Он так растерялся, что даже не знал, что ему нужно сейчас делать, куда смотреть. Мария видела, как на его щеках появились большие, как у коверного в цирке, пунцовые пятна. Потом Мария удивлялась, как эти пятна постепенно бледнели, становились совершенно белыми, потом опять снова густо краснели, и так несколько минут, пока он не справился с собой.

- У меня сигарет нет, - ответил он, - я не курю.

- Не курите? - закатывая еще больше глаза, засмеялась Мария громко. - Не курите? Какой же вы тогда мужчина? Теперь все школьницы курят, плюются через плечо не хуже мужчин, красят волосы, ругаются и даже, чтобы не отстать от мужчин, стараются ходить... и тоже по-мужски.

Иван болезненно улыбнулся.

- Я, к сожалению, не школьник: перерос этот возраст. Что вы мне этим хотите сказать? Я все же не разуверюсь в культуре даже тогда, когда вы ее будете представлять в тысячу раз хуже, чем сейчас. Да я и вам, несмотря на все ваше странное поведение, не поверю...

- Чему? - спросила Мария, усмехаясь, и ее пухлые влажные губы задышали сексуальностью.

- А тому, что вы являетесь такой, какой сейчас стараетесь быть, - не глядя на Марию, сказал не очень решительно Иван.

- Вот как, - сухо протянула Мария и громко захохотала. - Не верите? Не надо, другие поверят.

Потом Мария резко остановилась, встала со стула и, соблазнительно покачиваясь всем корпусом, прошлась несколько раз по комнате, потом подошла к столу, взяла сигарету, закурила и опять села на стул и приняла прежнюю позу. Пока Мария курила и через нос сверху пускала дым, Иван понуро сидел на диване, смотрел на угол стола, перебирал бахрому скатерти. Мария видела на его крутом виске несколько розовых прыщиков, темно-синюю жилку, похожую на засохший стебелек липового цветка, и как эта жилка часто дергалась под розовой кожей. "Зачем он пришел?" - подумала Мария и неожиданно для себя, а также и для него, грубо засмеялась:

- Вы не женились еще?

Он оторвал от скатерти руки, опустил их на колени, поднял голову, очень пристально и необычно потемневшими глазами взглянул на нее:

- Нет. Только еще невесту подыскиваю. Да, я совершенно позабыл вам передать привет от отца, матери и родных. Они все живы, здоровы, кланяются и просили передать вам письмо, - он достал из кармана письмо и подал Марии. - Чуть не позабыл.

Она взяла письмо и, подержав немного в руке, бросила через стол на этажерку.

- Неинтересно? - спросил он.

- Прочту после, - небрежно ответила Мария, - а сейчас вас послушать желаю. Расскажите, что делается в родном селе: я давно там не была.

- Хорошо, - согласился он, робко взглянул темными глазами на Марию и стал рассказывать. - Я был в селе только одну неделю и за два дня до отъезда в Москву видел вашего отца. Он подошел ко мне, поздоровался и сразу заговорил: "Можно мне с тобой по душам поговорить?" - "Можно", - ответил я. "А ничего не будет за это, если я все тебе выскажу, что у меня на душе имеется, а?" - "Ничего не будет, - ответил я, - можешь всю правду высказывать". - "Я вот нарочно к тебе пришел, узнал, что ты приехал, и пришел. Поговорить мне с тобой надо. Можно ли с тобой по-хорошему, по душам разговаривать?" - "А почему же нельзя? Пожалуйста", - ответил я. "Я желаю разговаривать не так, как вообще с демократами приезжими, а с тобой, откровенно, по душам. Ты знаешь нас всех и знаешь, как мы живем. Ты человек свой, и я к тебе как к своему подхожу, - постороннему я б этого не сказал, даже не только сыну, а дочери бы не сказал, а они у меня тоже, вроде тебя, демократки и отца позабыли". - "Почему?" - "Да не поймут. Подумают, что я фермер... А потом и начнется. А ты-то поймешь, и что я тебе наговорю не так - разъяснишь и этим кончится". - "Ну, говори". - "А ты не обманешь?" - "Да что же мне тебя обманывать-то?" - "Верю, верю, - проговорил он скороговоркой. - Так вот скажи: скоро вас свалят-та?" - "Как свалят?" - удивился. "Ну, как это сказать-то: свергнут, и на место вас КГБ и КПСС вернутся?" - "Кого, нас?" - "Ну, вот, кого, будто не знаешь кого: демократов, что ль, бизнесменов-та". - "А что, это тебя очень интересует? - засмеялся я. - Недоволен жизнью?"

Мария, облокотившись на стол, смотрела на Ивана и слушала: он великолепно рассказывал и верно передавал голос отца. Мария, слушая его, уносила в родной дом, видела обстановку, крепкого, со звериной походкой рыжебородого старика.

Иван продолжал:

"Ну, мешают..." - ответил он. "Кто мешает?" - "А вот эта ваша молодежь с бритыми головами и в черных куртках. Больно ей воли много дали. Только она и горлопанит, а нам, старикам, никакой воли не дает". - "Только этим и недоволен?" - "Нет, и еще есть". - "А что еще?" - спросил я. "Все-таки обидели". - "Чем же обидели?" - "Разорили". - "Ну, чем же тебя разорили: ведь ты не хуже других живешь?" - "Да не хуже, а лучше: у меня есть скотина, хлеб и зеленые заводятся". - "Так в чем же дело? Чем ты недоволен?"

- А на поясницу он не жаловался? - спросила Мария и улыбнулась.

Иван поднял голову, встретился с ее глазами. Они посмотрели друг другу в глаза и оба громко рассмеялись. У Ивана глаза сейчас были не темными, а темно-голубыми, и лицо его светилось радостью и здоровьем. А когда они оба перестали смеяться, он ответил:

- Нет, на поясницу не жаловался. Он выглядел гораздо лучше, чем в девяносто первом году. Стоял на земле очень крепко.

- Значит, земля стала для него снова жирной.

- Это как - жирной? - удивленно и не понимая Марию, спросил Иван и снова заглянул ей в глаза.

- Для таких, как мой отец, земля стала снова жирной, - ответила Мария и засмеялась. - Отец теперь снова стал запускать свои корни в чернозем, как его предки до революции 17-го года...

Тут Иван рассмеялся и перебил ее:

- Теперь понимаю, вы говорите о росте частной инициативы. Судя по вашему отцу, можно с вами согласиться. Ваш отец...

- Что мой отец? - оборвала Мария его в свою очередь. - Я думаю, что все фермеры не только типа моего отца, а и много мельче, теперь не жалуются на боль в поясницах, выправляются и живут не так, как нам хочется, а так, как им нравится, а главное - идут не по советской дорожке, а по американской. От этого полстраны за чертой бедности оказалась...

- Вы ошибаетесь, - возразил Иван и взглянул на Марию, - даже очень ошибаетесь.

Глаза у Ивана снова изменились и стали страшно темными. Мария решила не спорить.

- Продолжайте про отца: мне очень интересно, - она взяла сигарету, закурила и опять приняла бесшабашно-распутный вид и, покачивая оголенной ногой, стала грубо пускать кверху дым. - Я вас слушаю.

Иван неприятно поморщился, покраснел и как-то странно, не то растерянно, не то стыдливо задвигался на диване, а когда успокоился, с болью в голосе сказал:

- Зачем вы меня обижаете? Что я вам сделал плохого? Неужели вы отучились сидеть прилично?

- Я вас слушаю, - ответила Мария сухо и глубоко затянулась сигаретой, а потом подалась вперед и выпустила в него дым.

- Я могу только с вами распрощаться, - и он поднялся с дивана и стал было выходить из-за стола.

Мария тоже встала и, раскачивая из стороны в сторону бедрами, остановилась между столом и диваном, загородила собой выход и стала бесстыдно всего его рассматривать. Он стоял против нее и не знал, что делать, грустно смотрел в другую сторону, в которой стояла тумбочка, а на ней пудра "Балет" и стихи Нины Красновой.

Мария сначала прильнула к нему, крепко прижавшись грудью, затем отстранилась, взяла книгу Нины Красновой, полистала, выхватила глазами стихотворение из эссе "Москва рязанская", и стала, отступив в центр комнаты, громко и звонко скандировать, как на сцене клуба бывало:

Я студентка! Я живу в столице
И уже себя считаю здесь,
Нет, не чужеродною частицей,
А своею, самой что ни есть.

Только все же странно, я не скрою,
Привыкать (в Рязани - проще там)
К окруженным славой мировую
Достопримечательным местам.

Будто по открытке из альбома,
Я брожу по улице иной,
Прежде лишь заочно мне знакомой
И заочно так любимой мной.

Я к Москве привыкну, как к Рязани,
Но, наверно, не смогу и впредь
На нее привычными глазами
Пусто и пресыщенно смотреть.

Ах, Москва! Она неповторима -
Понимаю это все ясней
И, как сахар быстрорастворимый,
Растворяюсь, растворяюсь в ней.

Мария почувствовала, как забилось сердце, как по всему телу пробежала дрожь и остановилась в пальцах. Прислушиваясь к этой дрожи, к сильному биению сердца, Мария почувствовала что-то сильное и глубокое к нему, а главное, ее комната наполнилась запахом весны... Мария пододвинулась к нему ближе и ласково прошептала:

- Садитесь. Если желаете, я посижу с вами.

Мария видела, как он вздрогнул от ее слов, попятился от нее так, что она сама испугалась и совершенно другим голосом прошептала:

- Не желаете?

- Вы так сказали, что я даже не знаю, что мне делать, - не поворачивая к ней головы, ответил взволнованно он, а когда успокоился, поднял на нее страшно непроницаемые темные глаза и прошептал: - В вашем голосе я узнал не Марию, а прежнюю Машу, веселую и озорную и...

- "И?" - передразнила она его и показала ему кончик языка.

- И целомудренную...

- Фу! Убил, - стараясь заглушить всплывавшую из нутра сладостную боль и радость, что в ней еще жива прежняя Маша, она громко и фальшиво крикнула и засмеялась. - Окончательно убил! Ей-богу, убил! Ха-ха!

- Мне хочется верить, что...

- Я хочу дослушать про отца, - перебила Мария его и села на диван рядом с ним. - Садитесь.

Он медленно сел и положил на колени руки. Разглядывая его в профиль, Мария снова потеряла запах весны, и ей стало необыкновенно безразлично, хотя что-то у сердца и копошилось. Мария на него смотрела так же, как вчера смотрела на двадцатого любовника.

- Хорошо, - сказал он и, взглянув радостно на нее, стал продолжать: - "...Денег много пропало, - ответил он, - очень много". - "Каких денег-то?" - спросил я. "Настоящих. Зеленых. Хороших де-

нег. Пятьдесят тысяч долларов. Положил в банк, наменял, чтобы проценты прибавились. А банк исчез!"

Иван, глядя на Марию и любясь ею, она это хорошо видела по его глазам и выражению лица, успокоительно сказал:

- Что такое пятьдесят тысяч долларов в масштабе моего холдинга? Ничего. Одна пылинка.

И он, глубоко вздохнув, отошел от стола и снова заходил по комнате. Мария тоже притихла, и их молчание длилось очень долго, а он все это время прохаживался по комнате. Мария очень внимательно наблюдала за его походкой, за выражением лица, за темным блеском глаз, за тонкими губами, которые изредка и едва заметно вздрагивали.

Вдруг зазвонил будильник, Мария бросилась к тумбочке, но будильник молчал, а звонки продолжались. Иван извлек из кармана мыльницу с кнопками и отключил звонки.

Мария опять села на диван. Наблюдая за Иваном, а также и прислушиваясь к своему сердцу, она остро сознавала, чувствовала, что творилось в душе Ивана, а также и в своей. Не успела она подумать: "Неужели я его люблю? Неужели я еще могу любить после такого количества мужчин, которые разлили по всему моему существу отвратную оскомину, что я даже потеряла всякий вкус к красоте, к молодости, потеряла запах к цветам, к весне?" - как он снова подошел к столу, остановился и, заикаясь и краснея, еле слышно сказал:

- Зачем вы стараетесь быть дурной? Вот сейчас, разговаривая с вами, я говорил с прежней Машей, с той Машей, образ которой я целомудренно носил в своей душе десять лет...

Дальше Мария ничего не поняла, что говорил Иван, так как во всем ее существо творилось что-то ужасное, непостижимое для нее: Мария то слышала бурные толчки сердца, то остропрямые запахи весны - это, наверно, в те минуты, когда он говорил ей о любви, - то совершенно теряла смысл своего существования, стремительно летела в какую-то муть, в какое-то небытие, то падала во что-то липкое, отвратное и барахталась в нем неприкаянной и всем чужой. Сколько была Мария минут в таком состоянии, она хорошо не помнила, но она помнила только одно, что Иван давно уже молчал и робко ждал, что она ему скажет, а она все смотрела на него широко открытыми, безумными глазами и ничего не отвечала.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

Мария поднялась только тогда, когда он отошел от стола и пошел к вешалке брать пальто, - вылезла из-за стола и, подергиваясь фальшиво, как цыганка, плечами и бедрами, пошла за ним и неприятно, с сипотой в голосе засмеялась:

- Уходите?

Он растерянно, виновато посмотрел на нее. От его взгляда Марии невыносимо стало больно, и она, чтобы заглушить эту боль, взяла сигарету, закурила и покрыла лицо и всю голову мутно-белой и курчавой пеленой дыма.

- Так вы меня любите? - спросила Мария с придыханием.

Он долго молчал, потом тяжело поднял голову, закашлялся от дыма, а когда откашлялся, все так же виновато взглянул в ее глаза и виновато проговорил:

- Простите, я не курю, - а через две-три минуты добавил: - Да, я люблю прежнюю Машу.

Надел пальто и бесшумно вышел из комнаты, и Мария слышала, как его шаги все дальше и дальше удалялись, стуча по кафельным плиткам коридора. Мария судорожно сжалась, потом, не помня себя, вылетела в коридор и крикнула:

- Иван!

Он дернулся, как-то машинально, на ходу повернулся к ней, остановился. А она, все так же не помня себя, придушенно кричала:

- Приходи. Я буду ждать... Я тебе все расскажу, все.

А когда он ушел, Мария вошла в комнату и завертелась в ней. Ей так было весело и хорошо, а главное, она остро почувствовала запах весны и цветов, в этот день дома, мостовые, люди были не омерзительно серы, как до этого, а цвели первым весенним подснежником. От несказанной радости, от благоухания необыкновенной весны, нахлынувшей на Марию, она упала на кровать и заплакнулась счастливыми слезами.

САВЕЛОВСКИЙ ВОКЗАЛ

рассказ

А где же вокзал? Да к тому же, Савеловский назван. А может, Павеловский? Есть ли такой? Павелецкий! Савецкий? Упруго шагал Гермогенов, пружиня, по улицам старой Москвы, по Цветному бульвару к Неглинке, забыв о делах, лишь о женщине помня послушной. Цветы! Наконец-то вы дома. В вашем лишенном фальши будущем, в пресном стекле пузатых ваз, где в пору краснеть, потому что дальше только распад молекул, по кличке запах, или - белеть, шепча "пестик, тычинка, стебель", сводя с ума штукатурку, опережая мебель. Шагала и качался, как в розовом маленьком ушке качалась сережка с сапфиром, как елочный зайчик стеклянный, качался, не падал, качался, блестел и смеялся. Не первой свежести - как и цветы в ее руках. В цветах - такое же вранье и та же жажда будущего. Синий глаз смотрит в будущее, где ни ваз, ни разговоров о воде. Один гербарий.

- Вы были любезны передать кое-что из ваших вещей моей жене. Я слышу не то, что вы мне говорите, а голос. Я вам очень за это признателен, право. И жена очень тронута. Но я надеюсь, что вы не имели в виду нас обидеть бесплатным подарком? Разрешите мне вам заплатить, сколько стоит?

Елена Витальевна тихо стоит у окна, молчит, грустно-грустно потупясь.

- Если вы так решили безжалостно... мне заплатить за сердечный порыв моих чувств? Очевидно, я так заслужила. Но я, право, не знаю цены этим всем пустякам: я их не покупала.

Пунцовый багрянец, как на осеннем кленовом листе, зарделся на щеках. Лазурные глаза, расширившись, сверкнули растопленным блеском прямо в сердце Гермогенову. Губы тонко ужались, побледнели от каемки зубов. Отсюда - складчатость. Сначала - рта, потом - бордовая, с искрой, тафта, как занавес, готовый взвиться и обнаружить механизм ходьбы в заросшем тупике судьбы; сму-

тить провидца. Шумный, быстрый, крутой поворот, огоньки всех цветов на гребенке, и стройна, с прямою спиной, как у актрисы, ушла. Только отблеск из печи впопыхах прошмыгнул лакированной туфелькой Лены.

Гермогенов, поддаваясь женскому очарованию, вполголоса запел:

Мне тебя сравнить бы надо
 С песней соловьиною,
 С тихим утром, с майским садом,
 С гибкою рябиною,
 С вишнею, с черемухой,
 Даль мою туманную,
 Самую далекую,
 Самую желанную...

"Что за чудесная женщина! - подумалось Гермогенову вслед. И хотелось мальчишкой сорваться, Елену догнать и уткнуться лицом ей в пушистую шею. - Видно, так и не сяду сегодня работать, весь въеленился", - пробовал Гермогенов одернуть себя укоризной.

Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний, придающие воздуху за стеклом помятый вид, с воспаленным "А", выглядящим то гортанней, то шепелявей, то просто выкрашенным помадой, - цветы, что хватают вас за душу то жадно и откровенно, то как блеклые губы, шепчущие "наверно".

Все напрасно, все тщетно, все смертно. Как тина, тянула его тишина и пружинная мягкость дивана, что весь в пыльном бархате мягком ковра багровел в жарких бликах сгорающей печи. Мимо ящиков пыльных с бумагами, сором и хламом, обойдя груды книг и несметное войско бутылок, пробрался Гермогенов к печи, распахнул ее дверцу и стал жадно глотать всеми порами тела сквозящий теплый жар, что струился от груды пыляющих углей.

Хорошо бы помешать, чтобы ярче горело.

На пороге неожиданно появилась Елена Витальевна в красных бликах пожараща печи.

И властно присев и развеерив юбку, обнажив полное белое колено, стала сгребать огневеющий жар кочергой. Тишина, теплота, полусумрак, такой мягкий, уютный диван и сдобная женщина -

возле печки. Весь безвольный, обмякший, Гермогенов млея на широком диване.

- Как у вас хорошо! - обронила задумчиво Лена, поднимаясь и ставя кочергу в угол. - Так оставить?.. - спросила, на открытую дверь кивнув, улыбаясь прозрачной лаской.

Гермогенов молча мотнул головой, и хотелось ему, чтобы все: печь, сумрак, огонь и тепло с нежной Леной, с Еленой душистой, манящей - все осталось бы вечно, как картинка наивной легенды, как обрывок живого, красивого сна.

- Я вижу не то, во что вы одеты, а ровный снег. И это не комната, где мы сидим, но полюс; плюс наши следы ведут от него, а не к. Оставайтесь! - шепнул Гермогенов беззвучно. - Присядьте со мной на диван!

- Если вы разрешите? - и, шумя своей юбкой, опустилась она рядом с Гермогеновым.

Откинувшись телом к подушкам, он изумленно следил за собой, как стучало сильнее в висках, как сжимал кто-то сердце так крепко и сладко, и ползли, нарастая могучей волной, потоком нити-токи такие влекущие, сильные к милой Елене Витальевне, к Елене желанной, манящей, к теплой Леночке. Шевельнул Гермогенов рукой, и вдруг замер от радостной жути, внезапно коснувшись ее полной руки, очутившейся здесь невзначай. И не стал отнимать, а застыл очарованным, нервно дрожащим по мере того, как душистые пальцы Елены стали бережно гладить, ласкать его руку.

- Святослав, милый, родной, для чего ты обидел меня?! - слышит Гермогенов ее страстный, подавленный шепот.

Видит в свете багряном чье-то чужое, мутно-нежное лицо с темными нишами глаз, упруго распавшийся, жадный, томно сверкающий лепестками жасминными рот влажный, манящий. Смотрит и говорит нараспев:

- Раньше, пятно посадив, я мог посыпать щелочь. Это всегда помогало, как тальк прыщу. Теперь вокруг вас волнами ходит сволочь. Вы носите светлые платья. И я грущу...

Она прерывает:

- Святослав милый, тебя я люблю очень страстно и нежно! - Она судорожно жмет его руку, вся порыв, вся восторг. - Ты мой бог, мой кумир, мой единственный, мой повелитель! О, не бойся, тебя я не отниму. Пусть семья твоя, круг друзей, редакция с сотнями авторов, попятоянно стремящихся уехать на дачу, ну, словом, все, чем ты

жив, остаются с тобой. Мне так мало, немножечко нужно: твой доверчивый взгляд, ласка неги твоя и родное, родное участие. Ты один во всем мире, кто понял меня! Святослав, ведь я так без тебя одинока, и всегда была одинокой - до тебя. Только ты, мой единственный мужчина, нежный и страшный, только ты меня понял... Ну, а ты... разве не одинок?! Знаю, весь ты kloкочешь поэзией, бессмертием, Богом... Но разве там, в тайниках, в глубине у себя, ну скажи, разве счастлив ты? Разве в ком-либо искру участия ты находишь к себе? О, не как там, к господину Гермогенову, не как к Святославу Сергеевичу, или к "Славику", привычному мужу-отцу, нет, а как к Святославу милому, не только со всеми твоими достоинствами, но и всеми твоими грехами, недостатками, слабостями, пороками, сомнениями, горем? Если бы было позволено мне именно так вот тебя полюбить, кто б ты ни был, без каких-либо прав на тебя! Видишь, как мало прошу я, и как этого много для жизни моей!.. Только не гони меня, Святослав. Не бей меня жестким бичом отчуждения. Если я подарила семье твоей там какие-то сласти, верь - мне только хотелось от чистого сердца принести миг отрады твоему сыну, твоей жене и через все это только тебе, лишь тебе! А ты?!.. Заплатить! Как жестоко! Ну, скажи, мой родной, мой любимый, мой Слава святой, - ведь я ж вся твоя, ну скажи!..

Чудится Гермогенову, что слова нежной Лены, Елены, Елены Витальевны, жарко прильнувшей губами к руке, хороводом игривым и пряным бегут в его мозг, и он тает пред ними, как воск. Они стоят перед нами выходцами оттуда, где нет ничего, опричь возможности воплотиться безразлично во что - в каплю на дне сосуда, в спички, в сигнал радиста, в клочок батиста, в цветы; еще поглощенные памятью о "сезаме", смотрят они на нас невидящими глазами. Чудится Гермогенову, будто душистая мягкая, теплая, липкая лава широким потоком краснооктябрьского молочного шоколада "Аленка" покрывает его целиком, "Аленка", "Аленка", "Аленка" залила ему рот и уж душит до спазм его горло. Это не шепот вкрадчивой Лены, это странный растущий стрекочущий внутренний шум молоточками бьет по вискам, и мурашки холодные стайкой бегут по спине, по рукам, будто в быстром на цыпочках танце Елена упруго и стройно несется перед ним. И в вихревом, растущем жужжании мнится Гермогенову: это не Елена Витальевна, это страшный до жути огромный, поблескивающий никелем насос, весь дрожа сотрясающей страстью мотора, с гулом чавкает,

поршнем упруго и страшно глубоко в цилиндр входя. Гермогенов стоит у насоса, оглушенный лязгом и звоном, а машина гудит, и зовет, и манит к себе ласковым жалобным стоном. И манит, и зовет - ближе, ближе ко мне, посмотри: хоровод синих, диких огней пляшет в жерле моем все сильнее и страстней!

- Берегись, Святослав! - кто-то дергает грузно его за плечо.

Это автор, стихи сочинявший лет тридцать, а теперь перешедший по воле Гермогенова на бессмертную прозу.

- Берегись, ка-б машина тебя не сглотила! Ишь разинул как рот!..

Вспомнилось, вспомнилось все это быстро в огнемечущем вихревом миге. Он пропел для разрядки, с удивлением:

В тумане скрылась милая Одесса -
Золотые огоньки.
Не горюйте, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки...

Гермогенов испуганно нервно дрожащей рукой провел по своим волосам, осторожно подвинулся, медленно встал и, оставив Елену беспомощно грустить на диване, зашагал не спеша вдоль стены, вдоль фугуративно-экспрессионистских холстов.

- Когда-то я знал на память все краски спектра. Теперь различаю лишь белый, врача смутив. Но даже ежели песенка вправду спета, от нее остается еще мотив. Как все это нелепо, нелепо, - повторял Гермогенов себе, подавляя волнение и дрожь.

- Неужели я ошиблась?! - слабым шепотом протянула вопрос к нему Лена.

Гермогенов вместо ответа пододвинул к дивану прохладное кресло, обитое кожей, закурил папиросу и начал:

- Я не знаю, ошиблись ли вы, но мне хочется вас остеречь от ошибки. Я охотно вам верю, что ваши поступки честны и сердечны, но поверьте и мне, что поддаться на чувство беспечных страстей мне как раз и нельзя, не смогу, я не должен, я, одним словом... От души, право, жаль и себя мне и вас, но поверьте, любовь не для нас...

И Елена стремительно вскинулась, встала с дивана и, пройдя два шага по ковру, опустилась бессильно на белый магический стул с картины экспрессиониста.

- Коль обиделись - это напрасно, я хотел остеречь вас от глупой ошибки. Разумеется, я не святой и в сердце моем есть обычные грубые чувства. Все, что свойственно людям, - не чуждо и мне. Но зато есть, Елена Витальевна, во мне то, что вы не поймете, - как бы вам объяснить? - чувство жизни бессмертной. Это дивный, вечно живой и могучий родник. В нем я черпаю силы для слова, для буквы, из него только пью я и личное, высшее счастье.

Много тяжестей, пропастей есть впереди. Много жертв и ошибок, сомнений, колебаний, усталости, лени. Иной раз так охота прилечь на диван, чтобы забыться... но молнией режет туман и бодрит Гермогенова, как гром, клич с небес. Он Гермогенову дивных восторгов сплетает венки, перед ним грезы сердца, и женские ласки - пустяки. Камея в низком декольте. Под ней, камеей, - кружево и сумма дней, не тронутая их светилом, не знающая, что такое - кость, несобираемая в горсть; простор белилам. Чем ближе тело к земле, тем ему интересней, как сделаны эти вещи, где из потусторонней ткани они осторожно выкроены без лезвий - чем бестелесней, тем, видно, одушевленной, как вариант лица, свободного от гримасы искренности, или звезды, отделившейся от массы. Клич звучит в сердце Гермогенова могучим экстазом, в его радостной власти и чувства, и разум. И его заглушить, променять, забыть?... Ради чувства изнеженной женской любви?! Гермогенов надеется, что теперь Лена поймет его, не сердясь, что стать милым для нее для него невозможно. Значит, будут они отныне собою владеть, и, незлобно простясь, они останутся с Леной, как были, друзьями!

Опустивши головку в колена, Елена беззвучно зубами кусала платок, а в сердечке все ширился горький горячий комок и... расплылся слезами. Нога в чулке из мокрого стекла блестит, как будто вплавь пересекла Босфор и требует себе асфальта Европы или же, наоборот, - просторов Азии, пустынь, щедрот песков, базальта. Она медленно встала, ничего не сказала и, стиснув губы, молча вышла, притворив за собой мягко дверь.

Было тихо, и скука усталости упрямо сползала на Святослава Гермогенова. Он сказал как бы в темнеющую и затихающую пустоту:

- Я рад бы лечь рядом с тобою, но это - роскошь. Если я лягу, то - с дерном заподлицо. И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках и сварит всмятку себе яйцо.

Юрий КУВАЛДИН

Как будто бы толстые змеи в черной норе, ползают городом сонные сплетни. Что за спиной у ней, oprичь ковра с кинжалами? Ее вчера. Десятилетия. Мысли о Гермогенове, о Святославе, не говоря об авторах его, возмущавших зря пять литров крови. Вот с хромоногой старухой они ковыляют на грязную паперть церкви. Там заползают они в пазуху обрюзгшего человека, еще недавно бывшего круглым и толстым, а теперь повисшего жилистой шеей в своем черном автомобиле и усердно крестящего желтые складки обмякших морщин. Изображенье тишины во власти грустного прощанья. У станции метро "Савеловская" они сказали друг другу: "До свиданья!"

"Наша улица", № 11-2005

ВОРОН

рассказ

Памяти Татьяны Бек

Слишком огромная тень автора "Ворона" легла на меня, когда я спускался в подzemелье старого дома на Полянке. У меня есть повесть "Ворона", теперь будет рассказ "Ворон". Рассказ должен превратиться в навязчивую идею, пока ты его не написал. Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю ночь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние, ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек.

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так застукал в двери дома моего.
"Гость, - сказал я, - там стучится в двери дома моего,
Гость - и больше ничего".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что, хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания.

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали

Облегченье от печали по утраченной Линой,
По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линой, -
Безыменной здесь с тех пор.

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец, обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеро́в. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Сердце леденело, замирало, ныло - ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же - подумал я - что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеро́в? Тайна оказалась неразрешимой; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Меня смутило, прежде всего, то, с каким упорством, если не сказать, упрямством переводчики в последнее время переводят "Дом Ашеро́в", вместо "Дома Эшеро́в". Приказываю всем и повсеместно использовать при переводе сочетание "Дом Эшеро́в", опираясь на не подлежащий сомнению авторитет Осипа Мандельштама:

Мы напряженного молчанья не выносим, -
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: "Просим!"

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо!
Кошмарный человек читает "Улялюм".
Значенье - суета, и слово - только шум,
Когда фонетика-служанка серафима.

О доме Эшеро́в Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
Чтоб горло повязать, я не имею шарфа...

1912

Еще раз с некоторым раздражением повторяю: О Доме Эшеро-
в Эдгара пела арфа... Эшеро-в! Э... Потому что Эмильевич!

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
"Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость - и больше ничего".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Когда я за-
нимался в театральной студии Владимира Высоцкого, мною овладе-
ла совершенно сумасшедшая идея написать композицию по нача-
лам и концам рассказов Эдгара По. Но тогда я отложил эту идею,
потому что занялся творчеством Осипа Мандельштама.

И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
"Извините, сэр иль леди, - я приветствовал его, -
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал", - дверь открыл я: никого,
Тьма - и больше ничего.

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. И ради спа-
сения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где
впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет,
а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне
припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее
редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красо-
та и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой
музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и сов-
сем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с
ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшаю-
щем городе вблизи Рейна. Ее семья... о, конечно, она мне о ней го-
ворила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности.
Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способ-
ны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладост-
ным словом - Лигейя! - воскрешаю я перед своим внутренним взо-
ром образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно

вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и, в конце концов - возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шуточный запрет моей Лигеи?

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: "Линор!"
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: "Линор!"
Прошептало, как укор.

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Барон впоследствии уведомил меня, что он нарочно подsunул трактат Германну за две-три недели до этого приключения, будучи уверен, что тот, судя по общему направлению его бесед, внимательнейшим образом изучит книгу и совершенно убедится в ее необычайных достоинствах. Когда я занимался в театральной студии Владимира Высоцкого, мною овладела совершенно сумасшедшая идея написать композицию по началам и концам рассказов Эдгара По. Но тогда я отложил эту идею, потому что занялся творчеством Осипа Мандельштама. Студия помещалась в доме № 13 по улице Дзержинского в клубе МВД.

В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
"Это тот же стук недавний, - я сказал, - в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего, -
Ветер - больше ничего".

Дома № 11 и 13 по улице Дзержинского напоминают о В. И. Ленине и Ф. Э. Дзержинском. В 1918 году оба здания были переданы ВЧК, в № 11 в годы напряженной борьбы с контрреволюцией находился кабинет Ф. Э. Дзержинского, которого несколько раз в 1919 году посещал В. И. Ленин. В клубе ВЧК (ныне клуб МВД СССР - дом № 13) 7 ноября 1918 года В. И. Ленин выступил на митинге-концерте сотрудников ВЧК с речью, которая заканчивалась словами: "Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно

диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неопределима". В том же доме № 13 по инициативе Ф. Э. Дзержинского было основано спортивное общество "Динамо", чье правление долгое время здесь и находилось. Левая часть здания была построена в 1904 году оптической фирмой Трындиных, на крыше его в рекламных и просветительных целях открыли общедоступную астрономическую обсерваторию, ныне она принадлежит Педагогическому государственному университету имени В. И. Ленина. Правая часть здания старше, она стоит с 1876 года. В 1920-х годах в доме собиралось Общество астронавтики, членами которого были К. Э. Циолковский, Ф. А. Цандер, Я. И. Перельман. Все дело в том, что мы живем в мире двойственностей. Ленин и Кувалдин, Дзержинский и Высоцкий. В великих людях нет ничего человеческого, а в человеках нет ничего великого.

Только приоткрыл я ставни - вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо;
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего
Сел - и больше ничего.

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Это? - а, ничего! Благородные и вольные граждане Эпидавны, будучи, как они заявляют, вполне убеждены в правоверности, отваге, мудрости и божественности своего повелителя и, вдобавок, сумев воочию удостовериться в его сверхчеловеческом проворстве, считают не больше чем своим долгом возложить на его главу (дополнительно к венку поэтов) венок победителей в состязаниях по бегу - венок, который, несомненно, он должен завоевать на следующей Олимпиаде и который поэтому ему вручают заранее.

И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор,
Я сказал: "Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О злоеший древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?"
Каркнул Ворон: "Nevermore".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захлопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику. После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покатил ее. И хлынул поток такой бурный - такой бешеный - такой напористый - что комнату затопило от стены до стены - нагруженные столы перевернулись - козлы попадали - ушат с пуншем был повергнут в камин - а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги с маху налетали на битые бутылки. Страдавший "ужасными" моментально утонул - окостеневший господин отплыл в своем гробу - победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и прямоком пустился к "Беззаботной"... Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Антиоха Эпифана обычно отождествляют с Гогом из пророчеств Иезекииля. Эта честь, однако, более подобает Камбизу, сыну Кира. А личность сирийского монарха ни в коей мере не нуждается в каких-либо добавочных прикрасах. Его восшествие на престол, вернее, его захват царской власти за сто семьдесят один год до рождения Христа; его попытка разграбить храм Дианы в Эфесе; его беспощадные преследования евреев; учиненное им осквернение Святая Святых и его жалкая кончина в Табе после бурного одиннадцатилетнего царствования - события выдающиеся...

Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпазд, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
Птица с кличкой "Nevermore".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Однажды в октябре, около двенадцати часов ночи, в пору доблестного царств-

вованя третьего из Эдуардов, два матроса из команды "Беззаботной", торговой шхуны, курсирующей между Слүйсом и Темзою, а тогда стоявшей на якоре именно в Темзе, были весьма изумлены, обнаружив себя сидящими в пивной, расположенной в приходе св. Андрея, что в Лондоне, - каковая пивная в качестве вывески имела изображение "Развеселого матросика". Когда я занимался в театральной студии Владимира Высоцкого, мною овладела совершенно сумасшедшая идея написать композицию по началам и концам рассказов Эдгара По. Но тогда я отложил эту идею, потому что занялся творчеством Осипа Мандельштама.

Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
 Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
 Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
 И шептал я, вдруг вздохнувши: "Как друзья с недавних пор,
 Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор".
 Каркнул Ворон: "Nevermore".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы... годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении - никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только - Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек - Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишьи мрачном,
 И сказал я: "Несомненно, затвердил он с давних пор,
 Перенял он это слово от хозяина такого,
 Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
 Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
 Слышал в этом "Nevermore".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Для этого нужно каждый день писать буквы, в каждой из которых сидит Бог. Глубокою, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым; однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор,
Хриплым карком: "Nevermore".

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Злосчастный и загадочный человек! - смятенный ослепительным блеском своего воображения и падший в пламени своей юности! Вновь в мечтах моих я вижу тебя! Вновь твой облик возникает передо мною! не таким - ах! - каков ты ныне, в долине хлада и тени, но таким, каким ты должен был быть - расточая жизнь на роскошные размышления в граде неясных видений, в твоей Венеции - в возлюбленном звездами морском Элизиуме, где огромные окна всех палаццо, построенных Палладио, взирают с глубоким и горьким знанием на тайны тихих вод. Да! повторяю - каким ты должен был быть. О, наверное, кроме этого есть иные миры - мысли иные, нежели мысли неисчислимого человечества, суждения иные, нежели суждения софиста. Кто же тогда призовет тебя к ответу за содеянное тобою? Кто упрекнет тебя за часы ясновидения или осудит как трату жизни те из твоих занятий, что были только переплеском твоих неиссякаемых сил? - Он поглядел на мою одежду - она была выпачкана глиной и забрызгана кровью.

Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор,

Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о nevermore!

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Моя жизнь состоит из букв и слов, а не из огурцов и квашеной капусты. Поэтому сижу с утра до вечера за письменным столом. Конечно, литература при социализме не могла позволить себе никаких обобщений, а когда нечто подобное проскальзывало, то добром для авторов это не кончалось. Писательство, скажу я Вам по секрету, дело безнадежное для жизни, оно дело загробное. Имя писателя проявится спустя лет несколько после его кончины в Большом времени, а не в малом, где выстраиваются в иерархическую лестницу эстрадники-щелкоперы. Писателю не надо суетиться, за него бегают по миру его текст. Достоевский истлел до атомов в могиле, а текст его все молодеет, и все более энергичнее бегают по миру. Кто хочет получать гонорары деньгами или мукой, тому надо выходить под светом софитов на эстраду в какой-нибудь красной кепке и голубом пиджаке с двумя разрезами, размахивать руками, приплясывать и орать в зал какую-нибудь хуйню, потом получать цветы, колбасу и водку. Но легкий успех приносит легкое и, причем, сиюминутное забвение. Ходят министры в дорогих костюмах, садятся в правительственные лаково-черные машины, их жены ходят в соболях и золоте... А в проходе, в чулане сидит оборванный, небритый Кант-Кувалдин-Ницше и ставит буковку к буковке. Потом все эти министры исчезают, и никто не помнит ни их должностей, ни их фамилий, а Кувалдин сияет в веках Логосом звонким! Рукопись, найденная в бутылке, была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили серафимы в фиимаме на ковер.
Я воскликнул: "О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес - исцеленье от любви твоей к Линор!

Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пылливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Слишком огромная тень автора "Ворона" легла на меня, когда я спускался в подzemелье старого дома на Полянке. У меня есть повесть "Ворона", теперь будет рассказ "Ворон". Рассказ должен превратиться в навязчивую идею, пока ты его не написал. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов - не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений.

Я воскликнул: "Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Самая жестокая судьба рано или поздно должна отступить перед тою неодолимой бодростью духа, какую вселяет в нас философия, - подобно тому, как самая неприступная крепость сдается под упорным натиском неприятеля. Салманассар (судя по Священному писанию) вынужден был три года осаждать Самарию, но все же она пала.

Я воскликнул: "Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор -
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

ВОРОН

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Китс умер от рецензии. А кто это умер от "Андромахи"? Ничтожные душонки! Де л'Омлет погиб от ортолана. Повесть об этом короткая. Дух Апиция, помоги мне!

"Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! - Я, вскочив, воскликнул: - С бурей уносишь в ночной простор, Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной простор!" Каркнул Ворон: "Nevermore!"

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. И сразу же унялась ярость огненной бури, мало-помалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижимом взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.
Никогда, о, nevermore!

Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Слишком огромная тень автора "Ворона" легла на меня, когда я спускался в подzemелье старого дома на Полянке. У меня есть повесть "Ворона", теперь будет рассказ "Ворон". Рассказ должен превратиться в навязчивую идею, пока ты его не написал. Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным.

"Наша улица", № 12-2005

ДУША ФЕДОРА КРЮКОВА

рассказ

Прошла зыбь, взволновала поверхность житейского моря...

Федор Крюков "Два мира", 1910

1.

С белой бородкой, в пенсне Николай Владимирович неспешно, уютно в кресле, открывает старую, дореволюционную книгу Федора Крюкова, читает: "И вот видишь эту взволнованную поверхность житейского океана, когда слышишь гул и ропот в его верхнем слое, страстно хочется заглянуть туда, вглубь, где "вековая тишина", темь, загадочное безмолвие: доходит ли туда шум сверху? ощущается ли и там отражение волнующего нас события? И всякий раз, когда хоть маленький отзвук доходит оттуда, хоть крошечный уголок плотной завесы приподнимается перед жадно ожидающим взором, охватывает особенное волнение: два мира голоса подают друг другу, два мира, разделенные глубокой исторической трещиной, - повинная работе и темноте масса и "город на горе", люди мысли..."

У Николая Владимировича был сын Виктор, шестидесятилетний, холостой. Все пытался начать жизнь сначала.

Весь июль стояла атлантическая жара, с паром, как в бане. Люди задыхались, хотелось найти дверь и распахнуть ее. Наконец-то, в середине августа кто-то ногой вышиб дверь, и подул северный ветер, как будто заработал сильный вентилятор. Но из жары многие вышли изменившимися. Некоторые очень расплнели, а некоторые, наоборот, исхудали, попадались и те, кто слег в больницу, кого-то хватил удар и у них отнялась половина тела, кого-то и вовсе свезли на кладбище, но большинство вдруг стало нахваливать зиму, снег, лед, просто-таки желать зимы среди лета, хотя зимой они стонут от проклятого зимнего мрака, от холода, от снега. Жара прошла, не успели посудачить о ней, как зарядил московский

болотный мелкий, вгоняющий людей в неврастению дождь - и стали вспоминать жару, что уж не очень и плоха она.

Когда Николай Владимирович, в шляпе и в белом плаще с погончиками, шел в поселковый магазин, он не встречал на улице людей, улицы были пустынные. Николай Владимирович закончил письмо Феликсу Федоровичу из Ростова.

А сын Виктор гулял по участку с газетой. Он любил тишину и исчезновение людей - конец августа, начало сентября, - но в жизни этой сладости было так мало! Случилось раз в юности, потом как-то в середине шестидесятых, когда ушел из НИИ и еще не устроился никуда, и вот теперь. Он гулял по участку, где все так тихо дичало, и сохло, и ждало осени, и думал: можно начать сначала. Ничего страшного. Вроде начинал много раз. Он только и делал, что начинал все сначала.

Виктор первым увидел черную "Волгу", которая вкатилась во двор, остановилась около сарая, и из машины вышли три человека. Выйдя, стали закуривать и не спеша оглядываться по сторонам. Один держал черную кожаную папку. Виктор подошел, не особенно торопясь, и спросил, кого ищут. Те ответили, что никого не ищут. Разговаривая, они пошли в глубь участка. Тот, что нес черную папку, шел посередине, держал папку двумя руками сзади и слегка постукивал ею по спине. Виктору не понравилось, как он постукивает папкой по спине. Была какая-то нагловатость. Они шли медленно, прогулочным шагом и ничем не интересовались вокруг, разговаривали между собой. Как будто все им было известно.

Виктор подошел к черной "Волге", в которой сидел шофер в кожаной куртке на "молнии", и спросил, откуда машина.

- А вы не знаете? - в свою очередь спросил шофер.

- Нет, - сказал тихо, пожав плечами, Виктор.

- Ну да! - усмехнулся шофер.

- Не знаю, - тверже сказал Виктор.

- Машина из управления. Здесь пансионат будут строить. Для младшего персонала, - сказал шофер.

- А наши дома? - удивился Виктор.

Вопрос был глуп. Он задал его только потому, что после жары, болезни, больницы как-то ослаб душой.

- Дома! - шофер усмехнулся, покачав головой.

Выглянув из окошка, посмотрел на нищую деревянную дачу из потемневших бревен, где прошла вся жизнь Виктора, и опять ус-

мехнулся, на этот раз несколько насильственно, как плохой шутке.
- Дома...

Люди не хотят смириться с тем, что отпущенный срок исчерпывается. Перед глазами маячит в виде кладбищенского креста финишная прямая. Если бы Николая Владимировича спросили, что такое жизнь, он бы ответил: это срок, данный для воплощения в метафизике. Это он сейчас так умно рассуждает, а тогда бежал куда-то безголово. Потому что жил как-то неправильно, как будто прозякал свой срок кружками в пивной. Например, выполнить то, о чем сам мечтал, достигнуть того, чего сам хотел... То, что казалось главным - работа, семья, воспитание сына - оказалось второстепенным, а второстепенное - собирание материалов о Миرونве, написание книги, так и не написанной, - главным. Родственники говорят: куда ты, старый, поедешь? Погода плохая, дожди, холод, простудишься, схватишь воспаление легких. В твоем возрасте воспаление легких - конец. Подожди до весны, никуда твоя Ольга не убежит, никуда Миронов не денется. Подумаешь, спех! Государственная важность! А о таком не догадываются: сам-то Николай Владимирович до весны никуда не денется? Нету времени ждать, ни одного денечка не остается.

И вот потихоньку принялись Николая Владимировича с дачи сдергивать, чтобы под надзором держать: Виктор на такси прилетел, свояченица притаскивалась. "Не понимаю, Николай, как может тут жить живой человек?" Сидит в пальто, зубами стучит от холода. А Николай Владимирович прохладную температуру нарочно соблюдает, не больше тринадцати градусов, потому что жить в холоде полезно, как и спать на жестком. "Николай, ты меня извини, конечно, но у тебя тут запах тяжелый. И это тоже, ты считаешь, полезно?" Николай Владимирович закричал: "А ученого жизни учить - полезно? Когда этой жизни - на донышке?" Кричать Николаю Владимировичу не надо было. Они не виноваты. Не понимают. Оставили Николая Владимировича в покое, и вот: на даче один, вокруг ни души, снег выпал, деревья казались еще чернее от контраста с белым. Скамейки мокрые. Такой же мокрый снег шел в ноябре 1919 года в станице Глазуновской, куда он добрался в коляске из Усть-Медведицы с Филиппом Мироновым к секретарю Войскового круга писателю Федору Крюкову. Гудел самовар. Сидели за большим столом. Федор Дмитриевич говорил, что работает над большой вещью о казаках и войне. При этом он с улыбкой,

но пристально вгляделся в лицо Миронова, как будто не был с ним знаком с детства. А они ведь окончили одну Усть-Медведицкую гимназию. Миронов попросил почитать что-нибудь из этой вещи. Крюков как будто ждал этого момента, зашелестел листами. Какому писателю не хочется всегда и везде почитать что-нибудь из новенького? Тогда-то Николай Владимирович услышал из уст Федора Крюкова фрагмент "Тихого Дона":

"Григорий полуобернулся к сотне:

- Шашки вон! В атаку! Братцы, за мной!..

В замешательстве, в страхе Григорий оглянулся. Растерянность и гнев судорогами обезобразили его лицо. Сотня, повернув коней, бросив его, Григория, скакала назад...

В непостижимо короткий миг... он зарубил четырех матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было вдогон за пятым... Но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни...

- Куда?! Убьют!

Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился у них в руках, крикнул:

- Пустите, гады!.. Матросню!.. Всех!.. Ррублю!.."

Николай Владимирович смотрел то на добродушное, полное лицо Крюкова, то на заостренное, с длинными, разлетающимися в стороны усами лицо Миронова, и невольно догадывался, что Мелехов - это Миронов.

2.

Когда Николай Владимирович шел со своей овчаркой Альмой в поселковый магазин - а шел медленно, минут сорок в один конец, - отдыхал стоя, сидеть на мокром ему было неохота, и дышать было трудно, и воздух был сырой. Идет вдоль забора и все поглядывает на шоссе, не едет ли Тамара-почтальонша на велосипеде. Николай Владимирович ждал от Ольги весточки. Когда? Написала, что в октябре ляжет в больницу на месяц ноги лечить, а как выйдет из больницы, даст знать, и Николай Владимирович к ней тотчас отправится. Другого времени у него нет. Пускай в ненастье, в холод, теперь ему выбирать не приходится. Упущено столько лет!.. А ведь только для того, может быть, и продлены его дни, для того и спасен он, чтобы из череп-

ков воспоминаний собрать вазу книги. Получится другая история. Сплошная история, разумеется, все годы, что тащились, неслись, прессовали, выпрашивали, все его потери. Вот завертело когда-то вихрем, кинуло в небеса, и никогда уже больше он в тех высотах не плавал. Основная история в тех временах! Практически, нет таких, как Николай Владимирович, кто там побывал. А потом что ж? Все некогда, цейтнот, опоздание... Молодость, наслаждение минутой, то война, фронты, госпитали, то опять из последних сил, обыкновенно, как все... Вернулся живой и теперь живой... Надо же, но времени не было никогда! Снег выпал рано, перед ноябрьскими, в тот год, когда Миронова отравили с Дона в Москву...

3.

Дождливым утром с Виктором приехали двое, мужчина и женщина. Хотят жилье снять на зиму. Он после инфаркта, воздух нужен, покой, а она будет за ним ухаживать. Оба довольно молодые, лет сорока. Олег Сергеевич и Софья. Николай Владимирович предложил сначала чай. Отказались. Потом - консервированный магазинный компот. Нет, нет, спасибо, мы накоротке, только выясним подробности. На веранде холодно, сели в комнате.

Сразу догадался, что за птицы, сейчас начнут врать. Решил про себя: если начнут врать, сдавать им ничего не нужно. Виктор в людях не разбирается, они его одурачат. Николай Владимирович спрашивает строго - и попадает в точку:

- Вы муж и жена?

Переглянулись. Женщина улыбается.

- Скорее, нет, Николай Владимирович... Мы друзья. Коллеги по работе.

Улыбка у нее открытая, обольстительная и дающая понять. Красивая улыбка. Губы красивые. И женщина пикантная, пухленькая, лицо румяное, хотя не первой молодости. Олега Сергеевича можно поздравить. Но дачу им сдавать Николай Владимирович не захотел. Женщина спрашивает разрешения закурить, Николай Владимирович кивает хотя и согласительно, но сухо, она поняла - тонкая женщина, с чутьем! - и сразу говорит:

- Ах, у вас, видимо, не курят? Извините, я потерплю.

Николай Владимирович возражать не стал. Пускай терпит. Чем-то они ему не понравились.

- А ваша работа какая, если позволите? - вежливо спросил Николай Владимирович.

- Мы научные сотрудники, - отвечает Олег Сергеевич. - Занимаемся историей. Я кандидат наук.

Потом сами на Николая Владимировича накидываются: как печи топить?! Не замерзает ли он? Газ в баллонах? Воды горячей нет? А как происходят водные процедуры? Туалет действует? Бреется ли он каждый день? Не угнетает ли одиночество? Не мучит ли то, что называется "великой деревенской скукой"? Соседи есть? Собаки, вороны? А что вечерами? Телевизора нет? Глаза не устают? Спите со снотворным? И вдруг все у него переворачивается, и он догадывается: это совсем не то, что он думал! Совсем другое. Абсолютно не то. Догадывается. Глупые дети, становится их жаль, как всегда. Виктор сидит как в воду опущенный, на себя непохож. Как будто от этих людей зависит. Как будто не он их сюда, а они его привезли. А вдруг, правда, зависит?

Олег Сергеевич буравит пристально сквозь толстые очки и все время указательным пальцем свое лицо, смуглое, арабское, тербит: то в ухе сверлит и что-то, пальцами скатав, на пол сбрасывает, то в ноздрю залезет, то губу трет.

- Вы бы рассказали, Николай Владимирович, коли уж нас случай свел... - Сунул палец в рот и ногтем в зубе колуется. - Хоть немного о Миронове... Вы о нем материал собираете, как я слышал... Интереснейшая фигура! Если есть минутка свободная...

- Зачем вам? - спрашивает Николай Владимирович.

- Слышал о нем, читал кое-что. Было б прекрасно хоть немного... Врет. Не слышал, не читал, а со слов Виктора.

- О Миронове могу рассказывать долго. Но сын мой к такой беседе не располагает, - говорит Николай Владимирович. - Что с вами, Виктор Николаевич? Вы больны?

- Рассказывай! - кивает мрачно. - Прсят тебя...

Нет, язык у Николая Владимировича не поворачивается, неохота, ни к чему это им. Они для другого приехали. Николай Владимирович бубнит что-то через силу, из вежливости, они слушают вроде бы внимательно. Олег Сергеевич головой покачивает, приговаривает "так, так", а женщина подошла к окну, потом стала рассматривать портрет покойной жены Николая Владимировича.

Летом после войны на речке. Долго глядит на портрет, не спрашивая ничего. Тогда, прервав рассказ, Николай Владимирович нарочито медленно говорит:

- Хотите спросить о моей покойной жене? Спрашивайте, пожалуйста. Ведь вам нужно спросить.

Он нарочно нажимает на "нужно". Но те делают вид, что не заметили. Олег Сергеевич спрашивает вдруг:

- Ваша покойная жена тоже как-то связана была с Мироновым?

Тут Николай Владимирович его как бы рентгеном высветил, насквозь узрел. Никаких сомнений не осталось.

- Нет, - говорит Николай Владимирович зло, - ошибаетесь, дорогой мой.

Кажется, что Николай Владимирович все время злится.

- А вы сами, Николай Владимирович, не чувствуете ли, - указательным пальцем подпер очки на переносице, так что глаза будто выпрыгнули вперед, - какую-то, что ли, неосознанную, ничтожную, может быть, вину перед памятью Миронова?

- Вину? - переспрашивает Николай Владимирович. И чувствует, он Николая Владимировича опрокинул. В самое сердце холод вонзил. Зачем же спрашивает, негодяй? Вся сила из Николая Владимировича вышла, и он молчит.

Он извиняется, вскакивает, руки к груди прижимает, бежит в другую комнату, чайник приносит зачем-то старый, распаявшийся.

- Нет, Олег Сергеевич. Перед ним вины своей не чувствую. А перед всеми остальными - и перед вами - да, виноват...

- Чем виноваты, Николай Владимирович?

4.

- Итак, станица Усть-Медведицкая начала тревожно, но с радостным подъемом ждать приезда своего знаменитого земляка - наказного атамана Всевеликого Войска Донского генерала Каледина.

Когда дежурившие казаки на самой высокой колокольне неистовыми голосами заорали: "Е-е-дять!.." - грянули колокола всех станичных церквей. Несмотря на то, что на плацу был выстроен гарнизон Усть-Медведицкого военного округа, коляска генерала Каледина в сопровождении эскорта подкатила к главно-

му войсковому храму - Воскресенскому собору. Таков обычай донских казаков - все значительные события начинались именем Господа Бога, а заканчивались благодарственным молебном. Еще когда они промышляли не совсем достойным промыслом, охотой "за зипунами", после похода обязательно шли в храм, воздавали молитву Богу и уж потом расходились по домам.

На сей раз генерал Каледин и за ним воинство шло на молитву во имя великой цели - защиты Дона от Советов... После благодарственного богослужения, проведенного самим архиереем, атаман Всевеликого Войска Донского принимал парад войск. Даже мельком увидев, как казаки сидят в седлах и какие под ними копи, он с гордостью отметил, что, значит, еще не перевелись донские казаки - храбрые, удалые, профессионально обученные. Готовые по первому зову броситься в атаку за "веру"... тут пробел получился в мыслях Каледина, ведь царя свергли или он сам отрекся от престола, но так или иначе его нет, остается Отечество. Осталось всего лишь два символа. Но не беда. Главное, есть донцы-молодцы. Сердце старого солдата радуется. Он ведь хорошо знает, что творится в русских войсках на фронте.

Рассказывал его сподвижник генерал Антон Иванович Деникин: "Приезжает командующий армией к толпе солдат и говорит: "Какой там "господин генерал", зовите меня просто: "товарищ Егор"... До какого унижения доходил командный состав... Вы слышали, что солдаты сделали с командиром Дубовского полка за то, что тот не утвердил выбранного ротного командира и посадил под арест трех агитаторов? Распяли! Да-с, батенька... Прибили гвоздями к дереву и начали поочередно колоть штыками. Обрубили уши, нос, пальцы... Фронт разваливается. Грязные окопы. Народу в окопах мало. Кто-то в дезертирах, другие, "тяжелоздоровые", взяли путем угроз от врачей свидетельства о болезни, третьи, объявив себя делегатами, уехали к товарищу Керенскому лично проверить, действительно ли он приказал армии перейти в наступление. Оставшиеся солдаты играют в карты, в воздухе скверная брань. Читает газету "Русский Вестник", издаваемую немцами и ежедневно доставляемую в русские окопы. Командир роты поручик Альбов неуверенно и просительно обращается к солдатам: "Товарищи, выходите на работу. В три дня мы ведь ни одного хода сообщения не вывели". Играющие в карты даже не повернулись. Кто-то вполголоса сказал: "Ладно". А читавший газету ото-

звался: "Рота не хочет рыть, потому что это подготовка к наступлению, а комитет постановил - не наступать..." Альбов: "Если даже ограничимся обороной, то ведь в случае тревоги - пропадем. Вся рота по одному ходу не успеет выйти..." Поручик махнул рукой и пошел дальше... На поле за неприятельскими проволочными заграждениями - людно. Там базар. Немецкие и русские солдаты обменивают друг у друга водку, табак, сало, хлеб... Показывается толпа. Над нею красные флаги. Впереди транспарант белыми буквами: "Долой войну!" Это пришло пополнение к русским. Начались разговоры: как с землицей? Скоро ли примирение?... Им-то, офицерам, сукиным сынам, хорошо, получают как стеклышко, 140 целковеньких в месяц... Начинается митинг: "Товарищи, мы страдаем, обносилась, обовшивели, голодаем, а они, офицеры, последний кусок изо рта у вас тащат. Они зовут вас в наступление, посылают вас в бой, чтобы вернуть Романовых, вернуть вас в кабалу к буржуазии". Поручик Альбов пытается объяснить, что офицеры не посылают их в бой, ведут их за собою, усеяв офицерскими телами пройденный путь... Толпа ревет и напирает. Зловещий гул, искаженные злобой лица:

"Погоди, сукин сын, мы с тобой посчитаемся!.." Ночью Альбов пишет рапорт при огарке свечи: "Звание офицера - бессильного, оплеванного, встречающего со стороны подчиненных недоверие и неповиновение, делает бессмысленным дальнейшее прохождение службы. Прошу о разжаловании меня в солдаты, дабы в этой роли я мог исполнить честно и до конца мой долг..." Пока молодой поручик писал рапорт, солдаты повалили древяно палатки, навалились сверху. Начали бить... До смерти... Кто-то потом подошел и равнодушно сказал: "Ишь как разделали человека, сволочи!.. Не иначе, пятая рота". Распламенная стихия вышла из берегов окончательно. Офицеров убивали, жгли, топили, медленно разрывали с невероятной жестокостью, молотками пробивали головы... Миллионы дезертиров, как лавина двигалась солдатская масса по железным дорогам, грунтовым путям, топча, ломая, разрушая последние нервы бедной, бездорожной Руси... Как смерч - грабежи, убийства, насилия, пожары... Все это делал солдат. Тот солдат, о котором писал Л. Андреев: "...Ты скольких убил в эти дни, солдат? Скольких оставил сирот? Скольких оставил матерей безутешных? И ты слышишь, что шепчут их уста, с которых ты навеки согнал улыбку радости? Убийца, убийца!.. Ты предал Россию,

ты всю Родину свою, тебя вскормившую, бросил под ноги врага!" После революции 1905 года модным было считать: солдат - жертва, все зло в офицерах - они расстреливают мирных жителей, бьют солдат, пьянствуют, развратничают. После революции 1917 года все перевернулось: офицер - жертва, солдат - зло, хам, вор, грабитель, предатель, убийца. А. И. Куприн писал: "Будут дни, и нас, офицеров, будут бить. Мы заслужили это. Нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнительей, великолепных щеголей, будут бить на улицах, на площадях, в ватер-клазетах..."

20 августа 1906 года Ф. Д. Крюков был в станице Усть-Медведицкой. "На нижней базарной площади состоялся митинг, на котором в качестве ораторов выступили статский советник Крюков, подъесаул Миронов (во время гражданской войны - командующий 2-й Конной Армией, неоднократно упоминается в романе "Тихий Дон") и студент Скачков". Все трое 27 сентября были вызваны к мировому судье для разбирательства. Обвинение поддерживал полицейский пристав Короченсков, его бывший помощник Ульянов и "нынешний, добившийся полицейского звания бывший член Государственной Думы М. И. Куликов".

5.

Вот так и объяснил как мог: тем, что истиной не делился. Хоронил для себя. А истина, как кажется Николаю Владимировичу, только тогда драгоценность, когда для всех. Если же только у тебя одного, под подушкой, как у старика Достоевского под тюфяком, тогда - тьфу, не стоит плевка. Вот почему мучается на старости лет, ибо времени у Николая Владимировича не остается. А было ли вообще у него время? Филипп Миронов вошел в историю. Федор Крюков написал, страшно подумать, "Тихий Дон"! А кто он сам, Николай Владимирович? Букашка. Да еще самовлюбленная булашка. Волею судеб попал в Гражданскую войну в особый отдел к Миронову, встречался с Федором Крюковым, понял, что герой "Тихого Дона" Мелехов списан с Филиппа Миронова, мятущегося, почти психованного человека, страстного и в любви, и в убийствах. Потом Николай Владимирович всю жизнь мирился с тем, что Миронова вычеркнули из истории, его подвиги приписал себе Буденный, а на роман "Тихий Дон"

пришлепали имя неграмотного пацана Шолохова! Николай Владимирович других осуждает. Николай Владимирович не знает, понял ли что-нибудь Олег Сергеевич. Скорей всего, нет, хотя поддакивал "так, так", но во взоре, улыбочивом, сквозь очки, тот же холод. Скорей всего, сделал вывод, что опасения подтверждаются: Николай Владимирович несет околесную. Маниакально-депрессивный психоз на почве неясного чувства вины. Осложнено тоскою вдовца. Бедные ребята! Он им сочувствует, может оценить тревогу, перепуг, то, что они кинулись к этим умникам, притворившимся дачниками, но все равно понять не могут.

- Ты не можешь понять, - шепчет Николай Владимирович, отозвав Виктора в соседнюю комнату и затворив дверь, - потому, что мы разные существа.

- Папа! - Он схватил руки Николая Владимировича, сжал их с силой. - Мы волнуемся, мы не хотим, чтоб ты жил один, чтобы ты уезжал... Ведь ты у нас замечательный... Таких людей, как ты...

Он прижимает Николая Владимировича к себе, как будто он мальчик в его руках, большой ладонью поглаживает его голову, его тощую шею, его бессильную спину. Как Николай Владимирович любит его!

- Я вам прощаю, - после некоторой паузы говорит Николай Владимирович. - Весь этот бред с докторами...

- Папа, прости! Мы хотели... Это друзья... - сбиваясь, говорит Виктор.

- Бог с вами. Все равно не можете понять, говорит Николай Владимирович.

- Не можем, папа! - говорит Виктор, и на лбу его выступает пот. - Ты прав...

- Конечно, ведь нет же времени, - говорит Николай Владимирович.

- Поэтому как хочешь... живи... - говорит Виктор, опуская глаза.

И Николай Владимирович замечает на его глазах слезы. Через несколько дней он провожает Николая Владимировича на вокзал и сажает в вагон электрички, к окну. Николай Владимирович давно не ездил по железной дороге. Интересно смотреть на черноту деревьев, туманные луга. По вагону идет продавщица мороженого, и Николай Владимирович покупает эскимо в серебристой фольге. Николай Владимирович мечтает хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Ольги-

ной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое. Белое небо горит в стекле. Ольга спит и не знает, что Николай Владимирович бежит по песчаной дороге мимо. Но завтра он с нею увидится утром. Вот почему он не может оставаться в Москве. В полдень автобус привозит Николая Владимировича в неизвестный город.

Какие-то люди ведут его по тротуару, уложенному бетонными плитами. В зазорах между плитами чернеет хвоя. Ведут под руку, будто он беспомощный старец, может на ровном месте упасть. Из пивной выходят люди, неся стеклянные кружки. Некоторые несут по три, по четыре. Один сделал из кружек гирлянду и повесил на шею. Удивительно вот что - Николай Владимирович не испытывает никакого волнения! Ему просто хочется ее скорей увидеть, как можно скорее, для того чтобы что-то узнать.

Человек живет вожделением, когда-то желал любви, удач, громадного дела, благополучия близких, теперь ничего, кроме единственного - узнать. Последняя страсть. Николай Владимирович запомнил, что же ему нужно у Ольги узнать? О чем спросить?

Николая Владимировича по ошибке принимают за доктора. Минутная чепуха: пройдите сюда, вот полотенце, вырывают из рук портфель, его драгоценность, и куда-то хотят отнести, но он не дается. Он говорит: "Дайте воды. Мне надо принять лекарство". И в разгар суматохи маленькая, в седых космочках старушка шаст из дверей, вся клонящаяся вперед, как бы гнутая навстречу, сухонькая, Николай Владимирович видит зеленоватое темя, мятую кожу, и в глазах голубых, знакомых, Ольгиных - сияет ужас. Вокруг счастливое щебетание, плеск голосов, легкие руки, как ветви, обнимают Николая Владимировича. И сразу обо всем, о всех временах. И о главном, о чем нужно до зарезу узнать. Вот что: зачем Миرون выступил тогда на фронт? В августе девятнадцатого. Она должна знать.

Никто в целом мире не знает, никого не осталось, кроме нее. Воздушная старушка глядит на Николая Владимировича сияющими глазами и странно моргает, подмигивает. "Тебе это важно?" - "О, да! Очень, очень!" - "Я понимаю, да, да..." Она кивает сочувственно, соболезнующе. И продолжает делать знаки глазами, ее губы складываются в таинственную полуулыбку. "Николай, я тебя так хорошо помню, дорогой мой..."

"Мне нужно знать истину!"

"Понимаю, да, да, - кивает старушка. - Понимаю, Николай. Ты не устал? Не хочешь прилечь? Я написала все, что могла. Больше я ничего не знаю". Входит молодая женщина и ставит на стол три стеклянные пивные кружки. Потом одну кружку водружает на буфет, наливает в нее воду и ставит в воду еловую ветку. Любуясь, оглядывает свою работу. Все время, пока женщина занимается кружкой и веткой, старушка делает Николаю Владимировичу знаки глазами. Постепенно старушка превращается в Ольгу. Николай Владимирович не замечает седых космочек, морщинистых щек, видит только скрытно мигающие голубые глаза. Женщина, шлепая тапками, уходит, и Ольга шепчет в необыкновенном волнении: "Она не должна знать! Я потом объясню. Она догадывается, но мы не дадим ей козыри в руки".

6.

Потом солнечный луч упал на вазу с антоновскими яблоками. И запахло яблоками. В комнате Ольги - угловой, маленькой, светлой, она Николаю Владимировичу нравится, он рад за Ольгу - на столе пишущая машинка и повсюду, даже на кровати, разбросаны бумага, копирка. Ольга всю жизнь работает машинисткой. С тех пор, с девятнадцатого, когда научилась стучать на "ремингтоне" в штабе Миронова... Разумеется, на пенсии, уже четырнадцать лет. Но без работы не сидит. Стучит дома. А как можно без работы? Разве это жизнь? Зависеть от дорогих внуков, от невестки? Нет уж, у нее всегда будет своя копейка, чтобы быть независимой и чтобы им подкидывать. Они безалаберные, постоянно без денег... Нет, невестка - это особь статья, она сама по себе...

"Так, подвяла чуть-чуть, с одного бока, - Ольга хихикнула помолодому, по лицу разбегаются морщинки, - как яблочко лежалое. Да желающие найдутся, подберут. Она женщина с положением. В администрации института. И, говорят, еще дальше шагнет. Вот Сергей ничего не умел... - Шепчет: - Она оттого такая опасливая, понимаешь? Оттого знать не знает и слышать не хочет про Сергея... Боится, что повредит... Женщина ух какая расчетливая..."

Тихо! Ольга прижимает палец к губам и опять играет глазами, как в детстве. Теперь Николай Владимирович видит недостаток комнаты - почему-то нет двери. Вместо двери портьера. Все

слышно. В соседней комнате ходит, шлепая, невестка, слышен ее разговор с сыном. Когда шлепанье раздается вблизи портьеры, Ольга понижает голос, едва шепчет - недоступно для слуха Николая Владимировича, он переспрашивает, как всегда, раздражаясь - или же вдруг начинает говорить преувеличенно громко: "Удар у меня был страшный! Я пятый экземпляр пробивала. А теперь третий еле виден, сил-то нет. А раньше колотила невероятно. Мне покойный муж говорил: "Тебе на кузне работать, а не машинисткой..."

Неужели эту смешную старушку Николай Владимирович держит на руках, едва не падая от отчаяния, ее молодое, тяжелое - белый живот, белые ноги, запах пота и крови, запах девятнадцатого года, и Миронов вырывает ее у него из рук, как будто свою добычу; потом в комнате, не зажигая света, когда душила тоска и чужая любовь и то же самое недоумение: "Зачем Миронов двинулся на фронт? Что за всем этим крылось?"

Слава о подвигах Филиппа Козьмича Миронова облетела не только войска действующей армии, но и докатилась до родного Дона, до родной станицы Усть-Медведицкой. Ему прочили блестящую карьеру и обеспеченную жизнь потомственного дворянина, которую он себе заслужил вместе с чином подьесаула. Но Миронов не торопился подвергнуть себя искушению и торопливо перебежать в стан господствующего класса с его чванливостью и спесью. По крайней мере, такое у него сложилось мнение о ближайшем окружении - офицерско-дворянском. Наоборот, он даже подчеркивал свое происхождение манерами, привычками и образом мыслей, которые безошибочно определяли в нем представителя трудового казачества. И, главное, он не делал даже попыток как-то приспособиться, с подобострастием примкнуть к власти имущим.

"Ольга, одно мне неясно, и об одном спрошу: куда он двигался в августе девятнадцатого? И чего хотел?" Молчит старушка, кивает задумчиво, припоминая. Дрожат старушкины веки, как мотыльковые, сохлые крылышки, и прикрывают выцветшие, голубые... После молчания, все вспомнив, говорит: "Отвечу тебе - никого я так не любила в своей долгой, утомительной жизни..." Николай Владимирович, поглаживая бородку, внимает ей, хотя ответ о Мионовском броске в августе 1919 года теперь знает сам: Миронов хотел переметнуться к Деникину, чтобы бить большевиков за кровь

Дона, за массовые убийства безоружных людей, в том числе женщин, детей и стариков, он восстал против политики тотального уничтожения казачества, против Троцкого, Ленина, Свердлова...

7.

Примерно через год после смерти Николая Владимировича появился Феликс Федорович, аспирант университета. Он писал диссертацию о Миронове. Когда Николай Владимирович был жив, аспирант с ним переписывался, даже звонил из Ростова, а теперь мечтал получить воспоминания и все документы, собранные стариком. Виктор ему отдал.

27 октября 1872 года родился в хуторе Буерак-Сенюткин Усть-Медведицкого округа, области Войска Донского (ныне Серафимовичский район Волгоградской области).

1880-1883 - учился в Усть-Медведицкой церковноприходской школе.

1884-1886 - учился в Усть-Медведицкой гимназии.

1890-1894 - проходил действительную военную службу.

1895-1898 - учился в Новочеркасском юнкерском казачьем училище.

1898-1903 - служил в 17-м Донском казачьем полку имени Бакланова.

1903-1904 - служил атаманом станицы Располинской.

1904-1905 - участвовал в русско-японской войне. За героические подвиги награжден четырьмя орденами.

14 июня 1906 года на станичном сходе отчитывался о поездке в Государственную думу.

18 июня публично выступал против царского самодержавия.

30 сентября 1906-го за неблагонадежность уволен из армии.

1907-1914 - помощник смотрителя рыбных ловен в гирлах Дона.

1914-1918 - участвовал в боевых действиях на фронте империалистической войны. Командир сотни разведчиков. Помощник командира полка. Командир полка. Получил чин есаула, потом - войскового старшины. Награжден двумя орденами и золотым Георгиевским оружием.

ДУША ФЕДОРА КРЮКОВА

17 января 1918 года избран командиром 32-го казачьего полка. В мае командовал войсками Усть-Медведицкого округа. В июле - Усть-Медведицкой бригадой. В сентябре награжден орденом Красного Знамени № 3. В ноябре - серебряным оружием и золотыми часами. С ноября по январь 1919-го командир 23-й стрелковой дивизии и группы войск.

1919 - врид командующего Литовско-Белорусской армии и 16-й армии Западного фронта. Потом командующий этими армиями. С июня член Казачьего отдела ВЦИК и командир Особого экспедиционного корпуса в Саранске.

8 июля встречался с В. И. Лениным. 24 августа без согласования с командованием Южного фронта выступил на фронт с недоформированным корпусом. 13 сентября остатки корпуса были окружены войсками Буденного, а сам Миронов по приказу Буденного приговорен к расстрелу.

5 октября 1919 года состоялся суд в Балашове, который приговорил Миронова к смертной казни. 8 октября ВЦИК помиловал Миронова. 23 октября был избран в состав Донисполкома, где заведовал земельным отделом и противочумным кабинетом. 23 октября принят кандидатом в члены партии, в январе 1920 года получил партбилет № 755912.

1920 - август - назначен командармом Второй Конной. Октябрь - Вторая Конная армия начала разгром войск Врангеля и завершила его 12 ноября. 25 ноября Президиум ВЦИК наградил Миронова почетным революционным оружием - шашка с впаянным в позолоченный эфес орденом Красного Знамени: "За доблестное руководство войсками армии при разгроме Первого конного корпуса противника, чем решил участь Мелитопольской укрепленной позиции".

30 января 1921 года выехал в Москву на должность Главного инспектора кавалерии РККА РСФСР. В феврале М. В. Фрунзе представил Миронова к награждению вторым орденом Красного Знамени: "За исполнительную энергию и выдающуюся храбрость, проявленную в последних боях против Врангеля".

В ночь на 13 февраля 1921 года арестован в слободе Михайловке и препровожден в Москву, в Бутырскую тюрьму.

2 апреля в одиночном прогулочном дворике был убит часовым с караульной вышки.

15 ноября 1960 года посмертно реабилитирован...

Феликс Федорович понравился Виктору. Они сидели до четырех утра, пили водку, разговаривали о революции, о России, о большевиках, о добровольцах, о чекистах, о Деникине, о Федоре Крюкове, о казаках, о том, что Миронов своей судьбы не избег, а когда на другой день вышли на улицу - Феликс Федорович торопился на вокзал, - обрушился внезапный ливень с холодом, с градом, побежали со стоянки такси прочь, спрятались под аркой дома, и Виктор, мрачный с похмелья, думал: истина в том, что пиджак под дождем превратился в тряпку...

Феликс Федорович, костлявый юноша в тесном провинциальном пиджачке, в очках, залепленных дождем, думал вот что: "Истина в том, что добрейший Николай Владимирович в двадцать первом на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Миронова в контрреволюционном восстании, ответил искренне: "Допускаю", но, конечно, забыл об этом, ничего удивительного, тогда так думали все или почти все, бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что, но мы разберемся". Вслух он сказал:

- Наверное, я опоздал на поезд...

Дождь лил стеной. Пахло озоном. Две девочки, накрывшись прозрачной пленкой, бежали по асфальту босиком. Как там писал Федор Крюков? "Прошла зыбь, взволновала поверхность житейского моря... Думалось до этого, что оно прочно успокоилось, улеглось, застыло, закутанное густой и тяжелой пеленой туманов. А вот дунула великая смерть - и ожила застывшая гладь, кругами пошли валы, и идут дальше и дальше, до самых крайних пределов земли..."

Р. С. Федор Дмитриевич Крюков родился 2 февраля 1870 года в станции Глазуновской Усть-Медведицкого округа земли Войска Донского. Окончил Петербургский историко-филологический институт. Статский советник. Депутат Первой государственной Думы. Заведующий отделом литературы и искусства журнала "Русское богатство" (редактор В. Г. Короленко). В Гражданскую войну выступал на стороне белых. Секретарь Войскового круга. В 1920 году, собрав в полевые сумки рукописи, чтобы издать их за рубежом, отступал вместе с остатками армии Деникина к Новороссийску. По одним сведениям на Кубани Федор Крюков заболел сыпным тифом, по другим был

ДУША ФЕДОРА КРЮКОВА

убит и ограблен Петром Громославским, будущим тестем Шолохова и умер 20 февраля. Автор романа "Тихий Дон" и других произведений, положенных в основу так называемого "писателя Шолохова".

"Наша улица", № 2-2006

ДОСТОЕВСКИЙ - ВЕНИЧКА - КАЧЕНОВСКИЙ - КУВАЛДИН

рассказ

Академия Рецептуализма - Искусства Третьего Тысячелетия
(Рецептуализм - управление будущим на основе Золотого, Серебряного и
Бронзового веков русской культуры)

Основатель и Президент Академии рецептуализма
академик Юрий КУВАЛДИН

Бронзовый век русской культуры (1953-1987)

ОБОСНОВАНИЕ ДАТИРОВКИ

1953

5 марта - смерть Сталина

1987

Полет немецкого летчика Матиаса Руста над СССР в мае 1987 года. Тогда пилот-любитель преодолел многочисленные кордоны ПВО и сел прямо на Красной площади. Молодой человек утверждал, что его полет не имел никакого политической подоплеки, а москвичи назвали главную площадь страны "Шереметьево-3" и рассказывали, что у фонтана в ГУМе поставили специальный милицкий пост, опасаясь, что оттуда выплывет американская подводная лодка.

5 февраля 1987 года совет министров СССР принял судьбоносное постановление, разрешающее гражданам советского союза создавать кооперативы. Событие по настоящему революционное. В стране, строящей коммунизм, власть после семидесяти лет своего существования признала, что человек обязан работать не только на государство, но может трудиться и на самого себя.

Вместо того чтобы из метро "Савеловская" сразу идти по указателю к торговому центру на Станколите подземным переходом, тесным, узким, с торговыми ларьками, возле которых постоянно толпятся небритые типы, стоящие в проходах, мешающие движению остальных, и с поблескивающими пустотой выпученными глазами дураки, ибо умных тут не бывает, а если и попадется умный на миллион, то он мышью проскочит все эти двери, лестницы, переходы, дабы поскорее выскользнуть в уединение. В проходах стоят только дураки. Я продрался сквозь липкую толпу, поднялся, проклиная бестолковщину обывательской московской жизни, поглядывая с ненавистью по сторонам на стоящих на лестнице и, разумеется, мешающих, раздражающих торговку зеленью, квашеной капустой, солеными огурцами и семечками, на площадь Савеловского вокзала. И наперекор толпе решил отправиться туда, куда толпа не ходит.

Наступила весна, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя. И особенно она грязна в местах дикого скопления людей. Эскалатор вытаскивает из-под земли нескончаемый поток этих безвестных мучеников жизни, пустых, никому не нужных существ, осуществляющих свои материальные потребности. Колбаса, водка, селедка... ну, для разнообразия, стул, компьютер, "мерседес", гроб... ну, еще для ассортимента коттедж с видом на реку, квартира на Арбате и вилла в Монако... Особой популярностью пользуются среди толп прямоходящих гробы. Теперь в морге, как на выставке, десятки моделей гробов, от простых, затянутых красным сатином, до полированных из красного дерева, с открывающейся дверью, как на дорогом автомобиле.

На улице стояло серое, постоянно московское слезливое утро. Русские земли - это непригодные для жизни земли изгнанных за варварское поведение из цивилизованных стран людей. Поэтому всегда была и есть для нас сверхзадача возвыситься до культурной Европы, подавить в себе зверя... Темно-серые со свинцовым отливом, точно грязью вымазанные, облака сплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца, ибо оно в продолжение нескольких месяцев ни разу не взглянуло на толпы серых в черных куртках и в черных вязаных шапочках, все на одно лицо, вернее, безликих пе-

шеходов, на бесконечные пробки из чумазных иномарок и обляпанных глиной "жигулей", на московский грязный с черным снегом асфальт, как бы боясь испачкать свои лучи в жидкой грязи...

Дождевые капли со снегом и градом барабанили по распахнутому зонту с особенной силой, ветер плакал в подворотнях и выл, как собака, сбжавшая с прекратившего существование завода "Станколит"... Что этот "Станколит" лил? Да как и вся страна под свинцовым шинельным тоталитарным небом отливала в аду литейных цехов танки, чтобы броня была крепка, и эти танки, которые грязи не боятся, были быстры, и чтобы в строю стояли советские танкисты... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть либо шопинговой лихорадки, говорящей, что этот тип рожден лишь для того, чтобы что-то постоянно покупать, либо отчаянной скуки тех, кто уже сегодня что-то купил, хотя бы бутылку пива, чтобы пить ее прямо из горла посреди потока, заслоняя путь остальным. Я увидел как бы себя со стороны в развевающемся сером плаще с погонами, в черной вельветовой кепке, сдвинутой на глаза, в золотистых узких очках, с вечным издательским коричневым с двумя медными замками портфелем, и подумал, что лучше сама шопинговая одержимость или даже отчаянная скука, чем та непроходимая философская печаль, которая светилась в это утро на лице Юрия Кувалдина. Вот так и пишу спокойно о себе в третьем лице. Я и авторам моего журнала бубню постоянно, что мы лишь приспособления для изготовления текстов, мы подобны загружаемым новыми программами компьютерам.

Шлепая по жидкой грязи, Кувалдин и я в одном лице отправились на Миусское кладбище. Я знал, что там похоронен всего-навсего один известный человек - Каченовский. Огромное количество людей, отшагавших по жизни, зарыты там, а знаем одного. Для чего же шагали остальные? Для фона, для того, чтобы стали предметом моего исследования и изображения. А так они ничего не знают. Идет какой-нибудь гражданин в шляпе, в черной кожаной куртке на "молнии", с опухшим красным лицом, а я ему задаю вопрос:

- Скажите, любезный, как раньше называлась Складочная улица?

Он лупит на меня ничего не понимающими стеклянными красными глазами и недоуменно дрожащим баском спрашивает:

- А где это?

- Ну, там, где "Динамо" на "Станколите"? - поясняю я вежливо, с надеждой услышать что-либо содержательное.

- Это - туды! - отбрехивается он и машет рукой в сторону Останкинской башни.

Я вежливо придерживаю его за локоть и разъясняю:

- Складочная улица раньше называлась Филаретовской, а улица Двинцев, на которой мы стоим, именовалась 1-й Новотихвинской.

- Да хуй с ней! - бросает мне пешеход, отдергивает руку и спешит по своим делам, по-видимому, за бутылкой (что может быть важнее для живущего один раз человека похода за бутылкой!?).

А Кувалдин о каком-то Каченовском вспомнил! Подумаешь! Умник нашелся. Давить таких надо, чтобы не мешали колупаться смертным в их кратком веселом, разноцветном, как конфетные фантики, цыганистом смертном времени, не препятствовали их шопингу, бля!

В эту минуту я даже имя-отчество Каченовского не вспомнил. Но как радостно стало на душе, что я иду не туда, куда все, а туда, куда боятся заглядывать простые смертные - на кладбище. На кладбище не страшно только бессмертным.

2.

Имя Каченовского запало мне в душу с тех пор, как я в юности по дореволюционному изданию впервые познакомился с "Историей государства Российского" Карамзина (в СССР Карамзин был под запретом), а потом одним из первых издал "Историю" (12 томов в 6 книгах) в начале 90-х. А Каченовский в "Вестнике Европы" выступал с критикой "Истории государства Российского". Он отверг мнение Карамзина о высокой степени развития Киевской Руси. В полемике с последним и определялись взгляды Каченовского на предмет исторической науки и методы работы с источниками. В своих лекциях он отстаивал точку зрения Шлецера о подложности "Слова о полку Игореве". По этому поводу между ним и Пушкиным, отстаивавшим подлинность древнерусского эпоса, вспыхнул спор. В адрес историка Пушкин направил ряд язвительных эпиграмм.

К "Слову о полку Игореве" я тоже приложил, издав книгу скульптора Владимира Буйначева, который дал свой перевод и

назвал автором самого князя Игоря. Честно говоря, сам я считаю, как и Каченовский, "Слово" прекрасной по мастерству исполнения подделкой. А Буйначев изваял маленького Пушкина, который притулился незаметно на Крымском валу у Дома художников.

На кладбище стояла тревожная, вздрагивающая тишина, только едва доносился шум с Суцевского вала, ставшего частью Третьего автомобильного кольца. В глубине кладбища, у одной из могил, священник в черном с серебряными вкраплениями одеянии, в очках, лицо молодое, с жидкой бородкой, читал заукойный текст среди старушек на одной из могил. Могильщик в грязной робе и в резиновых сапогах опирался на лопату, которой только что закопал урну с прахом. Среди голых ветвей просматривалась желтая церковь "Вера, Надежда, Любовь". На мемориальной табличке сообщалось, что она построена в 30-40-х годах XIX века. Я снял кепку и вошел в церковь...

Тихие уголки, навевающие элегическое настроение, найдутся на каждом кладбище, но на многих там рядом царят пышные мавзолеи, известные имена покойников невольно наводят на иные мысли. Ничего этого нет на небольшом Миусском кладбище, оно все олицетворенная элегия. Здесь всюду слышится -

...говор зеленых ветвей:
Устал ты и ищешь покою!
Усни здесь и мы над могилой твоей
Раскинемся тенью густою.

Налево от главной дорожки, там, где кладбище разбито на небольшие аллеи плакучих берез, где могилы еще не громоздятся одна на другую, там тихо и спокойно. Там не только слышится говор зеленых ветвей, там чувствуется и неуловимое приглашение к себе уже ушедших в вечную беспробудную тишину.

Я стоял у могилы Каченовского, как вдруг ко мне подошел человек в морской черной форме с прищуренным одним глазом. И золотисто-черный кортик в ножнах на цепочке сбоку. Я даже немного испугался столь неожиданному появлению офицера.

Он кротко приветствовал меня и достаточно естественно, как бывает только на кладбищах, разговорился.

Возник Каченовский, у которого было другое преимущество: он был невидим. Но именно Каченовский, по словам черного мор-

ского человека, стал причиной появления великого поэта. Не было бы Каченовского, не было бы и Пушкина. Дело в том, что Каченовский тайно разрабатывал одну трансцендентную тему по выражению неких поэтинов, способных из обычного новорожденного создавать гения. Поэтины, поселившиеся на наиболее утонченных частях нейронов мозга, в течение суток давали, приблизительно, столько же поколений этих поэтинов, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выразился морской офицер, компактным временем, Каченовский, выступивший в роли, так сказать, метафизического родителя великого поэта, мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире поэтинов тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий.

Короче, ему удалось вывести особый вид расцветающих в мозгу микроорганизмов, названных им поэтинами. Поэтины, введенные Каченовским особой инъекционной иглой под мозговые оболочки новорожденного Пушкина, тотчас же, стремительно множась, нападали, как пчелы на цветы вишневого сада, на разветвления выводящих нервов, скупиваясь, главным образом, у места их выхода из-под мозговой коры.

Смотришь на надгробия далеких веков в окружении кремлевских циферблатов; и почти на каждом - семьдесят семь минут сорокового. Пробовал не смотреть, но золотые стрелы, внутри черных - черных - золотых обводов, тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски ударяли лаковой чернотой по глазам все тем же цифросочетанием. И я прятался от улиц в туннелях метро или за оградами кладбищ.

Я достал папиросу и закурил.

Но и там, даже во снах, не было забвения: из ночи в ночь мне снилось мертвое безлюдье улиц. Забиты досками окна. Погашены огни. Пуст тротуар; и только я иду от Тихвинской к Складочной один, среди сотен, тысяч черных дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; и между одних и тех же цифр под одним и тем же углом вправо скошенные стрелки; и у остриев их - всюду-всюду - семьдесят семь минут сорокового - семьдесят семь минут сорокового - сорокового семьдесят семь минут.

- Да, - прервал я живо, - и мне бы хотелось знать как вы объясняете это?

Но собеседник не отвечал, он стоял, еще глубже запрятав голову в плечи, видимо, отдаваясь воспоминаниям.

Предутренний ветер качнул тенями деревьев и снова положил их на место, у наших ног. Каченовский вышел из забытья:

- Да, все это осталось там, позади. Вскоре порог моей низкой и тесной лаборатории, со всей ее жалкой утварью и книжными методами, тоже отошел назад. Я сдернул с себя потолок и стал приучать мысль покрываться одним лишь небом. Проблема ставилась так: у моря свои отливы, и у бытия - тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как есмь и есть. "Я" знает себя как есмь. "Не-я" известно ему как некое есть. Скажите, не были ли вы, хоть раз за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах. Первый: есмь и есть. Второй: есмь. И только. Третий: есть в есмь. Путано? Разве Пушкин не писал - "из моей души вышел другой человек, сочиняющий стихи". Он был поэтом и не знал, что это больше чем метафора. И если бы...

Каченовский вдруг оборвал на полуслове и резким движением протянул руку вперед.

- Взгляните.

Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою дугой между землей и небом. Медленно-медленно ширилась. Звезды втягивали в себя свои лучи. И ночь, ища укрытий под сводами и нависями, уже разорвалась на черные лоскутья теней.

С шумом пролетела ворона, держа в клюве пакет из-под молока.

Поэтины не были, в точном смысле этого слова, ни вдохновителями, ни гасителями творчества Пушкина, - пробираясь внутрь нейронов, крохотные пчелки эти собирали не материю, а энергию, то есть питались энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застив мозгу все его окна в мир, поэтины эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движенья своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Каченовскому приступить, наконец, к опыту, к которому он готовился всю жизнь.

Надо вам знать, что человек этот всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о "врожденных идеях". "Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих

поэтинов, - думал Каченовский, - и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, перехватят мир, втекающий по нервным приводам в мозг - тогда душа расскажет нам свои врожденные идеи. Что и случилось с Пушкиным. Он сразу стал большим и бронзовым!"

Я оглянулся, офицер исчез.

Спокойно мы в могилах наших тлеем.
Нам не восстать из них на голос суеты,
И о тебе мы, бедный, сожалеем:
Еще волнуешься, еще страдаешь ты?

Миусское кладбище бедно во всех отношениях, поэтому нельзя претендовать и на его благоустройство. Содержится оно все же в полном порядке, несмотря на очень плохой сырой и глинистый грунт, делающий дорожки при малейшем дожде грязными и скользкими. Это, пожалуй, главное неудобство, впрочем, оно отчасти устранивается проложенными по аллеям досками.

Немного не доходя до церкви по центральной дорожке, налево, близко от края, находится могила историка, критика и издателя "Вестника Европы" - М. Т. Каченовского. На ней невысокая гранитная колонна, перерезанная кубом, с надписями:

Здесь погребено тело
Михаила Трофимовича
КАЧЕНОВСКОГО
заслуженного профессора
Императорского Московского университета
действительного статского советника и кавалера

родился 1 ноября 1775 года
скончался 19 апреля 1842 года.

И возвратися перст в землю яко же бе и дух возвратися
к Богу иже даде его.

Не строгим Господи ему будь судьей,
но суд Твой сотвори по милости твоей.

Праху незабвенного супруга и чадолюбивого отца
признательное семейство.

Как историк, Каченовский был основателем русской скептической школы, возникшей в противовес Карамзину и другим его подражателям. Каченовский не принимал на веру то, что считал неубедительным для его разума, и в этом, несомненно, заслуживает признательности потомства. Как издатель "Вестника Европы" и журналист, Каченовский подвергался нападкам Пушкина, преследовавшего его злыми эпиграммами. Всем известна его ядовитая эпиграмма:

Как, жив еще курилка-журналист? -
Живехонек! все так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью замучен;
Все тискает в свой непотребный лист
И старый вздор, и вздорную новинку. -
Фу! надоел курилка-журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить курилку моего?
Дай мне совет. - Да... плюнуть на него.

Иван Александрович Гончаров, автор "Обломова", слушатель Каченовского, так рисует его образ: "Это был тонкий аналитический ум, скептик в вопросах науки и, отчасти, кажется, во всем. При этом - строго справедливый и честный человек... Особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу - археологии и пр. Когда он касался спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор редактора "Вестника Европы". Он мысленно видел перед собой своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как и бездну, сквозь свои критические очки..."

Из всех городских кладбищ, сохранившихся до нашего времени, Миусское пострадало от сознательного разрушения и времени больше всех. В 1930-х годах кладбищенский храм был закрыт, колокольня снесена, разрушено большинство могил, на месте которых выстроены различные постройки. Старые могилы одиноки

среди новых, их немного. Основная масса старых погребений второй половины XIX - начала XX в. в виде небольших мраморных саркофагов, все поросшие мхом. Сложно указать на Миусском кладбище погребения известных деятелей науки и культуры, поскольку большинство могил новые и людей малоизвестных.

Памятник Качановскому сохранился почти полностью, если не считать отсутствия креста, обычного для такого типа памятников (4-й уч.).

3.

Каченовский Михаил Трофимович - журналист и профессор, родился 1 ноября 1775 г. в Харькове. Отец его, Трофим Демьянович Качони, был грек, выслевшийся из Балаклавы и приписавшийся к мещанскому обществу города Харькова. Рано лишившись отца, Каченовский, при помощи добрых людей, был пристроен в Харьковский коллегиум, в 13 лет окончил курс в этом среднем учебном заведении и поступил урядником в Екатеринославское казачье ополчение. Пять лет спустя он перешел в Харьковский губернский магистрат канцеляристом, но через два года (1795) опять вернулся в военную службу. Получив (1798) должность квартирмейстера, Каченовский попал под суд по обвинению в недочете казенного пороха, но был оправдан. В 1799 и 1801 годы он выступил в журнале "Иппокрена" с несколькими оригинальными и переводными статьями, написанными в духе тогдашнего сентиментализма. Сидя под арестом во время следствия, Каченовский прочел сочинения Болтина (Иван Никитич Болтин (1735-1792) - историк, государственный деятель), возбудившие в нем мысль о критической разработке источников русской истории. Вскоре по оставлении военной службы (1801) Каченовский сделался известен графу Алексею Кирилловичу Разумовскому и поступил к нему библиотекарем. Получив место попечителя Московского университета, граф Разумовский привез с собой Каченовского в Москву и сделал его правителем своей личной канцелярии. С этих пор Каченовский начинает усиленно работать для журналов. Из "Новостей русской литературы" (1803) он переходит в "Вестник Европы" (1804), только что оставленный Карамзиным для исторических занятий. Фактически, а с 1805 г. и формально, Каченовский становится редактором-издателем "Вестника

Европы", которым и заведует до его прекращения (1830 г.). В 1805 г. отставной квартирмейстер получает ученую степень магистра философии, в следующем году становится доктором философии и изящных искусств, в 1810 г. экстраординарным, а в 1811 г. - ординарным профессором. До 1821 г. Каченовский преподавал теорию изящных искусств и археологию, затем перешел на кафедру истории, статистики и географии и оставался на ней до введения устава 1835 г. (в 1830-1831 гг. преподавал, сверх того, российскую словесность, а также всеобщую историю и статистику). Последние семь лет своей жизни Каченовский занимал кафедру истории и литературы славянских наречий. Ясный и трезвый природный ум и деловитость, приобретенная на службе, не могли заменить Каченовскому школьной подготовки. При всей своей разнообразной начитанности он не мог сделаться самостоятельным ученым ни в одной из тех отраслей знания, которых ему так много пришлось переменить в течение своей профессорской карьеры. Тоже приходится сказать и о занятиях Каченовского русской историей, его любимым предметом, к которому он всего охотнее возвращался. До назначения на кафедру русской истории его исторические статьи не носят никаких следов самостоятельного изучения предмета; он просто популяризирует Шлецера и прилагает его общую точку зрения к суждениям о частных вопросах. Как последователь критического направления Шлецера, он является противником националистического взгляда Карамзина и восстает против изображения прошлого в чертах современности. В 20-х годах Каченовский начинает специально заниматься источниками русской истории. Под влиянием Нибура, он ставит своей целью освободить историю от тех черт, которые внесены в источники позднее изображаемого в них периода и поэтому недостоверны. Древний период истории представляется Каченовскому состоянием полной дикости. Вслед за Шлецером, он подозревал и прежде, что древнейшая Русь не знала ни письменности, ни торговли и денежных знаков; но, исходя из этой мысли, Каченовский идет теперь гораздо дальше Шлецера. Свои собственные оригинальные рассуждения он основывает на догадке, что денежные знаки, упоминаемые в наших древних юридических и исторических памятниках ("Русская Правда" и "Летопись"), перешли на Русь только в XIII в., от более цивилизованной Ганзы ("О кожаных деньгах"). Из этой догадки Каченовский делает смелый вывод, что и самые источники, употребляющие эту денежную систему, состав-

лены не ранее XIII в. Попытку доказать этот вывод ученым образом Каченовский сделал в другом своем исследовании, о "Русской Правде". Здесь он доказывает, что ни законов, ни городских общин, которые могли бы издавать законы, не существовало до XIII-XIV вв. не только в России, но и в остальной Европе. Окончательных своих заключений Каченовский не решался договорить в названных ученых работах; но он излагал эти заключения на лекциях студентам. Вся древняя русская история баснословна, потому что источники этой истории подделаны не ранее XIII в. Выводы Каченовского совпали с новыми идеями исторической и философской критики. Молодое поколение с жадностью ухватилось за эти выводы; слушатели развили его положения в ряде статей, напечатанных Каченовским; имя Каченовского на несколько лет сделалось чрезвычайно популярным. Популярность эта, однако, скоро прошла, так как по форме лекции Каченовского были довольно сухи и монотонны, а по содержанию далеко не были тождественны философским идеям, которыми увлекалась молодежь. Наиболее талантливые из временных последователей Каченовского печатно отметили разницу между "формальной" критикой Шлецера, на которой остановился их учитель, и "реальной" критикой, вытекавшей из современного им мировоззрения. С той и другой точки зрения летопись можно было признать недостоверной; но "формальная" критика Каченовского доказывала это тем, что летопись есть подлог, сделанный в XIII столетии, а "реальная" критика лучших последователей Каченовского выводила недостоверность памятника из самых свойств младенческого мирозерцания его автора. Летописные легенды они считали не "выдумкой", которую надо обличить, а "мифом", который требует объяснения. Некоторые из противников Каченовского отвергали его выводы не только во имя науки, но и во имя патриотизма. В глазах Каченовского составитель летописи был обманщиком. Во имя авторитета седой старины должен был замолкнуть свободный голос критики. Замена научного вопроса вопросом о благонадежности отразилась на самом положении Каченовского в университете: при введении нового устава министр Уваров перевел Каченовского на кафедру славянских наречий, а кафедру русской истории отдал Погодину. Такой поворот дела обеспечил Каченовскому покровительство просвещенного попечителя Московского университета, графа Строганова; молодые профессора 30-х годов также относились к нему с почтительным сочувствием, но сочувствие это ос-

тавалось платоническим. Служебные привычки Каченовского делали его совершенно неподходящим к общественной атмосфере 30-х годов, а по складу своих воззрений он оставался чужд новым литературным и философским идеям. Каченовский умер 19 апреля 1842 г., сильно опустившийся и почти одинокий.

4.

Словесность русская больна.
Лежит в истерике она
И бредит языком мечтаний,
И хладный между тем зоил
Ей Каченовский застудил
Теченье месячных изданий.

НА КАЧЕНОВСКОГО

Бессмертною рукой раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил!
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
Уймись - и прежним ты стихом доволен будь,
Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!

Эпиграмма вызвана статьей Каченовского ("Вестник Европы", 1818, № 13), направленной против Карамзина. Пушкин напоминает "зоилу" о давнишней эпиграмме на него И. И. Дмитриева, "Ответ" (1800):

Нахальство, Аристарх, таланту не замена;
Я буду все поэт, тебе наперекор!
А ты - останешься все тот же крохобор,
Плюгавый выползок из гузна Дефонтена.

Наш Тацит. - Пушкин так называет Карамзина - по имени древнеримского историка I-II вв. Аббат Дефонтен-один из литератур-

ных врагов Вольтера. Концовка стихотворения Дмитриева, процитированная в эпиграмме Пушкина, является буквальным переводом стиха Вольтера из его сатиры "Le pauvre diable" ("Бедняга").

НА КАЧЕНОВСКОГО

Хаврониос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презренье поседелый,
Уймись, дружок! к чему журнальный шум.
И пасквилей томительная тупость?
Затейник вол, с улыбкой скажет глупость,
Невежда глуп, зевая, скажет ум.

Эта эпиграмма вызвана, вероятно, враждебными рецензиями на "Руслана и Людмилу" в "Вестнике Европы". Пушкин предполагал, что он автор этих статей. Первое слово эпиграммы, переделанное на греческий лад, намекает на греческое происхождение Каченовского (он был родом из семьи Качони).

НА КАЧЕНОВСКОГО

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем.

5.

Владимир Михайлович Каченовский (1826-1892), литератор, мемуарист, сын известного историка М. Т. Каченовского, учился вместе с Достоевским в Москве в пансионе Л. И. Чермака с 1834 г., когда и состоялось их знакомство, до 1837 г., хотя виделись они еще раньше, совсем маленькими мальчиками в Мариинской больнице для бедных в Москве. "Мы, дети, спешили в тенистый сад больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих, - вспоминал Каченовский. - Как теперь помню в числе их двух белокурых мальчиков, один из них был немного старше меня, другой - лет на пять. Для игр они выбирали себе бо-

лее подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был замечен и для меня ребенка. Это дети были Федор и Михаил Достоевские... Прошло года два, в течение которых я ближе сошелся с обоими братьями, которые мне и сообщили, что они уже учатся в пансионе.

Из опасения быть не точным, я не определяю годов этих детских воспоминаний, которые становятся точными лишь с 1834 года. В этот год я поступил в пансион Леонтия Карловича Чермака, пользовавшийся лучшею репутацией как по бдительному надзору за учащимися, так и по составу преподавателей. Достаточно сказать, что в числе их были Д. М. Перевошиков, А. М. Кубарев, К. М. Романовский, лучшие учителя того времени.

В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме. Он был ко мне очень приветлив и ласков.

В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона - А. М. Ломовским, Ф. и Ал. Мильгаузенами, Д. и А. Шумахерами и П. Перевошиковым..."

После окончания в 1843 г. 2-й московской гимназии Каченовский поступил в Московский университет, но в 1845 г. был сослан рядовым на Кавказ за то, что во время выступления балерины Е. И. Андреевой бросил ей на сцену дохлую кошку. Оставив военную службу в 1859 г. в чине штаб-ротмистра, Каченовский после службы в различных учреждениях вышел в отставку. Печататься начал в 1862 г.

"Прошли десятки лет и, вот, прибыв в Москву в 1874 году, - помнится по расчетам за свои издания с книгопродавцами, - и узнав

от кого-то из чермаковцев, что я состою здесь на службе, - вспоминал Каченовский, - Достоевский приехал ко мне на квартиру... Это было часа в два дня. Не сказав прислуге своей фамилии, он просил доложить о себе, что желает меня видеть, и вошел в зал. Перед мной стоял худощавый, бледный, болезненный господин с бородою. Я долго всматривался в его умное, выразительное лицо, в его приветливо устремленные на меня глаза, и не узнавал стоявшего предо мною, хотя в чертах его припоминалось мне что-то знакомое, как бы родное. Когда объяснилось, кого я вижу, мы уселись, и около двух часов прошло в оживленной беседе. Посвятив несколько времени воспоминаниям о далеком прошлом и расспросам о старых товарищах, Федор Михайлович отвечал на мои расспросы о нем. С тихим, ясным чувством говорил он мне о своем семейном счастье: "Хорошо и как хорошо жилось бы мне, - сказал он, - если бы не злые недруги, которые часто меня беспокоят". При прощании мы товарищески с ним обнялись. Вообще как в разговоре, так и в письмах, он любил употреблять слово "старый товарищ" и был очень сердечен.

Между тем весть о том, что у меня в гостях Достоевский, распространилась по всему дому, в котором поблизости от него 2-й гимназии и Технического училища квартировало много учащейся молодежи, и потому когда Федор Михайлович, сопровождаемый мною, стал сходить с лестницы на крыльцо, он увидел ряды техников и гимназистов, которые при появлении его почтительно ему кланялись. Федор Михайлович приветливо отвечал на их поклоны. С того времени я уже не видал его... Во время Пушкинского юбилея я был у него, не застав в номере. На празднествах, данных Москвою в честь Пушкина, на которых он занимал такую выдающуюся роль, я по разным обстоятельствам быть не мог; когда же получил возможность снова посетить Федора Михайловича, его уже не было в Москве.

В конце истекшего лета представилась мне необходимость хлопотать в Петербурге по одному существенному для меня делу. Не имея ни материальной, ни физической по болезни глаз возможности туда ехать, я, вспомнив сказанные мне некогда Федором Михайловичем слова, чтобы в случае какой-либо надобности я обращался к нему, и зная, что у него слова нераздельно с делом, я написал ему в Петербург письмо, обстоятельно изложив мою просьбу. Долго не получал я ответа и считал уже мое письмо по-

терянным - другой причины предполагать я не мог, - как вдруг получил ответ. Дело в том, что он, не предполагая пробыть в Старой Руссе, где лечился, долее известного времени, не распорядился о пересылке адресуемых на его имя в Петербург писем. "Мне очень жаль, старый товарищ, - пишет он, - если вы думаете, что я отнесся к вашему письму холодно и невнимательно".

За дело мое он принялся с энергией. Отрываясь от трудов, он ездил неоднократно к тому лицу, от которого зависело решение интересовавшего меня дела. Между нами возникла целая переписка, и в тех случаях, когда Федору Михайловичу писать было некогда, он поручал писать мне своей супруге - его, как он выражается, "всегдашнему секретарю и стенографу". Смерть Федора Михайловича помешала ему довести дело мое до конца.

До чего покойный был предупредителен ко всякому даже намеку на какую-либо просьбу, видно из следующего. Я ему писал как-то, между прочим, что кончившая в прошлом году курс учения дочь моя не читала из его сочинений "Подростка", и он мне отвечает: " "Подростка" вышлю милой читательнице моей, дочери вашей". И выслал книгу с собственноручной надписью по первой же почте.

В газетах смерть Федора Михайловича относят к разрыву сердца или легочных артерий. Так ли это? Предчувствуя свою кончину, он в письме от 16 октября писал мне: "Я человек весьма нездоровый, с двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают: падучею и катаром дыхательных путей, так что дни мои, сам знаю, сочтены. А между тем непрерывно должен работать без отдыха".

Кроме отличной библиотеки, после Федора Михайловича осталась большая коллекция автографов наших замечательных писателей, художников и общественных деятелей. Это я знаю из написанного по поручению покойного А. Г. Достоевской письма ко мне от 18 октября, которым просил доставить для его коллекции какое-либо письмо моего отца, Михаила Трофимовича, "если возможно характерное, если же нельзя, то хотя записку или подпись".

Я тотчас же выслал письмо. Вот рассказ о моих отношениях к почившему товарищу детских лет..."

После смерти Достоевского Владимир Каченовский прислал его вдове А. Г. Достоевской письмо 18 февраля 1881 г.: "... Печальное событие, как Божий гром поразившее всю мыслящую Россию, потрясло меня донельзя. Первою мыслию моею было пи-

сать вам, но разве существует на языке человеческого слова для утешения вас в вашем горе? Если что и может несколько облегчить вашу великую скорбь, то это сознание, что вы были в течение многих лет истинным счастьем и радостью великого человека, мученика правды..."

6.

Леонтий Иванович Чермак (1770-1849), чех, известен тем, что содержал пансион в Москве, на Новой Басманной улице, в котором Федор Михайлович Достоевский и его брат Михаил Достоевский учились с осени 1834 по весну 1837 года, а позже там учились их младший брат Андрей Достоевский, который вспоминал:

"Пансион Леонтия Ивановича Чермака был одним из старинных частных учебных заведений в Москве, по крайней мере в то уже время он существовал более 20 лет... В заведение это принимались дети большею частью на полный пансион, то есть находились там в течение целой недели, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздников.

Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их и в то же время - присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л. И. Чермака был близок к этому идеалу... Сам Леонтий Иванович, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казенных учебных заведений. В начале каждого урока он обходил все классы, якобы для того, чтобы приветствовать преподавателей, если же заставал класс без преподавателя, то оставался в нем до приезда запоздавшего учителя, которого и встречал добрейшей улыбкой, одною рукою здороваясь с ним, а другою вынимая свою золотую луковицу, как бы для справки. При таких порядках трудно было и манкировать! Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыездно... Отличных по успехам учеников, т. е. каждого получившего четыре бал-

ла (пятичная система баллов тогда еще не существовала), он очень серьезно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и учеником старших классов, потому что всякий знал, что Леонтий Иванович - старик добрый и что над ним смеяться грешно!

Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. По праздникам же, вследствие небольшого количества оставшихся пансионеров, и весь женский персонал его семейства обедал за общим пансионским столом.

Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет; ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Федора и Михаила Михайловичей) я могу указать на Губера, Геннади, Шумахера (впоследствии сенатора), Каченовского (литератора, сына проф. М. Т. Каченовского) и Мильгаузена (бывшего потом профессором Московского университета).

Я слышал впоследствии, что Л. И. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности".

Слова А. М. Достоевского подтверждаются внуком Чермака: "Вероятно, расходы по пансиону превышали доходы, и Леонтий Иванович вынужден был его передать, вероятно в начале сороковых годов, вскоре после чего он умер".

Переселение Чермака из Вены в Россию было связано с происшествием периода оккупации Вены войсками Наполеона, когда Чермак вступился за ограбленного крестьянина и ему удалось освободиться из-под стражи с условием покинуть Вену. Перед вступлением братьев Достоевских в пансион Чермака в нем было 68 учащихся, а к первой половине 1836 г. - уже 90.

В. С. Нечаева справедливо отмечает, что "атмосфера пансиона Чермака способствовала их [братьев Достоевских] любви к книге, так как там они встретили юношей, несомненно начитанных, одаренных и в дальнейшем выдвинувшихся научной деятельностью". Учившийся вместе с братьями Достоевскими А. Д. Шумахер вспоминал о пансионе Чермака: "По окончании домашнего учения,

под руководством отца, я поступил в средние классы одного из лучших в Москве частных пансионов с полным гимназическим курсом и даже обоими древними языками, именно в пансион, сохранившийся чехом Чермаком. Там я имел сверстниками несколько воспитанников, получивших впоследствии более или менее громкую известность". В. М. Качановский, учившийся вместе с Достоевским в пансионе Чермака, отмечал в своих воспоминаниях: "В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчил занимательными рассказами тоску мою по родительском доме.

Он был ко мне очень приветлив и ласков. В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона..."

Дочь писателя Л. Ф. Достоевская, вероятно, со слов своей матери, свидетельствует: "Когда старшие сыновья закончили обучение в пансионе Сюшара, дед поместил их в подготовительное училище Чермака, одно из лучших частных учебных заведений Москвы, относительно дорогое, в котором учились сыновья московских интеллигентов. Он отдал их туда на пансион, чтобы они могли делать уроки под присмотром учителей; домой они приходили только в воскресенье и праздничные дни. Дворяне Москвы в те времена предпочитали отдавать своих детей в частные школы, так как в казенных учебных заведениях применялись довольно жестокие телесные наказания. Училище Чермака сохраняло патриархальный характер, там стремились создать подобие семейной жизни. Сам Чермак питался вместе с учениками и обращался с ними по-доброму, как с собственными сыновьями. Для преподавания в своем училище он пригласил лучших учителей Москвы, и занятия там велись очень серьезно".

Сама же жена писателя А. Г. Достоевская в 1876-1877 гг. записывает: "Сначала у Драшусова, потом у Чермака. Кормили дурно" жена немка пекла удивительные пироги по воскресеньям, сладкие. У них дочь Тина Леонтьевна разливала чай всем, вышла замуж за профессора математики. Другая, Анна Леонтьевна, за Ломовского. Провизия хорошая, но приготовлена дурно". 16 октября 1880 г. Достоевский писал В. М. Каченовскому: "Да, наших чермаковцев немного, а я всех помню. В жизни встречал потом лишь Ламовского и Толстого. С Шумахерами никогда не пришлось увидеться, равно как и с Мильгаузенами. С Анной Леонтьевой Чермак (Ломовской) встретился с большим удовольствием. Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением. И Вас очень помню. Вы были небольшого роста мальчик с прекрасными большими темными глазами".

Впечатления о жизни в пансионе Чермака отразились в замысле романа "Житие великого грешника" и в романе "Подросток". В пансионе Достоевский знакомится со старшими воспитанниками: французом Евгением Ламбертом - его имя Достоевский дает персонажу романа "Подросток", Николаем Брусилковым, встречается с Алексеем Альфонским. Все они упоминаются в подготовительных материалах к романам "Житие великого грешника" и "Подросток". Двоих из гувернеров пансиона, К. Тайдера и Манго, Достоевский упоминает в записях к "Житию великого грешника".

7.

Тут я для полного и объективного объединения времен "Житие великого грешника" по-своему преподнесу, через бронзовую фигуру Венички Ерофеева. На Савеловском вокзале в 1970-м году мы с ним оказались случайно. Шли на завод "Станколит" за червонцем к редактору заводской газеты, а тот нас не дождался, укатил в типографию на Чистые пруды. А Веничка не любил Савеловский вокзал. Все время мне повторял: "Юрик (он меня все время Юриком называл), пойдем на Курский. Там Кремль стоит на перроне". Мы отошли в сторонку, до Бутырского рынка. Там Веничка почувствовал себя попросторнее, со стакана пылинку сдул, и выпил элегантно сто пятьдесят вермута розового, на который у нас только и хватило. Я в то время писал какой-то роман. Было поветрие у молодых писателей: писать романы. Ну, как "Мастер и Мар-

гарита", к примеру. Рассказы, считалось, писать не по чину. А Веничка о какой-то женщине повел рассказ, сказав мне, что он пишет рассказ. Я так поразился этому, что даже не спросил, мол, почему не роман? Между тем, Веничка плавно пьянящим голосом рассказывал: "Видите - четырех зубов не хватает?" - "Да где же зубы-то эти?" - "А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу - у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба..."

Тут к нам подошла какая-то бабка и оставилась на бутылку вермута. Мы срочно допили и отдали ей пустую бутылку. В голове наступала романтическая ясность. Даже не думали о тех, кто неподалеку сидит в Бутырской тюрьме. Веничка смахнул челку на правый от него бочок, а от меня на левый, и сказал: "Юрик, представляешь, она принялась вдумчиво рассказывать, и вот каков был стиль ее рассказа..."

- Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: "Мой чудный взгляд тебя томил?" Я говорю: "Ну, допустим, томил..." Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок - я ходила все дни сама не своя, все твердила: "Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался". "Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин". А потом опять: "Пушкин-Евтюшкин"...

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: "Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?" Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: "Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! Детишек - не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!" А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: "Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! Уходи!" А он все трясется и чернеет: "Сердцем, - орет, - сердцем - да, сердцем люблю твою душу, но душою - нет, не люблю!"

И как-то дико, рассмеялся, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: "Ага! - закричала. - Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек..." А он - не говоря ни слова -

подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола..."

Веничка замолк и внимательно посмотрел на меня. Я бодро сказал: "У меня есть рубль". Веничка ответствовал: "Юрик, смотри, и у меня сейчас будет". Он воодушевленно встал с подвальной решетки, на которой мы выпивали, сделал три шага и преградил путь прохожему в фетровой шляпе со словами, которые я легко расслышал: "Альбом мюнхенской пинакотеки 35 рублей стоит. А у нас, - Веничка кивнул в мою сторону, - тридцать два. Не субсидируете молодых литераторов троячком?!" - и ведь произнес это таким убедительным тоном, что солидный гражданин, сначала было замешкавшийся, извлек из внутреннего кармана твидового пиджака толстую пачку сложенных красных, с Лениным, десяток, отлистнул одну и прилепнул ее на протянутую ладонь будущего автора поэмы "Москва-Петушки".

Некоторое время спустя, мы шли, обнявшись и сильно покачиваясь, в сторону стадиона "Автомобилист" и пели на всю Вятскую улицу:

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой...

8.

Бронзовый памятник автору поэмы "Москва-Петушки" Венедикту Ерофееву стоит на площади Борьбы, которая до переворота семнадцатого года называлась Александровской площадью. Так что в редакцию "Нашей улицы" следует ходить так: метро "Новослободская" - ул. Достоевского (памятник Достоевскому работы Меркурова, который снимал посмертную маску с Михаила Афанасьевича Булгакова) - площадь Борьбы, Веничка - Тихвинская улица, 37/7 (Вадковский пер. 7/37) Представительство Святого Престола /Посольство Ватикана/, - подземный переход на Суцевском валу - Миусское кладбище, Каченовский Михаил Трофимович - ул. Двинцев (бывшая 1-я Новотихвинская), Складочная улица (бывшая Филаретовская) - "Наша улица", Юрий Кувалдин.

ЛАТИНИЦА

рассказ

Посвящается Эмилю Сокольскому

От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Потапенко, пожилой, с брюшком, был тогда в Коктебеле, лежал под тентом на деревянном речном лежаке и читал это письмо. "Ya vyishel iz domu ne spेशha, potomu chto vsyo vremya dumal o lyudyah, kotoryii ocheny mnogo chitayut, postoyanno hodyat po knizhnyim magazinam, v kotoryih stoyat s otkryitoy knigoy...", привалившись плечом к книжному стеллажу, и делают вид, что не замечают Потапенко, когда он узнает их, случайно забежав в эту лавку на втором этаже покосившегося лабаза в стенах старого монастыря. Вот он, лысенький, с плешью, в очках, невысокий, а глаза водянистые, то ли чуть-чуть голубенькие, то ли бледно-бледно зелененькие, эдак вскинет на Потапенко их, и сразу опускает в книгу, давая понять, что, хотя и узнал Потапенко, но виду не подает. Почему это Чехов так скрывается от Потапенко, сторонится? Прежде Потапенко подозревал, что такие несколько умнее, начитаннее, мудрее его, но с течением времени вдруг обнаружил, что они совершенно бесцветны, непродуктивны, гаснут своей тенью в прошлом, и даже тень их исчезает.

С высокого берега Москвы-реки виден весь монастырь, а на гранитном парапете сидит очень шустрая ворона с огромным пакетом из-под молока, и допивает из него остатки, задирая голову с квадратным пакетом. Потапенко не то что Чехова не понимает, он почти что всех тех людей, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни, не понимает и не понимал. Дело в том, что они что-то такое в себе хранили, чего Потапенко не мог понять. Они молчали или говорили на отвлеченные темы, а существа их Потапенко не разгадывал. Он помнил, как шел к Чехову в гости. Был дождливый день, от метро "Сокол" Потапенко шел пешком, без зонта, промок, проклиная дождь и то, что Чехов сказал, что до него удобнее дойти пешком. Особенно неприятен был Потапенко ле-

вый ботинок, который хлюпал, набирая из огромных луж воду, и Потапенко уже не чувствовал ботинка, а как будто шел одной бо-сой ногой, замерзшей. Нога совершеннейшим образом задубела. А еще вода лилась Потапенко в глаза и за shivoroť, как эти стихи, которые неизвестно откуда появились:

Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман,-
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас - осенний роман.

Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, -
Смешна любовь напоказ!
Но все ж тайком от матери строгой
Она прибегает не раз.

Свою мандолину снимаю со стенки,
Кручу залихватски ус...
Я отдал ей все: портрет Короленки
И нитку зеленых бус.

Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,
Грызем соленый миндаль.
Нам ветер играет ноябрьскую фугу,
Нас греет русская шаль.

А Лизин кот, прокравшись за нею,
Обходит и нюхает пол.
И вдруг, насмешливо выгнувши шею,
Садится пред нами на стол.

Каминный кактус к нам тянет колючки,
И чайник ворчит, как шмель...
У Лизы чудесные теплые ручки
И в каждом глазу - газель.

Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,
Грызущие тихо миндаль.

Но вот в передней скрипят половицы,
Раскрылась створка дверей...
И Лиза уходит, потупив ресницы,
За матерью строгой своей.

ЛАТИНИЦА

На старом столе перевернуты книги,
Платочек лежит на полу.
На шляпе валяются липкие фиги,
И стул опрокинут в углу.

Для ясности, после ее ухода,
Я все-таки должен сказать,
Что Лизе - три с половиною года...
Зачем нам правду скрывать?

ochen kratko... очень коротко... V osnovnyh certah predlagaema-
ja versia latinicy sootvetstvuet pravilam pisjmennoj peredaci zvukov
v drugih slavanskih jazykah, ispolzujusih latinski srift, a takze razra-
batyvavsimsa ranee variantam russkogo pisjma na osnove latinskoj
grafiki. В основных чертах предлагаемая версия латиницы соот-
ветствует правилам письменной передачи звуков в других славян-
ских языках, использующих латинский шрифт, а также разрабаты-
вавшимся ранее вариантам русского письма на основе латинской
графики. От Чехова Потапенко получил письмо, написанное лати-
ницей по-русски. V osnovu dannoj versii polozen latinski alfavit bez
Q W i X. Dla peredaci na pisjme osobyh russkih zvukov ispolzujutsa
pat diakriticeskih znakov. В основу данной версии положен латин-
ский алфавит без Q W и X. Для передачи на письме особых русских
звуков используются пять диакритических знаков. От Чехова По-
тапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски.
Bukvam kirillicy Ж Ц Ч Ш Щ sootvetstvujut bukvy Z C C S S, a bukvy
Ё Ю Я (krome nacalnyh polozeni s proteticeskim [j]) v osnovnom
zamesajutsa posredstvom E U A. Буквам кириллицы Ж Ц Ч Ш Щ со-
ответствуют буквы Z C C S S, а буквы Ё Ю Я (кроме начальных по-
ложений с протетическим [j]) в основном замещаются посредст-
вом E U A. Bukva J javlaetsa samoj mnogofunkcionalnoj. Vo-pervyh,
J zamesaet kirilliceskie Й и Ъ, a v nekotorej mere i Ь. Vo-vtoryh, J vys-
tupaet v roli proteticeskogo soglasnogo pered bukvami, peredajusi-
mi glasnye zvuki [a], [e], [o], [u]. Буква J является самой много-
функциональной. Во-первых, J замещает кириллические Й и Ъ, а в
некоторой мере и Ь. Во-вторых, J выступает в роли протетическо-
го согласного перед буквами, передающими гласные звуки [a],
[э], [o], [y]. От Чехова Потапенко получил письмо, написанное ла-
тиницей по-русски. Kirilliceskoj bukve Э krome kak v nacalnyh

polozeniah sootvetstvuuet bukva E , a bukvy I i Y zamesajut kak bukvosocetania kirillicy ИЙ и ЪЙ, tak i podobnye socetania zvukov.

Кириллической букве Э кроме как в начальных положениях соответствует буква Е , а буквы I и Y замещают как буквосочетания кириллицы ИЙ и ЪЙ, так и подобные сочетания звуков. Novym po sravneniu s drugimі versiami možno nazvat ispolzovanie L N T как magkih analogov tverdyh soglasnyh L N T. Dopолnitelno predlagajut-sa nekotorye orfografіceskie izmenenіa. От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Новым по сравнению с другими версиями можно назвать использование L N T как мягких аналогов твердых согласных L N T. Дополнительно предлагаются некоторые орфографические изменения.

Юрий Кувалдин

ПОЭМА КРИВОКОЛЕННОМУ ПЕРЕУЛКУ

Крива Москва. От века окривела.
Кривилась без заботы, как хотела,
Лепилась по холмам и по низинам...
Из окон типографии окуну
Кривые переулки...

Люблю у темных окон постоять,
Пока готовят полосы в печать.
Вахтер в шинели черной подойдет,
Короткий разговор произойдет,
Попросит "Беломору" - угощу,
И спросит, мол, о чем стою-молчу.
Отвечу, что на улице тепло,
А в январе морозу бы хотелось,
Что вечером от снежных крыш светло,
Что старая Москва похорошела,
Что просто так задумался, что вот
Церковных окон виден переплет,
Где стекла запотели от дыханий,
Как странно наблюдать на расстояньи,
Как странно: если служба там идет,
- Чего же странно, ежели идет, -
Вахтер ответит. - Пусть себе идет!

Пойду по криво пляшущим домам,

ЛАТИНИЦА

По улицам - изогнутым лучам,
Я сам себе маршрут криволинейный -
В Москве иного не было и нет,
Не сыщешь, как на севере. Литейный
Простреливает города макет.

Здесь улица из улицы вкривую
Выкручивает поселений сбрую.
А в самой середине закавыки,
Никак не обойдется без музыки
Доски мемориальной на фасаде,
Прочтения одной поэмы ради.
Я криво улыбнусь в Кривоколенном.
Я криво позавидую поэтам,
Один из них сочтен первостепенным,
Другой из жизни вышел на рассвете.
Как барина, все ждут прихода оды,
Прихода первоклассного поэта -
Решит, как постовой за пешехода,
Рассудит, как собрание педсовета.

Скривились желтяки-особняки,
Без подорожной мерят расстоянья.
Я узнаю туманные зрачки
И голосов последние сказанья.
Не в назиданье строилась Москва,
Но в корчах, как на сносях, распласталась
И стала потому-то голова,
Что криво и беззубо улыбалась,
Кормилицей налево и направо
Для каждого вошедшего была,
Для всей России стала переправой.

Кривись, Кривоколенный проводник.
Я сам себе маршрут криволинейный -
В Москве иного не было и нет...

От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Там он себя уже называл Антоном Чеховым, как один герой Андрея Платонова в "Чевенгуре" называл себя Федором Достоевским, обосновывал это Чехов тем, что при рождении получил вполне случайное обозначение (имя), которое, в сущности, необходимо только диктатурам, соподчиняющим биологические объекты, безымянные по природе своей, в властную вертикаль. Чехов

далее ссылается на письмо известной писательницы П. И цитирует его. Пока море шумело, Потапенко и цитату с превеликим удовольствием прочел: "Так как я уже давно и часто шлю письма на латинице (и еще и получаю их от людей, у которых нет кириллицы), то я и вижу, что у них возникают трудности с буквами й ж х ц ч ш щ ь ь э ю я. Это и побудило меня их - все повторяю на латинице: Tak kak ia uje davno i 4asto hliu pis"ma na latinize (i es4e i polu4aiu ix ot ludei, u kotoryx net kirillizy), to i viju, 4to u nix vo3nikaiut trudnosti s bukvami).)to i pobudilo menia ih изобразить как i j x z 4 h s4 " ") iu ia. Текст для освоения: Absolutno 4esno - ia хотела soverhit" pryjok v alfavite-a3buke, xotia ni na 4to ne pretenduiu, a maluiu)tu kartinku kak хо4еза - ia)to delaiu v pamiat" moiego dragozennova deduhki Nikolaia Feofanovi4a Iiakovleva, ia3ykoveda, t.e. lingvista, kotoryi ra3pabotal bol"he sotni kavka3skix a3buk, perevodia ix v tom 4isle i na latinizu - a es4o radi hutki, t.e. prikola. /No "Я" Zaglavnoe - kak iego pisat"? Predlozenie: dva "i" - to est "Ii", Яков как "Iiakov", k primeru, samolot "Iiak-40", a ejeli)to "Иаков", to Iakov/. No vot 3akovyristyi "Як Йоола", как ego i3obra3it"? Iiaak Iioola. Skobki ispol"3ovat" tol"ko //, poskol"ku imeeza буква ") " /t.e. "Э"/. Mne takje хо4еза)tim ra3budit" nekotoryx, koim interesno prodoljat" dannye i3yskan"a - v smysle bol"hej liogkosti. A nas4ot ostal"nogo ne 3naiu, tut interesnei vsego igra. Zame4anie: буква "e" ne trebuet nikakix dobavok v vide "i" - "Poedem, uexa, est", ob"edinenie" i t.d. Es4o tekst dla primera /)to, ra3umeeza, prikol, 4toby ispol"3ovat" vse nujnye bukvy/: Jens4ina i mus4ina byli i3gnany i3 raja; 4esno li)to bylo? Kak mog Gospod" ne 3nat" proisxod"as4evo? Hahni 3meia c Evoi, m.b., byli 3adumany 3aranee? Ni4ego ved" ne proistekaet be3 Ego voli...Nujno, nujno)to emu bylo...Ved" esli by ne grehnyi 4elovek, ne javilsa by Spasitel"... Kak je byt" s i3na4al"nym grexopadeniem?? S i3ve4noi vinoi 4eloveka?)to odna i3 nera3rehimyx 3agadok. I es4o: 3naet li Gospod" budus4ee? I ne promatyvaet li On)tu plenku /ji3n" kosmosa/ kajdyi ra3 vsio skoree? [Eju jasno, 4to vs"o)to krutiza ne vpervoii i my uje vstre4alis" /"deja vu"/ - fr./ i es4o vstretimsa. Kak i3vesno, vseleennaia to ra3begaeza, to sxlopyvaeza do nulja, i tak do beskone4nosti.]. Конец примера.

Kak uje vy mogli 3ametit", nudnye okon4aniia tipa "tsia", "tskii" sokras4aiuza kak v stenografii do "za", "zkii", a "sia" vychodit kak "sa". U menia ostalis" svobodnymi bukvy: Q, W, C. Ia 3naiu, 4to nekotorye ispol"3uiut "w" как russkoe "ш". Tipa "Хо4ew, sygraew s Sawei

ЛАТИНИЦА

v wawki". За4ем, kogda est" bukva, kotoraia na3yvaeza "аш", т.е. "h"? А "j" po franzu3ski na3yvaeza "жи"...

А вот еще примеры i3 lit-ry:

Moj diadia samux
4esnyx pravil
Kogda ne v hutku Zanemog
On uvajat" sebia Zastavil
I lu4e vydumat" ne mox
Pufkin

А так же:

Odnajdy v studenuiu
3imniu poru
Ia i3 lesu vyhel.
Byl sil"nyi moro3.
Gliaju,
podnimaeza medleno v goru
Lohadka,
ve3us4aia xvorostu vo3.
I hestvuia vajno
v spokoistvii 4innom,
Lohadku vediot
pod u3dzy muji4ok
V bol"hix sapogax,
v poluhubke ov4innom,
V bol"hix rukavizax
И т.д.
Nekrasof"

Чехов пишет Потапенко о том, как он дает советы школьникам, чтобы те беспрепятственно могли напугать учителя литературы. Конечно, это не Эдгар По, не Франц Кафка и даже не Евгений Лесин. Советы Чехова адресованы простым ученикам простых школ, которые явно не дружат с этим предметом. Сам Женя Лесин не любил его. Итак, чем можно напугать учителя литературы? Пошлостью, нецензурщиной, грамматическими ошибками? Вряд ли. Он к этому готов. У него даже ответ заготовлен: "Завтра в школу - с родителями!" Хулиганские действия исключим полностью. От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Потапенко был тогда в Коктебеле, лежал под тентом на деревянном речном лежаке и читал это письмо. Но свести счеты с учителем очень хочется. С годами

это чувство, к несчастью, не проходит. Что делать? Представьте себе такую картину: учитель читает Пушкина, потом задает вам вопрос. Вы встаете и, как ни в чем ни бывало, даете достойный (Пушкина!) стихотворный ответ. Встает второй ученик, третий... Это невозможно! - скажете вы. Ваш учитель думает так же. А между тем...

От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Потапенко был тогда в Коктебеле, лежал под тентом на деревянном реечном лежаке и читал это письмо.

Есть такая стихотворная форма - триолет. Он возник в средневековой Франции. Определение. Триолетом называется стихотворение из восьми строк, записанное в следующем порядке: АБаАабАБ. Что это значит? Все строки отмеченные, как а или А рифмуются друг с другом, а все строки б или Б рифмуются между собой. Строки отмеченные одинаковыми заглавными буквами повторяют друг друга полностью. Рифма - повторяющиеся окончания слов (кровь-любовь, слова-права и т.д.). Строка "АБаАабАБ" - называется рифмовкой или порядком рифмовки. Строки АБ - рефеном (повтором).

Примеры.

(Во всех примерах, в учебных целях, слева от стиха приводится рифмовка. Вообще ее не указывают, но в упражнениях мы будем ее ставить.)

А Какая сладкая отрава
Б Легко звенящий триолет!
а Его изящная оправа,
А Какая сладкая отрава

а И вечно детская забава,
б Когда владеет ей поэт.
А Какая сладкая отрава
Б Легко звенящий триолет.

Ослепительно роскошный пейзаж предстал во всей своей красоте, когда солнце, медленно выплыв из-за горизонта, залило светом и блеском дом Волошина, утонувший в зелени, на фоне которой сверкали белые коттеджи и набережная маленького Коктебеля, приютившегося у залива под склоном Кара-Дага с обнаженными золотистыми вершинами. Чарующая роскошь весенней крымской растительности, блеск моря, зелени и света, переливы то нежных, то ярких красок, сверкавших под лучами солнца, тихо плывущего в бирюзовую высь, - все это казалось какой-то волшебной декорацией.

ЛАТИНИЦА

Не верилось, что наяву видишь такую прелесть. Вокруг царила тишина. Только из-за узкой полоски мыса Хамелеон, отделяющего залив от моря, доносился тихий ропот замиравшей зыби.

А Подарок тихого востока.
Б Я подарил тебе кольцо.
а Все, что премудро и высоко,
а Подарок тихого востока.

а Там жизнь и смерть тысячеока.
б Лишь у востока есть лицо.
А Подарок тихого востока.
Б Я подарил тебе кольцо.

Кольцом или кругом в поэзии называется стихотворение, последняя строка которого полностью повторяет первую. Триолет - всегда кольцо. А своим названием он обязан трехкратному повтору первой строки. Теперь вместе решим один пример:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же short возьмет тебя!

Б) Прядок рифмовки пушкинского стиха: "абаб ввдд ежжее".
Вообще, по грамотному абаб аабб аббаа, но пока это будет вас только путать.

В) Выберем из примера две нерифмованные строки.

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог.

Вы выбираете свои. (Далее вы повторяете мои действия со своим вариантом.)

В соответствии с определением, запишем, что мы имеем.

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог.
.....ил
Мой дядя самых честных правил,
.....ил
.....ог
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог.

Из восьми стихотворных строк нам нужно придумать всего три! Остальные написал Пушкин. Теперь главное не испортить все. Будьте особенно требовательны к себе:

- Не допускайте отступления от порядка рифмовки.
- Не используйте лексику нехарактерную для автора. (Лексика - словарный запас.)

А ели так поступать, то делать это крайне осторожно, нарочито подчеркивая, с иронией.

Мой дядя самых честных правил
В законах кое-что подправил,
В журнале капельку добавил,
А в завещании убавил.

Ритм у стиха не должен меняться.

Что такое ритм?

Попробуйте пробубнить стих, представьте, что у вас каша во рту. Теперь другой (любой). Так вот, разницы в ритме Пушкина и вашего триолета быть не должно! Для этого бубните пушкинский стих про себя, когда будете сочинять. Нанизывайте свои слова на этот ритм. Если возникнут проблемы с рифмовкой или с лексикой. Решить их довольно просто, посмотрите в других главах романа, как эти проблемы решал сам гений. От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Потапенко был тогда в Коктебеле, лежал под тентом на деревянном реечном лежаке и читал это письмо. (Будет выглядеть особенным шиком, если вы соберете свой триолет исключительно из пушкинских строк, собранных из разных глав романа.) Теперь за дело. Сочиняем третью строку

триолета. Она рифмуется на - ил. Второе ограничение. По смыслу она должна уживаться с четвертой строкой: "Мой дядя самых честных правил". Третье условие. По смыслу она должна быть противопоставлена первым двум. Именно ее смысл и окрасит весь стих.

Теперь весь триолет:

А Мой дядя самых честных правил,
 Б Когда не в шутку занемог.
 а И как он только не лукавил.
 а Мой дядя самых честных правил
 а Именем он небрежно правил,
 б И от долгов сбежать не смог.
 А Мой дядя самых честных правил,
 Б Когда не в шутку занемог.

Дом творчества писателей еще спал в своей кудрявой зеленой люльке. Рейд был безмолвен. Шлюпки не сновали между берегом и несколькими судами, стоявшими на рейде, и пристань была безлюдна. Среди этой торжественной тишины расцветавшего коктебельского утра вдруг раздался свист боцманской дудки, и вслед за тем в тиши коктебельского рейда разнеслись энергические приветствия по адресу матросских родственников, - внезапно напомнив вам, что вы находитесь на оторванном клочке родины - в Украине, в Крыму, в тот самый момент, когда начинается генеральная чистка после прихода военного судна на рейд. Это - не обычная, ежедневная чистка, несколько напоминающая мытье полов в ресторане, а нечто еще более серьезное. Это - то торжественное жертвоприношение богу морского порядка и богине чистоты, которое матросы коротко называют "каторжной чистотой". Клипер пришел на рейд накануне, перед вечером, и потому "чистота" была отложена до утра. И вот, как только пробило восемь склянок (четыре часа), клипер ожил. Босые, с засученными до колен штанами, матросы рассыпались по палубе. Одни, ползая на четвереньках, усердно заскребли ее камнем и стали тереть песком; другие "проходили" голиками, мылили щетками борта снаружи и внутри и окачивали затем все обильными струями воды из брандспойтов и парусинных ведер, кстати тут же свершая утреннее свое омовение.

На соседний лежак лег человек в панаме, представился писателем Белевиным или Якуниным, Потапенко не расслышал, протянул ему бумажку: "Ты, наверное, дурак, читатель, или же ты дура, потому что все люди делятся на дураков и дур. Впрочем, бывают исклю-

чения. Бывают люди умные. Но нас очень мало. Умные люди - это писатели. Они пишут о жизни и смерти дураков и дур. Выстраивается эдакая схематическая модель бытия: по черному безбрежному океану смерти носится крошечный парус жизни, а вокруг него, подобно неугомонным чайкам, - писатели, дураки и дуры. Дурак - явление социальное. Биологически все люди рождаются писателями, и миллионы гектаров исписанных пеленок - тому красноречивое подтверждение. Быть дураком - привилегия преимущественно мужская. Дура же встречается исключительно среди особей женской популяции. Люди вообще, как известно, делятся на мужчин и женщин. Однако и здесь бывают исключения. Но о них никто не знает, ибо они, как правило, носят исключительные имена и фамилии. Попробуйте определить пол автора письма в молодежную газету, если оно подписано "Потапенко"? Я - писатель. Я сижу в своем свинском... простите, венском кресле и пишу морские рассказы. В кабинете тепло и сыро. За окном сухо и прохладно. Море шумит в моей душе и в трубах за моей спиной. Я никогда не видел моря. Но оно часто является мне во снах, и я вижу, как его волны, словно игривые львята, ластятся к прибрежным камням, покрытым валиснериум эпидермис. Я взмываю над синей гладью моря и лечу к звездам. Хохочущие протуберанцы опаливают мои натруженные подмышки, и черные дыры приветливо улыбаются мне волосатыми красными губами. Я лечу через пятилетки и перегоны. Подо мной стучат рельсовые стыки веков, и недалекие жители далеких миров зазывно помахивают мне своими щупальцевидными гоноподиями".

Здесь, как и положено в стихах, идет рефрен. От Чехова Потапенко получил письмо, написанное латиницей по-русски. Потапенко был тогда в Коктебеле, лежал под тентом на деревянном реечном лежаке и читал это письмо. "Ya vyshel iz domu ne spesha, potomu chto vsyo vremya dumal o lyudyah, kotoryii ocheny mnogo chitayut, postoyanno hodyat po knizhnyim magazinam, v kotoryih stoyat s otkryitoy knigoou...", привалившись плечом к книжному стеллажу, и делают вид, что не замечают Потапенко, когда Потапенко узнает их, случайно забежав в эту лавку на втором этаже покосившегося лабаза в стенах старого монастыря. Вот он, лысенький, с плешью, в очках, невысокий, а глаза водянистые, то ли чуть-чуть голубенькие, то ли бледно-бледно зелененькие, эдак вскинет на Потапенко их, и сразу опускает в книгу, давая понять, что, хотя и узнал Потапенко, но виду не подает. Почему это он так скрывается от Потапенко, сторонится? Прежде Потапенко подозре-

вал, что такие несколько умнее, начитаннее, мудрее его, но с течением времени вдруг обнаружил, что они совершенно бесцветны, непродуктивны, гаснут своей тенью в прошлом, и даже тень их исчезает.

И все время Chehov ходил с портфелем, чистенький такой, аккуратный, пальчики маленькие, нежные. За столом сидит с одной рюмочкой, всю дорогу чокается со всеми, пригубливает, но не пьет, так на весь вечер vodka хватает в одной рюмочке, и всю время говорит о пифосе, о чем-то таком, о чем и сам не знает. Никак не мог жениться. Наконец, в сорок пять лет нашел заторможенную, раскосую, очень высокую и очень полную Veru, которая говорила так медленно, что хотелось повеситься. К тому же она была учительницей русского языка и литературы, схоластичной, даже тупой последовательницей советских учебников с "Молодой гвардией" и "Как закалялась stal". За каждую ошибку ставила двойки, исписывала красной ручкой дневники школьников, вызывала родителей, и постоянно делала замечания Чехову, что он плохо пишет и неправильно произносит многие слова. Вот за это Чехов возненавидел ее голову, но еще больше полюбил ее огромное голое тело, ляжки и волосатый лобок. Он готов был отрезать жене голову, чтобы ему досталось только податливое бабье тело. Тут и появилась идея ухода из примитивной кириллицы, то есть из русской графики в просвещенную латиницу. Тем более что компьютер призывал к этому, поскольку, как только Чехов прикасался к клавишам, выскакивали латинские буквы, что сначала раздражало Чехова, а потом веселило. Он перестал переключать компьютер на кириллицу, и писал латиницей. Да, такие вот дела. Он - такой маленький, а она такая дебильная! Как в стихах Саши Еременко:

Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет.

Ее, для глаза незаметная,
непреднамеренно хипповая,
свисает сумка с инструментами,
в которой дрель, уже не новая.

И вот, как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),

Юрий КУВАЛДИН

она по болтикам поломанным
проводит стершимся напильником.

Чего ты ищешь в окружающем
металлоломе, как примата,
ключи вытаскиваешь ржавые,
лопатой бьешь по трансформатору?

Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит.

Ее такое время косит,
в нее вошли такие бесы...
Она обед с собой приносит,
а то и вовсе без обеда.

Вокруг нее свистит природа
и электрические приводы.
Она имеет два привода
за кражу дросселя и провода.

Ее один грызет вопрос,
она не хочет удвоиться:
то в стрелку может превратиться,
то в маневровый паровоз.

Ее мы видим здесь и там.
И, никакая не лазутчица,
она шагает по путям,
она всю жизнь готова мучиться,

но не допустит, чтоб навек
в осадок выпали, как сода,
непросвещенная природа
и возмущенный человек!

И вот как-то с этой самой женой Чехова случился инсульт,
она поскользнулась в ванной, упала, разбила голову и умерла.

- Как же теперь быть-то? - начали совещаться родственники и друзья. - Надо бы Чехова уведомить. Он хоть последнее время не жил с нею, но все-таки любил покойницу. На днях приезжал к ней, хотел опять сойтись, говорил: "Верочка! Когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?" И все в таком, знаете, духе. Надо сообщить ему...

- Дорогой! - обратилась заплаканная мать Веры к Потапенко. - Ты друг Чехова. Давай-ка, милый, съезди к нему в институт, сообщи о таком несчастье!.. Только ты не с ходу, не оглуши его, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Ты исподволь подготовь его сначала, а потом уж...

Потапенко надел кепку, вышел, завел свой fiat на букву "ж", и поехал в институт, где преподавал новоиспеченный вдовец. Застал он Чехова за компьютером в лаборатории.

- Привет, старик! - начал Потапенко, подсаживаясь к столу Чехова и утирая пот. - Еле добрался до твоего института! Ну и машин же на Садовом кольце, черт знает сколько! Работай, работай... Я мешать не стану... Посижу и уйду... Ехал, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Чехов преподает! Дай заеду! Кстати же и, между тем... дело есть...

- Посиди, дружище... Я через пару минут закончу, тогда и поговорим...

- Стучи, стучи... Я ведь так только, проездом... Два словечка скажу и - вперед!

Чехов перестал перебирать пальцами по клавиатуре, откинулся к спинке стула и приготовился слушать. Потапенко достал мобильник зачем-то, понажимал на кнопки, мобильник поиграл мелодию, а Потапенко продолжал:

- Прохладно у вас здесь, хорошо, кондиционер, видимо, работает, а на улице настоящий ад... Автобусы, самосвалы... Проехать нельзя, все время в пробках стоишь!.. Человек я свободный, вдовый... Куда хочу, туда и иду... Хочу - на дачу съезжу, хочу - взад и вперед из Бибирево на Каретный ряд проеду, и никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не следит... Нет, старик, и лучше житья, как на холостом положении... Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приеду сейчас домой и никаких, включу телевизор, налью пивка, сегодня, кстати, ЦСКА играет... Никто не посмеет спросить, куда ездил... Сам себе хозяин, вольная птица... Многие, старик, хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже армии... Постоянные деньги, деньги, еда, еда, стирка, дети, визг... а то и гости... Черт знает что!

- Я сейчас, - проговорил Чехов, склоняясь опять к клавиатуре компьютера. - Работу быстро завершу и тогда...

- Работай, старичок, работай... Хорошо, если жена попадется не сволочная, ну а если стерва? Если такая, что по целым дням пилит, душу вынимает?.. Взвоешь! Взять хоть тебя, к примеру... Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей, и захирел,

в меланхолию ударился... Осрамила она тебя на всю родню... из дому выставила... Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего...

- Знаешь, в нашем разрыве я виноват, а не она, - вздохнул Чехов.

- Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Тупая, тормознутая, неповоротливая! Что ни слово, то испытание верности пока дослушаешь, что ни взгляд, то раздвоение Ивана... А что в ней, в покойнице, безразличия к тебе этого было, так и выразить невозможно!

- То есть как в покойнице? - сделал большие глаза Чехов.

- Да разве я сказал: в покойнице? - спохватился Потапенко, краснея. - И совсем я этого не говорил... Что ты, старик, придумал... Послышалось тебе, что ли? Уж и побледнел! М-да... Ближко к сердцу-то не принимай!

- Ты был сегодня у Веры? - дрожащим голосом спросил Чехов, доставая из кармана брюк носовой платок.

- Заезжал утром, просили помочь... Лежит зеленая, не шевелится... И опять просит о чем-то... То ей врача давай, то в церковь вези... Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, черт с ней... Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного... Пожил бы ты на свободе, повеселился... на проворной бы женился... Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, к слову... По мне, как знаешь... Хочешь - люби, хочешь - не люби, а я ведь так... добра желаю... Не живет с тобой, знать тебя не хочет... что ж это за жена? Некрасивая, толстая, пустая... В пустую женщину можно вложить много денег...

- Легко ты рассуждаешь! Женщина ночью трехмерна, - вздохнул Чехов. - Для лошадей и влюбленных сено пахнет по-разному. Интеллигентны ли голые женщины?

- Есть за что любить! А кроме жадности до денег и равнодушия к тебе ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старик, а не нравилась мне она... Видеть не мог! Еду по Малой Бронной мимо ее дома и глаза закрываю, чтобы не увидеть... Бог с ней! Царство ей небесное, пусть земля ей будет пухом, но... не любил, грешный человек!

- Послушай... - побледнел Чехов, сморкаясь в платок. - Ты достал меня, уже который раз проговариваешься... Женщина не хочет, чтобы говорили о ее сексуальных делах, но хочет, чтобы все знали, что она любима... Умерла она, что ли?

- То есть кто умерла? Никто не умер, а только не любил я ее, покойницу... черт! то есть не покойницу, а ее... Веру твою...

- Да она умерла, что ли? Не издевайся надо мной! Ты как-то странно возбужден, путаешься... Умерла? Да?

- Уж так и умерла! - пробормотал Потапенко, кашляя. - Как ты, старичок, всьо сразу... А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, ста-ло быть, помирать надо... И ты помрешь, и я...

Глаза Чехова покраснели и налились слезами... Минуту Чехов тупо глядел на Потапенко, потом страшно побледнел и, вскочив из-за компьютера, вскинул руки, забегал по лаборатории и залился истерическим плачем...

More proizvelo на врайтера неизгладимое впечатление. Под горячими luchami коктебельского solntsa палуба высыхает быстро, и тогда-то начинается настоящая "отделка". Несколько десятков матросских рук принимается убирать судно, словно кокетливую, капризную нимфеточку-незнаночку на дискотеку. Клипер снова трут, скоблят, тиранят - теперь уже "начисто", - подкрашивают борты, подводят на них полоски, наводят глянец на пушки, желая во что бы ни стало уподобить чугунную поверхность зеркальной, и оттирают медь люков, поручней и кнехтов с таким остервенением, словно бы решились тереть до тех пор, пока блеск меди не сравнится с блеском солнца. Перегнувшись на реях, марсовые ровняют закрепленные паруса; на марсах подправляют "подушки" парусов у топов. Внизу - разбирают и укладывают снасти. Dвое matrosov висят по бокам дымовой трубы на маленьких, укрепленных на веревках дощечках, слывущих на морском жаргоне под громким названием "беседок" (хотя эти "беседки" так же напоминают настоящие, как виселица - турецкий диван), подбеливая места, чуть тронутые сажей, и мурлыкая себе под nos однообразный мотив, напоминающий в этих южных широтах о далеком севере. Уборка в полном разгаре. Botsman, по обыкновению, уже начинает сипнуть от ругани, придумывая самые затейливые и неожиданные вариации на одну и ту же тему, не столько ради необходимости "поощрить", сколько для соблюдения боцманского престижа и из желания щегольнуть плодами своей неистощимой ругательной фантазии. В этом он решительный виртуоз, не знающий соперников. Nedaгом он считается заправским боцманом и служит во флоте пятнадцать лет. У matrosov арбайтен кипит. Они лишь урывками бегают своей особенной матросской побегой (вприпрыжку) на бак - курнуть на скорую руку, захлебываясь затяжками махорки, взглянуть на сияющий зеленый берег и перекинуться замечаниями насчет окружающей благодати. Такая же отчаянная чистка идет, разумеется, и внизу: в палубе, в машине, в трюме, - словом, повсюду, до самых сокровенных уголков клипера, куда только могут проникнуть швабра,

голик и скрябка и долететь крепкое словечко. Уже восьмой час на исходе. Уборка почти окончена. Только кое-где еще мелькают последние взмахи суконок и кладутся последние штрихи малярной кисти. Матросы только что позавтракали, переоделись в чистые рубахи и толпятся на баке, любуясь роскошным Коктебелем и слушая рассказы шлюпочных, побывавших вчера на берегу, когда отвозили *offit-segov*. В открытый люк кают-компания виден накрытый стол с горой свежих булок и слышны веселые голоса только что вставших офицеров, рассказывающих за чаем о вчерашнем ужине с писателями на берегу... Все теперь готово к подъему *flaga* брам-рей. Клипер "приведен в порядок", то есть принял свой блестящий, праздничный, нарядный вид. Теперь не стыдно его показать кому угодно. Сделайте одолжение, пожалуйста и разиньте рты от восхищения при виде этого умопомрачающего блеска! *Paluba* так и сверкает белизной своих гладких досок с черными, вытянутыми в нитку, линиями просмоленных пазов и так чиста, что хоть не ходи по ней ("плюнуть некуда", как говорят матросы). Борты - что зеркало, *vglyadites* в них! Орудия, люки, компас, поручни - просто горят, сверкая на солнце. Матросские койки, скатанные в красивые кульки и перевязанные крест-накрест, белы, как снег, и на удивленье выровнены в своих бортовых гнездах. Снасти подтянуты, и *kontsi ih* уложены правильными бухтами у борта или висят затейливыми гирляндами у мачт... *Slovom*, куда ни *vzglyani*, везде ослепительная чистота. *Vsyo gorit, vsyo sverkaet!*

От *Chehova Potapenko* *poluchil* письмо, написанное латиницей по-русски. *Potapenko* был тогда в Коктебеле, лежал под тентом на деревянном реечном лежаке и читал это письмо. "*Ya vyishel iz domu ne spesha, potomu chto vsyo vremya dumal o lyudyah, kotoryii ocheny mnogo chitayut, postoyanno hodyat po knizhnyim magazinanam, v kotoryih stoyat s otkryitoy knigoy...*"

МАСКИ НИЦШЕ

рассказ

Для того чтобы понять Ницше, нужно погрузиться в систему галлюцинаций. Сигалко, преподаватель философии строительного института, легко в последнее время добивался этого эффекта. Сначала он пил сухое вино с ассистентом кафедры Власовым на выставке у фонтана "Дружба народов".

Первый фонтан в виде ротонды находился на Трубной площади, близ Рождественского монастыря, ряд фонтанов располагался вдоль реки Неглинной, на участке до улицы Кузнецкий мост. При перестройке водопровода в 1830-1835 годах были сооружены 5 фонтанов: Шереметевский (близ Сухаревой башни, в районе современной Большой Сухаревской площади), Никольский (на современной Лубянской площади), Петровский (на современной Театральной площади), Воскресенский (в районе современной Манежной площади, близ входа в Александровский сад) и Варварский (в районе современной площади Славянской, рядом с памятником Кириллу и Мефодию, и площади Варварские ворота). Все они стали важными элементами городских ансамблей. Никольский и Петровский фонтаны были украшены бронзовыми скульптурами работы И. П. Витали (оба в 1835 г.). Чисто декоративные фонтаны имелись во многих подмосковных усадьбах. На территории тогдашней Москвы декоративные фонтаны существовали на Собачьей площади, на углу Моховой улицы и улицы Знаменки и в других местах. К концу 1930-х годов из старых московских фонтанов сохранился лишь фонтан в сквере на Театральной площади.

Потом с тем же Власовым вдруг оказался на Чистых прудах с бутылкой водки "Флагман" и горячими чебуреками. Потом пере-

мена мест вообще исчезла, поскольку Сигалко ходил по какому-то паркету и громко скандировал фрагмент своей работы: "Итак, как уже сказано, я не знаю никого, - поясняет Ницше в одном из писем, - кто еще оставался бы сегодня моим единомышленником, тем не менее, благодаря воображению я в состоянии мыслить не как индивид, но как коллектив. Это особенное чувство одиночества и множественности".

И множественность действительно наступила в виде роскошной, в мраморе, золоте, колоннах и высокого свода с мозаикой станции метро "Комсомольская-кольцевая". Но станция эта сразу произвела на Сигалко странное впечатление. Дело в том, что по эскалатору спускались пышнотелые голые женщины, и все были черноволосы, с черно-бурыми лисицами на плечах, трясущимися животами с кудрявыми густыми треугольниками ниже точек пупков.

Сигалко воображая рядом ассистента Власова, сказал:

- Это Ницше в действии. Или Венеры в мехах на станции "Комсомольская-кольцевая".

Причем сначала Сигалко казалось, что он спит, но подошедшая к нему Венера в облике Агнессы, с пышной грудью с малиновыми сосками, была реальна, как мраморный столб, к которому он прислонился.

Агнесса была в необыкновенной задумчивости, но как только они вошли в туннель, не опасаясь поезда, потому что здесь уже поезда не ходили, ибо Сигалко и Агнесса шли по аллее от главного входа к фонтану, Агнесса повеселела.

С другой стороны, он вроде бы шел по незнакомому городу с домами песочного цвета. А один дом был копией дома на улице Чехова, во дворе которого стоял двухэтажный дом, в котором действительно жил когда-то Чехов. Только Сигалко приблизился к высокому дому, как тот попятился и стал на глазах рассыпаться, как морской песок. Сигалко в страхе сжался и догадался, что он, по-видимому, попал в Японию и сейчас идет землетрясение. Успокоив до некоторой степени себя подобным образом, он вновь, приглядевшись, увидел женщин с чернобурками на самой помпезной станции московского метро.

Власов, чубатый юнец в очках, сильно качался. Сигалко его придавливал к мраморному столбу, придавливал столь сильно, что столб попятился и рассыпался, как желтый дом.

Встряхнув головой и разлепив глаза, Сигалко увидел мощно бьющие во все стороны струи фонтана. Фонтан на площади Лубянской (в те годы площадь Дзержинского) был разобран в 1932 году и позднее смонтирован перед зданием Президиума АН СССР на Ленинском проспекте (дом 14, во дворе). В 1941 году пущен фонтан (архитектор А. В. Власов) на Тверской площади (в те годы Советской площади) перед мэрией Москвы, а напротив тогда там было здание Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма, недалеко от памятника Юрию Долгорукому.

Поиск глазами, Сигалко обнаружил голую Агнессу в мехах. Кашлянув, он стал развивать ей свои последние соображения на счет Фридриха.

- Подобный опыт множественности психических состояний, которые Ницше приобретает в долголетнем переживании одиночества, как нельзя лучше подготовил его к осуществлению уникальной философской стратегии - стратегии провокации.

Не подтверждает ли это вся практика ницшевского самоименования? Кто субъект провокации: Фридрих Ницше или имена богов, все имена истории? Угнетающий читателя повтор самоименований Ницше, подобных боевым кличам, которые так часто встречаются на страницах "Веселой науки" и более поздних произведений, подчас кажется, если оставаться в плену провокационной грамматики, почти безумной эгоцентрикой. Например, такие именованья: "мы-грядущие", "мы-безродные", "мы-бесстрашные" и т. п.; "я есть антихрист", "я есть имморалист", "я есть декадент", "я есть анархист" и т. п. Все это элементы коммуникативной стратегии. Умножая себя в именах мифа и истории, Ницше создает не просто вербальный мираж из этих бесконечных "мы есть...", "я есть...", но вводит в текст мнимого субъекта провокации. Свое положение в культуре он определяет через приставку вызова - "анти", так или иначе сопровождающей всякое речевое воплощение провокативного действия: она - знак начала провокации. Вместо трагедии начинается... провокация. Иначе говоря, называть себя "Антихристом" - это не значит обладать пускай единственным в своем роде, но только одним опытом отрицания, а, по крайней мере, двумя: быть Христом и Антихристом одновременно.

"Этот двойной ряд опытов, - объясняет Ницше, - эта доступность к раздельно являющимся мирам повторяется в моей природе во всяком отношении, - я двойник, я обладаю также еще "вторым" лицом поверх первого. И возможно также еще третьим..."

- Ну, и зачем ты мне все это говоришь? - с некоторой надменностью спросила Агнесса и повернулась к стене.

Оказывается, они лежали на широкой кровати в маленькой комнате Агнессы, и Сигалко видел перед собой роскошные огромные ляжки мраморного цвета с тонкими голубыми прожилками. Столб был на месте. Власов не качался, но как-то отчаянно зевал, подвывая. А ему в глаза смотрели круглые зеленые глаза Агнессы.

Так как Сигалко был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему Уваров, художник, не только не сопровождает Агнессу теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?

- Потому что он подлец, - странно ответила она Сигалко.

Сигалко никогда еще не слышал от нее такого отзыва об Уварове и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.

От фонтана приятно веяло прохладой. По радио ВДНХ передавали песни в исполнении Кобзона:

Надежда - мой компас земной,
А удача - награда за сме-элость...

- А заметил ли ты, что он сегодня не в ладах с Альховским? - поинтересовался Сигалко.

Агнесса крошила кекс голубям, которых слетелось к их ногам до полусотни. Сигалко плескал им из пластмассового стаканчика сухое вино. Голуби пили. Один голубь, посмелее, сел рядом и спросил:

- Старик, я никак не пойму, почему Ницше именовал себя по-разному?

Сигалко поднял палец, призывая к вниманию и молчанию голубя, и выпил. Ему показалось, что то был коньяк. Да так оно и было. Потому что Сигалко уже сидел во дворе на Покровке с каким-то человеком в кепке и сильно небритым.

- Пойми, - сказал ему Сигалко.

В кепке прервал:

МАСКИ НИЦШЕ

- Нет, родной, так не пойдет. Сам выпил, а мне?

Сигалко пробулькал какой-то огромной бутылкой с чем-то. Кепка залпом выпила.

А Сигалко продолжил:

- Однако можно впасть в ошибку, если признать в этой смелости ницшевских масок дурную бесконечность маскарада сознания, поскольку маскарад бесконечен, то Ницше всегда - "третий": ни то, ни другое, ни это, но проскальзывающий между навязываемыми ему различиями. Парадоксальная сила ницшевского вызова заключается в том, что для того, кто спровоцирован (безразлично, в какой степени он осознает подлинные цели провокации), не может открыться истинное имя провокатора. В таких сложно построенных сообщениях, какими являются книги Ницше, намеренно нарушена граница, отделяющая сакральное от профанного в культуре (т. е. спутаны все присущие данной культуре оппозиции и типы ориентации) и тем самым подготовлены условия для результативного провоцирования того, кто обладает знанием границ и всеми связанными с этим знанием ценностными рядами. Заставить читателя пережить отрицание сакрального в собственном языке и, следовательно, возвысить обыденное до судьбы сакрального, причем пережить это возвышение с той полнотой ответственности, к которой не призван провокатор. Ницше освобождает языковую провокацию от прямой отнесенности к субъекту провокации, хотя сам не перестает разыгрывать комедию именования. Эта двупоименованность Ницше (моралист-иммориалист, Дионис-Распятый, Христос-Антихрист и т. д.) противостоит всякому действительному именованию. Нарушается освященный западной культурной традицией ритуал присвоения собственного имени (имени от Бога и отца). Именуя себя, Ницше как бы предупреждает: тот, кто так неустанно именуется, именуется потому, что желает остаться безымянным. Противоборствуя именованию себя извне, именовать себя изнутри, быть своею собственной судьбой.

Тем временем на сцену вернули фонтан и Агнессу в мехах с голым животом. В 40-50 годах были сооружены фонтаны на площади Арбатской, площади Пушкина, Болотной площади (бывшей площади Репина), в парке культуры и отдыха "Сокольники" и другие. К сожалению, фонтан на площади Арбатской

не сохранился. По вечерам возле фонтана на Пушкинской площади собирается много людей, чтобы отдохнуть от дневной суеты.

- Тебе хочется знать, в чем дело, - сухо и раздражительно отвечала Агнесса. - Ты знаешь, что Альховский пробил ему госфинансирование.

- А, так это действительно правда? Я слышал, но не знал, что это он, - сказал, разводя руки в стороны, Сигалко, поморщился и сплюнул в сторону фонтана. Водные струи золотились на солнце.

- А то кто же? - сказала Агнесса.

- И при этом прощай Наташа Орлова, - заметил Сигалко. - Не будет она тогда с Уваровым! Знаешь ли что: мне кажется, Альховский так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если Орлова его бросит. В его года так влюбляться опасно.

- Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, - задумчиво заметила Агнесса.

- И как это великолепно, - вскричал Сигалко, - грубее нельзя показать, что она согласилась сойтись только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемоний происходило.

- Это все вздор, - сказала Агнесса с отвращением, перебивая Сигалко. - Я, напротив того, удивляюсь, что ты в таком развеселом расположении духа. Чему ты рад? Неужели тому, что мои деньги пропил?

- Зачем ты давала их мне на пропой? Я тебе сказал, что не могу жить без стакана. Я послушаюсь, что бы ты мне ни приказала; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажи, ты очень убита, что потеряла столько денег? Для чего тебе столько? - возбужденно проговорил Сигалко, ероша пятерней волосы, дергая себя за ухо и пристукивая по плечам.

- К чему эти вопросы? - спросила Агнесса.

- Но ведь ты сама обещала мне объяснить... Слушай: я совершенно убежден, что когда брошу пить, то деньги у меня всегда будут. Тогда сколько тебе надо, бери у меня, с некоторой торжественностью сказал Сигалко, сложил победно руки на груди и откинулся к спинке скамьи.

Агнесса сделала презрительную мину.

- Ты не сердись на меня, - продолжал Сигалко, - за такое предложение? Я до того проникнут сознанием того, что я чистый лист пред тобой, то есть в твоих глазах, что тебе можно даже при-

нять от меня и деньги. Подарком от меня тебе нельзя обижаться. Притом же я пропил твои.

Она быстро поглядела на него и, заметив, что он говорит раздражительно и саркастически, опять перебила разговор:

- Тебя не интересуют мои обстоятельства. Если хочешь знать, я просто должна. Деньги взяты мною займы, и я хотела бы их отдать.

- Или потому, что уж слишком верила, что я запущу свой бизнес, - вскричал Сигалко, а глаза его быстро забежали по сторонам. - Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласись сама, что если б он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук.

Агнесса удивилась.

- Как же, - спросила она, - ты сам-то на то же самое надеешься? Две недели назад ты сам мне говорил о том, что вполне уверен в запуске собственного дела, и убеждал меня, чтобы я не смотрела на тебя как на безумного; или ты тогда шутил? Но я помню, ты говорил так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку.

- Это правда, - отвечал Сигалко уже задумчиво, настроение у него менялось ежеминутно. - Я до сих пор вполне уверен, что создам сеть магазинов. Я даже тебе признаюсь, что ты меня теперь навела на вопрос: почему я вместо дела пью, все время пью и закусываю, причем и на улицах, и в ресторанах. Может быть, оттого, что деньги ко мне легко идут? Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну дело, то разбогатею непременно.

- Почему же ты так убежден в этом? - Агнесса подняла на него большие зеленый глаза в опушении длинных черных ресниц.

- Если хочешь знать - не знаю, - как-то глупо пробормотал Сигалко и продолжил: - Я знаю только, что мне надо пока отдохнуть, что это тоже единственный мой исход. Ну, вот потому, может быть, мне и кажется, что потом я непременно пушу свой бизнес.

- Стало быть, тебе тоже слишком надо, если ты фанатически уверен? - высунув кончик языка и облизав пухлые в красной помаде губы, сказала Агнесса.

- Бьюсь об заклад, что ты сомневаешься, что я в состоянии ощущать серьезную надобность? - спросил Сигалко с дрожью в голосе, поднялся со скамейки и опять сел.

- Это мне все равно, - тихо и равнодушно ответила Агнесса. - Если хочешь - да, я сомневаюсь, чтобы тебя мучило что-нибудь серьезно. Ты можешь мучиться, но не серьезно. Ты человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего тебе деньги? Во всех зонах, которые ты мне тогда представил, я ничего не нашла серьезного.

- Кстати, - перебил Сигалко, - ты говорила, что тебе долг нужно отдать. Хорош, значит, долг! Не Альховскому ли?

- Что за вопросы? Ты сегодня особенно резок, - проговорила Агнесса, хлопая ресницами. - Уж не пьян ли ты опять?

- Ты знаешь, что я все себе позволяю говорить, и спрашиваю иногда очень откровенно, - сказал Сигалко. - Повторяю, я твой раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может.

- Все это вздор! И терпеть я не могу этой твоей "рабской" теории, - сказала Агнесса.

- Заметь себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтобы желал быть твоим рабом, а просто - говорю, как о факте, совсем не от меня зависящем, - сказал Сигалко.

- Говори прямо, зачем тебе деньги, на водку? - спросила с раздражением Агнесса.

- А тебе зачем это знать? - спросил Сигалко.

- Как хочешь, - ответила она и гордо повела головой.

- Рабской теории не терпишь, а рабства требуешь: "Отвечать и не рассуждать!" Хорошо, пусть так. Зачем деньги, ты спрашиваешь? Как зачем? Разве можно открыть дело в нашей стране без взятки! - вскрикнул Сигалко и ударил себя ладонью по колену.

- Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие, их желая! Ты ведь тожеходишь до исступления, до фанатизма, сказала Агнесса и добавила: - Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говори без извилин, я так хочу.

Она как будто начинала сердиться, и Сигалко ужасно понравилась, что она так с сердцем допрашивала.

Был создан комплекс фонтанов на ВВЦ (тогда ВДНХ СССР) - "Колос", "Каменный цветок" и крупнейший фонтан "Дружба народов" (1954 год, архитектор К. Т. Топуридзе, Г. Д. Константиновский, скульпторы И. М. Чайков, З. В. Баженова, П. И. Добрынин и другие). Старожилом среди московских фонтанов можно считать знаменитый фонтан "Дружба народов" на ВВЦ. Площадь его бассейна 3700 кв. метров, объем 4000 кв. метров,

фонтан имеет 800 насадок, максимальная высота струй 24 метра, для подсветки используется 525 ламп и прожекторов. Монументальный, как идея торжества социализма, и понятный, как лозунг, он стал одним из символов минувшей эпохи с ее показным блеском и неумолимым требованием всегда оставаться "членом коллектива". Ряд фонтанов оснащен системой цветной подсветки (на площади Пушкина - 3, на Тверской площади - 6 цветов). В 1975-1976 годах фонтан на Болотной площади превращен в первый цветомузыкальный фонтан. Высота струй и их подсветка меняются в такт мелодии музыкального сопровождения. К 850-летию города Москвы фонтанное хозяйство было реконструировано. Наиболее существенные работы были проведены на Пушкинской площади (перенос насосной станции, капитальный ремонт ваз), основательно подновлены фонтаны "Петровский", "Колос". Оригинальные фонтаны были установлены в русле Водоотводного канала в районе так называемого Лужкова моста (от Болотной площади к Лаврушинскому переулку).

- Разумеется, есть цель, - сказал Сигалко, - но я не сумею объяснить - какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для тебя другим человеком, а не рабом.

- Как? как ты этого достигнешь? - спросила Агнесса.

- Как достигну? как, ты даже не понимаешь, как могу я достигнуть, чтобы ты взглянула на меня иначе, как на раба! - твердо отчеканил Сигалко. - Ну, вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений.

- Ты говорил, что тебе это рабство наслаждение. Я так и сама думала, - сказала Агнесса.

- Ты так думала, - вскричал Сигалко с каким-то странным наслаждением. - Ах, как эдакая наивность в тебе хороша! Ну да, да, мне от тебя рабство - наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! - продолжал бредить Сигалко. - Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо... Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне вчера Альховский при тебе за столом наставление давал, как обойти некоторых чиновников. Меня Уваров, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, со своей стороны, может быть, желаю страстно взять Уварова при тебе за нос?

И на самом деле из-за фонтана выплыло огромное, с луну, в складках морщин лицо Уварова. Одно лицо. Без шеи, туловища, рук, ног... Просто выкатилось из-за гранитной чаши фонтана одно лицо, как Колобок. Но Сигалко просто так голыми руками не возьмешь. Он крикнул:

- Ты не Уваров! Ты очередная маска Ницше!

Агнесса в страхе приложила ладонь к губам.

- С кем ты говоришь? - испуганно спросила она.

- Это же Ницше под Уварова работает! - опять вскричал Сигалко, вскочил и заходил вокруг фонтана.

Прохожие остановились, рассматривая одинокого кричащего непонятно что человека. То он обращался к пустой скамейке: "Агнесса", то кидался к струям фонтана с возгласом: "Уваров". Но вот что удивило публику, человек говорил очень складно, несмотря на то, что у него в руке была ополовиненная бутылка водки, а в другой надкусанный, сочащийся бульоном на асфальт чебурек.

Фонтан на границе Александровского сада и Манежной площади, как, впрочем, и вся площадь в целом, - символ "новорусской Москвы", которой хотелось всего и сразу: и национальных традиций, и заграничного лоска, и русского размаха, и европейской сдержанности. Впрочем, и эта эпоха - уже в прошлом. Москва становится действительно европейской столицей - деловой, энергичной, респектабельной, элегантной. И фонтаны теперь заводят соответствующие - небольшие, камерные, изящные и в некотором роде замысловатые, милые уголки в водовороте столичной суеты. В последнее время самыми популярными и наиболее посещаемыми стали фонтанный комплекс "Гейзер" на Манежной площади, который был запущен в 1997 году одновременно с открытием торгового центра.

- И вот мы слышим, как в последних письмах Ницше разыгрывается фарс именованя:

"Я Прадо, я отец Прадо... я также Лессеп... Я Хембидж... Хотя это и неприятно и стесняет мою скромность, мое я - в основе каждого имени истории", - кричал, как Евтушенко с эстрады Лужников, Сигалко. - Что это - свидетельство безумия, которое настагает или уже настигло? Или, быть может, стремление довести эксперимент именованя до конца (даже если уже известна цена, которую придется платить)? Языковая

провокация - уже не только шутовской колпак для корреспондента: безумие шутовства преследует и Ницше, сколько бы он ни старался ограничить его власть над собой сознательным усилием провокатора. До определенного времени особые жизненные обстоятельства и поразительная искусность в языковой игре позволяли ему в самый последний момент разрывать порочный круг - круг маски. Но для того, кто избрал подобную стратегию, угроза исчезновения в маске неустранима, - с безумным видом Сигалко остановился, приложил бутылку к губам, отпил, закусил чебуреком и продолжил: - С большой вероятностью можно было бы предположить, что настанет такой момент в масочном действе, когда исчезнет расстояние, отделяющее сознание маски от самой маски, и там, где было расчетливое действие стратегического плана, скажется "ничто" анонимной субъективности. И такой момент наступает. Чем более Ницше ускользал от безумия, инсценируя его в пространстве афористического письма и маске - имени, тем сильнее вовлекался в его невидимый поток, влекущий к туринской катастрофе. Последняя маска стала маской безумия. Имя - судьбой.

Агнесса повернулась к нему лицом, и ее большая грудь скатилась к ней под мышку, как мешок с сахарным песком.

- Речи молокососа, - спокойно сказала она, глядя Сигалко по голому животу и постепенно переводя руку в более существенное место. - При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит, - сказала Агнесса.

Показался очкастый ассистент Власов из-за мраморной колонны с протянутой рукой. Сигалко дружелюбно передал ему бутылку, а Агнессе сказал:

- Ты говоришь так, как будто букварь читаешь! Ты только предположи, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Ты понимаешь, что так может быть? Да все русские таковы, и знаешь почему: потому что русские слишком богаты и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богаты одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Я теряю всякую

форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю тебе об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь все во мне остановилось. Ты сама знаешь отчего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уже не знаю, что в экономике делается в России. Так как я не имею никакой надежды и в глазах твоих нуль, то и говорю прямо: я только тебя везде вижу, а остальное мне все равно. За что и как я тебя люблю - не знаю. Знаешь ли, что, может быть, ты вовсе не хороша? Представь себе, я даже не знаю, хороша ли ты или нет, даже лицом? Сердце, наверное, у тебя нехорошее, ум неблагородный, это очень может быть.

- Может быть, ты потому и рассчитываешь закупить меня деньгами, - сказала она с улыбкой, поднося к алым губам белое эскимо, купленное Сигалко, - что не веришь в мое благородство?

- Когда я рассчитывал купить тебя деньгами? - вскричал Сигалко.

- Ты зарпортовался и потерял нить. Если не меня купить, то мое уважение ты думаешь купить, - она приоткрыла губы и языком прикоснулась к мороженому, поморщилась от холода, закрыв глаза.

Сигалко, успокаиваясь, сказал:

- Ну, нет, это не совсем так. Я тебе сказал, что мне трудно объясняться. Ты подавляешь меня. Агнесса, не сердись на мою болтовню. Ты понимаешь, почему на меня нельзя сердиться: я просто сумасшедший. А, впрочем, мне все равно, хоть и сердись. Мне стоит вспомнить и вообразить только шум твоего снимаемого платья, и я руки себе искусать готов. И за что ты на меня сердиться? За то, что я называю себя рабом? Пользуйся моим рабством! Знаешь ли ты, что я когда-нибудь тебя убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а - так, просто убью, потому что меня иногда тянет тебя съесть. Ты смеешься...

- Совсем не смеюсь, - продолжая лизать мороженое, сказала она с видимым гневом. - Я приказываю тебе молчать.

Она смотрела на высокие струи фонтана, едва переводя дух от гнева и удовольствия.

Сигалко не знал, хороша ли она была собой, но он всегда любил смотреть, как она лизала что-нибудь, и приоткрыт был рот, го-

товый проглотить самого Сигалко, а потому с удовольствием вызвал ее гнев. Может быть, она замечала это и нарочно сердилась.

Он ей это ненавязчиво высказал.

- Какая грязь! - воскликнула она с лукавым отворачиванием, откинувшись на спину и медленно развела полные ноги.

Сигалко был на вершине блаженства, всматривался в ее круглые зеленые глаза, одновременно входя то ли в них, то ли в нежный заповедник родины человеческой.

- Ты такой настойчивый! - с придыханием сказала Агнесса, обволакивая всего Сигалко телом, как Ницше обволакивал словом.

- Мне все равно, - продолжал Сигалко. - Знаешь ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить тебя, изуродовать, задушить. И что ты думаешь, до этого не дойдет? Ты доведешь меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева твоего? Да что мне твой гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить тебя. Если я тебя когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет; ну так - я себя как можно дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль без тебя ощутить. Знаешь ли ты невероятную вещь: я тебя с каждым днем люблю больше, а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фанатиком? Помнишь, я прошептал тебе, вызванный тобой: скажи слово, и я соскочу в эту бездну. Если б ты сказала это слово, я бы тогда соскочил. Неужели ты не веришь, что я бы соскочил?

- Какая глупая болтовня! - с некоторой надменностью сказала она.

- Мне никакого дела нет до того, глупа ли ты или умна, - вскричал Сигалко. - Я знаю, что при тебе мне надо говорить, говорить, говорить - и я говорю. Я все самолюбие при тебе теряю, и мне все равно.

- Любимый мой! - воскликнула Агнесса, горячо дыша.

- Любимая моя, - сказал он, и отвалился на бок.

- К чему мне заставлять тебя? - сказала она сухо и как-то особенно обидно. - Это совершенно для меня бесполезно.

- Великолпно! - вскричал Сигалко, - ты нарочно сказала это великолепное "бесполезно", чтобы меня придавить. Я тебя насквозь вижу. Бесполезно, говоришь ты? Но ведь удовольст-

вие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть - хоть над мухой - ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек - депот от природы и любит быть мучителем. Ты ужасно любишь меня.

Она рассматривала Сигалко с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо его выражало все его бестолковые и нелепые ощущения. Сигалко припоминал теперь, что и действительно у них почти слово в слово так шел тогда разговор, как он у фонтана его воспроизвел.

С другой стороны торгового центра расположен каскадный ручей. Благодаря каменному бордюру, выполненному в старинном стиле, ручей немного погружен в тень и защищен от городского шума. От него веет прохладой. Вода тихо и безмятежно стекает по ступеням ручья плавно перетекая в небольшой водоем, дно которого украшено яркой мозаикой. Также пользуется популярностью у молодежи фонтан-ротонда "Натали и Александр" на площади у Никитских ворот. Этот фонтан напоминает прохожим о том, что недалеко от этого места венчался А. С. Пушкин с Натальей Гончаровой. Всегда "яблоку негде упасть" возле фонтанов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 30 апреля 2003 года был торжественно открыт новый фонтан на площади Европы недалеко от Киевского вокзала (скульптор Церетели). Впрочем, для многих москвичей их немногочисленные фонтаны имеют особый смысл. День, когда их включают (обычно это 30 апреля или 1 мая), давно превратился в маленький городской праздник. Забили фонтаны - значит наступила весна. Даже если по ночам упорно держатся заморозки. Радовать будут фонтаны горожан до 15-19 октября, а фонтан на Болотной площади - до начала ноября, с раннего утра и до поздней ночи. Исключением станут только комплексы на Манежной площади и Поклонной горе, любоваться на них москвичи и гости столицы смогут круглосуточно. Бесконечно длинной полосой протянулись фонтаны на Поклонной горе от стелы в сторону Триумфальной арки.

Глаза Сигалко налились кровью. На окраинах губ запекалась пена. Даже и теперь: если б она тогда приказала ему броситься вниз, он бы бросился! Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на него сказала, - он бы и тогда соскочил!

- Нет, почему ж, я тебе верю, - произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидст-

вом, с таким высокомерием, что, ей-богу, Сигалко мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это Сигалко тоже не солгал, говоря ей.

- Ты не трус? - спросила она его вдруг.

С громким карканьем на бордюру фонтана спланировала ворона, выхватила из рук какого-то зазевавшегося ребенка булку, и с таким же карканьем унеслась за деревья. Ребенок помолчал, подумал, потом закричал: "А-а-а!"

Сигалко его не слушал. То была очередная маска Ницше.

- Не знаю, может быть, и трус. Не знаю... я об этом давно не думал, - сказал Сигалко.

- Если б я сказала тебе: убей этого человека, ты бы убил его? - спросила она, глядя на фонтан.

- Кого? - спросил Сигалко, оглядывая столпившихся прохожих.

- Кого я захочу, - сказала Агнесса.

- Альховского? - спросил Сигалко.

- Не спрашивай, а отвечай, - кого я укажу. Я хочу знать, серьезно ли ты сейчас говорил? - Она так строго и нетерпеливо ждала ответа, что Сигалко как-то странно стало.

- Да скажешь ли ты мне, наконец, что такое здесь происходит! - вскричал Сигалко. - Что ты, боишься, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Потом тут - этот Альховский, со своим таинственным влиянием на тебя и - вот теперь ты мне так серьезно задаешь... такой вопрос. По крайней мере, чтобы я знал; иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или ты стыдишься удостоить меня откровенности? Да разве тебе можно стыдиться меня?

- Я с тобою вовсе не о том говорю. Я тебя спросила и жду ответа, - сказала Агнесса.

- Разумеется, убью, - вскричал Сигалко, - кого ты мне только прикажешь, но разве ты можешь... разве ты это прикажешь?

Он обнял Власова и прошелся с ним до белого мраморного бюста Ленина в тупике станции метро "Комсомольская-кольцевая", говоря ему: "Ты понимаешь, старик, как только я увидел эти песочные дома, так они сразу же все повалились, понимаешь?"

- Понимаю, - сказал Власов, заколебался в воздухе и превратился в Агнессу у фонтана.

- А что ты думаешь, тебя пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесешь ты это? Да нет, где тебе! Ты, пожалуй, и убь-

ешь по приказу, а потом и меня с удовольствием придешь убить за то, что я смела тебя посылать.

Сигалко как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, он и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов; но все-таки она слишком серьезно проговорила. Сигалко все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право над ним, что она соглашается на такую власть над ним и так прямо говорит: "Иди на погибель, а я в стороне останусь". В этих словах было что-то такое циничное и откровенное, что, по-видимому, было уж слишком много. Так, стало быть, как же смотрит она на него после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь этот разговор, но сердце у Сигалко дрогнуло.

Вдруг она захохотала. Они сидели тогда на скамье, пред фонтаном, как на сцене, а люди все шли и шли, все останавливались и останавливались, пока не подкатывал поезд и не увозил их всех куда-то во мрак туннеля.

- Видишь ты эту толстую женщину? - вскричала она. - Это любовница Уварова. Она только три дня как приехала. Видишь ее мужа: длинный, сухой, с палкой в руке. Помнишь, как он третьего дня нас оглядывал? Подойди к ней и скажи ей что-нибудь приятное.

- Зачем? - удивился Сигалко, отталкивая Власова за мраморную колонну.

Как и все остальные фонтаны Москвы, они поражают своим великолепием, а также размером и строгостью. Фонтан оснащен цветной подсветкой, и когда на Москву надвигаются сумерки, все окрашивается в красный цвет. На сегодняшний день в столице насчитывается действующих 25 крупных фонтанов и фонтанных комплексов. С учетом же всех разнокалиберных сооружений в Москве более 200 "водопадов". Причем порядка полусотни из них - бесхозные и разваливающиеся. Сейчас специалисты занимаются "переписью" городских фонтанов и скоро выяснят их истинное число. В будущем все обнаруженные "ничейные" водопады будут отремонтированы и заполнены водой. Москва не перестает поражать горожан своим великолепием.

- Ты клялся, что готов убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Иди без отговорок.

Я хочу посмотреть, как ее муж тебя прибьет палкой, - сказала Агнесса, облизывая губы.

- Ты вызываешь меня; ты думаешь, что я не сделаю? - несколько вспыллил Сигалко.

- Да, вызываю, иди, я так хочу! - твердо сказала Агнесса, упрягая свои груди в колпаки лифчика.

- Ладно, иду, хоть это и дикая фантазия, - сказал Сигалко, вставая с кровати. - Только вот что: чтобы не было неприятности Альховскому, а от него тебе? Ей-богу, я не о себе хлопочу, а о тебе, ну - и о Альховском. И что за фантазия идти оскорблять женщину?

Сигалко надел трусы, собираясь идти к эскалатору.

- Нет, ты только болтун, как я вижу, - сказала она презрительно. - У тебя только глаза кровью налились вчера вечером, - впрочем, может быть, оттого, что ты вина много выпил за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что Альховский рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу да и только! И зачем тебе оскорблять женщину? Скорее тебя прибьют палкой.

Сигалко повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, он не сумел вывернуться, но когда он стал подходить к любовнице Уварова, его самого как будто что-то подзадорило, именно озорство подзадорило. Да и раздражен он был ужасно, точно пьян.

У окошка кассы вокзала толпился народ. Сигалко кого-то оттолкнул и страстно заговорил кассирше:

- Фрагментарность, незаконченность, метафоричность - вот первое, с чем сталкивается читатель при знакомстве с литературными опытами Ницше. Порой они кажутся ему грудой сырых материалов, которые еще должны пройти тщательную авторскую обработку. В действительности, редкое философское сочинение может сравниться с этими книгами по насыщенности культурными и мифическими символами, по количеству сценических представлений и странных персонажей, по свободе, которой обладает язык, принимая на себя личины многих стилей. Да и философские ли они? Всегда на пересечении: еще не литература, театр, или опера, но уже и не научная позитивная философия - явный знак размывания жанров. Как будто налицо свидетельства литературной "сделанности" ницшевской прозы, и они указывают на присутствие формы, которую можно не принимать во внимание при осмыслении идей Ницше в традиционных терминах немецкой классиче-

ской метафизики. Если же нет, если формальные условия создания подобного типа текстов неотделимы от их содержательно-смысловой структуры, что мыслится - оттого, как мыслимое сообщается? - Сигалко на мгновение остановился, оглядывая полукруг зрителей у касс и продолжил речь: - Проблему не разрешить исключением формы. И главным образом потому, что, экспериментируя в области афористического письма, Ницше отказался от использования традиционных коммуникативных средств, он не писал книг, т. е. не стремился создавать корпус текстов, общепринятых в философской традиции, чье содержание могло бы быть сведено к ряду исходных, линейно упорядочивающих мыслительный и литературный материал формальных принципов. Книга как система, книга, подчиненная архитектурному идеалу, была не для Ницше.

И пошел по платформе, не обращая никакого внимания на голых женщин в чернубурках, спускающихся по эскалатору.

ДАСЕЙН

рассказ

Посвящается Славе Лёну,
автору концепции Бронзового века,
сопоставимого по своей значимости
с Золотым (пушкинско-достоевским) и
Серебряным веками русской культуры

Heidegger... Чтобы просвещать могильщика Пашу Горькова из Салтыковки, нужно было сначала взять бутылку и доехать до него на электричке. Так идешь, идешь по скользкой тропинке с лужами вдоль заросшего крапивой и лопухами забора и думаешь о Dasein - то есть о таком термине, который получил наибольшую известность в философском языке XX века благодаря трудам Мартина Хайдеггера... Справа тянется штакетниковый забор, слева догоняет тебя со свистом и металлическим лязгом электричка, на которой Веничка катит со "Слезой комсомолки" в Петушки. Там будут бухать водяру и орать песни, а мы альтернативно выпьем морковного сока за своей счет и обсудим глобальные проблемы. Разумеется, ты идешь по Горьковскому (восточному) направлению.

Потом сворачиваешь у накренившегося телеграфного столба, на котором прибита табличка с черепом и костями, направо в проулок, где слева и справа стоят одноэтажные коричневато-серые бараки, крытые позеленевшим шифером, с широкими окнами. Из форточки одного окна уже кричит, завидев тебя, Горьков, с черными усами, с залысинами, с красным большим носом. Паша Горьков приехал в Салтыковку подработать. Самое кладбище его мало интересовало. Если он оставался по две смены на копке могил, то только для того, чтобы побольше получить.

Подъезжает на каталке красный гроб в белых рюшечках, с гвоздиками и розами. Горьков держит в руках брезентовые лямки, как вожжи, напарник с такими же лялками стоит в ногах. Уверенно опускают гроб в могилу, на дне которой, в глине, стоит вода. Потом острыми, заточенными лопатами проворно засыпают могилу, трамбуют глину, делают изящный холмик и втыкают в землю металлическую табличку с именем усопшего. Один из родственников сует в карман телогрейки Горькова бутылку водки.

Дверь открывает его узкоплечая высокая жена, с огромным животом и мужским лицом, никогда не знавшим косметики. Горьков уже пьян, но не качается, притопывает каблуками, разводит руки в стороны, изображая "цыганочку", танец. Среди тарелок на столе стоит консервная банка с рвано открытой крышкой и с двумя кильками в рыжем соусе на дне. Разумеется, толпятся стаканы, бутылка открывается, стол как бы опоминается. И после того, как выпивается водка, ты и ввинчиваешь традицию термина. Мол, так и так. Кант, Гегель... Was-sein, почти что Василий, и Das-sein, почти что Дасен, который песни пел... В своих лекционных курсах "Введение в феноменологию религии" и "Августин и неоплатонизм" Heidegger осуществляет герменевтическое прочтение христианской веры, модифицируя гуссерлевскую идею о том, что "сущность" сущего не является ни их субстанцией (чтойностью <Dasein>), ни "ценностью" в неокантианском смысле, но тем способом, каким они раскрывают себя в интенциональных структурах. Для Хайдеггера способ раскрытия, "Как" опыта, так же являются определяющими. Он приходит к революционной идее: "...есть предметы, которые человек не имеет, но которые он есть. Такие, Что (Was) которых основывается Что-они-есть (Dass sie sind)..."

На свое пребывание на кладбище Паша Горьков смотрел как на временную повинность. Поскорее отбыть ее, побольше получить денег и уехать. Обстановка, бытовые условия его не занимали. Чисто в бараке или грязно, холодно или тепло - все это не слишком трогало Горькова. Ведь барак - это тоже временное явление, не век же жить в этом бараке!..

Heidegger... Жена, одеревенев от первых смыслов, вдруг вскакивает, падает на колени на крашенный суриком дощатый пол, хватается за стальное кольцо, дергает его, открывая крышку погребца. Снизу тянет земельным холодом. Горьков спрыгивает в черный

провал и достает трехлитровый баллон-банку с солеными огурцами. Горьков мощно работает открывалкой. Металлическая крышка слетает с широкой горловины, катится по столу и падает на пол. Горьков накалывает на вилку большой огурец, достает его из банки, режет на тарелке. Во рту становится прохладно и тесно от крепкого огурца, от привкуса чеснока и укропа. Все это быстренько запивается прозрачной горько-сладкой водкой. Аж, петь хочется. Но бутылка пуста, потому не "Что" ("Was"), и не "то, что" ("Dass"), а "Как" ("Wie") "того-что-предмет-есть" может быть теперь важным и единственно решающим для философии. И вот на это "Как?" ("Wie?") Хайдеггер отвечает: "Da"!

Приходя в барак, Паша Горьков, в спецовке, в грязных сапогах, укладывался на кровать. А когда ему говорили, что это некультурно и вредно для здоровья, Горьков отвечал посвистыванием...

"Dasein" становится тем термином, который наиболее уместно использовать, когда мы говорим о человеке. (Это уже вторая характеристика "человеческого бытия" (Dasein), о которой мы говорим. Именно эта особенность человека наиболее удачно передается переводом "Dasein" термином "бытие-вот" или "вот-бытие".) Первая - что человеческое бытие есть "бытие-в-мире". Третья заключается в том, что человеческое бытие есть "бытие человека". Четвертая: "Dasein" есть не человеческое бытие, но "человеческое существование" [иначе: "человеческое сущее"]. Более обстоятельного рассмотрения требует также пятый "смысл", которым Хайдеггер наделяет свое "Dasein" - присутствие)...

- До чего же страшное приснилось! - говорит Горьков, вскакивая с раскладушки и тряся головой.

- Очень страш-шное? - тянет с дивана мать.

- Понимаешь, во сне облако выпустило какие-то белые завитушки... Сам не пойму, что тут страшного.

- Это - посмертные, да... - охает мать, - это покойник, когда давят его крышкой. Лезет кружевная жижа, выступает по бокам.

- Вспомни, мама. Сама вспомни, как ты несешься в тоннеле, в ушах закладывает, но это нестрашно. Пойми, ты тоже всегда боялась в метро...

Heidegger... Но если Гуссерль предложил Хайдеггеру альтернативу как неокантианству, так и собственному католическому

прошлому Хайдеггера, погружение последнего в протестантскую мысль помогло Хайдеггеру отойти от Гуссерля. Перенятое от Ясперса понятие "ситуации", созвучное киркегоровской "заинтересованности" и опыты с построением феноменологии на основе "фактической жизни" укрепляли Хайдеггера в его недоверии к анонимной интенциональности Гуссерля - прежде всего потому, что та не включала в себя практический мир принятия решений. Хайдеггер же чувствовал, что борьба Лютера против аристотелизма, а также Августина - против неоплатонизма не окончилась, по-прежнему полыхая в современной ему ситуации.

Heidegger... Однако мать не слушает, печально глядит в окно.

А там стоит большой человек, его голова ровень с пятым этажом. Он ломает тополь. Тополь всегда защищал от жары. Южная сторона, все-таки.

- Посмертная сторона. Не смотри на меня так, - просит мама.
- Mamочka, не могу. Не могу не смотреть!
- Паша!

"Dasein" в лекциях 1919-1920 годов в терминологическом смысле не употребляется вообще. Если, далее, он и фигурирует в лекциях летнего семестра 1920 года - как конкретное историческое человеческое бытие, актуальное человеческое бытие - то подразумевается под этим, скорее, "конкретный человек", и "Dasein" может еще переводиться (по традиции его употребления в немецком философском языке) как "существование". Смысл "Dasein" не выделен - проблема истории ведет "просто" к человеку "в его конкретном, индивидуальном человеческом существовании". В противовес разрабатываемой Риккертом и Виндельбантом проблеме "Argion", в рамках которой "конкретный человек кажется исчезающим", Хайдеггер пытается открыть перспективу на "конкретную изначальную экзистенцию", но пока мало что говорит о том, что "экзистенция" приобретет то толкование, которым она известна по "Бытию и времени". "Человеческое существование" (Dasein) не всегда отделяется Хайдеггером от "человеческой жизни" (Leben), и эти выражения часто используются как синонимы. Лишь в 1923 году Хайдеггер окончательно разграничивает термин "Dasein" и понятие "человека". "Dasein" появляется с того времени в его лекциях уже как самостоятельная категория, практически полностью вытесняя "жизнь"...

Мать накрывается одеялом с головой.

- Мама... Я же выучусь, буду работать на железной дороге. Я давно мечтал поездить по нашей стране, посмотреть... Мы будем видеться, потому что поезд будет проходить и через нашу станцию.

- Иди. Езжай. Только не смотри на меня, - глухо доносится с дивана.

- А вот мама. Есть там, в моем сне. Три этажа. На верхнем - меня все время тащат под бензовоз, и я боюсь вымокнуть в этом бензине. А ты как спичка! И еще, еще... Я не могу найти девушку, с которой мы пошли утром гулять. Весь сон не могу найти. А потом падаю вниз, и там мир обычный, и в нем как будто отпустило. Просыпаюсь, а тут опять то же самое. Что я здесь? Я схожу на станцию за билетами?

Heidegger... Каким образом Хайдеггер переходит от "жизни" и "фактической жизни" к "Dasein"? Каков смысл этого изменения терминологии - если оно вообще значительно? Какими обстоятельствами оно сопровождается?.. Прежде необходимы замечания относительно предыстории термина.

- Не бери черные сапоги. Они дырявые.

- Не брать черные? А какие же?

- Прислушайся ко мне.

- Мама. А у меня ночью в голове ревет твоя музыка. Я не могу жить так.

- Не трогай музыку. Дай умереть спокойно.

- Мама, когда мы растопим печку? Я хочу тепла. Я уеду завтра навсегда. Дом останется. Мы будем встречаться. Я буду все время приезжать по выходным.

- Не смотри в окно. Он еще ломает тополь?

После молчания Горьков говорит:

- Это папа там, мама. Мы не живем в городе, мы уехали давно отсюда. Мы... Он пилит сучья на яблоне. Он...

- Отстань!

Heidegger... Первое обстоятельство, определяющее все последующие размышления о том, как следует толковать (а соответственно и переводить) термин Dasein, заключается в следующем: "Dasein" является немецким переводом латинского термина *existentia*. Потому наш перевод "Dasein" на русский язык является - чисто формально - переводом перевода. И является логичным пе-

реводить "Dasein" как "существование". Воспроизведем основную схему, присущую этой традиционной - латиноязычной - средневековой проблематике для того, чтобы последующие рассуждения были более понятны.

- Мне не с кем говорить. Со мной никто не разговаривает. Я сижу около тебя, а ты умираешь, умираешь всю мою молодость.

- Паша...

- Поганая жизнь!..

- Все будет у тебя хорошо. Только не смотри на меня. Не надевай черные сапоги. В них погиб твой дед.

- А под покрывалом умерла моя бабушка. Поэтому, я ложусь на него в свитере, чтобы не чувствовать этого. Подальше!

- Паша. Включи проигрыватель. Включи громко, а сам ступай на улицу. Дай мне послушать.

- Мама.

Одной из центральных проблем средневековой философии являлась проблема различения бытия (esse) и сущего (existentia). Сущность предшествует существованию, в "сущности" любой сотворенной Богом (Йахуем) вещи (а также человека) не заложено необходимости существования. Предикат существования необходимо принадлежит лишь самому Богу (Йахую). Забегая вперед, отметим, что у Хайдеггера в "Бытии и времени", наоборот, "существование" получает преимущество перед "сущностью": "Сущность Dasein, - говорит Хайдеггер, - лежит в его экзистенции". По отношению к человеку это значит: не так обстоит дело, что сначала "есть" некая вневременная "сущность" человека, которая может реализовываться в том или ином конкретно существующем человеке. Наоборот, "сущность" есть именно то, что формируется, становится в существовании, "экзистенции", человека. Казалось бы, это толкование, принадлежащее самому Хайдеггеру, говорит в пользу того, чтобы видеть в хайдеггеровском Dasein именно "существование", которое пока что нет причин считать не совпадающим с "экзистенцией". На первый взгляд, в пользу такого понимания говорит и история вхождения этого термина в немецкий философский язык.

Heidegger... Горьков включает зеленый огонек возле шторы, он даже толком не знает, что написано на пластинке, это давно не важно. Горькову стыдно, он мог бы почаще менять пластинки, или хотя бы переворачивать... Трогается диск, подпружиненная пло-

щадка упруго бьется под пальцами. В доме холодно, давно не топили: маме душно, а печка плохая.

- Давно не топили, - бормочет Горьков. - Холодно.

Но мать не слышит, музыка, поет Джо Дасен, словно стеклянная елка, ворочается посреди комнаты, ударяясь о стены, скобля по половицам, задевая потолок.

"Первоначально этот термин, составленный из "da" и "sein", не является специфически философским термином. Он - субстантивированный инфинитив глагола dasein. Пример того, что в первую очередь речь идет именно о глаголе, дает, кстати, одно выражение Гегеля, которое цитирует Хайдеггер в "Бытии и времени": "существующее понятие" - "der daseiende Begriff". Слово Dasein, появившееся в XVII веке, поначалу означало присутствие (Anwesenheit), и этот смысл, который сохранился и по настоящее время приводится в любом словаре. Однако в XVIII веке оно приобрело также и свое основное - философское - значение. Именно тогда Dasein используется для перевод латинского existentia и французского existence. Это - та эпоха (1650-1750), когда во всей Европе центром дискуссий становится декартово доказательство "бытия Бога" ("existence de Dieu"). Так получается, что термин existentia, берущий свое начало в средневековой схоластике, входит в немецкий философский язык. В 1763 году Кант использует его немецкий эквивалент в названии своей работы "Единственно возможная доказательная основа для демонстрации существования (Dasein) Бога". "Существование Бога", о котором говорит Кант, явно соответствует латинскому выражению existentia Dei, как оно встречается в "Медитациях" (1641) Декарта. Потому является совершенно естественным перевести "Dasein" как "существование", поскольку перевод перевода следует ориентировать на начальный термин в цепочке. Начиная с Канта "Dasein" является привычным эквивалентом "existentia", - точно так же, как немецкое "Wesen" передает латинский термин "essentia". Одним среди бесчисленного количества других примеров является следующий: в выражении Гегеля слово "Dasein" имеет онтологическое значение, которое, как отмечает Хайдеггер, стало классическим или обычным ("gewöhnlich"). Однако сам Хайдеггер использует этот "обычный" смысл не так часто, главным образом, там, где говорит о проблеме идеалистической философии: "существования вещей вне нас".

Именно там Хайдеггер использует "Dasein" в духе традиции, идущей от Канта; "Dasein" означает: "действительное наличное присутствие (Anwesenheit) в мире".

Heidegger... Горьков боком двигается к двери, стараясь не смотреть на маму. Она чувствует, когда в комнате никого нет, и... ждет этого. А потом мама как черепаха вытягивает голову, тянется к колонкам, чтобы лучше слышать.

Heidegger... В огороде отец пилит яблоневые ветви. Яблони замерзли прошлой зимой, но отец упрямо заботится о деревьях, воюет с холодом по-своему, как умеет.

Между тем, в немецком философском языке используется и "онемеченное" латинское слово "Existenz", правда, используется реже, нежели Dasein. Начиная с XIX века "Dasein" постепенно начинает использоваться для обозначения человеческой жизни. Примечательным примером этого является выражение "Борьба за существование" (буквально: "Борьба за жизнь" - "Kampf ums Dasein" (1860), переводящее на немецкий язык выражение Дарвина "struggle for life". В конечном счете, Dasein все чаще обозначает человеческую жизнь, существование (Existenz) человека. На это оказывают влияние такие два философские течения как философия жизни (Дильтей) и экзистенциализм (Киркегор). Как было показано выше, в этом же смысле - "Dasein" как "человеческая жизнь" использует понятие в 1920 года сам Хайдеггер. Даже в 1926 году, в "Бытии и времени", Dasein еще встречается в этом значении (Везин отмечает следующие места "Бытия и времени", важные как примеры традиционного использования термина "Dasein", где Хайдеггер устанавливает связь между "жизнью" (Dasein), человеческим бытием (Dasein) и существованием, экзистенцией (Existenz); у Хайдеггера встречается также: "ins 'Dasein' kommen" - выражение, которое может считаться эквивалентным: "geboren werden, ins Leben kommen" (т.е. быть рожденным, "прийти в жизнь"); Хайдеггер говорит и о "eine Beendigung des Daseins", что можно перевести как "завершение жизни"; аналогично тому: "ins Dasein zurückbringen" = "ins Leben zurtlickrufen". И, наконец, встречается примечательное выражение: "Man sagt ... das Dasein sei zeitlich". Примечательно оно тем, как отмечает Везин, что предоставляет слово Безличности, "людям" и, будучи таковым высказыванием "людей" оно может быть передано "народной мудростью": "жизнь [быстро] проходит".

Heidegger... Горьков стоит и смотрит на яблони, на забор с консервными банками, съеденными при другой жизни, на пруд... Там уже не прячутся лягушки. Они сидят на берегу, как будто им прыгать некуда. Вместо черной воды - блестящая спина гигантского жука-плавунца. Он лежит брюхом на мягком иле, усы само-довольно торчат из воды, а под берегом, в самой земле, страшные челюсти медленно жуют фундамент дома. Иногда жук выбирается из пруда и чуть приподнимает хитиновый панцирь, выпуская белую каемку, как у покойников. Наверное, в плавунце тоже живет кружевное облако мамы.

Итак, вполне можно было бы считать, что традиция использования слова "Dasein" в немецкой культуре, позволяющая переводить его как "существование", остается значимой и для Хайдеггера. Если он все чаще использует этот термин, то, вероятно, это происходит потому, что для него по каким-то причинам оказалось важным сделать акцент на экзистенциальном аспекте "жизни". Логическое продолжение такого намерения можно было бы усмотреть в "экзистенциальной аналитике" Dasein "Бытия и времени", где, как мы уже говорили, Хайдеггер утверждает, что "сущность" человеческого существования заключена в его "экзистенции". Но, как в "Бытии и времени", так и в лекциях 1921-22 годов экзистенция, существование человека, анализ фактичности его бытия в мире не являются главными целями Хайдеггера. Экзистенциальная аналитика Dasein только подготавливает постановку вопроса о смысле бытия. В "Бытии и времени" автор тут же заявляет, что "всякое определенное бытие (So-sein) этого сущего есть первично бытие". Во "Введении к Аристотелю" "бытие" также неотступно сопровождает "Dasein". "Dasein" появляется впервые тогда и там, где Хайдеггер впервые выходит из "жизни" как таковой и ставит вопрос о "подлинном и последнем принципиальном характере" обращения познающего поведения к сущему - который оказывается "бытием, смыслом бытия".

"Нам ничто не поможет", - талдычит Горьков про себя.

Сверху, с яблони, летят опилки и мелкие сучья. Отец увлечен.

- Будет так, как положено, - тихо говорит Горьков, вытаскивая из ящика бутылку и припадая к горлышку. Водка у отца всегда есть, такой же инструмент как молоток, кусачки, или топор с отполированной ручкой.

Heidegger... Водка отпускает что-то внутри. Горьков воровато переливает полбутылки в консервную банку, потом срывает несколько огурцов с грядки...

Итак, вывод, который мы должны сделать: Хайдеггер всерьез порывает с традицией этого термина. Он придает ему новый - онтологический - смысл. Причем, для того, чтобы сделать этот вывод, необязательно ссылаться на "Бытие и время" - это ясно уже из центрального для "Феноменологических интерпретаций к Аристотелю" тезиса: "Жизнь - транзитивна: Dasein = в и через жизнь быть"...

На реке есть место, где никто не увидит.

Там нет даже облаков, потому что смыкаются верхушками ели, растет по сторонам крапива, а если сесть на край обрыва, можно видеть реку и ольховые заросли. Там, в глубине, тропинка на станцию, по ней можно уйти один раз. Один и навсегда. И все для Горькова изменится.

Светит луна...

Итак, именно в лекциях 1921-1922 годов мы находим первое свидетельство того, что "Dasein" превращается у Хайдеггера в самостоятельную категорию. Переход от "размытости" понятия "жизнь" к "определенности" термина "Dasein" не остался незамеченным. Заметно также, что вторая часть лекций об Аристотеле в значительно большей мере, нежели первая, является онтологически ориентированной.

Горьков пьет водку, закусывает огурцами, а потом долго развозит по лицу сырость, трет глаза, вдыхает речной воздух, то ли борясь с опьянением, то ли провоцируя его. Он уже почти научился пить, и хотя полбутылки еще чересчур много, Горьков научится, обязательно. Должен научиться. И никуда он не уедет, потому что некому переворачивать мамини пластинки.

Heidegger... В "дасейн" пьяной раскрасневшейся жене послышалось "давай", она подняла юбку, спустила трусы, обнажив черноволосый треугольник кустарника. Таким образом Хайдеггер переходит от "жизни" и "фактической жизни" к "Dasein". Таков смысл этого изменения терминологии - если оно вообще значительно. Нужна точка, от которой идет расклад. Кто ты сам? Уж от этого нужно идти дальше. Есть пласт, в котором ты живешь. И вокруг тебя то же самое. После жены подходишь к столу, на котором стоят тарелки с солеными огурцами, квашеной капустой и марино-

ДАСЕЙН

ваными помидорами. Наливаешь стакан, принимаешь. Высасываешь помидорку, бросаешь в рот капусточки, берешь огурчик... И ложишься затем не спеша на диван. Ты чувствуешь, как по жилам Дасейн бежит босиком.

Завтра Горьков наточит топор, и каждую ночь будет отрубать от плавунца маленькие кусочки, чтобы топить ими печку.

Heidegger... Когда-нибудь станет тепло.

"Наша улица", № 6-2006

КИТЕЖ - НОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

рассказ

Зина у дома на лавочке рассказывала корреспонденту районной газеты:

- Ох, до чего мне надоели выборы. Дело в том, что мой муж тихий, спокойный коммунист. Но в предвыборное время становится неуправляемым. Он просто преобразается: пристаёт к прохожим в поселке с агитацией, смотрит все новости по всем каналам телевизора, требуя при этом полнейшей тишины в доме. Утром и вечером разносит листовки, в выходные у нас собирается ячейка. Не дом, а какое-то красное подполье.

Корреспондент, молодой вихрастый очкарик, внимательно слушал и записывал все на диктофон. Вдруг Зина споткнулась, погрозила и воскликнула:

- Вон он сам легок на помине!

Из-под горы в соломенной шляпе и с сумкой типа почтальонской наперевес показался Конобеев. Увидев диктофон, сразу же ускорил шаг, сбросил сумку, набитую листовками, и сел между женой и корреспондентом. Жена испуганно вскочила и пошла в дом.

- Итак, какие вопросы поступят? - кашлянув, спросил Конобеев и снял шляпу.

- О предвыборной кампании. Вы сигнализировали, что вас тут зажимают?

- Народ у нас везде зажимают, - сказал Конобеев и протер ладонью потную лысину.

- А если уточнить?

Конобеев скосил глаза на диктофон и быстро, наученным голосом заговорил:

- Настало время повернуться к Европе задом, как в русской сказке избушка поворачивается к лесу. Пора начать тотальную информационную войну против Европы и Америки. Старая, само-

довольная, ганс-христиан-олбрайтовская, кукольная Европа, разумеется, не лес, но должна в конце концов за всю свою евросущность полюбоваться нашим русским огромнейшим задом.

- Не совсем понял? - вставил корреспондент.

- Что мы все на Европу смотрим, когда у нас земли собственные не изучены и не обжиты?! Сказку об избушке на курьих ножках простой народ придумал. А ведь известно, что мнение народное - большая сила. Особенно зад наш русский приятен будет заплесневелому островному Лондону, с которым и воевать-то как-то неприлично, словно бить младенца, сразу на дно морское уйдет от одной межконтинентальной ракеты с более или менее приличным атомным боезарядом. А уж паника-то в Лондоне будет знатная, мол, прячься кто куда может - русские идут! За сербов они ответят! Как в "Слове о полку Игореве" сказано. По Дунаю - наши земли. Мы их вернем себе. Да, мы пойдем и туда и придем.

- И придем, чтобы порядок навести? - уточнил корреспондент.

- Топить, конечно, не будем. А вот вредные производства в Лондоне разместим. Переведем туда нефтеперегонный завод из Нефтекамска. А вся Великобритания будет входить филиалом в Китежский административный округ!

- Что еще за округ?

- Слушайте сюда, не перебивайте. Окно еще туда прорубали! Как там пел Высоцкий: "Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы!" Моя воля - это мысль, переходящая в дело. Вот что мне нравится! И ведь что интересно, ведет себя Англия так же паскудно, как и Америка, поскольку по-настоящему никогда не воевала, и основу Америке дала своим английским корявым языком - пишут одно, читают совершенно другое (ну мы им слоги все пооткрываем и научим читать то, что и как написано). Еще Англия отличается подлостью бить из-за угла. Территория-то с гулькин хвост. Среди вод, конечно, поэтому и храбрые, что кажется, что безнаказанны. Вроде нашего района, а вон на всю Европу! А уж о французах и говорить нечего - месту сборища сексуальных меньшинств, насквозь прогнившему, манекенно-карденному Парижу русские били морду регулярно и в Париж входили беспрепятственно. Наполеон есть выражение насмешки над французами.

- Наполеон - это тот, кого били русские? - попытался пошутить молодой человек, отмахиваясь от комаров.

Но Конобеев так строго посмотрел на него, что корреспондент затих.

- Есть упоение в бою! - грозно сказал Конобеев. - Одни любят распивать кофея на балконе, а другие - гнать неприятеля до Пиренеев и топить этого неприятеля в водах Атлантики. Русский народ очень любит военные забавы. Взять, например, Александра Невского, как он пропагандистов западной версии ближневосточной религии мочил! Или Александра Васильевича Суворова, которого даже в Швейцарии почитают национальным героем и нашему скульптору заказали памятник в честь его побед! Так что настала пора Европою заняться. Хотя они пустятся во все тяжкие, чтобы только не войти во фронтальную битву со сказочным русским народом, который если уж заведется, то разнесет к такой-то матери всю Европу и Америку. Тут уж у нас и Ильи Муромцы появятся, и Алеши Поповичи, и Ерусланы Лазоревичи...

Конобеев сделал паузу, встал и вполголоса запел:

Всего лишь час дают на артобстрел,
Всего лишь час пехоте передышка,
Всего лишь час до самых главных дел,
Кому до ордена, ну, а кому до вышки.

Последнюю строчку и корреспондент подпел, так как любил Высоцкого. А Конобеев опустился на лавку и продолжил свою заготовленную словно для сцены речь:

- И у Ельцина в палатах, и у Клинтона в Белом доме, и в Европе, видимо, все еще живо заблуждение, что их политику поддерживают те в России, кто против коммунистов. Увы! Это уже абсолютно не так. Против этой политики восстает уже Высоцкий из гроба. Восстают русские антикоммунисты и антинатовцы, антиельцинисты и антимонетаристы. Эта политика достала всех. И особенно, конечно, все мы, русские люди, будем рады появлению Ивана-дурака. Ну, без Иванушки-дурачка битва несправедливой выйдет. Именно он, Ванюшка, ведет Россию туда, куда надо. Иван-дурак воплощает русскую особую сказочную стратегию, опирающуюся не на стандартные западные ходы, а на поиск собственных решений, часто противоречащих здравому смыслу, но в конечном счете приносящих успех.

Конобеев вновь встал и пропел:

Считает враг - морально мы слабы.
За ним и лес, и города сожжены...
Вы лучше лес рубите на гробы -
В прорыв идут штрафные батальоны!

- В деньги Россия играть будет с эпилептическим азартом Достоевского! - склонившись к самому диктофону металлически-твердо чеканил Конобеев. - Мы соберем всех русских шулеров для игры с вами на ваших фондовых и прочих биржах! Поэтому ни о каких запретах фондовых рынков в новой России речи быть не может. Да, в навязанной нам христианской цивилизации деньги являются товаром, предметом купли-продажи. Увы, отныне этому не кладется конец, как вы, по-видимому, ожидали, а дается новый импульс. Философия наживы за счет собственного труда в граде Китеже всячески поддерживается. А способов зарабатывать деньги честным трудом остается множество.

- Какие же? - вставил робко молодой человек.

- Главное - качать из Запада информацию и делать ее своею, извлекать пользу для себя при каждой сделке, перегонять все долларовые запасы на строительство Китежа. Европейцы и американцы защищают слабые формы своей жизни военными технологиями. Но техника никогда не покоряла народы. Народ будет покорен обычным русским солдатом со свежей идеей! Теперешний европеец не представляет собою развития к лучшему.

Корреспондент вскинул брови, но вопроса задать не успел, потому что темп Конобеев ускорил:

- Он гораздо ниже человека эпохи Возрождения. Вообще, надо заметить, человек, закованный в какую-либо стареющую идею, боится свежих ветров, строительства, движения, деятельности - в широком смысле слова. Сущность человека слабого (а такова Америка и Европа) - оберегать свое наркотическое спокойствие. Чтобы только никто не помешал ловить ему привычный кайф: жить в своей квартирке, поливать свои цветочки... Но Россия вышла на большую дорогу, и она изменит парадигму жизни на планете! Тут недавно товарищ показал мне видеозапись своего пребывания в Германии, под Дюссельдорфом, у родственников-немцев. Сам он немец из-под Караганды. Показана на экране дачная немецкая местность - участочки по полторы сотки! У

нас про шесть соток говорят, что мало, а там - на полутора сотках - дорожки, бордюрики, цветнички, оранжерейки, фонтанчики, домики, чтобы можно было переночевать! Кукольный театр, да и только! С немецкой аккуратностью и чистотой, которая русским никогда и не снилась, но о которой русские всегда мечтают. Да, вот такой мирок европейцы и американцы хотят сохранять при помощи своих самолетов, авианосцев и ракет. Но они не сохраняют этот мир, потому что и летчики их, и пехотинцы - изнеженные молодые люди, не глотавшие ветров перемен. Биотуалеты они за собой таскают! Какое непонимание жизни, какой самообман! Человек продолжает оставаться животным. Появляется после совокупления мужской и женской особи. Тепличные условия его разлагают и ведут к вырождению. Нужно понять, что кончился не просто XX век.

- Кончились старые иллюзии? - успел вставить паренек.

- Библейская мифология оставляется нами. И назовем мы смело христианство - язычеством.

- Как это?

- Так это! Истинной верой русского народа становятся собственные предания о сказочном граде Китеже, о Садко, о Змее-Горыныче... Но главное - возведение новой столицы - града Китежа. Там будут строиться по новейшим технологиям терема в честь русских истинных богов - Велеса и Дажьбога, свергнутых в свое время изменником русских верований кн. Владимиром-Киевским. То-то хохлы все от москалей хотят отделиться, то-то Гоголь от них ушел в Москву и в Питер! Но прошлого не изменить. Человек - существо впечатлительное, обучаемое. Родился младенец - а мы ему что предложим изучать? Конечно, свою, русскую мифологию, в которой град Китеж, Иванушка-дурачок и Бог Велес - главные персонажи. Эх, и понастроим же мы теремов по всей Руси великой! Американцы могут вложить все свои деньги, конвертированные в русскую твердую валюту, в строительство посольства от реки Чулым на север до Ледовитого океана. У нас места всем хватит. Каждому жителю стран-членов НАТО. За время создания несокрушимого русского государства все страны-члены НАТО произвольно изучат русский язык и будут свободно говорить на нем.

Корреспондент пораженно моргал, бил комаров, переключая диктофон из руки в руку. А от зубов Конобеева слова отскакивали как орехи:

- Так как все деньги мира будут обращаться огромными кругами вокруг Китежа в Средней Сибири, затем в Восточной Сибири и Западной Сибири, то сама собой отпадет необходимость готовить специалистов на английском, французском и др. языках. Русский язык превращается в язык денег. Денежная единица вместо доллара и евро - рус. Русы обоймут Землю и далее будут служить межкосмическим средством платежей. Известно, что никто так не умеет медленно запрягать, как Россия, и никто не умеет так здорово вести затяжные войны, отступая до Таймыра, как Россия. Германия будет нашей пятой колонной, поскольку немцы от русских произошли, только букву "П" спереди прибавили и получилась "Пруссия". Так что немцы всегда братьям по разуму подсобят. И если все же пожалеть старуху-Европу (переименовать ее необходимо, а то что это за ряд выстраивается: Иерусалим, Иероглиф, Иереи, Иеропа, а теперь еще и денежная единица Евро!), не врезать ей из всех нацеленных на нее ракет как следует, то хотя бы из одного безобразия и хулиганства развернуться к ней задом. Ибо всякий народ - тем более титульный русский народ на Земном шаре - вправе сбросить иностранную тиранию. Большого Европа не заслужила, после того, как стала окончательно подстилкой под пластмассовой, стандартизированной Америкой. Отныне управлять миром будет не страна штампованных янок, а Россия, потому что так написано во всех русских книгах, по которым и движется всемирно-космическая история. Потому что Америка - страна без истории, без культуры, развивавшаяся исключительно на бедах других стран. Этому положению вещей Великая Россия кладет конец. Россия желает пострадать за русскую идею, суть которой и есть - управление миром. Вдохнем воздуха Сибири!

- Ну и ну! - воскликнул корреспондент.

- Все завоевания Великой Отечественной войны растоптаны пятой колонной американской цивилизации - псевдодемократами ("дерьмократами" - как их ласково и с истинно русским подтекстом прозвали в народе), лаборантами пустопорожных совковых НИИ, количество которых в СССР невозможно было даже подсчитать; на один процент действительных специалистов в этих "храмах науки" приходилось девяносто девять процентов имитаторов, которых Хрущев совершенно справедливо именовал тунеядцами. Русская душа требует простора! В основной своей массе сотрудники этих учреждений были лишены каких бы то ни было волевых

качеств, способности придумывать что-то новое, не говоря уже о рождении какой-нибудь оригинальной идеи. Русские больше не хотят смотреть в узкое окно на Европу, где постоянно сверлят стены и делают евроремонт! В СССР под абсолютно бездарным руководством КПСС не просто выпестовался этот класс белоручек, но позволил себе, оторвавшись от реальной почвы, считать себя чуть ли не центром вселенной, способным решать задачи любой сложности, в том числе и исторического характера. Я много раз говорил и неустанно повторяю, что массами правит потребительская, животная, самодостаточная всеобщая лень и инерция. Особенно такими массами, как интеллигенция. Здесь, видимо, следует сделать оговорку, поскольку понятия у нас в России часто путаются: народ за интеллигентов держит, в общем-то, чиновников-бюрократов. Но собственно бюрократы и называют себя интеллигентами и в оправдание свое разрабатывают научные теории существования интеллигенции. И вот эти чиновно-ниишно-бюрократические интеллигенты, объединенные под руководством ЦРУ и его информационных органов, таких, как “Голос Америки”, радиостанция “Свобода”, “Би-би-си” и др., выступили не просто против КПСС и СССР, а против русской культуры, русской науки, русского миропорядка, русской государственности. Роль лидера из их среды никто на себя не мог взять, поскольку эти люди могут действовать только в большом, запутанном соподчинении коллективе, разделяя ответственность до полной безответственности. Поэтому им нужен лидер не из их среды, а из противной, то есть так и получилось - лидером стал довольно-таки важный член ЦК КПСС, секретарь сначала Свердловского обкома КПСС, а затем и Московского... Это роковая ошибка Михаил Сергеевича! Ельцин навел ужас на московские райкомы и парткомы. Прокатилась волна самоубийств партийных чиновников. Но мы тогда думали, что так и надо действовать. Ельцин же, оказывается, ничего другого не умеет делать, как издеваться над людьми, бросать их в трудную минуту, увольнять, надсмехаться над общественным мнением, в пьяном угаре подписывать указы о танковых атаках то на Белый дом, то на Чечню.

Из-за угла выглянула Зина и, приложив палец к губам, наметнула как бы, чтобы корреспондент не перебивал вошедшего в раж бывшего преподавателя обществоведения и секретаря парткома сельхозтехникума. Корреспондент едва заметно кивнул, но Коно-

беев перехватил этот взгляд, резко оглянулся, увидел жену и буквально испепелил ее взглядом. Зина тут же исчезла, а Конобеев в ритме пулемета продолжил:

- Одним словом, о таких в народе говорят, что им море по колено. Человек, лишенный всякого мало-мальски исторического мышления, не понимающий, что такое Россия, что такое культура Руси, принялся рубить с плеча по указке из-за океана, сдерживать свою страну от негодования во время нападения НАТО на славянскую Югославию. Известно, что вербовке иностранными разведками легко поддаются люди малообразованные, беспринципные и сильно пьющие. То есть - номенклатура. Этими качествами в полной мере обладал Ельцин. Я не хочу сказать, что его напрямую завербовали агенты ЦРУ, напрямую в наш сложный век с жестокими и холодными сердцами никто уже не действует. Вербовка шла опосредовано не только партократов, но и практически всех мыслящих (не хочу говорить в данном случае "интеллигентов") через антисоветские: литературу, кино, телевидение, театр, и главное через ширпотреб - через всю эту пластмассу-сникерсы-памперсы. Да что там говорить! Все мы хотели избавиться от держиморд, лезших в партию ради шкурных интересов. Но при этом никто и подумать не мог, что это может привести к трагедии, когда к власти придут враги народа в истинном значении этого слова. "Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои и доли со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы..." Кто знал, что голодать и бастовать будут шахтеры, врачи, учителя. Кто знал, что какие-то хмыри приватизируют государственные финансы СССР и станут планомерно уничтожать вооруженные силы, останавливать военное производство, вести информационную войну со своим народом: давить русское сознание голливудскими дешевками - по два-три фильма США в день по каждому каналу! Здесь я имею в виду то, как растоптано величие России (хотя бы чисто географическое - под шумок за десять лет эти интеллигенты сдали ГДР, Венгрию, Польшу и другие страны народной демократии, но что самое горькое - истинную русскую Украину), я безо всякого сожаления отдаю это - интеллигенция - наименование "реформаторам". А, в сущности, еще никаких реформ в России не было. Просто старая номенклатура перешла, не покидая своих роскошных кабинетов, в новую. Как душила власть свой народ, так и продолжает душить. Среднего класса в России нет. Средний

- это тот, которые имеет свой бизнес. Но ельцинисты в 1992 году вытеснили первых кооператоров, захватили собственность и стали проматывать ее. Короче, коммунистическая номенклатура разрослась до невероятных размеров. Настала пора начинать реформы. Гнать в шею всех коммуно-демократов.

- Не понял? Вы же - коммунист!

- Со старым я покончил. Я теперь - основатель новой столицы, как Юрий Долгорукий.

- А-а! - воскликнул, улыбнувшись, корреспондент.

Конобеев, конечно, улыбку зхаметил:

- И нечего улыбаться тут у меня! Бизнес каждый человек должен свободно открывать: зайти в банк и сказать: "Я хочу открыть свой бизнес". Вот и все. А в конце года отослать по почте в налоговую инспекцию декларацию и уплатить приемлемые налоги. Теперь нет наших войск в Европе, зато американских с НАТО выше крыши! Как заболтал нас Горбачев! Мне не нужно называться интеллигентом, поскольку после того, как Россию окончательно сдали Америке, то есть поставили на колени, интеллигентом называться просто позорно. Абсолютным предателем всех великих достижений России стала именно интеллигенция. Особую роль в холодной войне, в которой полную победу одержал класс паразитов, сыграла интеллигенция. Что же такое интеллигенция? Конечно, это типично русское явление, сродни лежанию на печи, щучьему велению, обломовщине. Вы слышали когда-нибудь от кого-нибудь, к примеру, такую фразу: "Я записался на прием к интеллигенту"? Мы можем пойти на прием к врачу, вызвать слесаря, поговорить с монтером, выпить на худой конец даже с поэтом. Но просить встречу с интеллигентом, встречаться с интеллигентом - это уже звучит несколько диковато. И весело. Теперь мне совершенно очевидно, что это словечко - "интеллигенция" и производные от него будут использоваться пишущими и говорящими исключительно с шутейно-презрительной окраской, как золотарь, фальшивомонетчик или аферист. Блестящая трансформация дорогого для многих истинных светлых русских голов термина. Ну что ж, так распорядилось время, против которого даже если и захочешь, все равно не попрешь. Как хочется постоять на набережной великой русской реки Чулым!

- Неплохо бы...

- Волевое начало всегда противостояло бумажно-договорному. Нам долгие годы интеллигенты из ЦК КПСС, КГБ и МВД внушали, что мы должны прийти к созданию правового государства, когда будут править не понятия, не сила, не телефонное право, не круговая порука, а его величество закон, советский причем. Все было отлажено, описано. Кодексы вызывали дрожь у нарушителей правопорядка, у расхитителей социалистической собственности. Особенно у любителей колосков, канцелярских скрепок и кнопок. Таких карали особенно сурово. Но все забывается, даже сама история и роль личности в ней, не говоря уже о безличной человеческой массе, о толпе. Толпа скапливается там, где есть, чем поживиться. Иллюзия зацентрированности мира настолько сильна, что все владельцы БМВ и мерсов хотят непременно въехать в Кремль или, на худой конец припарковаться в Китай-городе. Тяга к центру настолько сильна, что все столицы Европы из космоса выглядят паутинами, где в центре сидит паук. В Кремле, например. Москва абсолютно европейской планировки город и поэтому отживший свое, исчерпавший. В Сибирь - вот наш лозунг! Десять Европ новых поместится в одной Средней Сибири! Вперед и выше! Самые лучшие - это несвоевременные мысли. И вот моя несвоевременная мысль заключается в том, что всем обитателям Кремля и московскому правительству, Россия долго будет кланяться, если они сядут на свои джипы и уедут из Москвы подальше, чтобы начать строить новую столицу, поскольку Москва прогнила, центр не выдерживает ни людского, ни автомобильного напора, в метро давка, автобусы не справляются с грузопотоками. Короче, задыхается Москва. Так что дело за великим решением - взять и поехать в географический центр страны, в Сибирь, добровольно. России нужен новый Петр!

- А вы в Москве давно были? - спросил корреспондент.

- Разве это важно. По телевизру каждый день вижу. А кто в истории попереk шел? Кого с дрожью в голосе поминают иногда ораторы-номенклатурчики. Грозного Ивана, например, или Сталина Иосифа Виссарионовича, или Петра Первого Романова Алексеевича... Жуткие люди! Договора не соблюдали, делали все из самодурства, бумаги в печку швыряли. Можно, конечно, все договора с Америкой, Европой, с МВФ и др. подобными бросить в печку. Заодно сжечь все доллары, дабы предумышленно обрушить рынок этих менеджеров с Бродвея, всех этих "жоржиков" с тонки-

ми усиками. О, Чулым-река! России давно бы не было, если бы ею правили такие типы как Горбачев и Ельцин. Боятся резких движений из-за опасения жертв и поэтому... приносят неисчислимые жертвы, зачастую абсолютно бесполезные, как, например, в Чечне... Американцы же вообще хотят править миром без жертв! С воздуха они точечными ударами будут противника поражать. Эдак они ни одну войну не выиграют. Старшина мне говорил в армии, что меня призвали научить убивать врага, глядя врагу в глаза, а не в деревню за самогоном бегать. Антирусская пропаганда доведена до того, что наши юноши страшатся родной армии, прячутся от нее. Как ужасна жизнь в заранее размеренном варианте и ритме! Но человек этого не понимает и даже не замечает. Миллионы людей-москвичей ложатся в землю на кладбищенских просторах, так и не узнав, что такое настоящая жизнь ради Родины, ради России. Они не вдыхали соленых ветров Тихого океана, они не покоряли вершин Памира, они даже в Карелии не ходили на байдарках по рекам... Одним словом, они Москвы-то как следует не знали. В зоопарке за все 80 лет жизни были один раз, а в Лужниках на стадионе - ни разу! Я это не придумываю, я поражаюсь этому. Ну не желают люди знать своей страны, своего города, своей истории, своей литературы, своего великого и могучего русского языка... Так незаметно исчезают целые народы и цивилизации. Остаются те, где не переводятся герои. Только они спасают свои страны и народы. Ибо в конечном итоге все живое есть результат борьбы. Борьба есть условие жизни. Жизнь умирает, если оканчивается борьба. Ныне не требуются жертвы при закладке новой столицы России. Ныне требуется элементарная воля к повороту всей истории цивилизации.

Коновеев передохнул, надел шляпу, встал и вытянул руки по швам.

- Итак, я выступаю в роли основателя новой столицы России - града Китежа. Мысленно посмотрим на географическую карту Восточного полушария. Океаны, горы, леса, реки. Град Китеж я закладываю на реке Чулым - правом притоке Оби. Китеж встанет на административной границе Томской области и Красноярского края. Неисчерпаемые запасы пресной воды, полезных ископаемых, в частности, нефти и угля. Выделяется столичная Китежская губерния: на востоке по реке Енисей с городом Енисейском; на юго-востоке - входит Ачинск; на западе - города Анжеро-Суд-

женск и Асино; на северо-западе - Белый Яр; на севере - до рек Тым и Сым; на юге - Белогорск. Проводится железная дорога от Енисейска до Асино на Томск. Поскольку в Асино, которое стало городом в 1952 году, есть железнодорожная станция. И в Енисейске, основанном давно, предками нашими, первопроходцами Сибири, в 1619 году (до 1676 года - Енисейский острог, центр русской колонизации Восточной Сибири), есть железная дорога - станция Лесосибирск, вернее даже город, образованный из поселков Маклаково и Новомаклаково, пристаней на Енисее. Какой размах России! Новое дыхание, новый воздух! Ну что нам дряхлая Европа! Начинается передислокация России. Град Китеж на Чулыме! Америка не выдержит такого соревнования. Ростропович с белым футляром играет при закладке первого камня! Пугачева за собой привозит сотни тысяч зрителей-тружеников! На первом стадионе играют ЦСКА - "Спартак"! Противоракетная оборона Китежа пойдет по Оби и Енисею. Конечно, и Западное полушарие мы не оставим без внимания. Америку расчленим точечными ударами наших доблестных имени Гагарина и Ивана Кожедуба ВВС с космических станций-авианосцев. Нью-Йорку с его антинациональной сущностью не суждено будет сохраниться. Беженцев будет принимать Куба. На месте уложенного горизонтально города Нью-Йорка будет всемирно-историческая свалка радиоактивных отходов. Но мирные американцы могут не беспокоиться за свою жизнь; всем работы в России хватит. От Китежа будут строиться через каждые сто километров на восток и на запад новые города. Американцы найдут свое место после окончания курсов в механизированных бригадах вместе с российскими интеллигентами. Первым будет пересажен с черной "Волги" на вагонетку большой специалист по рыночной экономике, чернокудрый Борис Немцов. Да именно ему будет доверено строительство первой линии метрополитена от "Сокольников" до "Парка". Так же проходчиками будут с ним трудиться знатоки экономики Чубайс, Гайдар и Ясин. Непременно будет воссоздана пионерская организация имени Ленина. Руководить ею будет комсорг Кириенко, живой такой парнишка, живчик, как говорят в народе. Ему слово - он вам десять! Насчет "Парка" и "Сокольников" в новой столице я не оговорился. Дерзновенная русская мысль не знает пределов. Тем более в эпоху постмодернизма. Цитировать в Китеже будем все излюбленные места олигархов. К примеру, Абрамовича без дела не ос-

тавим: будет класть стены так им любимого Кремля. Но сам Кремль в Китеже будет не в центре, поскольку центра в новой столице России не будет. А будут проспекты, похожие на Невский и Ленинский. И вот, например, с правой стороны подряд идут Кремль, Эрмитаж, Петровский пассаж и ГУМ, а с левой стороны стадион "Торпедо", Музей изящных искусств имени Пушкина, Третьяковская галерея и Государственная Дума. Очень удобно строить. Проекты все имеются. Нет пределов русской мечте, русской идее! О, Чулым-река, о, Китеж-град! - воскликнул Конобеев и передохнул.

Корреспондент неподвижно смотрел на дома поселка, на закорпченную трубу молокозавода. Конобеев нервно постучал ладонью по колену и с новой силой продолжил:

- Теперь, - что касается инженерно-строительной базы. Здесь в первых рядах пойдут московские строители под руководством товарища Ресина, большого специалиста субботних поездок вместе с Лужковым в кепке по новостройкам Москвы. В Китеж он переедет в первых рядах со своим Мосстройэкономбанком и домостроительными комбинатами. Сразу же с ними отбывает скульптор Зураб Церетели для выбора площадок под памятники Петру, Высоцкому, Суворову, Шульженко Клавдии, Ленину, Достоевскому, Сталину, Хрущеву и Чапаеву. По высоте памятники должны превосходить Останкинскую телебашню. Если вдуматься, то станет совершенно очевидным, что 800 лет Москва спала, а построилась в последние 50 лет. Послевоенная Москва кончалась по линии окружной железной дороги. Более или менее заметное строительство началось к концу правления Сталина, в конце сороковых годов. На севере Москвы, в районе Песчаных улиц стали возводиться дома из силикатного кирпича. Прародителем современного же строительства стал, несомненно, Никита Сергеевич Хрущев. Такого подъема жилищного строительства Москва, да и СССР, не знала. Москва сразу же вздохнет свободно после проводов невиданной кавалькады джипов, мерсов и др. транспортных черных средств. Впереди - Ельцин со свитой, за ним - все прочие руководители. И отдельно - спецпредставитель по всем вопросам Черномырдин. О, Николай Васильевич, знал ли ты сих чиновников? Интеллигенция, объединенная в конгресс Филатовым, без руководства не сможет коротать век в Москве, сразу же тронется в новую столицу. В Москве вряд ли можно будет удержать прилич-

ные финансы. Поэтому все, кто за ними гоняются тут же отбудут на освоение новой столицы. Хороши вечера на Чулыме. Река медленно несет свои воды к Оби. Широкая, могучая река Чулым, протяженностью в 1799 км. Для сравнения вспомним длину притока Оки - реки Москвы, на которой более уже 850-ти лет назад основал город Москву Юрий Долгорукий. Итак, длина Москвы-реки 473 км. В среднем течении Чулыма, где я предлагаю заложить новую столицу России, в 17-18 венках жили чулымцы - тюркоязычная территориальная группа, - потомки которых слились с русскими и хакасами. Вампилов был похож на всех сразу и в какой-то мере стал предтечей моих рассуждений о новой столице России. Но он дальше Чулимска не пошел. А взять грандиозный пример президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, перенесшего столицу из Алма-Аты в Астану. Меня этот человек покорила своим умом, своей смелостью. Откровенно, я бы сейчас, когда у нас у власти случайные слабовольные чиновники, предложил ему поуправлять Россией, и именно в период ее мощнейшей передислокации на восток. А пример задыхавшегося Рио-де-Жанейро в Бразилии? При закладке города необходима повседневная пропагандистская работа таких ярких лекторов как Григорий Явлинский. Без накомарника он будет вещать с импровизированной таежной трибуны о том, как все тут неправильно работают, а он знает, как правильно работать, но не может показать, потому что Элла Памфилова мешает выкриками с места во время обеда (напомню, что Элла Памфилова исполняет роль актрисы Румянцевой Надежды в фильме "Девчата"). В Москве же останутся жить те, кому наплевать на доллары и фунты, на рубли и евро. Москва станет городом художников и поэтов, очень тихим городом. И интервалы движения поездов в метро увеличатся до десяти минут. Но и тогда в каждом вагоне будет не больше десяти человек. Все будут в Москве знать друг друга, приветливо здороваться и ходить друг к другу в гости. Зато как заработает БАМ! Еще бы! В центр мира будут стремиться все страны и народы со своими товарами. Россия создаст абсолютно новый миропорядок. В Китеже расположатся представительства стран, участниц блока Восточного полушария: Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, Японии, Индонезии, Австралии, всех стран Африки, а также Европы... Америка же превратится в исключительный производственный придаток России. Штаты станут самостоятельными государствами. Особое

предпочтение мы отдадим государству Техас - передовому производителю животноводческой продукции. Колхозы и совхозы тexasщины проведут народы бывших США через социалистический период развития. Аляска переходит в Россию. Канада прекращает существование, поскольку делится на множество, как и США, самостоятельных государств (как того желают англичане и французы). Но главные задачи впереди. В Китеже через каждый дом будет строиться дом родильный. Бесплатно будут предоставляться пятикомнатные квартиры со всеми удобствами тем семьям, в которых собственными силами произведено не менее пяти детей. Рождаемость будет стимулироваться всеми доступными средствами. На каждого ребенка дополнительно будет выдаваться пособие по 100 русов в месяц (1000 бывших долларов США). Чтобы денег постоянно хватало, будут построены гознаковские полиграфкомбинаты в каждом районе Китежа. За ближайшие сто лет мы доведем русское население России до 1 миллиарда человек! Мы наводним своими деньгами русами весь мир. Китеж, чудесным образом спасшийся от Батыя, вновь засияет в веках!

Конобеев тяжело выдохнул и сел. Корреспондент выключил диктофон. Из открытого окна донеслись звуки программы "Время". Конобеев вскочил и помчался в дом к телевизору.

КАНАЛЫ И ШЛЮЗЫ

рассказ

1.

на белой скатерти лежал красный помидор жизнь без начала и конца и стояла откупоренная запотевшая бутылка водки почти сразу же за коломенским шлюзом идет перервинский шлюз имени ленина построенный одновременно с сооружением канала имени москвы ко мне вчера прибежал взволнованный пьяный подросток и сообщил что она умерла она умерла подумал я что ж надо написать про нее песню или скорее для нее так как писать про кого то или про что то конкретное я не привык я взял гитару и спел нечто нечленораздельное после чего мы побыстрячку выпили гадкого портвейна и поспешили на улицу там уже ждали превосходные витрины и фонари разбив с десяток фонарей и одну превосходную витрину нас всех подстерегает случай я собрался с мыслями это не исчерпывало однако полноты картины дорогин худощавый человек с цыганской гривой и красными глазами стоял у окна выходящего в парк мы все шли и шли по заросшему коноплей и чертополохами над нами сумрак неминучий берегу реки разговаривали впервые за пять лет свободно и не таясь закат светил нам в спину в весеннем воздухе золотились усталые пчелы спешащие домой мы тоже шли домой только где он наш дом москва-река несла свои тяжелые воды мимо чумных деревень пустых почерневших иль ясность божьего лица бараков деревьев выкорчеванных страшным ветром перемен разрушенных железнодорожных мостов туда где тихо догорали останки некогда могучей гэс погребая под тысячетонным слоем пепла точку входа и ошметки андроида река на берегах рек всегда возникали могучие цивилизации кто знает как будет на этот раз ты знаешь но ты художник твердо веруй вот и я тоже ветер насвистывал незатейливую песню вечности и мы могли бы так рука об руку пройти тысячи километров и не важно что все это быть может скоро закончится потонет в пучине самой страшной войны мы счастливы именно здесь и именно сейчас мой мир мир мой до дыр что бы ни случилось я запомню тебя именно

таким в начала и концы ты знай глухо стучали напольные часы больше похожие на шкаф все здесь было тяжелое кресла кровати стулья картины в золотых багетах все носило слишком театральный слишком показной характер дороги еще раз взглянул на письмо никому не были известны лучше чем дорогу отличительные признаки письма придурочного нагромождение деталей тончайший почерк ненужная растянутасть и повторения ничего подобного в данном случае не было короткое деловое напечатанное на компьютере сообщение о том что автор письма столкнулся с несколькими любопытными случаями исчезновения а эти дела как будто бы относятся к области где стерегут нас ад и рай которая интересует дорога изучающего проблемы психоанализа письмо произвело на дорога благоприятное впечатление это благоприятное впечатление сохранилось у него несмотря на легкое удивление и тогда когда подняв глаза он увидел что новиков уже находится в комнате система шлюзов канала им москвы состоит из двенадцати шлюзов шлюзы с номерами от десятого до седьмого регулируют уровни от химкинского водохранилища до оки а с номерами с шестого по первый от того же водохранилища до волги в районе г дубна остальные два шлюза относящиеся к этой системе расположены в угличе и рыбинске процесс прохождения шлюзов шлюзование некоторые называют его шлюзовка не сложен достаточно знать несколько особенностей и порядок действий изложенный ниже уже шестой год право шлюзования в системе канала им москвы требует наличия так называемого шлюзового договора при отсутствии такового шлюзование будет невозможно для заключения шлюзового договора для прохода через шлюзы канала имени москвы необходимо обратиться в фгуп канал имени москвы расположенного по адресу москва улица водников дом один там необходимо обратиться в группу договоров расположенную на первом этаже ком тринадцать приемные дни вторник четверг ранее для маломерных судов договор оформлялся бесплатно вся процедура занимала полчаса с 2005 года шлюзование маломерных судов в канале стало платным с лодок длиной до 10 метров взимается 2500 руб а более 10 метров 5000 руб плата ежегодная дает право шлюзования в течение всего сезона без ограничения количества шлюзовок заплатить деньги непосредственно в управлении кима невозможно сначала придется приехать туда за квитанцией затем пойти оплатить ее в сбербанке а уже потом возвращаться за дого-

вором помимо квитанции имейте с собой судовой билет и паспорт не удивляйтесь названию договора договор о навигационном обслуживании шлюзование как утверждают сотрудники управления канала по-прежнему бесплатное а деньги взимаются за некие дополнительные услуги для нашей же с вами пользы если вы собираетесь попасть на волгу то нужно помнить следующее прохождение шлюзов с шестого по первый лучше начинать утром так как скорость движения вашего судна будет определяться так называемой шлюзовой программой это означает что если ваш катер или яхта начнут шлюзоваться в шестом шлюзе в например в семь часов то в шлюз номер один вы попадете не ранее семи часов вечера это время 12 часов увязано с разрешенной для больших судов скоростью движения по каналу вы конечно можете начать шлюзование и позже однако в этом случае вам придется позаботиться о ночлеге в канале так как ночью маломерные суда не шлюзуют мест удобных для ночевки в канале немного а вставать на якорь в узкости канала на ночь просто опасно самое лучшее это накануне вечером записаться у диспетчера движения на программу шлюзования на утро следующего дня сделать это можно по радиосвязи встав на ночевку вблизи шлюза № 6 в двух километрах от него справа в водохранилище впадает небольшая речушка или по телефону который можно узнать при заключении договора при этом надо сообщить название судна при этом нужно избегать безличных названий как то мотолодка, яхта так как и мотолодок и яхт может шлюзоваться сразу несколько номер шлюзового договора и направление шлюзования вверх или вниз к дубне это вниз можно также сказать название города или водоема от которого вы подходите к шлюзу например иду от москвы иду с рыбинского водохранилища и т д наличие на вашем катере или яхте радиостанции судового диапазона сильно облегчит процедуру шлюзования особенно это касается рыбинского шлюза пришвартоваться чтобы посадить члена экипажа для общения с диспетчером там практически негде если же у вас её все-таки нет попробуйте использовать средства связи больших или маломерных судов с которыми вы собираетесь пройти шлюз при удачном раскладе вам в дальнейшем практически уже не придется договариваться с диспетчером в каждом шлюзе так как вы их будете проходить их каждый раз в установленном порядке разумеется все сказанное относится только к шлюзам от шестого до первого ни в коем случае не нужно пытаться прорваться в шлюз

без разрешения и использовать для этого например высокую корму какого-нибудь сухогруза мало того что вы подвергните себя при этом опасности попадете в непроглядываемую капитаном судна зону и можете быть раздавлены при маневре но и при этом даже при наличии шлюзового договора просто лишитесь права прохождения канала на весь сезон или по крайней мере до пересдачи правил в гимсе методика прохождения системы шлюзов от химок до оки мало отличается от вышеописанной только вниз по москве реке судов ходит значительно меньше а многие из них могут идти вообще только до южного порта и наличие радиосвязи у вас в этом случае еще более актуально теплоходная экскурсия по москве-реке маршрут будет пролегать мимо главного здания московского государственного университета главного здания академии наук рф московского кремля новодевичьего монастыря храма христа спасителя и др рассеянный взгляд дорогина внезапно остановился и сосредоточился словно перед ним стоял подозрительный тип у дорогина был теперь вид человека ввинтившего в глаз сильное увеличительное стекло как булгаков тебе дано бесстрашной мерой на известной фотографии ее тело нашли в трехстах километрах вниз по реке в восемнадцатом году там стояла мощнейшая в мире гЭС плотина осталась молчаливым напоминанием об этом гиганте надо было спешить на опознание в одиннадцать я уже был в морге мертвые улыбались так как им было весело одна она не улыбалась и у меня промелькнула измерить все что видишь ты сумасшедшая надежда а вдруг она жива и правда ее глаза приоткрылись и с эдакой хитрецей она произнесла пойдём куда спросил я а ты как думаешь преимущественно с помощью коры головного мозга съезвил я ну вот поэтому мы и пойдём туда куда пойдём твой взгляд да будет тверд и ясен развалины гиганта московской гЭС москва-река несла свои тяжелые воды о что за дивные места они словно манили нас своей сыростью и холодом мы не сговариваясь подошли к стене и стали слизывать с нее плесень за этим занятием нас и застал новиков улыбка была частично скрыта зарослями широкой и длинной рыжей с проседью бороды дорогин сразу же обратил на него сосредоточенный разоблачающий и испепеляющий взгляд скептического анализа нелепая борода могла принадлежать сотри случайные черты психопату но синие глаза совершенно противоречили бороде они были наполнены тем открытым и дружеским смехом в руках у него была старая книга в порыжевшем переплете

каким гигантским кажется он после пройденных нами старых шлюзов москворецкой системы когда вода высоко поднимет судно в камере этого шлюза мы неожиданно близко увидим новое здание московского университета бетонные устои плотины перервинского гидроузла остаются справа от нас и ты увидишь мир прекрасен и мы можем рассмотреть ее когда выйдем из ворот шлюза на широкий простор преобразенного участка реки вот и рейд столичного южного порта справа тянутся причалы для леса причалы где разгружают песок причалы где высятся горы строительного камня все это доставлено в столицу водным путем судно описывает полукруг пойдём милый нежно взяла меня за руку она ее рука уже успела заметно похолодеть а вместо оторванной начала вырастать новая прости меня я все поняла какая же я была дура ты падонак гавнофф ты подлая ищейка антипоса и я покончу с тобой раз и навсегда пророкотал новиков москва-река несла свои тяжелые воды его носохуй начал на глазах расти пока не отделился от тела и не превратился в диану арбенину та со страшным криком накинулась на меня и принялась молотить меня прикладом снайперской винтовки в то время как безносый клоун яростно мастурбировал я понял что арбенина это всего лишь фантом вызванный мастурбацией новикова и закатив глаза я подбежал к нему и схватил за руки как я и ожидал фантом давно ушедшей из жизни прекрасной неформалки исчез а мерзкий убийца человечества теперь был в моих руках я оторвал ему обе руки потом ноги потом туловище голова его невозмутимо паялилась на меня злыми глазенками и рычала идиот ну и чего ты добился хахаха новиков лишь андроид таких сотни а нахожусь там куда унес ветер всех унесенных ветром поедателей колбасы за два двадцать и выпивателей водки за два восемьдесят семь и управляю этими машинами ты думаешь точка входа одна нет их все больше и больше и скоро мои армии сметут вас с лица земли и мы будем бессмертны оставьте нас в покое слышите вы ублюдки убирайтесь с наших усталых земель орал я глядя в его теперь уже пустые глазницы эх бедная моя девочка ты ни в чем не виновата эта война идет уже четыреста лет и в ней нет ни победивших ни проигравших это не наша с тобой война я ведь и вправду полюбил тебя за те пять лет что мы с тобой знакомы а я тебя еле слышно прошептала она ты попала под чары злого новикова и не хотела причинить нам зло просто так получилось мы только пешки в бесконечной игре двух миров нашего и вашего и вряд

ли нам дано узнать кто нами двигает ты знаешь мне иногда кажется что это один человек одно существо и оно играет само с собой что ж может быть ты и права теперь перед нами шеренга мощных кранов рядом с ними пневматические перегружатели всасывающие пшеницу из трюмов барж и высыпавшие ее в вагоны механизмы южного порта заменяют труд десяти тысяч грузчиков а сам порт по грузообороту вышел на одно из первых мест в стране видны массивные здания механизированных складов все портовые сооружения построены на искусственном грунте намытом способом гидромеханизации в трясины бывшего сукина болота река несколько сужается по обоим берегам тянутся кварталы москвы виден московский речной вокзал девушка с веслом матрос в бескозырке с автоматом девушка с лыжами белые бетонные статуи выкрашенные побелкой на воде железная дорога через улицу солнце отражается в москве-реке на той стороне жилой район коломенское нагатинский затон где даилов работал матросом в южном речном порту прекрасная половина человечества представлена тридцатью четырьмя женщинами независимо от занимаемой должности и специальности будь то повар инженер или сторож они вносят в рабочую обстановку своеобразный уют особую душевность и доброту герань на подоконниках веселенькие занавески на камбузе и многие другие маленькие хитрости делают жизнь речников в суровом краю гораздо спокойнее и удобнее мужчины всегда рассчитывают на своих обаятельных коллег и надеются на их поддержку в той важной и непростой работе которая предстоит им впереди поздравляя женщин с прекрасным весенним праздником мужчины дарят им цветы поют песни не скупясь при этом на самые нежные комплименты надо сказать что с самого рождения я не верю в призраки в гномов и прочую нечисть а вот в новикову мы верим все почему никто не задумывался старожилы помнят времена когда его не было и гэс еще давала из последних сил свет и тепло в их ветхие землянки но когда станция поразил ветер перемен новиков призрачный гном навеки поселился в ее стенах вам не стоило этого делать просипел он убирайтесь подобру поздорову ну и хуй с тобой новиков простонала она и мы развернулись к выходу постойте я пошутил воскликнул старик оставайтесь а я вас чайком напою с малиновым вареньем мы решили побыть еще некоторое время и прием оказанный нам был просто чудесен после шашлыка квашеной капусты великолепного само-

гона настоящего на бреденьтраве на чай с вареньем уже не оставалось сил а о плесени которую мы еще час назад так жадно слизывали со стены просто смешно было думать она много нам с новиковом рассказала о себе такого о чем я и не догадывался москва-река несла свои тяжелые воды прежде всего шесть лет назад она решила отправиться в путешествие в по москве-реке к новоспасскому мосту где мы с ней и познакомились для того чтобы рассказать что он не последний как все привыкли думать а предпоследний но потом ей стало нас жалко я ведь так чудно разбивал превосходные витрины а взволнованный пьяный подросток замечательно жарил картошку на костре и она решила унести эту тайну в могилу после того как новиков затеял снести все с лица земли с помощью ветра перемен и надо отдать ему должное почти сумел он пустить свои отряды на поиски выживших страшные одноглазые лысые псы рыскали по улицам погибших городов и задалбывали насмерть своим унылым видом чудом уцелевших граждан за ними шли гиены те пожирали трупов чтоб не пахло выжили только слепые те кому унылый вид псов был по барабану подумать только сто двадцать три тысячи слепых пришли пешком в последний город чтобы на руинах попытаться создать то что в одночасье было разрушено новиковым они принялись ожесточенно размножаться при этом из за слепоты были и курьезные случаи но о них умолчим и вот мы их дети родились мы здоровыми розовощеками карапузами а главное совершенно зрячими слепых родителей как обузу мы сожгли на великом костре света что ж так было нужно для выживания народа в целом вы спросите откуда слепые знали что нужно идти именно в этот город а не в другой правила по пропуску маломерных судов через шлюзы канала имени москвы

2.

Москва-река - левый приток Оки, ее длина достигает 473 километров, площадь бассейна - 17,6 тысячи кв.км. Ее ширина в верховьях (вблизи Оки) колеблется от двух до десяти метров, в пределах Москвы и ниже составляет примерно 100 метров, а глубина не превышает шести метров. В Москву-реку впадают 92 притока, а сами они питаются огромным количеством рек, речек, ручьев,

ключей - к бассейну Москвы-реки примыкают 362 реки и около 550 ручьев.

Москва-река начинается вблизи деревни Старьково Уваровского района как небольшой ручей, в большом болоте, которое называют иногда "Москворецкой лужей". Вероятно, когда-то на его месте было большое ледниковое озеро. Постепенно оно обмелело, заросло мхами и осокой, превратилось в болото, но все же дало жизнь реке. На расстоянии в полкилометра от истока бочагов, окруженных зарослями осоки, становится меньше, появляется русло, река струится, журча, по крупным валунам и несет свои потоки через леса, холмы и болота, обретая полноту и скорость, питаясь водами ручьев и озер, петляет в окружении сосен, берез и елей. Ее берега то круты, то пологи, течение то шумное и быстрое, то медленное, едва заметное.

Ниже впадения реки Песочни Москва течет по широкой равнине, среди пашни. Лесов здесь меньше, но больше затонов и тихих заводей, заросших водными лилиями и кувшинками. Берега, подмытые рекой, с одной стороны - круты и обрывисты, с другой - пологи, с песчаными пляжами и ярко-зелеными лугами. На этом участке в Москву-реку впадают крупные притоки: справа Лусянка и Колоча, слева - Иночь и ниже города Можайска - Искона.

У деревни Марфин Брод в четырех километрах к северо-западу от Можайска, где была сооружена плотина, образовалось Можайское водохранилище (1960-1962). Его площадь составила 31 кв.км, длина - 47 км, наибольшая ширина - 3,5 км.

На участке от Можайска до Звенигорода долина Москвы-реки прорезает толщи известняков. Она менее извилиста здесь, повороты ее часто круты. Между селениями Красный Стан и Нестерово ее берега становятся высокими, обрывистыми. Ниже в Москву-реку впадает самый длинный ее приток - Руза, которая в свою очередь принимает около 30 речек, ручьев и ручейков. Ниже Звенигорода дно Москвы-реки становится более вязким, почвы - глинистыми, склоны долины - положе, повороты - менее круты. На подмываемых рекой высоких берегах часто происходят оползни. Участки суши сползают вниз вместе с травой и кустами. На оползших склонах деревья стоят косо, как бы зависая над рекой, образуя так называемый пьяный лес. На этом участке самым крупным притоком, впадающим в Москву-реку, является живописная река Истра. Ее верховье в 1934 году было перегорожено плотиной. Истрин-

ское водохранилище - одно из самых крупных на территории Московской области. Его площадь равна 3,8 кв.км, длина - 24 км, а глубина достигает 23 м. Оно питает реку, насыщает ее водой.

В пределах столицы Москва-река делает три большие петли вокруг Дорогомилова, Лужников и Замоскворечья. В городской черте в нее впадают Сетунь, Неглинная, с 1819 года заключенная в трубу, Яуза и Пресня. Многие реки Москвы теперь заключены в трубы или засыпаны, и только Яуза, преобразованная и обрамленная каменными набережными, пересекает город.

Ниже столицы долина Москвы-реки извилиста. В 1937 году многие излучины были выпрямлены, и водный путь сильно сократился. В нижнем течении она протекает по древней, доледниковой долине: здесь у нее притоков гораздо меньше, чем в верховьях. Самые крупные из них: Пахра, Северка, Пехорка, Гжелка и Нерская. Москва-река, как и другие реки Московской области, питается озерной, снеговой, дождевой и грунтовой водой. В летописях имеются сведения о наводнениях, но временами Москва-река была столь мелководной, что ее переезжали вброд на лошадях.

В 1836 году для регулирования уровня воды в Москве-реке между Каменным и Крымским мостами была построена Бабьегородская плотина, существовавшая до постройки канала имени Москвы. В 1878 году в низовьях реки было построено шесть плотин со шлюзами для обеспечения судоходства по Москве-реке до впадения ее в Оку. Раньше крупные суда не могли подниматься до Москвы. Перевалка грузов с крупных судов на мелкие производилась в Коломне. Шесть плотин (Перервинская, Бесединская, Андреевская, Софьинская, Фаустовская и Северская) обеспечили свободный проход судов с осадкой в 90 см до самой Москвы. В первой половине XX века плотины были усовершенствованы.

Вся история столицы России тесно связана с Московской-рекой.

По московской земле, через Волоколамск и Рузу, проходила граница расселения славянского племени вятичей. По Москве-реке лежал путь на Новгород и Смоленск, на Волгу и Дон. Из Москвы в Новгород плыли сначала по Москве-реке, потом по рекам Рузе и Озерне. От Озерны перетаскивали лодки волоком до реки Ламы. От волока Дамского (Волоколамска) плыли по рекам Ламе, Шоше, Волге и Творце, потом опять волоком через Вышний Волочек к реке Цне. Передвигались по рекам в те времена в плоскодонных челнах, которые легче было тащить по суше. Другой путь на север шел по

Москве-реке и Истре, затем волоком до реки Сестры, притока Дубны, и по Дубне до Волги. Путь на восток шел через Сходню или через Язу на Учу, приток Клязьмы, затем по Клязьме на восток до Владимира и Волги.

На юг добирались по рекам Оке, Упе и Шати, оттуда - волоком до Иван-озера, из которого вытекает Дон. На Днепр попадали через верховья Москвы-реки по Воре и Угре, затем волоком до реки Вяземы, притока Днепра. Все торговые пути, связывавшие Двину и Неман с Волгой и пути с севера на юг шли через Москву.

По Москве-реке сплавляли лес. В ней ловили рыбу. И хотя ее было немного, окунь, лещ, ерш, налим, жерех, щука, карась, плотва, уклея ловились и в сети, и на удочку. Промысловый лов рыбы ведется в настоящее время только в низовьях реки.

На Москве-реке ставили водяные мельницы. Сила воды использовалась для лесопиления. Кроме того, река всегда была живописной с ее излучинами, равновеликими берегами, разливами, затонами, островками и моховыми кочками. Она была украшением города и единственным источником его водоснабжения. Грунтовые воды на большей части территории города находились на значительной глубине. Колодцы рыть было трудно.

Построенная в XVII веке на Москве-реке водонапорная башня сгорела в 1737 году. В начале XIX века был пущен Мытищинский водопровод. Из ключей вода собиралась в бассейн. Оттуда по самотечному кирпичному каналу текла в Самотецкий пруд. Там ее разбирали водовозы. В канале вода была грязной, потребность в ней продолжала расти, так же, как и опасность эпидемий. В середине XIX века ситуация несколько изменилась, благодаря строительству двух водокачек, подававших воду в город, усовершенствованию Мытищинского водопровода, а в начале XX века - сооружению плотины на Москве-реке, у деревни Рублево - отстойники, фильтры, очищавшие воду, и водопроводная сеть впервые дала городу хорошую воду. Количество потребляемой воды быстро увеличивалось - ненужными стали забытые всеми жителями водовозы.

3.

ответ прост мой отец в свое время построил установку генерирующую зов специальную мыслеволну которая как магнитом притя-

гивала всех мыслящих индивидуумов а раз так спросите вы то как же все таки получилось так что городов оказалось двое что за город из которого прибыла она рассказала мне что не только слепые не боялись занудного вида псов была и другая масса людей которым было нипочем это омерзительное зрелище до них просто не доходило они просто не догоняли они были ебанутые да это объясняет также почему они не пришли на зов ведь он призывал только мыслящих существ а всякие дауны имбецилы и просто тупые с комсомольского проспекта оставались к нему равнодушными и их как мусор к берегу прибило со временем к скале отчаяния на руины города ебанутых как его впоследствии стали величаво величать их дети она утверждала что была из первого поколения детей если почти каждый из нас был зряч то о них я бы не сказал что все были нормальны каждый третий ребенок был помешан нередко были природенные садисты и скотоложцы от природы многие умели взглядом вызывать оргазм чем и пользовались для ограблений одиноких прохожих да она видно и впрямь была из первого поколения новиков заснул и мы осторожно прокрались к выходу из гэс было раннее утро и в свете восходящего солнца я вдруг понял что меня жестоко наебали она былатаки мертва но делала вид что живее всех живых зачем ведь я любил тебя к тому же знаешь ли ты какое наказание ждет того кто похитит труп из морга а в моем случае все так и выглядит о горе мне прости так было нужно мне надо было просто показать тебя одному призрачному гному это какому же можно любопытствовать новикову как будто ты знаешь других призрачных гномов а для чего меня ему показывать я почувствовал что все внутри холодеет ты видел портреты новикова ну да очень старые газетные снимки все такое а что а теперь вспомни как выглядел новиков черт неужели он да новиков и мой хозяин это одно лицо как смела ты предательница ты не понимаешь глупыш те кого унес с лица земли бесследно ветер перемен на самом деле живы умерли мы а они живут в прекрасном большом мире где каждый волен делать все что ему заблагорассудится где нет ни одного уебка где все художники поэты композиторы и скульпторы там нет войны там нет болезней смерти а мы мы жалкие мертвецы техническая ошибка то что нам кажется миром где мы живем на самом деле болото нашего духовного уебанства в котором мы сами себя утопили ты убил своих отца и мать своего генетически уродливого сына который тебе же приходился разве тебе не жалко этих людей тех кто в такой же

тме как и ты разве не хотел бы ты для них лучшей судьбы нежели та которая уготована им отцами выросло новое поколение и оно не в ответе за прегрешения своих предков разве оно не имеет права на счастье да ты ебанутая да я из племени ебанутих и горжусь этим костры горят далекие луна в реке купается а парень с милой девушкой на лавочке прощается глаза у парня ясные как угольки горящие быть может не прекрасные но в общем подходящие девчата голосистые отпели все страдания лишь слышны на скамеечке сердечные вздыхания костры дымят потухшие луна за лес скрывается а парень с милой девушкой никак не распрощается ты все благословишь тогда поняв что жизнь безмерно боле чем quantum satis бренда воли а мир прекрасен как всегда

4.

Продолжительность экскурсии: 4 часа. Экскурсионная программа: 10.00 - Отправление от м. Комсомольская. - набережные Москвы-реки, Крутицы, комплекс "Красные холмы", Новоспасский монастырь, Кривоколенный мост, "Фабрика ангелов", гостиницы "Россия", "Балчуг", "Украина", Бахрушинский дом бесплатных квартир, Лебяжий переулок, фабрика "Красный октябрь", вдовый дом, Пушкинский мост, Мост поцелуев, Андреевский монастырь, Бережки-Дорогомилово, мост "Багратион". 14.00 - Прибытие к м. Комсомольская.

КАЗНЬ

повесть

...И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон!

Осип Мандельштам

1.

В особом отделе гарнизона стоял уже ксерокс. В гарнизоне дислоцировалось двадцать частей разных видов и родов войск, плюс тюрьма. Холманский, с бородкой, в очках-велосипеде из тонкой проволоки, родился в Староконюшенном переулке, с книгой, но долго там не жил, после пятого класса, в 1957 году, родители получили квартиру на Ленинском проспекте, поступал на филфак МГУ, но провалился, и его забрали в армию, попал служить в Мордовию, во внутренние войска, сначала охранял тюрьму, а потом стал гарнизонным библиотекарем. Читал и читал. И там же в армии, в библиотеке, начал заниматься самиздатом. Из Москвы в сколоченных из фанеры посылочных ящиках с едой присылали Замятина и Платонова, Флоренского и Некрасова, Синявского и Ахматову, Мандельштама и Булгакова, Бродского и Солженицына, Розанова и Бердяева... Стоял уже ксерокс в особом отделе. Холманский спокойно с сержантом из Тарту, заядлым читателем, втихаря, копировал любые книги... и переправлял по несколько экземпляров в Москву.

Это сейчас битые бутылки на асфальте и в метро. Раньше этого не было. Но тогда, конечно, вопреки всем уставам армии, и бородка у Николая была, хотя и жидкая, из мягких волосиков, светленьких, не привлекательных, как у нищего с Савеловского вокза-

ла, самого тесного, задрипанного московского вокзала, и книжек навалом, а он не брился. Махнул рукой на него старшина, мол, чего взять с интеллигента московского. Да военврач разрешил не бриться, чтобы болезненную кожу не раздражать. Прыщики красненькие у Холманского все время вскакивали, как блошки.

Редко можно было встретить Холманского прогуливающимся, а часто, если не всегда, видели его сидящим, за столом, с книгой. Нельзя сказать, что он только антисоветчину читал. Нет. Возьмет, к примеру, книгу про подземелья, и сидит читает. Понятно, что сейчас довольно-таки хорошо известно, что подземные ходы в Москве начали строить чуть ли не с самого ее основания. Но настоящие лабиринты и большие тоннели возникли под городом во времена царствования Ивана Грозного. Однако даже сам царь не мог предположить, какие масштабы приобретет его начинание в XX веке! Метро, водостоки и прочие подземные коммуникации - это лишь видимая часть того, что с тех пор построили под столицей. Сегодня подземелье живет своей обособленной жизнью, отторгая законы людей, которые его создали. А тогда Холманский этого не знал и особенно не вникал, ибо перешел из подземелья в Петербург, и надо сказать, что текла его жизнь спокойно и мирно до того момента, когда в один день он был по почти от него не зависевшим обстоятельствам лишен свободы и заключен безвыходно в одинокое жилище, отделенное изнутри толстой, окованною железом дверью и снаружи железною решеткою у окна. Это было в конце апреля, когда начали зеленеть деревья.

Говорил тогда Холманский (голос его - нечто уникальное, - скорее, это следовало бы назвать полным отсутствием голоса, но сиплый клекот - громок и доходит до каждого): "Многие лицезрел я события, совершаемые под звездными небесами, и понял я, что почти все - кружение по кольцевой линии метро и боязнь опоздания! Куда ты торопишься, когда дни твои учтены, и если был день первый, то будет и день последний. Сядешь на станцию "Курская" и выйдешь на "Курской" же. Нет в мире ничего прямого. Все имеет форму круга, восьмерки, знака бесконечности. Стоя на кремлевской стене, говорил я: вот, я возвеличился и приобрел пост генерального императора, и приобрел десять звезд-гербов на погонах, и командовал Москвой, и от Москвы до самых до окраин, но ударил час, и я оказался в подземелье, и те-

перь хожу тут, как бледная тень Иоанна Грозного, читающего книги своей библиотеки и теряющего разум, ибо сказано давно, что во многой мудрости много печали; и кто умножает чтением книг познания, безмерно умножает скорбь”.

Холманский для виду немного поспротивлялся и пошел на встречу нажиму следствия: подтвердил факт своих разговоров с однодельцами. Провокатором и сексотом оказался тот самый сержант из Тарту, заядлый читатель, и он чекистами из дела исключался и, несмотря на старания Холманского, в деле не участвовал. “Органы” своего добились, и следствие в целом было закончено всего за четыре месяца: по тем временам очень быстро. Холманский был уверен в правильности поведения, не испытывал никаких угрызений совести, и клял себя только за то, что допустил возникновение самой ситуации. Со временем Холманский осудил свое поведение и, неоднократно к нему возвращаясь, вынес себе обвинительное заключение.

Смертные грехи Холманского состояли не в том, что он горел ненавистью к бесовскому режиму и потому спорил, возражал, доказывал, а в том, что он не учел искусственно созданной уникальной обстановки, не ограничил себя железным кругом лиц, спянных клятвой верности, а метал бисер перед теми, кто в этом совершенно не нуждался. Холманский ширял по верхам, искал посланцев с Запада, а у себя под боком не удосужился разглядеть катакомбную церковь. В сталинскую эпоху только в тайных, мельчайших ячейках был залог подлинной борьбы и одновременное возрождение людей, создание элиты новых россиян. Микробратства дают верный и надежный способ борьбы с деспотией. Но до этого Холманский додумался много позднее, поняв, что тюрьма - это, по существу, недостаток пространства, возмещенный избытком времени; для заключенного и то и другое ощутимо. Вполне естественно, что именно это соотношение, вторящее положению человека во вселенной, делает заключение всеобъемлющей метафорой христианской метафизики, а заодно и практически повивальной бабкой литературы. Что касается литературы, это в некотором смысле понятно, поскольку литература в первую очередь является переводом метафизических истин на любое данное наречие.

Говорил тогда Холманский: “Поехал я в Архангельск через Вологду, а попал в Ростов-на-Дону через Воронеж. Ибо сказано бы-

ло еще классным руководителем, нечего по свету шляться, сиди на месте и учи уроки. Нет, не хотел учить арифметику, потянуло к географии, а она повсюду круглая, как баранка, и бесконечная, как обручальное кольцо, сковавшее тебя злою женою твоею. Лучше поселись в Москве, городе бесконечном, садись на кольцевую линию, и тогда никогда не попадешь на Красную площадь, вот пойдешь на нее, а придешь все равно на Курский вокзал. Ибо все - толкотня в гардероб, или беготня по эскалатору, а он к смерти везет, стоишь ли, идешь ли или бежишь, а эскалатор жизни, знак бесконечности, все к смерти везет”.

А Русская Правда не знала института смертной казни, который впервые был законодательно закреплен в 1398 году в Двинской уставной грамоте. В ст. 5 этого документа предусматривается назначение смертной казни только в одном случае - за кражу, совершенную в третий раз. Законодатель, устанавливая это суровое наказание за трижды совершенную кражу, скорее всего, исходил из повышенной общественной опасности преступника и реального предположения о возможности совершения кражи и в четвертый раз.

Конечно, тут Холманский задумчиво, в каком-то полусне отрывался от чтения и возводил глаза сквозь просветы в сирени на голубое высокое русско-немецкое небо.

И не замечал, как оказывался за столом, перед раскрытой книгой, на том месте, где подпольщики обследовали подземные сооружения под институтом Склифосовского. Они уже добрались до центрального корпуса, и тут фонарь выхватил из темноты необычные строения. Каково же было удивление подпольщиков, когда выяснилось, что это печи для сжигания останков. Но настоящий шок они испытали, обнаружив у дальней печи букет свежих гвоздик, на которых поблескивали капельки воды. Кто их положил? Человеку неоткуда было прийти сюда. После этого открытия одного подпольщика в полубморочном состоянии пришлось отправить наверх, а остальные осторожно двинулись дальше. Следующей находкой подпольщиков стала груда свежееглоданных костей какого-то крупного животного, скорее всего, коровы. Это обстоятельство еще больше напугало людей. Дальше по мрачному тоннелю они двигались гораздо медленнее и осторожнее.

Да, Холманский помнил тот день: он выбрался через какой-то люк на волю поздно вечером, стемнело, его как будто ждали, сра-

зу грубо, бесцеремонно, даже хамски схватили и против воли повезли от мрачного Цепного моста в холодной, скрипящей, стонущей, как собака, карете. Как челюсти страшного монстра, мосты на широкой и сталисто-холодной Неве были уже разведены, и конвойного времени объезд был чрезмерно, чрезвычайно, даже страшно до боли долгий. Холманский ежился, потому что был в легкой одежде теплого весеннего дня, ему было холодно, жутко и тяжело на душе.

Только в конце четвертого месяца, когда медленное, будто бравшее на измор следствие фактически подошло к концу, Холманскому предъявили вдруг обвинение в измене родине по статье 58-1а. В те предвоенные годы это был самый страшный пункт, сравнимый лишь с обвинениями в терроре и шпионаже: все, осужденные по статье 58-1а, попадали в камеру смертников. Но, как ни странно, когда Холманский расписался под новым обвинением, у него стало легче на душе. Холманский сказал себе: "Ну, что ж, померяемся силами. У родственников об этих вещах допытываться не будут. Это не обвинение в антисоветской агитации. Теперь у меня ни на руках, ни на ногах гири не висят".

Через несколько ночей Холманского вызвали с вещами и куда-то повезли в "черном вороне". Холманский понял сразу, что его перевозят в Лефортовскую, бывшую военно-каторжную, тюрьму, так как тогда в ней велись следствия по самым тяжелым обвинениям. Многих тут же, в подвалах, расстреливали.

Осенний сумрак - ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, господь!

Лефортовская тюрьма была построена сравнительно недавно и напоминала букву "К". На первом этаже, в центре, где скрещиваются коридоры, стоял тюремщик с флажком и регулировал движение арестованных, которых вели на следствие. Надзиратели были подобраны грубые и жестокие. Они всегда не вели, а тащили подсудимого на допрос, хватили его за руку, толкали в спину.

На прогулках их злобные морды были всегда рядом. Многие из них участвовали в расстрелах. Холманского поместили в камеру

на четвертом этаже; под ним был коридор смертников. Как раненый зверь, непрерывно выла там одна женщина. Спать днем не разрешали, за слушание полагался карцер. Допросы происходили только ночью. Неопределенность, зыбкость и паскудство бытия. Свет, тьма, сумрак, великое и ничтожное - смешные понятия, глупость, неуместная здесь. Их просто нет, все они - пустые звуки. Оттенки плаваются, мешаются, проникают один сквозь другой в смутном странном смятении перламутровых переливов наслаждения, знакомого лишь цветам спектра в воображении Холманского.

Люди и без того спали плохо, сверхчутко: каждый думал, что пришли за ним, прислушивался к шагам, шорохам, звукам открываемых дверей. Нередко тюрьма оглашалась криками. Под утро обычно вопил вызванный на расстрел, пока ему не забивали кляп в рот.

Крайне редко, в припадке отчаяния шумел измученный арестант, грозил, что не пойдет больше на допрос, но чаще доносились стенания отправляемых в Сухановскую тюрьму, которая была пределом садизма и издевательства над человеком. В Сухановке вновь прибывшему тотчас заявляли, что правил здесь не существует, - попавший туда принадлежал к категории людей вне закона. И действительно: порции еды были ничтожны; по распоряжению следователя арестанту не давали спать круглые сутки, творили над ним все, что хотели. Обычно быстро можно было сломить даже очень крепкого человека, хотя отправляли в Сухановку на целые полгода.

Один из побывавших там заключенных, хотя его даже и не били, получил на память чахотку и психическое расстройство. С Холманским в камере Лефортово находился бывший красный комиссар гражданской войны, прошедший до этого полгода в Сухановке. Он был полностью сломлен, дал на себя и других совершенно фантастические показания и был уверен, что его расстреляют. Его много раз били резиновыми палками, и он "расколотся", то есть начал давать показания, после того, как подвергся этой процедуре во время приступа печени, о котором, по наивности, сам предупредил следователя, и тот, как стервятник, радостно набросился на свою жертву. Комиссар был необычайно эрудирован, имел феноменальную память, читал наизусть по-французски стихи из сборника "Цветы зла" Бодлера и их русские переводы.

Говорил тогда Холманский: "Служил я в армии, работал на вертолетном заводе, и не было счастья в душе. Другие до сих пор кру-

тятся на вертолетном заводе. Утром идут в метро, а вечером - из метро. Садятся на "Речном вокзале", переходят на "Белорусской", едут до "Краснопресненской"... И так каждый день человеческий, а, значит, и Божий. А потом отвозят их скорбно на Востряковское или Домодедовское или на новое другое кладбище. И зарывают в землю, ибо сказано, что земля состоит из праха человеческого".

Вторым обитателем камеры был вор-профессионал, один из подставных убийц актрисы Зинаиды Райх, жены знаменитого режиссера Мейерхольда, погибшего в заключении. С помощью резиновых палок от него и его двух дружков добились признаний, и они подтвердили свое участие в совершенном преступлении. "Органы" занимались inferнальной деятельностью: чекисты не делали секрета, что сами убили Райх, и, тем не менее, велись "дела", в тюрьмах для уголовников отыскивались подходящие типы, затем их перевозили в Лефортово и выбивали показания. Достаточно было придумать одну шайку, чтобы схоронить концы, но обычно имелись разные варианты убийц, запасные экземпляры. Так было и с убийством Горького: известно, что его отравили чекисты, но десятками исчисляются его врачи-убийцы... А теперь и врачи-убийцы - на том свете, и Сталин - на том свете, и все палачи - на том свете. Короче, и жертвы, и палачи - все на том свете. Если, разумеется, там есть свет.

Сквозь решетку маленького окна Холманский смотрит на черное небо. Внимание приковывает тонкий серп юной луны, он выглядывает из разрыва в тучах - и снова кокетливо кутается в вуаль, подхваченную ветром и оттого слишком символическую, не скрывающую профиля и огромного черного глаза под стрелой надменно приподнятой брови. Решительной и четкой.

2.

Темно-фиолетовый мрак окутал все углы и выпуклости. В сопровождении двух человек Холманский переходил горбатый мостик и за ним низкие своды; потом введен был в коридор полусовершенноосвещенный; в коридоре перед ним отворилась толстая дверь в боковую темную комнату - ему предложили в нее войти: темнота, спертый воздух, неизвестность, куда Холманский вошел, произведе-

ли на него потрясающее впечатление; Холманский попросил свечку, и ему показалось, что Крымский мост встречает его и Петрашевского радостными огнями, а могучий Петр I Зураба Церетели сверлит сердитым взглядом, стоя по колено на своем бронзовом паруснике. Они идут в парк культуры - и Холманский немисливо счастлив оттого, что с Петрашевским все только начинается. И прохладную тишину утра нарушает только сытое каркаенье ворон в поле, голоса да гулкий стук падающих с деревьев яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к реке. Всюду сильно пахнет яблоками, тут - особенно. На террасе стоят раскладушки, на круглом столе - позеленевший самовар, в уголке - посуда. В полдень в саду на керосинке варится яблочное варенье, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. Он оборачивается... со скучающим и равнодушным выражением агатовых глаз, немного отливающих глубоким вишневым багрянцем старого вина.

Такой переход, конечно, может быть осуществлен и без заключения, и, возможно, с большей точностью. Но, в сущности, со времен Понтия Пилата вплоть до наших дней европейская линия с завидной упрямостью опиралась на арест как на способ, ведущий к обязательной исповеди. Теперь искусство и литература, построенные не на европейских, западных, ценностях и традициях, делают все возможное, чтобы поспеть за своей великой старшей сестрой - или, в японском варианте, младшей - в надежде, без колебаний, породить таким образом своих оригинальных Бодлеров и Толстых.

Сказал Холманский тогда: "Нет ничего в мире квадратного или плоского, а если и есть, то это всего лишь видимость, ибо все в этом мире, и все в том мире состоит из знака бесконечности, из круглого и вращающегося. Даже когда труп в земле разлагается, в нем все круглое и все вращается, как эскалатор на станции "Маяковская", новый вход и выход, там даже два эскалатора на разных уровнях, обвивают подземные ходы в библиотеку Иоанна Грозного. Фара - круглая, и шар - круглый. Атом, электрон. Что касается всех вообще, то не касается никого. Толпа на эскалаторе в час пик огромна, а никто никого не знает. Куда вы все едете? - кричу я. Цель ораторского искусства - не истина, а убеждение. Но меня никто не слышит. Расщепление. То есть попросту - шизофрения. Этого для понимания круглости достаточно. Ибо остальное все - бе-

готня по магазинам, беготня из родильного дома через вертолетный завод на кладбище, то есть сплошная беготня”.

Наконец-то принесли свечу, и Холманский обнаружил себя в маленькой, узкой комнате без мебели - у стены стояла кровать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, табуретка и ящик. Затем Холманскому предложено было раздеться совершенно и надеть длинную рубашку из грубого подкладочного холста, и грубые, связанные из овечьей шерсти, почти до колен, носки. Холманскому указали на туфли и на халат из серого сукна. Платье его и все вещи, бывшие на нем, были у него взяты. Оставлена была у него только по его просьбе грубая шинель. Затем зажжена была на окне какая-то светильня, висящая с края глиняного блюдечка; свеча унесена, дверь захлопнулась на ключ, и Холманский остался один в полумраке, в изумлении и в страхе оттого, что с ним случилось. Холманский сидел на кровати, смотря на тяжелую дверь, в которой несколько секунд еще ворочался ключ, запиравший его, потом слышны были шаги уходивших людей и гремевшая связка больших ключей.

Между тем до коридоров под приемным покоем больницы подпольщики добрались без приключений, но, войдя в какое-то помещение, люди окаменели от ужаса: из толщи бетонного свода появились человеческие ноги! Через мгновение из потолка показался и полупрозрачный силуэт человека. Это была женщина. Она умоляюще простерла руки к людям, но тут вдруг какая-то неведомая сила начала втягивать ее в бетонную стену. Подпольщики стояли как парализованные - до тех пор, пока призрак не исчез совсем. Оправившись от шока, подпольщики, не разбирая дороги, бросились прочь из этого места!

Вот, кстати, и дискотека. Прямо на улице, под открытым небом. На асфальтированном пяточке дергалось несколько фигурок, преимущественно девичьих. Широкоплечие тени стояли с краю, курили, отхлебывали пиво и всем видом показывали, что оказались здесь случайно. Увядаящая осень, холодная улица и бесперспективная, чужая танцплощадка - все это смешалось в Холманском в невиданную жгучую смесь. Она прогрызала всю его душу и сочилась наружу, заставляя развернуться и уйти прочь. “Ладно, ничего, - успокаивал Холманский себя. - Ничего, просто время нужно... Сейчас погуляем, привыкнем и все будет...” Петрашевский стоял рядом и грустно смотрел на танцую-

щих. Холманский понимал его хорошо, как никто другой.

Смутное чувство убийственной тоски, мрачные, зловещие предчувствия овладели Холманским - ему казалось, что он стоит на пороге конца своей жизни; несколько минут он был без мысли, как бы ошеломленный ударом по голове. Немного придя в себя, Холманский стал разглядывать обстановку, которая показалась ему какой-то ненастоящей, кукольной, как детский мир поэтессы Нины Красновой, в котором были сделанные ею столики с выдвигаемыми ящичками, в которых лежали кукольные, малюсенькие тетради и книги, стояли маленькие кровати, стулья, на стенах комнат из обувных коробок висели картины, и, разумеется, жили в этих комнатках-коробках сами куколки, тряпочные и пластмассовые, в миниатюрно сшитых платьицах и костюмчиках. "Может быть, я и сам уменьшаюсь, и неотвратимо наступает конец пути?" - в холодном страхе подумал Холманский. Основание, давшее повод к его аресту, было ему известно: он был в то время неоперенный молодой человек, увлекающийся мечтатель, с горячими и несбыточными желаниями, то экзальтированно оживленный, то минорно падающий духом. Но на душе не было не то что угрызения совести, но и не было вообще с его стороны никакого преступления. Идеи убийства, насилия были Холманскому вовсе неизвестны; он взирал на жизнь со своей идеальной точки зрения и вовсе не знал, не умел различать людей, а в размышлениях своих стремился найти истинный путь ко всеобщему благу человечества - но, как государственный преступник, за эти помышления был он обвинен и заключен в каземат.

И вот перед Холманским улица. Обычная улица с обычными домами. Таких сотни в Москве. Но это именно та улица. Та, которую, судя по многому, Холманский будет помнить еще очень долго. Деревья, ларьки, прохожие - все как обычно. Но странное, милое и одновременно дергающее чувство всякий раз вытаскивает эту картину наружу. И вот выплывает асфальт, возникают и смешиваются запахи. Вот тело пронзает тень того испуга и смущения, желание смотреть под ноги. А вот ни с чем не сравнимое ощущение ее удивительно нежной руки, зажатой в его ладони. Неприятное, до страха приятное ощущение.

Сказал Холманский тогда: "Жил человек в Москве девяносто лет, но ни разу не был в Третьяковской галерее. Зачем жил такой человек? Он отработал пятьдесят лет на заводе "Станколит", кото-

рый отливал чушки для танков. Теперь нет ни завода “Станколит”, там на нем сплошная барахолка, один завод “Борец” напротив вместе со своими рабочими и инженерами едет по эскалатору станции “Савеловская” к финишу. Беготня по магазинам, сплошная беготня. И завода “Борец” не будет, потому что сказано, не надо бороться, если тебе дали в лоб, то смиренно подставь затылок, чтобы по нему ударили бейсбольной битой. И не будет “Борца”. Ибо все называют опытом собственные ошибки. И возненавидел я военные заводы, и всякие заводы, потому что противны стали мне танки и рельсы; ибо все - беготня ради куска хлеба! И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под московским небом, потому что должен оставить его человеку, который не учтет мой опыт, а как слепой пойдет на военный завод ради куска хлеба”.

Холманский перешел в мир догадок и предположений, мысли, одна страшнее другой, толпились, как люди перед бесконечным эскалатором метро, различные мысли и чувства: невозможность оправдаться, строгость закона, страх заключения и слухи, распространенные в народе об ужасах жизни в сырых, холодных казематах - все это вместе слилось в томящее душу ощущение, объявшее Холманского внезапно. Он осматривал в потемках жилище, и виденное им поражало его своей мрачной пустотой. Халат на нем был заношенный, местами изорванный, из солдатского серого сукна.

Окно в небольшой камере казалось Холманскому большим. Надев кирзовые тюремные тапочки, Холманский встал с кровати, на которой неудобно было сидеть, - он скатывался с нее. Мысли перебивались в голове; то он осматривал жилище, то стоял вновь в раздумье. Вспомнить страшно двадцатый век, когда аресты литераторов осуществлялись чуть ли не всюду. Вряд ли можно припомнить язык, не говоря уже о государстве (разве что Лихтенштейн?), литераторов которых почти не коснулась подобная практика. Конечно, в одних литературах с подобным обращением с авторами дело поставлено помягче; в прочих - покруче. СССР, вне всякого сомнения и по первому взгляду, перещеголял остальных прочих. Однако, если взглянуть шире, Советский Союз представлял собою очень многолюдное царство. С кончиной марксистско-ленинской монархии ось вращения идеи подавления литературы и культуры сместилась к другим берегам, к другим океанам, дранг

нах остен по Ост-оженке, куда-то в темно-небесную Африку, или в желто-ветренную Азию, или к океану, зовущемуся почему-то Тихим. Но и это почти не убажает душу, ибо перечисленные восточно-южные дали еще больше населены, нежели обжитая Европа, и даже перенаселены, как вагоны метро в Москве в часы пик, особенно на станции “Пролетарская”, где осуществляется переход на станцию “Крестьянская застава”. В глухой подземной паутине Москвы затуманенность географии, по-видимому, жаждет сравняться с российской историей.

Большую часть стены, справа от двери, составляла печь, затапливаемая снаружи - из коридора; вид печи был Холманскому утешителен. Его шинель была единственным остатком от его жизни, кроме его собственного тела. Холманский сбросил с себя на пол грязный халат и надел шинель. Подойдя к окну, он был поражен видом мрачного светильника комнаты: это был какой-то черепок в виде плоски, с края которой висел кончик фитиля; застывшая сальная масса наполняла его. Не зная, куда приютиться, - и в мыслях его, и в жилище его, - он заплакал и стал молиться; несколько минут стоял отрешенно на коленях и горько плакал, опустившись на пол.

Помещение не вентилировалось, и дышалось с трудом. К тому же было просто холодно. На Холманском болталась шинель и серый дырявый халат. Когда он лежал, то под ним простиралось что-то жесткое, неровное, и подушка была нечистая, туго набитая соломой. Полумрак, тишина, но они не располагают к отдыху: измученный тяжелыми впечатлениями того дня, он лежал, не двигаясь, его страшно клонило ко сну, и он засыпал, но вскоре просыпался от большой чувствительности в щеке и в виске, прижатых жесткою, бугристую подушкою; переворачивался на другой бок - и та же самая боль на другой стороне головы по истечении короткого времени пробуждает его снова; он ложится на спину и опять скоро просыпается от боли в затылке. Так, мучаясь, по временам сползая на край кровати, Холманский беспреестанно засыпал крепким сном и опять просыпался, чтобы переменить положение; не раз подкладывал он руки то под голову, то под щеку - так провел он ночь без отдыха, в тревожном сне, с болью головы и лица. Кроме того, он зяб: погода, бывшая теплою, 23 апреля вдруг переменялась в суровую стужу. Но вот рассветает, по временам слышатся какие-то громкие хождения в коридоре за дверью.

Москва-река... Черная прорва, совершенно равнодушная к Холманскому. Но он не будет смотреть на ее противоположный берег, который находится в такой предательской близости. А когда он поднимет глаза, то уже не увидит гранитных берегов. Черным куполом накроет его небо, ярко сияя звездами. А на горизонте оно почти незаметно сольется с таким же черным морем. Днем здесь было светло и просто.

На другой день Холманский увидел при дневном свете свое новое жилище, глазам его предстала стандартная унылая камера: она была узкая, длиной метров в 5 или менее, шириной метра три, с высоким потолком; стены, оштукатуренные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они были повсюду испачканы пальцем человека, не имевшего бумаги для обыкновенного употребления. С одной стороны было окно, очень большое (сравнительно с величиною комнаты), с мелкими клетками стекол, закрашенное все, почти до верхнего ряда, белою пожелтевшею масляною краскою. Верхний ряд стекол один только был не закрашен и оканчивался с правой стороны форточкою величиною с четверть листа писчей бумаги. За окном была железная решетка. С противоположной окну стороны - дверь массивная, окованная железом, и большое грязное зеркало изразцовой печи, затапливаемой снаружи. В комнате, кроме кровати, были столик, табуретка и ящик с крышкой; на подоконнике стоял питьевой бачок и догоревшая уже плшка...

Сказал Холманский тогда: "Слова живут совершенно свободно, как хотят, как облака, как вода, льются-переливаются от человека к человеку, от века к веку, от народа к народу, из книги в книгу, из вечности в вечность. Кто-то пытается управлять словами, давать указания языку. Но это те люди, которые не понимают, кто они, куда и откуда. Они смертны, как мухи, а язык вечен, и он - Бог".

Учиться им было неинтересно. А еще они любили готовить и любили есть персики. А вот кого они совершенно не любили, так это милиционеров. Проблемы семьи их не волновали, а на станции "Римская" они не были.

Думал ли Холманский когда-нибудь, что тюрьма ему будет новым жилищем, вспоминал ли он о тюрьме и суме? Конечно, не вспоминал, поскольку все это происходило как бы не с ним, ирреально. Немного оглядевшись, Холманский залез на подоконник, но при малом его росте не мог достать глазом незакрашенный

верхний ряд стекол, который оканчивался с правой стороны форточкою; Холманский приоткрыл ее; свежий воздух подул на него и ему принес как бы что-то родное. Холманский вдохнул его, упился им полной грудью и еще более почувствовал желание взглянуть в окно, но и, поднявшись на цыпочки сколько было сил, он не мог увидеть ничего; он подскочил - перед глазами его мелькнуло что-то вроде двора. Нельзя ли подставить что-либо под ноги?

Пустоликие длинноногие нимфетки с независимым видом сосали сигареты и скучно поддерживали рассказ Петрашевского о том, как он отдыхал на море.

На подоконнике, куда, проклиная судьбу, влез Холманский, стоял питьевой бачок; на донышке ее было немного воды, Холманскому показалась она чистою, и он выпил ее, потом снова влез на окно, встал на бачок и увидел небольшой мрачный дворик, странной треугольной формы. Против Холманского была массивная, тупая, тоталитарная, крепостная стена, замыкавшая дворик, у самого окна ходил часовой с ружьем. Холманскому и так уже было довольно холодно; всю ночь напролет укрывался он чем мог; погода была свежая, из окна дул ветер, и он скоро промерз, что заставило его спрыгнуть с подоконника.

Новизна новой жизни, приметы ее и предметы - обстановка тупого пространства, не зная стыда, окружавшая Холманского и сильно поразившая его своей неприглядностью, - были только отвлечением от смутных предчувствий и мрачных мыслей, которые преследовали его и ночью в беспрестанно сменявшихся коротких, цветных и черно-белых, как кадры Феллини, сновидениях.

3.

По поводу "страны, где все хорошо" - почитайте его подпись... Холманскому казалось, что она четко выражает его отношение к происходящему. Он пока что не нашел такой страны. Может быть, потому, что у него слишком большие требования. Он постоянно чем-то недоволен, все время ищет что-то лучшее.

Черный ворон на колесах, и карета черный ворон. Возят, возят, забирают, исчезают, завывают. Брали многих. Так с Холманским

одновременно взято было много других, - он видел мельком их почти всех; ему живо представлялась картина ареста: 23 апреля часов около 10 утра в карете он был привезен в III Отделение, что было у Цепного моста; его вели, сильно топя каблуками, по многим комнатам, в которых он видел других арестованных знакомых ему лиц, и между ними стояли часовые с ружьями. В особенности поразила Холманского большая зала своим многолюдством: арестованные стояли кругом, а между ними часовые, слышен был говор и по временам стук приклада о пол при разговоре (так приказано было).

Холманского привели, наконец, в маленькую комнату, где он нашел двух знакомых товарищей. Затем граф Орлов, высокого роста с маленькой головой, бледным лицом, сопровождаемый немногими, обходил все комнаты. Один из чиновников нес за ним список, по которому поименно представляем был ему каждый из арестованных. При представлении ему одного из них - господина Белецкого - он спросил: "Вы - учитель кадетского корпуса?" - и, получив утвердительный ответ, он сказал: "Прекрасный учитель, отведите его в особую комнату". Холманского это поразило, тем более, что Белецкий ни разу, сколько известно, не был на собраниях Петрашевского, и Холманский считал его вовсе непричастным к возникшему делу. (Он и был впоследствии по суду оправдан.)

Вот что тогда произнес в сердцах своих Холманский: "Всеу свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время разбрасывать камни, и время собирать камни... На Земле не было языка. Происхождение языка началось с понятий жизни, то есть отправления биологических надобностей. Страшно подумать, что когда-то не было слов. Никаких. Потом они стали появляться вроде междометий на разные голоса, как и у животных, птиц и рыб. Организация языка началась в Египте. Появились люди, фараоны и жрецы, которые стали фиксировать закономерности функционирования языка. Они догадались, что язык нужно строить по принципу нашей вселенной. В центре, как солнце, палящее, всежигающее одно главное слово - Яхве. По-русски оно всем хорошо известно, но не произносится явно, поскольку состоит из трех букв".

Можно было подумать, что их привели в ресторан, поскольку прямо в III Отделении угощали обедом, чаем и сигарами, но ни-

кому охоты не было вкушать чего-либо. Между прочим, подходили к новичкам служащие в отделении чиновники и, как бы с участием относясь к ним, заявляли, что они состоят на службе в другом отделении, но за недостатком места комнаты их отделения были заняты для помещения арестованных.

Здесь же им стало известно, что список, который носим был при обходе Орловым, начинался словами: “Антонелли Петр Дмитриевич - агент наряженного дела”. Впоследствии, Белецкий, о котором только что было упомянуто, по выходе своем из Петропавловской крепости встретил А... на Адмиралтейском бульваре и, будучи им приветствован как знакомый, по своему горячему характеру вскипев гневом, ударил его в лицо и указал на него прохожим как на доносчика, за что и был вновь арестован и сослан на жительство в Вологду.

Недавно Холманский прочитал книгу Карнеги “Как побороть беспокойство” и слегка изменил свою точку зрения на этот счет... Самая главная мысль, которую Холманский оттуда вынес - это что “наша жизнь определяется тем, как мы к ней относимся - то есть нашим к ней отношением”. То есть важно не только - хорошая или плохая страна, в которой ты живешь, а то, как ты к этому относишься.

Сзади слышны шаги, кто-то идет сзади. И вдруг басовитый приказ: “Гражданин Холманский, вы арестованы!” Вот так, а не иначе, был взят он, и были взяты почти все в пятницу, в ночь с 22 на 23 апреля, сейчас по расхождению с собрания Петрашевского, часу в 4 ночи, когда все уже были по домам и спали; Холманский же не всегда бывал у Петрашевского и в эту пятницу не был, а по весеннему времени ночевал за городом и потому арестован был утром 23 апреля. В этот самый день погода изменилась и сделалась холодной. 23 апреля поздно ночью арестованных отвезли всех в крепость.

То, что происходило этим днем, смешалось в голове Холманского, и он погружен был в свои inferнальные мысли. Многие из взятых, - говорил он сам себе, - будут оправданы и освобождены, но ему не оправдаться: уж слишком много найдется улик, в сущности ничтожных, ничем его не порочащих, но по тогдашним взглядам считавшихся тяжеловесными и вполне достаточными для обвинения его в государственном преступлении. Это было время сороковых годов, когда вполне законными призна-

вались крепостное право, закрытый суд без присяжных, телесное наказание, и всякий разговор об уничтожении рабства и введении лучших порядков считался нарушением основных законов государства.

Погрузившись в глубокие, темные, страшные до дрожи думы, Холманский то нервно дергая руками и постоянно оглядываясь, ходил по камере, то одубело, то есть, как дуб на опушке, стоял, то в отчаянье садился на табурет за стол или на кровать, то подходил к окну или двери, не зная, куда приютиться в новом жилище, а мрачные мысли толпились в голове. “Господи, нет мне спасения, - думал Холманский, - так и многим моим товарищам”.

Все познается в сравнении и зависит оттого, что считать культурным и человеческим (т.е. опять же в нашем отношении).

Русский балет, которым восторгается масса людей (и не только русских), заслуживает похвалы, московские театры иногда для многих “потенциальных” эмигрантов были тем якорем, из-за которого они говорили - “я не могу уехать из Москвы - мне этого будет там не хватать”.

Вот что тогда произнес в сердцах своих Холманский: “От имени бога, состоящего по-русски из трех известных букв, от этого страшного, тайного, дающего жизнь в удовольствии слова, как лучи от солнца, стали разбегаться все слова мира. Всю биологическую массу прямоходящих покрыли слова, созданные в Египте. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, - и Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. На месте Кремля - Курский вокзал. Сядешь на “Курской-кольцевой” и приедешь на “Курскую-кольцевую”. И так - до самого гробового входа. Ибо давно Кувалдин сказал, что нет ничего квадратного и плоского. Все вокруг круглое и бесконечное. А бесконечное - это эскалатор на станции “Курская-кольцевая”. Только встанешь на него - значит, родился, а сошел - стало быть, умер. Царство тебе небесное. А другие все встанут и встают на эскалатор. И нет этому конца. Ибо нужны все новые и новые компьютеры (люди), чтобы читали повесть Кувалдина “Казнь” в назидание себе”.

Горько было за самого себя, но не только, еще горько было Холманскому за других, например, за судьбу двух ему близких друзей, которых он любил и уважал, - это двух братьев Дебу и в

особенности Ипполита Дебу, с которым был очень дружен; затем вспоминались Холманскому и прочие пострадавшие с ним вместе товарищи, и он не мог заглушить в себе досаду на Петрашевского и не упрекнуть его в случившемся с ними несчастье.

В эти темные, серые дни все более возникали в Холманском опасения вверять себя стольким незнакомым лицам, бывшим у него, но все имели же полное право рассчитывать, что Петрашевский, как человек весьма умный, очень осмотрителен в выборе своих посетителей, а между тем вот что случилось. Но, погубив всех их, ведь он и сам погиб, а потому и ставить ему это в вину было со стороны Холманского недостойно и малодушно.

Наверх подпольщики выбрались без приключений - вот только у одного из них лицо было залито кровью: убегая в темноте, он обо что-то сильно ударился головой и содрал на темени кожу. Пострадавшего доставили в приемное отделение и до прихода дежурного врача уложили на кушетку в одной из палат. Тут же стояла каталка с накрытым простыней трупом. Когда пришли санитары и приподняли простыню, Холманский пришел в ужас: это была та самая женщина, призрак которой он видел в подземелье. Из разговора с санитарями выяснилось, что несчастная скончалась от травм полчаса назад - как раз в то время, когда отряд находился внизу. Позднее следствие установило: женщина покончила с собой, бросившись под колеса автомобиля.

Если машина стоит на тротуаре вместо парковки - это культурно и прилично? или привычно?

Холманскому вспомнилось тоже, что Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности Антонелли. На предпоследнем собрании, 15 апреля, он отозвал Холманского в сторону и спросил: "Скажите, вас звал к себе Антонелли?" Холманский ответил, что звал, но он не пойдет, так как его вовсе не знает. "Я и хотел предупредить вас, - сказал Петрашевский, - чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это? Я не имею к нему доверия".

Воспоминания сменялись воспоминаниями, и от них Холманский переходил к мысли о своем настоящем положении: как быть, что делать? Как теперь жить - в сей день - в этом новом жилище? Ужели Холманскому долго придется оставаться в нем? Как скверно, как холодно, как грязно.

Холманский забыл упомянуть при описании комнаты, что в середине двери было маленькое, величиною в четвертую долю листа бумаги отверстие, в которое вставлено было стекло. Снаружи, со стороны коридора, оно было завешено темной тряпкой, которую сторожу можно было поднимать и видеть, что делает арестованный. Холманскому было очень холодно, и он попробовал постучать: послышались шаги, и тряпка сейчас же поднялась; показалось смотрящее на него чье-то лицо. “Чего стучишь?” - спрашивало оно Холманского. “Надо затопить печь, очень холодно, затопите печь”. Ответа не последовало, тряпка опустилась, и все осталось по-прежнему.

Сколько минуло минут или часов, неизвестно, но послышались в коридоре шаги, беготня и звон связки ключей. Холманский слышал, как втыкались в двери других келий ключи, и они отворялись, и шествие это производилось подряд во все отдельные помещения. Вот и до Холманского очень скоро дошла очередь. Ключ вставлен был не вдруг, казалось, ошибкой не тот, потом щелкнула крепкая пружина замка, дверь отворилась настежь; в нее вошел толстый старый генерал в сопровождении двух офицеров и служителей крепости.

- Итак, как дела? Как живете, все ли благополучно? Все ли имете? Я - комендант крепости. (Это был генерал Набоков.)

- Ваш вопрос о делах бестактен, потому что здесь очень холодно, прикажите затопить печь, - нервно ответил Холманский.

Нервозность Холманского подействовала. Сразу же было отдано приказание затопить немедленно печи везде, “чтобы не жаловались более на холод”. С этими словами он вышел со своей свитой, и Холманский остался вновь один, запертый на ключ. Таково было быстрое посещение генерала!

Есть ведь и масса других нужд. Все ли Холманский имеет? У него ничего нет! Ни воды, ни пищи, он не умывался с утра... Но бачок стоит для воды, стало быть, полагается вода и, вероятно, подадут какую-нибудь пищу.

Спустя примерно полчаса раздалась ходьбения с отмыканием дверей; и вот растворилась и дверь Холманского, и в комнату быстрыми шагами вошел солдат с посудой и, поставив ее на стол, ни слова не сказав, поспешно вышел, и дверь захлопнулась на ключ. Наверху посуды лежал большой кусок черного хлеба, а под ним была миска с супом, и в нем лежали куски говядины. Несмотря на

голод, Холманский съел несколько супа и хлеба, до мяса же не прикоснулся. Причина тому отчасти лежала в предыдущей его жизни: уже более трех лет, как он оставил привычку есть мясо, желая по убеждению сделаться вегетарианцем.

Вот что тогда произнес в сердцах своих Холманский: “И сказал я в сердце своем: “праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там”. Нужно помнить постоянно о линейке времени. Вот мы видим “Ноль”, или Зеро, или Херо. Вот и появилось первое слово: “Яхве”, произносимое как “Йаху”, или попросту в три буквы, начиная с “Х”. Основа основ, солнце русской, китайской и всякой другой поэзии. Это было в Египте. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Сказано же - сядешь на “Курской” и приедешь на “Курскую”, как бы ты на Красную площадь ни стремился. Единственно, куда можно отклониться - так это на площадь Борьбы”.

В России есть один большой город (да простит его Питер, о котором он не будет ничего говорить, т. к. не знает), в котором сосредоточены все деньги страны и все основные офисы, а следовательно, и наибольший спрос на услуги и товары. Город, в котором цены на недвижимость растут по 5 процентов в месяц. В котором советский человек без регистрации чувствует себя менее социальным защищенным, нежели находясь в Штатах по рабочей визе.

Учитывая такое особенное отношение Холманского к выбору пицци тюремный обед, поставленный перед ним на стол, пришлось ему очень не по вкусу, но он был голоден, и черный хлеб ему был очень приятен. Через полчаса вновь вошел солдат и за ним дежурный офицер, которого Холманский настойчиво просил приказать подать ему сейчас воды в количестве, достаточном для питья

и для умывания, а также заявил и о необходимой надобности в полотенце. Бачок, стоявший у него на окне пустым, был схвачен служителем и, наполненный водой, принесен назад. Затем без лишних слов все исчезли, приняв остатки обеда, кроме черного хлеба, который был в достаточном количестве и оставлен был у него; затем он снова был накрепко захлопнут. Полотенце было обещано в будущем.

Все ушли, шаги стихли. Холманский стал умываться и вытерся рукавом рубашки. Вскоре затем заметил он, что в комнате стало теплее, и, приложив руку к печной стене, он убедился, что она нагревается. Итак, он имеет все, что нужно, хозяева тюрьмы дали ему все, что они могли, - он сыт, умыт, одет и согрет.

Тут (в России) люди привыкли гадить там, где живут, - это тоже культурно? Обратите внимание на любую остановку транспорта, а лучше на ту, где масса людей - например, площадь Речного вокзала - там же к вечеру количество окурков, валяющихся на асфальте, - просто колоссально. Сколько людей идут по улицам и, не задумываясь, кидают окурки на асфальт, бутылки из-под пива оставляют прямо в поезде метро. Они не замечают того, что делают. Для них - это привычно.

4.

Человек ко всему привыкает, сживается даже с тюремными стенами, и Холманский сжился, а печку особенно полюбил, гладил теплый ее бок ладонями и улыбался. И потихоньку потекла жизнь Холманского в тюрьме; дни сменялись днями; каждый день по однообразию и безделью казался чрезвычайно долгим, недоживаемым до вечера; недели текли за неделями и месяцы, к ужасу Холманского, стали сменяться месяцами.

Ежедневно первое время, а потом два-три раза отворялась дверь, ставилась и принималась пища; черный хлеб стал его любимой пищей, и его было у него всегда достаточно. В первое время Холманский настойчиво требовал большего против обыкновенно приносимого количества воды для мытья и питья, но после это делалось уже и без его докучливого напоминания; полотенце было выдано тоже. Белье из грубого подкладочного холста, старое, состоявшее из длинной рубахи и чулок выше колен в виде

мешков, подвязывающихся тесемками, сменяемо было каждую неделю.

Моноotonно текла жизнь Холманского при переливе колокольного звона каждые четверть часа на колокольне Петропавловского собора. По временам, однако же, это однообразие тюремной жизни и жестокая темничная тоска были нарушаемы чем-нибудь выходящим из ряда обыкновенного течения, и всякое подобное, хотя бы и незначительное обстоятельство, освежало и развлекало Холманского. Но главное, что желал бы он разъяснить, это - мучительное его душевное болезненное состояние безвыходного и долгого одиночного заключения, чувство жестокой темничной тоски, мрачные мысли, преследовавшие его безотвязно, и по временам упадок сил до потери голоса и изнеможения. Холманский дни и ночи говорил сам с собою и, не получая впечатлений извне, вращался в самом себе, в кругу своих болезненных представлений.

Это можно назвать культурой? Да - в смысле обобщенного названия, показывающего "уровень культуры народа". Нет - в смысле того, является ли этот народ культурным.

Холманский тогда только что окончил курс в Петербургском университете по российской словесности. Несмотря на окончание курса в высшем учебном заведении и уже вполне зрелый возраст, Холманский был очень мало развит в понимании самых простых и обыкновенных для жизни вещей.

Оглянитесь на ту грязь, в которой живет Россия. На народ, собирающийся по трое на лавочках, чтобы раздавить свою бутылку водки.

Холманский, подумав, сказал: "Каждая буква алфавита - это Бог, "Аз есмь Альфа и Омега". И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, утешителя у них нет; и в руке угнетающих их - сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа! Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа".

Не только в силу культуры, образованности и воспитания Холманский ненавидел зло, но и по характеру своему мягкому,

поэтому к людям был очень доверчив и очень скоро сближался с ними. Любил трудиться и составлять выписки из серьезных общеобразовательных книг, но, не имея средств, большую часть их покупал на толкучем рынке и много времени проводил в его книжных рядах.

Постоянно ходил Холманский на Апраксин двор, который вмещал в себя огромный склад книг самого разнообразного содержания. Гонения на букинистов затрудняли это дело, а пожар, бывший позже, окончательно разрушил этот драгоценный книжный склад. Там находил Холманский разнообразнейшие книги и, заплатив за них безделицу, как сокровище, нес к себе домой.

Да, не смейтесь! Они счастливее Холманского! Они не знают, что можно жить по-другому! И поэтому они счастливы.

Они не знают, что вокруг может быть не пыль и грязь, а зеленая стриженная трава на газонах. Что машина - это не роскошь, а средство передвижения. Что люди могут и должны улыбаться при встрече друг с другом! Что нельзя давать взятки полицейскому, так как можно сесть в тюрьму за это. Что не надо таскать с собой паспорт, удостоверяющий твою личность.

В это время жизнь Холманского носилась в каких-то идеальных мечтаниях. Петербург же со всем его разнообразием жизни и множеством общественных развлечений, которыми Холманский не имел ни малейшего желания пользоваться, казался ему ничтожеством в сравнении с привольной жизнью среди природы.

Русская злость - старая притча - когда у человека спросили - чтобы он попросил чего угодно, но у соседа будет в два раза больше - он сказал - заберите у меня один глаз. Почему люди радуются, когда у соседа корова сдохла?

Таков он был, когда от него потребовалось в жизни первое серьезное испытание совершенно иного рода, чем те, которые выдержал он в университете. Дело жизни в ее разнообразных проявлениях есть высшая школа человека. Высокая доблесть терпеть и безропотно, молчаливо и стойко переносить лишения всякого рода никому не дается сразу, но приобретается, вырабатывается более или менее продолжительным опытом, как в общественной среде, так и в отдельных личностях.

Холманский, подумав, сказал: "Рим стал двигаться на восток и уперся в Коран на границах нынешней Москвы. Здесь-то и столкнулись две ветви египетского языка, западная и восточная, и в

этом противоборстве, условно говоря, латинского с арабским появился великий и могучий, как Герой и Яхве стоящий во весь рост, Русский язык. Он начал полнокровно оплодотворять народы, жившие на территории современной России со времен Петра Великого. То есть мы можем сказать, что русский язык очень молод, но с другой стороны, входя ветвью в единый язык Бога (Йэбоха) он вечен как сам наш Херистос, Христос, Бог наш. И обратился я и увидел еще суету под солнцем; человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. “Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?” И это - суета и недоброе дело! Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?”

Никто не сведущ достаточно в великой науке жизни, и только трудом, терпением и опытностью немногими приобретается мудрость - потому столько ошибок жизни, сожалений и упреков, которые людьми понимаются очень различно.

Несколько лет назад в интернете он наткнулся на одну ссылку “Почему я ненавижу Москву” - один человек описал некую ситуацию вымогательства и выложил свою историю на сайт...

Нужна демифологизация масонства, освобождение масонства от некоего ореола мифа, легенды, которым оно предстает во многих литературных источниках.

В чем же тогда состояла его вина и за что был он так внезапно схвачен как преступник и посажен в крепость? Всякое деяние человека может быть оценено различно, смотря по периоду времени, строю жизни, общественной среде и месту, где оно совершается. То, что в 1849 году вменялось им в вину и за что после восьмимесячного одиночного заключения полевым уголовным судом они были приговорены к смертной казни расстреливанием, в настоящее время показалось бы маловажным и не заслуживающим никакого преследования: у них не было никакого организованного общества, никаких общих планов действия, но раз в неделю у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно все одни и те же люди; иные бывали на этих вечерах, другие приходили редко, и всегда можно было видеть новых людей.

Вы бы видели ту злость и ненависть, с которой участники об-

суждения обменивались мнениями - когда столкнулись москвичи и эмигранты из глубинки. Казалось, что если бы им дали оружие, они бы перестреляли друг друга!

Здесь можно было слышать калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде лекции: Ястржембский читал о политической экономии, Данилевский - о системе Фурье. В одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю по случаю выхода его "Писем к друзьям". Белинского избавила только болезнь и преждевременная смерть от общей с ними участи.

На каждый вечер Петрашевский поручал кому-либо из гостей наблюдать за порядком в качестве председателя. На собраниях этих не вырабатывались никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осуждения существующего порядка, насмешки, сожаления о настоящем их положении.

А из-за чего? Да просто один из них сказал: "Я не люблю Москву!". Также можно сказать - я не люблю Россию. Зачем от этой фразы приходится в жуткое состояние агрессии? Ну не любит человек что-то, ну и ладно... Но там творилось что-то ужасное.

Во что бы превратился кружок Петрашевского впоследствии, конечно, трудно предположить. Если и сказать, что по истечении многих годов могло бы образоваться общество, имеющее целью ниспровержение существующего государственного строя, к которому примкнули бы, может быть, весьма многие, то, во всяком случае, можно почти наверно довериться мысли, что по неопытности ведения такого дела действия его были бы в раннем периоде обнаружены и дальнейшее его развитие остановлено правительством. Их кружок, выражавший собою современные общечеловеческие стремления, был одним из естественных передовых явлений в жизни народа и, несомненно, оставил по себе некоторые следы.

Вся эта накопившаяся в них злость и ненависть душит их, не дает им жить по человечески тут. Попробуйте улыбнуться в метро в час пик! Как было написано в одном из журналов, "у нас хорошо улыбаться тому человеку, который спрашивает у вас ночью - как пройти в библиотеку". В этом случае вы не рискуете получить

по зубам или увидеть жест - когда покрутят пальцем у виска...

Количество взятых по этому делу, хотя и казалось незначительным, - оно доходило до ста, может быть, и превышало это число, - но они не были какими-либо вырожденками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, они были произведения образованного класса земли русской, а потому и оставшихся на свободе людей одинакового с ними образа мыслей, им сочувствовавших, без сомнения, надо было считать не сотнями, а тысячами.

Кроме того, людям не нравится разброс зарплат в десятки раз между глубинкой и этим одним городом. Почему за одну и ту же работу человек может получать 200 долларов в своем родном городе и 20 в другом? Он умнее стал, оттого, что сюда приехал? Нет. Ну, может, посмелее других просто, которые так и остались на 200 и не дергаются...

Холманский, подумав, сказал: "И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. С одной стороны, слово в три буквы приводит в ужас не только дам в приличном обществе, но и милиционеров, хотя, полагаю, что и дамы, и милиционеры, знают, как произнести это слово и что оно означает. Знают, но не совсем. Слово в три буквы и есть Бог. Единственный, всеобщий и неделимый. Чтобы укрывать его от нападков пошляков, еще жрецы Египта стали маскировать его, по принципу Федора Достоевского: "Красота спасет мир". Слово, которое означает маскировку Бога, мы все прекрасно знаем: "Химия". Что можно перевести на доступное нам понятие, как вечное изменение Бога, или, что значительно доступнее, развитие. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это - круговорот по кольцевой линии и томление духа! Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают".

Их небольшой, элитарный кружок, сосредоточившийся вокруг Петрашевского в конце сороковых годов, носил в себе зерно всех реформ шестидесятых годов.

Собрания у Петрашевского по содержанию разговоров, касавшихся преимущественно социально-политических вопросов, представляли большой интерес для них и потому, что они были единственными в своем роде в Петербурге. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, часов до двух или трех, и кончались скромным ужином.

Он не хочет сказать, что там - все хорошо. В Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго тоже полно нищих. Там тоже бывают грязные "плохие" черные районы, в которые белым просто советуют не сходить. Там тоже есть грязные туалеты в Макдональдсах.

Холманский имел честь познакомиться с Петрашевским весной 1848 года. Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский был человек лет тридцати, среднего роста, полный собою, весьма крепкого сложения, черноволосый, на одежду свою он обращал мало внимания, волосы его были часто в беспорядке, небольшая бородка, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, несколько прищуренные, как бы проникали вдаль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный; он говорил голосом низким и негромким, разговор его был всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взоре более всего выражались глубокая вдумчивость, презрение и едкая насмешка.

Он думал, что "там все хорошо", в 2000 году, когда уезжал в Штаты. В его голове крутилась одна мысль: "Я уеду из России, и все мои проблемы решатся!"

5.

Но получилось не совсем так, а точнее - совсем не так. Некоторые проблемы действительно решились, но появились новые. Холманский перестал думать о том, что надо выживать каждый день - чтобы заработать на еду и одежду. Холманский просто жил в нормальных условиях в хорошей квартире, ездил на нормальной машине, жил в нормальной стране. Да, район был не из дешевых, поэтому после возвращения у него в памяти осталось по большей части только хорошее.

Петрашевский был человеком сильной души, крепкой воли, много трудившийся над самообразованием, всегда углубленный в чтение новых сочинений и неустанно деятельный. Он воспитывал-

ся первоначально в лицее, но по своему резкому поведению был оттуда исключен, после чего поступил вольнослушателем в Петербургский университет по юридическому факультету и, окончив курс, состоял на службе при Министерстве иностранных дел.

Особенно Холманского, страстного читателя, привлекала в доме Петрашевского библиотека, состоявшая, в основном, из новейших сочинений, преимущественно по части истории, политической экономии и социальных наук, и охотно делился ею не только со всеми старыми своими приятелями, но и с людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и делал это по убеждению для общественной пользы. Он говорил Холманскому, что в течение около 8 лет много людей перебивало у него и разъехалось в разные города России и преимущественно в университетские. Он давал читать всем просившим его и снабжал уезжающих книгами, которые, по его усмотрению, были полезны для умственного развития общества.

Сказал Холманский: "Поэтому гениальный Иммануил Кант догадался, что имя и само существо предмета - две совершенно различные вещи. И возникла его мысль о вещи в себе. Но, развивая Канта, скажу, что вещь в себе открывается Слову, поскольку без Слова ничто не движется в ноосфере. Система Станиславского призвана распечатывать эту вещь в себе. И она распечатывается через Слово. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом: "это - ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?"

Петрашевский старался бывать повсюду: в учебных заведениях, в клубах, дворянских собраниях, маскарадах с единственной целью заводить знакомства для узнавания и выбора людей. Утро проводил он большей частью в чтении книг и в составлении какого-либо им намеченного труда. Плодом таких занятий был известный в свое время напечатанный им словарь употребительных в русской речи иностранных слов, в котором разъяснялись в осо-

бенности подробно слова, обозначающие известные формы государственного управления.

Холманский плакал тихо, но горько; разлука с ними, независимо от всего остального, казалась ему великим горем, и прежняя свободная жизнь казалась идеалом счастья, потерянным раем. Не один Холманский, однако же, подавлен был до слез приступами жестокой тоски - по временам то с одной, то с другой от него стороны слышен был плач в кельях заключенных.

Хотя опять же в интернете он читал длинное жизнеописание человека, который нелегально пробрался в Нью-Йорк без денег, без работы, без друзей, без страховки, без ничего. С какой целью? Да просто "денег подзаработать"! Кем? Каким трудом? Да так, никем толком - неквалифицированным трудом! Знаете, как он потом писал про Штаты? "Я ненавижу Нью-Йорк!" Вам это ничего не напоминает?

Промучившись еще день, не зная, куда приютиться, Холманский то становился на окно, то ходил взад и вперед в клетке без всяких занятий; вращаясь все в одном и том же кругу безотвязных мыслей, ничем не перебиваемых, дожидаясь вечера; одиночество, безделье, томление мучили его. Холманский нередко садился на пол и, сидя на коленях, закрывая лицо обеими руками, громко сетовал и плакал, затем, поспешно вставая, вскакивал на окно; минутно упиваясь воздухом у форточки, сходил с окна, шел к двери, садился на кровать, на табуретку и опять лез на окно. Так метался он, запертый в тесном жилище. Снова были слышны хождения, звон ключей, отворялась дверь, приносима и принимаема была безмолвным солдатом пища.

Наступила вторая ночь, и на окне зажглась снова сальная плошка. Она издавала особый запах с копотью, и вид ее был противен; Холманский подошел к окну и задул ее. Замученный, он лег на кровать; спать хотелось, и он заснул, но от жесткой подушки на покатом тюфяке беспрестанно просыпался и переменил положение. Так прошло не известно сколько времени, как в коридоре послышалось движение и разговор у двери. Потом Холманский услышал стук в окно двери и слова, обращенные к нему: "Зачем потушили огонь?" Холманский ничего не отвечал и старался забыться и заснуть, но в скором времени, однако же, услышал звон ключей у двери; дверь отворилась, и вошли дежурный крепостной офицер и сторож - Холманскому выговаривали за потушение све-

тильни и нарушение заведенного порядка. Плошка была снова зажжена, и он остался один.

А вы ожидали услышать от него что-то другое? Прожить в нечеловеческих условиях два года в чуждой стране, пытаться свести концы с концами и пытаться выжить.

У всех участников подземной экспедиции резко подскочило давление, и сердце стало работать с перебоями. Кстати, все они проходили различные тесты и даже проверялись на детекторе лжи, который показал: обследуемые говорят правду! Люди, знакомые с паранормальными явлениями, их еще называют “охотниками за привидениями”, рассказывают, что этот случай доказывает, что призрак, как они его описывают, видит окружающую реальность, ощущает себя в этой реальности и даже осознает весь ужас своего положения. По их словам, это был типичный случай реинкарнации. Поколения мертвых накапливаются в этих мрачных подземельях, сегодня их количество оценивается в двенадцать или пятнадцать миллионов, человеческие создания явились сюда, чтобы перемешать свои останки. Призраки чаще всего встречаются в местах, где раньше были погосты.

Рассвет Холманский едва различал, потому что замазанное окно закрывало его от всего живущего. Вот третий день, как он один, и все грознее встают одни и те же мысли. На душе так же душно, как и в комнате. Холманский отворил форточку - повеяло чистым воздухом, встал на кружку и уткнулся носом в открытое окно. Перед ним был крепостной вал и пустой дворик, где не было никого. Чистый весенний воздух пахнул Холманскому в лицо. Он стоял так несколько минут, как вдруг услышал стук; он обернулся и увидел, что в окошке двери тряпка поднята, сторож стучит пальцем в стекло и кричит: “Сойдите с окна!” В сердце как бы кольнуло что-то; Холманский медленно спустился с окна.

Как люди считают - возвращаясь к исходному вопросу - этот человек был “интегрированным” русским в Нью-Йорке?

Холманскому хотелось просто умыться, хоть насколько возможно, от грязи, его окружающей, и вот он моется, набирая в рот воды, наклонившись над упомянутым ящиком, моет лицо и руки, боится проронить напрасно каждую каплю воды, которой у него было мало. Но вот он умылся. Что же он будет делать в настоящий день? Как доживет до вечера? И сколько дней еще придется сидеть взаперти?!

Неопределенность с первого же дня беспрестанно мучила Холманского, и он по простоте души разрешал ее очень наивно: через две недели, конечно, разъяснится уже все дело. Но как прожить эти две недели?! А затем начинался другой, еще более трудно разрешимый вопрос: “А после этого заключения, что будет с нами?!” Вопрос этот был безответен, но предчувствия были зловещи и давали повод к различным мрачным мыслям.

В общем-то, он кратко попытался объяснить свою точку зрения на некоторые вопросы. И просил никого не воспринимать любые из упомянутых тут фактов или названий лично! Он никого не желает обидеть.

Зима для Холманского была совершенно бесцветна и не прерывалась никакими новыми освещающими или отягчающими впечатлениями. Все выгоды, какие можно было извлечь из новой местности его помещения, были уже им исчерпаны. Более нельзя было выдумать, и оставалось ожидать происшествия чего-либо снаружи, извне в его тюремную гробницу, где он пропадал с тоски и терял, казалось ему, последние жизненные силы.

Срок отсидки без суда перешел уже на восьмой месяц, томление и упадок духа были чрезвычайные, занятия не шли вовсе, он не мог более оживлять себя ничем, перестал говорить сам с собою, как-то машинально двигался по комнате или лежал на кровати в апатии. По временам являлись приступы тоски невыносимые, и чаще и дольше прежнего он сидел на полу. Сон был тревожный, сновидения все в том же печальном кругу и с кошмарами.

Сказал Холманский: “И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Вообще же говоря, у Бога имен столько, сколько слогов во всех языках мира, и не только слов, но и букв. Каждая буква - есть Бог. Ибо замаскированный Бог всегда участвует в карнавале жизни и на него указывают такие привычные слоги и слова: Ан, Аль, Иль, Аз, Альфа, Омега, Он, Один, Адонай, Ис, Из, Ос, Ов, Эль, Ель, Бог, Дин, Дон, Маран, Ра, Яхве, Иегова, Саваоф и так далее и тому подобное... Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его”.

Что его ожидает в Австралии? Пока он не знает! Кое-что после Штатов его там тоже не устраивает - вредные насекомые, акулы в океане, “злые штрафы на дорогах, отсутствие в каждом апартамент-комплексе гуп, swimming pool-ов и т.п., нехватка некоторых магазинов, которые были в Штатах, но не будут в Австралии.

В медленных страхах дожито было до 22 декабря 1849 года. В этот день, как во все прочие дни, проведя ночь беспокойно до света, часов в шесть Холманский поднялся с постели и по установившемуся уже давно разумному обычаю инстинктивно направился к окну, встал на подоконник, отворил форточку, дышал свежим воздухом, а вместе с тем и воспринимал впечатления погоды нового дня. И в этот день Холманский был в таком же упадке духа, как и во все прочие дни.

Но его это не пугало! Он изменил свое отношение к жизни! Он будет воспринимать Австралию такой, какая она есть, и попытается подстроить себя под нее. Он будет пытаться “интегрироваться” с этой страной, так как он уже устал от непостоянства и вечного поиска.

Когда еще было темно, на колокольне Петропавловского собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой часов, возвестивший половину седьмого. Вскоре Холманский разглядел, что земля покрыта новым выпавшим снегом. Послышались какие-то голоса, и сторожа, казалось, чем-то были озабочены. Заметив что-то новое, Холманский дольше остался на окне и все более замечал какое-то происходящее необыкновенное движение туда и сюда и разговоры спешивших крепостных служителей. При виде такого небывалого еще никогда явления в крепости, несмотря на упадок духа, Холманский вдруг оживился; любопытство и внимание ко всему происходившему возрастали с каждой минутой.

И Холманский видит: из-за собора выезжают кареты - одна, две, три... - и все едут и едут без конца и устанавливаются вблизи белого дома и за собором. Потом глазам его предстало еще новое зрелище: выезжал многочисленный отряд конницы, эскадроны жандармов следовали один за другим и устанавливались около карет.

“Господи ты Боже мой, что бы это все значило? Уж не похоронны ли снова какие? Но для чего же пустые кареты? Уж не настало ли окончание нашего дела?”

Очень хочется надеяться, что он наконец-таки найдет именно ту страну, в которой ему все будет хорошо!

Да ладно вам, профессор. Возьмите самолет, как говорится, и слетайте в Нью-Йорк. То, что выбрасывать мусор можно прямо из кармана на асфальт, он именно в Америке узнал. Идет эдакий выводок черных, а за ними шлейф из банок пепси, оберток всяческих. И это заметьте не в Бруклине каком-нибудь, а на Wall street. Он уж не говорит про метро, обильно политое мочой.

У Холманского часто забилося сердце.

Нетрудно было догадаться, что эти кареты приехали за ними!.. Неужели конец?! Вот и дождался Холманский последнего дня! С 22 апреля по 22 декабря, 8 месяцев сидел он взаперти. А теперь что будет?!

Крепостные служители в серых шинелях несут какие-то платья, перекинутые через плечи; они идут скоро вслед за офицером, направляясь к их коридору. Слышно, как они вошли в коридор; зазвенели связки ключей, и стали отворяться кельи заключенных.

Наконец и до Холманского дошла очередь; вошел один из знакомых офицеров со служителем; ему принесено было его платье, в котором он был взят, и, кроме того, новые теплые носки. Ему было сказано, чтобы он оделся и надел носки, так как погода морозная.

Давайте все же сравнивать корректно. Вы жили, понимаете ли, в тихом вылизанном месте, и на машине ездили в сити. А уж если хотите корректности, то вы из машины-то выйдете, да прогуляйтесь, поймете много экспиренса.

6.

Холманский оделся скоро. Связанные из овечьей шерсти носки были толстые, и он едва мог натянуть сапоги. Вскоре перед ним отворилась дверь, и он вышел. Из коридора он выведен был на крыльцо, к которому подъехала сейчас же карета, и Холманскому предложено было в нее сесть. Когда он влез, то вместе с ним сел в карету и солдат в серой шинели - карета была двухместная.

Они двинулись, колеса скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно замерзшие, видеть через них нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные кареты. Затем началось общее и скорое движение.

Они ехали. Холманский ногтем отскабливал замерзший слой влаги от стекла и смотрел секундами - оно тускло сейчас же.

- Куда мы едем, ты не знаешь? - спросил Холманский.

- Не могу знать, - отвечал солдат.

- А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на Выборгскую?

Он что-то пробормотал. Холманский усердно дышал на стекло, отчего удавалось увидеть кое-что из окна. Так ехали они несколько минут, переехали Неву.

Поехали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кирочную и на Знаменскую. Здесь опустил Холманский быстро и с большим усилием оконное стекло. Солдат не обнаружил при этом ничего неприятного, и Холманский с полминуты полюбовался давно не виданной картиной пробуждающейся в ясное зимнее утро столицы. Прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище - быстрый поезд экипажей, окруженных со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами домов поднимались повсюду клубы густого дыма только что затопленных печей, колеса экипажей скрипели по снегу. Холманскому слышалось множество голосов.

Конечно, Михаил Бахтин касается только некоторых проблем творчества Достоевского; специально избирает некоторые стороны его и подходит к ним по преимуществу и даже почти исключительно со стороны формы этого творчества. Бахтина заинтересовали некоторые основные, почти невольно из всей социально-психологической природы Достоевского вытекающие приемы конструкции его романов (и повестей), определившие их общий характер. В сущности говоря, формальные приемы творчества, о которых говорит Бахтин, вытекают все из одного основного явления, которое он считает особо важным у Достоевского. Это явление есть многоголосность. Бахтин даже склонен считать Достоевского "основателем" полифонического романа.

Что такое, по Бахтину, эта многоголосность?

"Множественность самостоятельных и неслиянных голосов в сознании, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского", - говорит он.

При том... "сознание героя дано как другое, чужое сознание, но в то же время оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым субъектом авторского сознания".

Холманский выглянул в окно и увидел впереди и сзади карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ его кареты жандарм подскочил к окну и повелительно и грозно закричал: “Не отгуливай!” Тогда солдат спохватился и поспешно закрыл окно. Опять Холманский должен был смотреть в быстро исчезающую щелку. Выехали на Лиговку и затем поехали по Обводному каналу.

И это относится не только к герою, а вообще к героям, или, вернее, - к действующим лицам романов Достоевского. Бахтин хочет сказать, что Достоевский, создавая своих действующих лиц, отнюдь не делает их масками своего “я” и не располагает их в известной системе взаимоотношений, которая, в конце концов, привела бы к какому-то заранее поставленному себе авторскому заданию.

Действующие лица у Достоевского развиваются совершенно самостоятельно и высказываются (а в их “высказываниях”, как правильно отмечает Бахтин, заключается соль романов) независимо от автора, согласно логике того основного жизненного принципа, который является доминантой данного характера. Действующие лица Достоевского живут, борются и в особенности спорят, исповедываются друг другу и т. д., нисколько не насилуемые автором. Автор, по мнению Бахтина, как бы дает каждому из них абсолютную автономию, и в результате столкновения этих автономных лиц, словно независимых от самого автора, появляется вся ткань романа.

Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повернули направо и, проехав немного, остановились; карета отворилась перед Холманским, и он вышел.

С замиранием сердца посмотрев кругом, Холманский увидел знакомую местность - их привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на арестованных; была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Подумать только, солнца не видел Холманский восемь месяцев, и представшая глазам его чудесная картина зимы и объявлявший со всех сторон воздух произвели на Холманского опьяняющее действие! Холманский ощущал неопишемое блаженство, и

несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвения в созерцании природы выведен он был прикосновением посторонней руки: кто-то взял его бесцеремонно за локоть с желанием продвинуть вперед и, указав направление, сказал: “Вон туда ступайте”.

Само собой разумеется, при таком построении автор не может рассчитывать на то, что все его произведение в конечном счете докажет какой-то дорогой автору тезис. По этому поводу Бахтин утверждает даже, что в настоящее время роман Достоевского является, может быть, самым влиятельным образцом не только в России, где под его влиянием в большей или меньшей степени находится вся новая проза, но и на Западе. За ним, как за художником, следуют люди с различнейшими идеологиями, часто глубоко враждебными идеологии самого Достоевского: поработщает его художественная воля... Художественная воля не достигает отчетливого теоретического осознания. Кажется, что каждый, входящий в лабиринт полифонического романа, не может найти в нем дороги и за отдельными голосами не слышит целого. Часто не схватываются даже смутные очертания целого. Художественные же принципы сочетания голосов вовсе не улавливаются ухом.

Можно сказать даже, что эти принципы не только остаются нераскрытыми, но даже, пожалуй, отсутствуют. Это оркестр не только без дирижера, но и без композитора, партитуру которого он выполнял бы. Это есть столкновение интеллектов, столкновение воли в атмосфере величайшего со стороны автора попустительства.

В таком углубленном виде понимает полифонию Бахтин, когда он говорит о полифонизме Достоевского.

Прошептал Холманский сам для себя: “Он даже не видел и не знал солнца: ему покойнее, нежели тому. А тот, хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека - для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое - бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это - также суета и томление духа! Мир движется только через удовольствие, через смакование. Через удовольствие совокупления продолжается жизнь”.

Холманский подвинулся вперед. Его сопровождал солдат, сидевший с ним в карете. При этом Холманский увидел, что стоит в глубоком снегу, утонув в него всей ступней; он почувствовал, что

его обнимает холод. Петрашевцы были взяты 22 апреля в весенних платяхх и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.

Быстрый шаг свойственен натурам горячим, которые умеют быстро принимать решения. Чаще всего это невысокие люди, и во время ходьбы они имеют привычку глядеть по сторонам. Если скороходы при этом еще и размахивают руками, то они ясно видят цель и готовы немедленно к ней подступиться. Медленный шаг чаще всего принадлежит тем, кто, как ни странно, может на самом деле двигаться весьма быстро - то есть высоким людям или среднего роста, но с длинными ногами. Такой же журавлиный шаг свойственен романтикам и чудакам, которые целиком погружены в свои мысли, а потому двигаются порой автоматически, в полной задумчивости. Дрожащая походка, конечно, характерна для пожилых и людей с больными ногами. Но, подрагивая при ходьбе ногами, передвигаются и здоровые, излишне энергичные натуры, сжигая, таким образом, избыток адреналина. Вперевалочку ходят люди, у которых полные бедра или ноги. Такая походка отличает и широкоплечих мужчин и женщин с длинными руками. Холманский заметил, что обладатели подобной походки добры, великодушны, у них хороший характер, они чрезвычайно деятельны. А вот те, кто обычно держит руки в карманах, скорее всего, критичны и скрытны, стремятся к лидерству в семье и в коллективе. Бывает, что человек не отличается подобными чертами характера, но, переживая какой-нибудь стресс, меняет походку: погруженный в невеселые мысли, он и не замечает, как кладет руки в карманы, волочит ноги и смотрит не вперед или вверх, а на свои ботинки. Ну а если вы встретили на улице женщину с нарочито вызывающей походкой, на которую оборачиваются все проходящие мимо мужчины, - знайте: перед вами особа, абсолютно уверенная в своей неотразимости. Именно в этом заключен секрет обворожительной поступи многих известных супермоделей: они знают цену себе и нарядам, которые демонстрируют. И еще одна хитрость: двигаясь по подиуму, манекенщицы слегка выдвигают вперед нижнюю часть живота, что делает походку весьма сексапильной. И, конечно, им в голову не придет во время дефиле шаркать, сутулиться и опускать голову.

Приказано было двигаться вперед. Холманский увидел налево от себя среди площади воздвигнутую постройку - подмостки, помнитса, квадратной формы величиной в 6-8 метров со входной ле-

стницей, и все обтянуто было черным трауром - их эшафот. Тут же увидел Холманский кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки. Когда Холманский взглянул на лица их, то был поражен страшной переменой; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами. Особенно поразило Холманского лицо Спешнева: исчезли красота и цветущий вид; лицо его было болезненно, желто-бледно, со впалыми щеками, глаза как бы ввалились и под ними была большая синева; длинные волосы и большая борода состарили его.

Правда, Бахтин как будто бы допускает какое-то высшего порядка художественное единство в романах Достоевского, но в чем оно заключается, если эти романы полифоничны в указанном выше смысле, - понять несколько трудно. Если допустить, что Достоевский, заранее зная внутреннюю сущность каждого действующего лица и жизненные результаты их конфликта, комбинирует эти лица таким образом, чтобы при всей свободе их высказываний получилось, в конце концов, каким-то образом очень крепко внутренне спаянное целое, тогда надо было бы сказать, что все построение о полноценности голосов действующих лиц Достоевского, то есть об их совершенной независимости от самого автора, должно было бы быть принято с весьма существенными оговорками. Достоевскому, если не при окончательном выполнении романа, то при первоначальном его замысле, при постепенном его росте, вряд ли был присущ заранее установленный конструктивный план, что, скорее мы имеем здесь дело действительно с полифонизмом типа сочетания, переплетения абсолютно свободных личностей. Достоевский, может быть, сам был до крайности и с величайшим напряжением заинтересован, к чему же приведет, в конце концов, идеологический и этический конфликт созданных им (или, точнее, создавшихся в нем) воображаемых лиц.

Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись - он был обросший большой шевелюрой и густой, слившейся с бакенбардами бородой. "Должно быть, всем было одинаково хорошо", - думал Холманский. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили

дили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Достоевский, Ханыков, Кашкин, Европеус... Все обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой. Вдруг все их приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего на лошади генерала, как видно, распорядившегося всем, увековечившего себя в памяти всех следующими словами:

- Прекратить! Отставить прощание! Ставьте их! - закричал он.

Генерал не понял, что они были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей им смертной казни; многие же из них были связаны искренней дружбой, некоторые родством - как двое братьев Дебу. Вслед за громким криком генерала явился какой-то чиновник со списком в руках и, читая, стал вызывать каждого по фамилии.

Таким образом, Бахтину удалось не только установить с большей ясностью, чем это делалось кем бы то ни было до сих пор, огромное значение многоголосности в романе Достоевского, роль этой многоголосности как существеннейшей характерной черты его романа, но и верно определить ту чрезвычайную, у огромного большинства других писателей совершенно немыслимую, автономность и полноценность каждого "голоса", которая потрясает у Достоевского.

Осенний сумрак - ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, господь!

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу,
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и музыки не хочу.

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок.

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Большой удав, свиваясь и клубясь,

Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон!

7.

Сразу же вызван был Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли, и затем шли все остальные; всех их было 23 человека (Холманский поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, встав перед ними, сказал: “Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной”. Их повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между петрашевцами были офицеры, служившие в этом полку, Момбелли, Львов...

Бахтин говорит, что все играющие действительно существенную роль в романе голоса представляют собой “убеждения” или “точки зрения на мир”. Это, конечно, не просто теории, - это теории, вытекающие как бы из самого “состава крови” действующего лица, неразрывно с ним связанные, составляющие основную его природу. Кроме того, эти теории являются активными идеями, они понуждают действующих лиц к определенным поступкам, из них следуют определенные индивидуальные и социальные нормы поведения, - словом, они имеют глубоко этический социальный характер, положительный или отрицательный, то есть действительно влекущий личность к общественности или, наоборот, - как это особенно часто бывает у Достоевского, - отрывающий личность у нее. Романы Достоевского суть великолепно обставленные диалоги.

Первый раз это случилось восемь месяцев назад. Тихим сентябрьским вечером Холманский возвращался с работы. Дорога его проходила сквозь парк, в дебрях которого притаился лад-

ленький усадебный домик. И этот парк, и эта усадьба принадлежали некогда известным князьям. Теперь же все изменилось. Парк остался парком, но не таился больше в гуще леса, а стал оазисом чистой природы в пыльном шумном городе. Что касается самой усадьбы, то в ней приютилось учреждение, которых в Москве тысячи. Холманский неторопливо шел по пустынной аллее, прислушиваясь к накапливающему дождю. Дождь монотонно барабанил по асфальту, редющим листьям уставших от летнего зноя деревьев.

Барабанил победоносно, ведь он прогнал со скамеек молодежь с пивом и старушек со сплетнями, лишь пьяный человек в соломенной шляпе и босой сиротливо скрючился на скамейке и деловито похрапывал. И еще дождь не поборол Холманского: он привычен к дождю, его дождем не напугаешь. Холманский тихо продолжал топтать по дорожке, углубляясь в то непередаваемое настроение, которое создавало все вокруг: сереющая в сумерках аллея, ленивый монотонный дождь, тихая музыка доносившаяся от метро. Особенно музыка. Исполняемая двумя озябшими музыкантами, она птицей уносилась в небо, а потом мягким покрывалом опускалась на парк вместе с дождем. Звуки трубы и аккордеона, густые, насыщенные, грустные и вместе с тем жизнеутверждающие. Не известно что, может и музыка, но что-то заставило Холманского тогда остановиться и посмотреть на тающие в туманной дымке деревья. От неожиданности Холманский замер: там, среди деревьев, в десятке шагов от него стояла девушка в одеждах девятнадцатого века. Девушка заметно нервничала: то всматривалась в завесу дождя, то вдруг начинала мерить шагами расстояние от одного дерева до другого. Но поразило Холманского не это: девушка была полупрозрачной, как дождь, который виден глазу, но особо не скрывает того, что судорожно пытается загородить. Холманский сквозь свои очки-колеса продолжал смотреть на нее, а она, видимо, что-то решив для себя, безнадежно опустила голову, ссутулилась, повернулась к нему спиной и растаяла в воздухе.

Однако! В привидения Холманский вроде бы не верил, но вывод напрашивался сам собой, причем не двусмысленный. Не успел Холманский прийти в себя, как навалилось новое потрясение: по дороге прямо на него скакал такой же полупрозрачный гусар. В сотне метров от него он остановился, выхватил саблю, склонился и рубанул в полумрак. Когда он распрямылся и убрал

саблю, в руке его была охалка призрачных роз. Всадник ударил коня в бока шпорами, проскакал сквозь Холманского, прежде чем он успел отпрыгнуть, и тоже растворился в воздухе. Прошла слякотная осень, наступила зима. С тех пор Холманский видел их еще несколько раз, но, как и в первый день, они растворялись, так и не встретив друг друга. Холманский как сейчас помнит тот студеный январский вечер. Холманский намеренно сидел на парковой скамейке, дожидаясь появления призрачной девушки. Собственно он дожидался ее уже четвертый день подряд и очень надеялся, что не напрасно. Она все-таки появилась из ничего и принялась всматриваться в заснеженную даль. Холманский не торопился, ждал. Чего? Да просто интересно было знать, что произойдет, если они все же встретятся. Поэтому, когда она в который раз безнадежно опустила голову, Холманский вскочил со скамейки и закричал:

- Девушка! Тьфу ты черт... Сударыня, остановитесь! Пойдите!
На "сударыню" она повернула голову.

Вслушалась, всмотрелась в непроглядную темень. На какое-то мгновение она стала почти осязаемой. А может быть, ему так показалось? Но второму призраку хватило и этого мгновения. Всадник не заставил себя ждать, выскочил из ночной тьмы, сверкнув лысиной, не забыв приостановиться, чтобы срезать неизменные розы, и снова рванул коня вперед. Он скакал ей навстречу, он видел ее, а она увидела его... К сожалению, это было последнее, что увидел Холманский. Когда он очнулся, была непроглядная ночь. Вокруг ни души. Холманский посмотрел на часы, но вместо них увидел свою полупрозрачную руку и серебриющийся в свете фонаря сугроб. Вот после этого потрясения Холманский приходил в себя значительно дольше. Но пришел. Теперь он живет в этом усадебном домике. Покинуть парк он почему-то не может: как на стену натывается. Не ест, не спит, да и не хочется. Призраков больше не видит, освободил он их, что ли? Его вообще никто не видит, с Холманским некому поговорить. Лишь один только раз на него как-то странно посмотрела уборщица и, не сказав ни слова, брякнулась без сознания.

Холманский вспомнил, как однажды на опушке леса он сел с Библией под высокий, могучий, толстый, одинокий, гордый дуб, ветви которого были узловатые, прочные, разлапистые, раскинутые, жадные, заботливые, с листьями зелеными, по контуру иду-

щие волною, грубыми, плотными, широкими, а ствол дуба, к которому спиной привалился Холманский, был необъятным, надежным, пузатым, крепким, морщинистым, шершавым, корявым, и этот ствол опирался на старые, сильные, ненасытные корни. Закрыв глаза, Холманский подумал: “Поразительно, что священниками фараонов Египта был создан конструктор из нескольких букв (алфавит), из которых можно составить все, что угодно. Не говори: “отчего это прежние дни были лучше нынешних?”, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце: потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра; но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действие Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе”.

Впереди шел священник с крестом в руке, за ним все шли один за другим по глубокому снегу. В каре стояли несколько полков, потому обход по всем четырем рядам был довольно продолжительный. Перед Холманским шагал высокий Павел Николаевич Филиппов, впоследствии умерший от раны, полученной им при штурме Карса в 1854 году, сзади Холманского шел Константин Дебу. Последними в этой процессии были: Кашкин, Европеус и Пальм.

Во главе мирового масонства стоял Всемирный Масонский Верховный Совет, состоявший из Достопочтимых и Премудрых. В этом Совете русским не было разрешено иметь свое собственное место. Русские масоны входили в него вместе с Французской делегацией. Вследствие этой зависимости, все свои решения русские масоны должны были координировать с французскими. Согласно мнению Нины Берберовой, Всемирный Верховный Совет влиял в разные годы с различной силой

в странах республиканских, менее сильно в странах, где правили монархи, конституционные и самодержавные". Если до 1914-1915 годов в России можно было кое-что сделать, то в эмиграции можно было влиять друг на друга. Влиять на Ленина, а затем и на Сталина никому не приходило в голову. 50 процентов масонов Ленин ликвидировал в первые годы после революции, часть была отпущена на Запад, а остальные были прикончены Сталиным в Процессах. Задача масонства влиять на внешнюю и внутреннюю политическую жизнь мира русскими масонами никогда не могла быть осуществлена...

Или, возможно, это история равняется на географию. По большей части писатель оказывается за решеткой, приняв некую сторону в политическом споре, что, конечно же, признак истории. (Отсутствие подобного спора, несомненно, является главной характеристикой географии.) Он может даже утешаться таким объяснением своего затруднительного положения, которое к нынешнему дню приобрело вид благородной традиции. Однако с этим объяснением в камере он долго не протянет, - слишком общее, оно не сделает ее комфортнее. Неважно, в какой исторический колокол звонит тюрьма - он всегда пробуждает вас - обычно в шесть утра - к неприятной реальности вашего собственного срока.

Их интересовало, что будет с ними далее. Вскоре их внимание обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота. Арестанты шли переговариваясь. "Что с нами будут делать? Для чего ведут нас по снегу? Для чего столбы у эшафота? Привязывать будут, военный суд - казнь расстрелянием. Неизвестно, что будет; вероятно, всех на каторгу..."

В дальнейшем русское уголовное законодательство в определенной мере идет по пути византийского законодательства в части норм, предусматривающих смертную казнь.

Псковская судная грамота 1497 года значительно расширяет случаи применения смертной казни по сравнению с Двинской уставной грамотой. Смертная казнь устанавливается здесь за воровство в церкви, конокрадство, государственную измену, поджоги, кражу, совершенную в посаде в третий раз. Судя по всему, Псковская грамота, устанавливая смертную казнь, ставила задачу избавиться от наиболее опасных для общества элементов.

На смертной казни вплоть до конца XV века лежал отпечаток обычая кровной мести. Став официальным государственным ус-

тановлением, смертная казнь преследовала, прежде всего, цель возмездия, а также неразрывно связанную с ним цель устрашения. Вместе с тем напрашивается мысль, что с образованием и развитием государственности на Руси верховная власть проявляла определенную заботу о жизни, собственности и правах граждан, а также и о своей собственной безопасности. Поэтому смертная казнь применялась также в целях безопасности всего общества и относительного спокойствия отдельных граждан.

Дальнейшее расширение круга преступных деяний, за которые полагалась смертная казнь, произошло в Судебниках 1497 и 1550 годов и продолжалось в дальнейшем. Достаточно сказать, что, например, в Уложении 1649 года смертная казнь могла быть назначена уже за 63 преступления, а по Воинским артикулам Петра 1 и другим уголовно-правовым актам этого времени - в 123 случаях.

Мрачная затейливость и жестокость способов исполнения смертной казни поражают воображение. Так, в XVII веке это были: отсечение головы, повешение, утопление, сожжение, заливание горла расплавленным металлом, четвертование, колесование, закапывание в землю по плечи, посадение на кол...

Такого рода мнения высказывались громко то спереди, то сзади от Холманского, и они медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, они столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С ними вместе вошли и сопровождавшие их солдаты и разместились за ними. Распоряжались офицер и чиновник со списком в руках. Начались вновь выкликание и расстановка, причем порядок был несколько изменен. Арестантов поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота. Там были: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Дуров, Григорьев, Толль, Ястржембский, Достоевский Федор.

8.

При этих условиях глубокая самостоятельность отдельных голов становится, так сказать, особенно пикантной. Приходится предположить в Достоевском как бы стремление ставить различные жизненные проблемы на обсуждение этих своеобразных, тре-

пешущих страстью, полыхающих огнем фанатизма “голосов”, причем сам он как бы только присутствует при этих судорожных диспутах и с любопытством смотрит, чем же это окончится и куда повернется дело? Это в значительной степени так и есть.

Хотя Бахтин стоит в своей книге главным образом на точке зрения формального исследования приемов творчества Достоевского, но он вовсе не чуждается и некоторых экскурсий в область социологического их выяснения. Он сочувственно цитирует Кауса (“Достоевский и его судьба”) и в основном соглашается с его мнением. Приведем и мы (в переводе) некоторые положения Кауса, цитируемые Бахтиным.

В другом ряду стоял Кувалдин Юрий, потом Холманский, подле него Дебу-старший, за ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский, Лесин из “Независимой газеты”, Головинский, Кашкин, Европеус и Пальм. Всех было 23 человека. Когда они были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было “На караул”, и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам: “Шапки долой!” - но арестанты к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды; тогда повторено было несколько раз: “Снять шапки, будут конфирмацию читать” - и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату.

Сегодня многие дома стоят на снесенных кладбищах. Человек кощунственно попрал святыни, проложив по ним канализации. Тем самым он открыл inferнальные врата, через которые поднимаются темные силы, некроэнергия. В таких местах изменилась карма города. Внутри образовались разломы и трещины, из которых выходят газы; появляются неизвестные биообъекты. Хорошо еще, что они погибают в верхних слоях. А представьте, если они вдруг мутируют и выйдут на поверхность в виде спор?! Кроме того, недавно микробиологи доказали: под землей есть грибы, споры которых могут жить в легких человека. Страшно даже предположить, что, разносясь в пространстве доступных для себя систем, они попадут в систему метрополитена или водопровода. Заражены будут тысячи и тысячи людей.

И воскликнул в этот момент Холманский: “Пусть нам это нравится, или не нравится, но мы не в силах изменить, переделать, запретить, или изобрести новый мировой язык! Следовательно,

нельзя запретить, изменить, переделать Бога, а Бог - один, и имя ему - Х... Отсюда - крест (Херэст), как начало всего, с пересечения двух палочек начинается жизнь. Кто - как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю: слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле; потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: "что ты делаешь?" Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло оттого, что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?"

Достоевский - это хозяин дома, который умеет хорошо обойтись с самыми пестрыми гостями, с каким угодно дико составленным обществом, причем он владеет им и умеет держать его в напряжении... Здоровье и сила, самый радикальный пессимизм и пламенная вера в искупление, жажда жизни и смерти - все это борется неразрешающейся борьбой; насилие и доброта, высокомерие и самоотверженное смирение, необозримая полнота жизни и т. д. Ему не нужно насиловать своих действующих лиц, ему не нужно произносить последнее слово поэта. Достоевский многогранен и непредвиден в своих движениях, его произведения насыщены силами и намерениями, которые, казалось бы, разъединены друг от друга непроходимыми пропастями.

История масонства до сих пор составляет специальный и очень сложный предмет исследования, в силу того, что мало что сохранилось из на самом деле достоверных источников. В общем своем виде, литература о масонстве представляет вымышленные факты, зачастую отсебятину, в которую приходится верить, так как другого ничего нет. Очень много критики было вылито на голову бедных масонов. В чем их только не обвиняли! Их деятельности приписывали все смертные грехи, какие только существовали на свете. Такая позиция критики исходит из того, что масонство, как тайное общество, имело конспиративный характер. А все тайное, скрытое от глаз людей всегда было пугающим. Масонство не могло держаться открыто на людях, быть общественным достоянием в силу тех клятв, которые они давали при вступлении в ложу, в силу тех ценностей, которыми масоны дорожили и которые потеряли бы смысл при своем рассекречивании и оглашении. Некоторые

заявляют, что ритуалы, обрядность и многообразие степеней все это представляет наивную атрибутику масонской жизни. Вопрос внешней стороны масонства служил поводом для усилий общественности, тех, кто по слухам представлял в уме всю церемонию проведения масонских сессий. По моему мнению, те, кто судит о масонстве не зная его, не бывая и не состоя в нем, не знают вследствие этого и истинного содержания их учения. Все критики своего рода обыватели.

Кроме аномальных, необъяснимых явлений подземелья таят немало и других опасностей. Например, в канализационных отстойниках издревле живут мутировавшие насекомые и масса крыс. Крыс там всегда достаточно, но иногда бывают вспышки, когда они мигрируют по тоннелям просто полчищами. Значит, на том месте, откуда они бегут, будет либо крупный пожар, либо провал, либо разрыв труб. Такое нередко происходит при миграциях крыс. Причем они уходят, как правило, еще за сутки до начала катастрофы. Кроме крыс, вольготно себя чувствуют под землей и другие твари. Подпольщикам доводилось находить мутировавшую полуметровую сколопендру, ухвертку величиной с сардельку и прочих гадов, достигших просто невероятных размеров. В клоаках, которые источают, по определению Виктора Гюго, “смрадный дух Мефистофеля и его свиты”, водится даже рыба!

В дальнейшем (после жесточайших петровских указов) российское законодательство о смертной казни развивалось иначе. Первую попытку отказаться от этого наказания сделала дочь Петра I императрица Елизавета. В 1744 году Елизавета в опубликованном 7 мая сенатском указе предписала прекратить на территории России экзекуции над приговоренными к смертной казни, заменив эту меру другими наказаниями. Приостановление исполнения приговора к смертной казни привело к тому, что тюрьмы оказались переполнены людьми, осужденными к этому наказанию. В 1754 году издается указ, в котором подтверждается приостановление приговора смертной казни, а чтобы преступники не оставались без наказания, предписывалось их ссылать, наказывать кнутом, рвать ноздри и клеймить. В том же году была создана очередная кодификационная комиссия, в задачу которой входило составление проекта нового уложения. В апреле 1755 года комиссия направила в сенат “судную” и “криминальную” части проекта. В “криминальной” части была снова закреплена смертная казнь,

но в соответствии с указами сената 1753 года она могла заменяться другими наказаниями.

Всем было холодно, и шапки на них были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого. Всего невозможно было уловить, что читалось: читалось скоро и невнятно, да и притом все содрогались от холода. Когда дошла очередь до Холманского, то слова, произнесенные им в память Фурье, “о разрушении всех столиц и городов”, занимали видное место в его вине. Чтение это продолжалось добрых полчаса. Все страшно зябли. Холманский надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с него была сдернута рукой стоявшего за ним солдата. По изложению вины каждого конфирмация оканчивалась словами: “Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстрелянием, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: “Быть по сему”.

Каус полагает, что мир Достоевского является чистейшим и подлиннейшим выражением духа капитализма. Те миры, те планы, - социальные, культурные и идеологические, - которые сталкиваются в творчестве Достоевского, раньше довлели себе, были органически замкнуты, упрочены и внутренне осмыслены в своей отдельности. Не было реальной, материальной плоскости для их существенного соприкосновения и взаимного проникновения. Капитализм уничтожил изоляцию этих миров, разрушил замкнутость и внутреннюю идеологическую самодостаточность этих социальных сфер. В своей всенивелирующей тенденции, не оставляющей никаких иных разделений, кроме разделения на пролетария и капиталиста, капитализм столкнул и сплел эти миры в своем противоречивом становящемся единстве. Эти миры еще не утратили своего индивидуального облика, выработанные веками, но они уже не могут довлеть себе. Их слепое сосуществование и их спокойное и уверенное идеологическое взаимное игнорирование друг друга кончились; и взаимная противоречивость их и в то же время их взаимная связанность раскрылись со всей ясностью. В каждом атоме жизни дрожит это противоречивое единство капиталистического мира и капиталистического сознания, не давая ничему успокоиться в своей изолированности, но и в то же время ничего не разрешая. Дух

этого становящегося мира и нашел наиболее полное выражение в творчестве Достоевского.

“Спору нет, - пишет Гюго в романе “Отверженные”, - парижская клоака последние десять веков была язвой города, но клоака - это порок, который у города в крови. Кто хочет жить в городе, должен смириться с его смрадом”. Слова знаменитого француза как нельзя лучше отражают сегодняшнюю действительность не только Москвы, но и всех крупных городов России. По мнению подпольщиков, некоторые чиновники только припудрили столичный лик и совершенно забыли, что колосс постепенно становится глиняным. Поэтому провалы (особенно в центре Москвы) сделались чуть ли не обыденным явлением. А ведь в городских подземельях, кроме клоак, есть и исторические памятники. В подземелья лезут все, кому не лень. Одни ищут там приюта, другие, из числа романтиков, надеются найти клады и исторические ценности. Например, библиотеку Ивана Грозного. Кстати, подпольщики тоже пытались ее отыскать. Причем эти поиски проходили под контролем властей.

Они двигались по подземелью в районе Боровицких ворот. В одном месте в стене обнаружили небольшую дверь с маленьким отверстием. Просунули туда телеглаз и на мониторе увидели сундуки - точно такие, как их описывали историки, когда говорили о библиотеке. Ну, подумали, нашли! Но внезапно прорвало водопровод, и весь район затопило. То есть произошла странная и непонятная вещь. После этого подпольщики туда не спускались. Возможно, это была камера, связанная именно с исчезнувшей библиотекой Ивана Грозного, кто знает?

Все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем арестантам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади, одевали несчастных в предсмертное одеяние. Когда все уже были в саванах, кто-то сказал: “Каковы мы в этих одеяниях!”

И воскликнул в этот момент Холманский: “Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это - суета! И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на

земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, - тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого”.

Шли по нижнему течению реки Неглинки под гостиницей “Россия”. Вдруг впереди за дымкой тумана что-то заблестело. Подойдя ближе, подпольщики увидели: путь им преградило нечто, похожее на дрожащее зеркало. Кто-то осторожно потрогал пальцем, от него пошли разводы, как по воде. Палец остался невредимым и совершенно сухим. Тогда подпольщик сунул всю руку - тоже ничего. Осторожно сунул туда голову и увидел широкое помещение. Но ведь в этом месте вроде должен продолжаться тоннель?! Холманский и еще один его товарищ вошли внутрь. Посмотрели на пол - он сухой, а речка течет над головой. Вот такой эффект. Пытались на пленку все снять, но ничего не получилось. Между тем, счетчик на видеокамере насчитал почти два часа, а наверху прошло четыре. Хотя на самом деле подпольщики находились по ту сторону таинственного “зеркала” не больше десяти минут. Все это произошло на глубине восьми метров: вокруг были в толщах земли только тоннели с силовым кабелем, еще какие-то коммуникации. Наверху, чуть впереди, расположена церковь, рядом двор ГУМа - вот и все, что можно сказать об этом месте. Не исключено - это было окно, через которое можно связываться, допустим, с параллельными мирами. Тому, что люди считают сверхъестественным, рано или поздно найдется научное объяснение. А сами подпольщики называли это явление “тоннелем времени”.

Бахтин дополняет к этому, что самой благоприятной почвой для полифонического романа явилась именно Россия времен Достоевского, где капитализм наступил почти катастрофически и застал нетронутое многообразие социальных миров и групп, не ослабивших, как на Западе, своей индивидуальной замкнутости в процессе постепенного наступления капитализма. Здесь противоречивая сущность становящейся социальной жизни, не укладывающаяся в рамки уверенного и спокойно созерцающего монологического сознания, должна была проявиться особенно резко, а в то же время индивидуальность выведенных из своего идеологического равновесия и столкну-

шихся миров должна была быть особенно полной и яркой. Все это очень хорошо и верно.

Попытки отменить смертную казнь не нашли поддержки ни у дворянства, ни у представителей государственной системы. Напротив, это вызвало определенное противодействие идеи об отмене смертной казни. Да и сама Елизавета не была последовательной в реализации замысла: с одной стороны, она считала целесообразным сохранение смертной казни для устрашения, с другой - выражала отвращение к смертным казням и приостанавливала их.

В эпоху Екатерины II законодательство о смертной казни не претерпело никаких изменений. Однако сама императрица большое внимание уделяет проблеме этого вида наказания в Наказе по вопросам уголовного наказания. Она проводит мысль о необходимости соответствия наказания преступлению и о назначении различных наказаний за различные преступления. Екатерина II, была противницей смертной казни, но допускала возможность ее применения, рассматривая ее как воздаяние.

Во второй половине XVIII века в русском уголовном законодательстве наблюдается тенденция к сокращению смертной казни, а на практике - к ограничению ее применения.

9.

Донесся из ближней церкви басовитый гул колокола. На эшафот поднялся священник - тот же самый, который вел с евангелием и крестом - и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между приговоренными на противоположном входу конце, он обратился к ним со следующими словами: "Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди". Никто из приговоренных не отозвался на призыв священника; все стояли молча, священник смотрел на всех них и повторно призывал к исповеди. Тогда один из них - Тимковский - подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на приговоренных и видя, что более никто не обнаруживает желаний исповедоваться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский от-

ветил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ него стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех приговоренных, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди приговоренных как бы в раздумьи. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: “Батюшка! Вы исполнили все; вам больше здесь нечего делать!”

Бахтин понимает, однако, что такое представление о Достоевском было бы не совсем правильным. Прежде чем мы перейдем к изложению дальнейших мыслей по поводу того, какое именно значение имеет у Достоевского его полифоничность, и постараемся внести некоторые поправки или пояснения к интересным идеям Бахтина, сделаем краткое сравнение полифониста Достоевского с некоторыми другими писателями-полифонистами. Бахтин утверждает, что в драматургическом произведении полифония типа Достоевского невозможна, что драматическое произведение вообще не может быть полифоничным и что вывод, к которому приходили некоторые исследователи Достоевского, будто бы романы его представляют собой, в сущности, своеобразно изложенные драмы, - совершенно неверен. Бахтин считает такой вывод неверным по самым глубоким причинам. Ему кажется, что хотя в драме и имеются действующие лица, которые говорят и действуют в определенном сопоставлении друг с другом, но на самом деле они всегда являются как бы марионетками в руках автора, который непременно направляет их по заранее предопределенному им плану.

Так ли это?

Потупив взор, сказал Холманский ближним, чтобы слышали дальние: “Почему же скрывается мат? Потому что система тайны увлекает, поскольку тайна связана с удовольствием. Только тайное движет человечество. Это проверено миллионами лет. Вообще, датировка движения Логоса невозможна. Ученые постоянно раздвигают границы. Но все сходятся на том, что человек появился в Африке, потом заселил Азию и Европу, да и весь мир. Без препятствий (запретов) ослабевают естественный отбор. Победителем становится только преодолевший. В русском языке буква “х”

называлась “хер”, или “херос”, что то же самое, только прошедшее через маскировку химией слова, слово “Х...”. Когда мы видим архитектурное сооружение, как Иван Великий в Кремле, то мы сразу понимаем, что это памятник Х... но боимся, стесняемся, а то и просто не знаем, что откуда и куда идет и почему? А идет все так, как и везде всюду, от вхождения Х... в п...у, от выброса спермы и проникновения ее в матку, от плацентарного созревания плода в утробе матери, от выхода на свет Божий, то есть рождения через жизнь к смерти. Каждый живущий, вспомни как ты созревал в плаценте и как ты вылезал покидал родину, ибо родина - матка твоей матери! А раз ты родился, стало быть, неумолимо через жизнь продвигаешься к смерти. Все умирает. Кроме одного - языка. О, вот тут к каким истинам я прихожу. Х... бессмертен. И он не х... в бытовом смысле слова, а он основа и сущность всей ноосферы, всего того, что живет и движется по спирали, замыкаясь в знак бесконечности “8”. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их - в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем - одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву”.

Наркоманов, бомжей, бродяг и всякого рода неформалов в московских подземельях тоже хоть пруд пруди. Они живут семьями и поодиночке. А привокзальные и “подвокзальные” территории вообще поделены как пасхальный пирог: чужому там очень сложно найти пристанище. В последнее время бомжи “сменили окрас”, замаскировавшись под дворников: добыть оранжевый билет не составляет особого труда. Они воруют на вокзалах чемоданы и потом потрошат их под землей. Поэтому появившиеся здесь посторонние воспринимаются как опасные враги. “Ты проник в царство арга, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города и должен понести наказание. Кто ты? Оправдывайся!” - эти слова произнес король воров, один из героев Гюго,

обращаясь к человеку, случайно попавшему в мир подземелья. В московских подземельях воры и наркоманы вряд ли станут утруждать себя подобным изысканным выяснением личности: они попросту убьют. Ну а если перевес сил окажется не на их стороне - растворятся в темных коридорах. Подпольщики всегда рискуют столкнуться под землей с "нежелательными" людьми.

Когда с подпольщиками идет спецназ, они защищены. А вообще, их главное оружие - это либо психологическое воздействие на тех, кто там находится, либо быстрый уход из опасного места. Конечно, есть еще определенный риск нарваться на сатанистов, вооруженных людей и так далее. Поэтому раньше подпольщики спускались по 40 человек: разведка, группа прикрытия и прочее. Как-то наткнулись на агрессивную группу людей. Тогда подпольщикам действительно пришлось применять физическую силу: выбивать ножи, ломы. Среди подпольщиков были тренированные люди, поэтому они их все-таки уложили. Вызвали представителей спецслужб, поскольку в то время как раз произошли два случая приношения в жертву сатанистами маленьких детей. Но эти оказались не сатанистами, а беглецами от правосудия.

В 1813 году был разработан новый проект Уголовного уложения. В нем впервые в истории русского уголовного законодательства была разработана система наказаний, включенная в Общую часть. Проект определял семь родов наказаний с подразделением их на разные степени: смертная казнь, лишение всех политических и гражданских прав (гражданская смерть); лишение свободы и чести; бессрочное лишение свободы; денежные пени; церковное покаяние. Но в 1824 году проект Уголовного уложения не был принят Государственным Советом. Основная причина состояла в том, что имели место серьезные возражения относительно включения смертной казни в систему наказаний. Восшествие на престол императора Николая I ознаменовалось восстанием на Сенатской площади, подавлением его и казнью пяти декабристов. Суд над ними осуществлялся не высшим судебным органом России - Сенатом, а созданным по указанию императора Особым судебным присутствием - Верховным уголовным судом. Смертный приговор был вынесен 36 декабристам. В обоснование применения смертной казни суд ссылался на Уложение 1649 года, Морской устав 1720 года, Воинский устав 1716 года, Полевое уголовное уложение для действующей армии 1813 года и другие акты. В пригово-

ре был определен способ применения смертной казни: четвертование, предусмотренное 19 Артикулом воинского устав 1716 года.

Член Верховного суда, судившего декабристов, - граф Мордвинов, принес апелляцию на приговор, считая его незаконным. Надо отметить, что именно Мордвинов выступал против проекта Уголовного уложения 1813 года. Возражая против приговора, он ссылаясь на Указ 1753 года, который предписывал не исполнять смертные приговоры и не делавший никаких исключений для политических преступлений. Николай I, хотя и оставил апелляцию без внимания, тем не менее, утвердил только пять смертных приговоров через повешение. Остальным приговоренным смертная казнь была заменена каторгой.

Не надо, конечно, заподозривать Бахтина, показавшего в своей книге достаточную тонкость суждения, будто он предполагает, что все вообще драмы (трагедии, комедии и т. д.) представляя собой непременно "пьесы с тезисом". Вопрос о драмах, доказывающих некоторый тезис, и о свободной драме, представляющей собою просто повышенный, крепко скованный кусок жизни, - вопрос давний, и углубляться в него сейчас мы намерения не имеем. Но нам кажется странным, что Бахтин, утверждая невозможность полифонии в драме, забывает о величайшем представителе драматургического искусства - о Шекспире. Конечно, на самом деле Бахтин забыть его не мог, и, конечно, повторяем, Бахтин вовсе не думает, чтобы всякая драма была "тенденциозной". Он полагает только, что, так как всякая драма представляет собой весьма стройное и закономерно развивающееся целое, то тут допустить "полноценность голосов" было бы уж крайне нерасчетливо и совершенно невозможно для автора. По крайней мере, так объясняя я себе решительное заявление Бахтина относительно необходимости царящего в каждой драме монизма. Я позволю себе радикально не согласиться с Бахтиным, и именно, прежде всего, на примере Шекспира. Разве не характерно, что относительно Шекспира в течение чрезвычайно долгого времени констатировалось полное отсутствие каких бы то ни было руководящих идей или норм в его произведениях? Шекспир в своих драмах - автор необычайно "безличный", почти никогда нельзя ничего сказать о его тенденциях. Мало того, он, по-видимому, в огромном большинстве своих произведений до такой степени чужд какой бы то ни было тенденции, что невольно напрашивается мысль о его внутреннем,

осознанном или бессознательном, могучем отвращении к такой тенденциозности. Шекспир словно бы кричит каждым своим произведением, что жизнь сама по себе грандиозна и великолепна, несмотря на то, что она преисполнена скорбей и катастроф и что всякое суждение об этой жизни представляется жалким и односторонним, не улавливает всего ее разнообразия, всей ее ослепительной иррациональности. Будучи бестенденциозным (как по крайней мере очень долго судили о нем), Шекспир до чрезвычайности полифоничен. Можно было бы привести длинный ряд суждений о Шекспире лучших его исследователей, подражателей или поклонников, восхищенных именно умением Шекспира создавать лица независимые от себя самого и притом в невероятном многообразии и при невероятной внутренней логичности всех утверждений и поступков каждой личности в этом бесконечном их хороводе. Тот самый Гундольфнейт, на которого в одном месте ссылается Бахтин, проводя параллель между Гете и Шекспиром, утверждает, что Гете всегда черпал материал для своих произведений (по крайней мере, значительных) из своих переживаний, а фигуры своих героев - из своей собственной личности, и видит в этом нечто контрастирующее Шекспиру, который, по его мнению, наоборот, умел порождать независимые от себя и вне всякой связи с личными переживаниями стоящие, словно самой природой сотворенные, человеческие фигуры. О Шекспире нельзя сказать ни того, чтобы его пьесы стремились доказать какой-то тезис, ни того, чтобы введенные в великую полифонию шекспировского драматического мира "голоса" лишались бы полноценности в угоду драматическому замыслу, конструкции самой по себе. И, однако, когда мы ближе присмотримся к Шекспиру (чему особенно помогает, может быть, еще не доказанная, но весьма вероятная гипотеза о Шекспире-Рютлэнде), мы видим, что в полифонизме его имеется, тем не менее, некоторый упорядочивающий момент, - "хозяин дома", выражаясь термином Кауса.

Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и Холманскому предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающей кровавой картиной. Возмущенное состояние Холманского возросло еще более, когда он услышал барабанный бой, значение которого он тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. "Вот конец всему!"

Потупив взор, сказал Холманский ближним, чтобы слышали дальние: “Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною: город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий царь и обложил его и произвел против него большие осадные работы; но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и, однако же, никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и, однако же, мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий; но один погрешивший погубит много доброго”.

Подземелье - это ничка, аль ничей, иль ничек, аль ничье, иль изнанка, тыл, испод, исподинка, или выворот, али, короче говоря, выворотная сторона. Хорошее выражение: “Или-али!” Стало быть, противоположное наверху - то ли лицо, то ли лицевая, али личная сторона. А в подземелье можно увидеть столько всего, что жизнь на поверхности покажется просто раем. Багровые сполохи, пронзительно-белые иглы и когти молний, образы, наплывающие волнами, беспорядочные, дразнящие, прекрасные, задумчивые, неожиданные, нечеткие, искаженные, туманные, дробящиеся в осколках зеркал... Подземные ходы в Москве начали строить чуть ли не с самого ее основания. Но настоящие лабиринты и большие тоннели возникли под городом во времена царствования Ивана Грозного. Однако даже он не мог предположить, каких масштабов достигнет его начинание в XX веке! Метро, водостоки и прочие подземные коммуникации - это лишь видимая часть того, что построили под столицей за последние 70 лет. Сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и до потопа, подземелье живет своей обособленной жизнью, отторгая законы людей, которые его создали.

Правда, все, что касается Шекспира, - для нас крайне темно, и темнота эта весьма мешает анализу (что служит одним из доказательств неверности положения некоторых литературоведов, которые говорят, что личность автора и биография его совершенно бесполезны при толковании его сочинений). Мы не можем даже сказать с точностью, являлся ли фактически в драматическом ми-

ре Шекспира кто-либо единоличным хозяином. Не говоря о многочисленных позаимствованиях, переделках чужих пьес, не говоря о пьесах, навязанных Шекспиру, нельзя отделаться от весьма оригинальной и глубокой гипотезы Гордона Крэга, видящего в Шекспире еще совсем особую многоголосность и слышащего в его произведениях несколько авторских голосов. Все это чрезвычайно затемняет для нас понимание шекспировской полифонии. Однако, повторяю, ближе присматриваясь к этому грандиозному литературному явлению, нельзя не признать, что некоторая личность, хотя мало уловимая уже в силу своей многогранности и титаничности, чувствуетея за произведениями Шекспира.

10.

И вот сказал Холманский: “Стало быть, что русский язык, что испанский и прочие языки - это одно и то же, один язык? Именно так. Это как дерево. Ствол пошел из Египта, а потом пошли ветви: китайские, немецкие, французские и так далее. Из Египта язык двинулся; много позже возник Израиль, и совсем в позднюю эпоху возникли Эллада и Рим. Да, язык двинулся из Египта, и в России закончится”.

С 1 января 1835 года вступил в силу Свод законов Российской империи 1832 года. В соответствии с ним смертная казнь в России сохранялась, но применялась только в отношении трех категорий преступлений: 1) политических (“когда оные, по особой их важности, предаются рассмотрению и решению верховного уголовного суда”); 2) на нарушение карантинных правил (то есть за так называемые карантинные преступления, совершенные во время эпидемий или сопряженные с совершением насилия над карантинной стражей либо карантинными учреждениями); 3) за воинские преступления. Предусматривалась смертная казнь и по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и по Уголовному уложению 1903 года. Количество выносимых смертных приговоров резко увеличилось после подавления первой русской революции 1905 года. Так, в 1906 году было казнено 574, в 1907 году - 1139, в 1908 году - 1340, в 1909 году - 717, в 1910 году - 129, в 1911 году - 73, в 1912 году - 126 человек. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года воспроизвело

все положения о смертной казни Уложения 1845 года. Эти законодательные акты так же, как и Уложение 1903 года, сократили применение смертной казни по сравнению с ранее действовавшим уголовным законодательством. Справедливость, базирующаяся на принципе эквивалента, - основного принципа наказания - влечет за собой требование смертной казни за убийство...

Какие социальные факты отражались в шекспировском полифонизме? Да, в конце концов, конечно, те же, по главному своему существу, что и у Достоевского. Тот красочный и разбитый на множество сверкающих осколков Ренессанс, который породил и Шекспира и современных ему драматургов, был ведь, конечно, тоже результатом бурного вторжения капитализма в сравнительно тихую средневековую Англию. И здесь так же точно начался гигантский развал, гигантские сдвиги и неожиданные столкновения таких общественных укладов, таких систем сознания, которые раньше совсем не приходили друг с другом в соприкосновение.

Когда священник ушел, сейчас же взошли несколько солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание: "Колпаки надвинуть на глаза", - после чего колпаки спущены были на лица привязанных. Раздалась команда: "Клац", - и вслед затем группа солдат - их было человек 16, - стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли. Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелу и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные па них почти в упор ружейные стволы и ожидать - вот прольется кровь, и они упадут мертвые - было ужасно, отвратительно, страшно.

И вот твердо сказал Холманский: "Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злыязычный. Слова из уст мудрого - бла-

годать, а уста глупого губят его же: начало слов из уст его - глупость, а конец речи из уст его - безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него?"

Чем выше ценится человеческая жизнь, тем выше должно быть и наказание за ее отнятие... В последние два десятилетия XIX века и в начале XX века смертная казнь в России применялась на основе Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 4 сентября 1881 года. Положение предоставляло высшим административным чинам передавать на рассмотрение военных судов для осуждения по законам военного времени дела о вооруженном сопротивлении властям, умышленном поджоге, приведении в негодность предметов воинского снаряжения и о некоторых других преступлениях.

Как бы сквозь пелену Холманский увидел, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень. Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер - флигель-адъютант - и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось осужденным дарование государем императором жизни и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание. По окончании чтения этой бумаги с арестантов сняли саваны и колпаки. Затем взошли на эшафот какие-то люди вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны, - их было двое, - и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совершенно безразличное для всех, только продержало арестантов, и так уже продрогших, лишние четверть часа на морозе.

Очередная попытка отмены смертной казни была произведена 19 июня 1906 года на заседании первой Государственной Думы при обсуждении проекта закона об отмене смертной казни. Однако после принятия этого закона в Государственной Думе он не был утвержден Государственным Советом. После февральской революции 1917 года Временное правительство в первые дни своего существования приняло ряд прогрессивных демократических актов. 12 марта 1917 года было опубликовано

правительственное постановление о повсеместной отмене смертной казни. Однако уже 12 июля 1917 года она была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя, то есть за ряд государственных и воинских преступлений в военное время.

И вот твердо сказал Холманский: “Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано! Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения! От лени обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пирей устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальню комнаты твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая - пересказать речь твою”.

Не тюрьма заставляет забыть абстрактные представления. Напротив, она урезает их до наиболее сжатых формулировок. В действительности, тюрьма является переводом вашей метафизики, этики, чувства истории и прочего на сухой язык повседневного поведения. Наиболее эффективное место для этого, конечно, одиночка с ее сведением всей человеческой вселенной к бетонному прямоугольнику, постоянно освещенному светилом в 60 ватт, под которым вы кружите, пытаетесь сохранить остатки душевного здоровья. Через пару месяцев солнечная система полностью скомпрометирована в отличие, надо надеяться, от ваших друзей и сотоварищей - и, если вы поэт, вы можете сложить десяток приличных стихотворений в уме. Поскольку ручка и бумага редко доступны узнику. С рифмой и размером жить там всего удобнее - так оно лучше запоминается, особенно учитывая некоторые методы допросов, которые делают ваш затылок зачастую ненадежным. Вообще же, в одиночке поэтам лучше, чем беллетристам: их зависимость от профессиональных орудий минимальна, ибо ваше повторяющееся движение взад-вперед под этим электрическим светилом само по себе вызывает в памяти стих, несмотря ни на что. И еще потому, что стихотворение, по сути, бессюжетно и, в отличие от вашего дела, разворачивается в соответствии с внутренней логикой языковой гармонии.

Фактически, писание - точнее, сочинение в голове - метрической поэзии может быть предписано в одиночке как род терапии,

наряду с отжиманиями и холодными обливаниями. В общей камере дела обстоят несколько иначе, и прозаик уживается там лучше, нежели поэт. Проза, как известно, является искусством, укорененным в общественных отношениях, и беллетрист быстрее найдет общий знаменатель со своими сокамерниками, нежели поэт. Будучи рассказчиком, он любопытен почти по определению, и это помогает ему установить отношения со своими товарищами по несчастью, расспрашивая об обстоятельствах их дела, а заодно потчуя их собственными или заемными сюжетами. Он может воображать, что собирает материал для будущих произведений, или так будут думать его сокамерники, которые только рады одарить его собственными, очень часто приукрашенными историями из своей жизни.

11.

В завершение дали каждому арестантскую шапку, овчинные грязной шерсти тулупы и такие же сапоги. Тулупы, каковы бы они ни были, были поспешно надеты, как спасение от холода, а сапоги велено было самим держать в руках.

Прикрыв глаза, чуть помедлив, вымолвил Холманский: “Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не жать”.

Затем на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского. Выведя его на середину, двое, по-видимому, кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и, сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы. Что побудило его накладывать самому на себя руки, что хотел он выразить тем - трудно сказать, но мы были все в болезненном настроении или экзальтации.

Прикрыв глаза, чуть помедлив, вымолвил Холманский: “Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве бе-

ременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много: все, что будет, - суета!"

Созданные в зоне произведения посвящены, главным образом, мужеству и переживаниям. Тюрьма сама по себе жутко страшит и вызывает острое любопытство у читателей, которые все еще блаженно воспринимают заключение как исключение из правил. Именно для того, чтобы это представление сохранилось в грядущем мире, написанное в зоне должно быть прочитано. Поскольку нет большего искушения, чем рассматривать заключение людей как норму. Так же как нет ничего проще, чем усматривать в тюремном опыте - и даже выносить из него - пользу для сердца.

Ты, поразившая Денницу,
Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.
Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом - юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа.
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода -
Два-три звена, - и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода, -
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет - миру напоказ!
Так бей, не знай вдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:

Алмаз горит издалека -
Дроби, мой гневный ямб, камня!

Человек имеет обыкновение обнаруживать высокую цель и смысл в очевидно бессмысленной реальности. Он склонен рассматривать руку власти как орудие - хоть и тупое - Провидения. За этим стоит ощущение вины и отсроченного возмездия, которое делает человека легкой добычей, причем он еще гордится тем, что достиг новых глубин смирения. Это старая история, такая же старая, как сама история угнетения, которая, надо сказать, так же стара как история покорности.

Прикрыв глаза, чуть помедлив, вымолвил Холманский: "Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность - суета".

Через какое-то время подъехала к эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее, но он, посмотрев на данный экипаж, сказал: "Я еще не окончил всех дел".

- Есть ли у вас какие еще дела? - спросил его как бы с удивлением генерал, подъехавший к самому эшафоту.

- Да. Мне хочется проститься с моими друзьями, - отвечал Петрашевский.

- Я позволяю вам это сделать, - последовал великодушный ответ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное, и он, по своему разумению, исполнял выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но под конец уже и его сердцу было нелегко.)

Но частичное лишение свободы - каковым является тюрьма - хуже абсолютного лишения, поскольку последнее отнимает у вас способность это лишение регистрировать. И еще потому, что в тюрьме вы находитесь не во власти загадочных неосязаемых демонов; вы в руках ваших сородичей, чья осязаемость чрезмерна. Вполне возможно, что большая часть образности загробного мира в нашей культуре происходит прямо из тюремного опыта.

Холманский увидел, как Петрашевский первый раз пошел в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подо-

шел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку, как все стояли, к каждому из них и каждого целовал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подойдя к Холманскому, он, обнимая его, сказал:

- Что ж, прощайте, Холманский, более мы уже не увидимся.

На это Холманский ответил ему со слезами:

- Господи, может быть, еще и увидимся.

Обойдя всех, Петрашевский поклонился еще раз всем и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жандарм с саблей и пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз.

Неоднозначным был подход советской власти к исследуемой мере наказания. 26 октября 1917 года II Съезд Советов отменил смертную казнь. Но с началом гражданской войны она была восстановлена. Законодательно смертная казнь в виде расстрела была закреплена в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года и считалась временной, исключительной и чрезвычайной мерой. 17 января 1920 года ее вновь (на очень непродолжительный период) исключают. Затем смертная казнь с учетом военной обстановки или под флагом усиления борьбы с "врагами народа" вновь восстановилась.

Пораженные всем, что происходило на глазах вольнодумцев, по отъезде Петрашевского стояли они еще на своих местах, закутавшись в шубы, отдававшие противным запахом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года "Об отмене смертной казни" это наказание было отменено в мирное время, а преступления, за которые предусматривалась высшая мера, наказывались лишением свободы сроком на 25 лет, когда можно было Холманскому читать с утра до вечера о том, как на ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь - велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая

листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень - пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились "богатством". Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, - первый признак богатой деревни, - и были все высокие, большие и белые, как лунь...

12.

Холманский преодолевал границы пространства и времени, как ни в чем не бывало, словно не о чем было вспоминать и нечего переживать. Он не выпускал из рук какую-то постоянно запрещенную властями книгу, и вполне самостоятельно взмахивал крыльями и парил в высоте, ловя потоки ветра и скользя на них... это книжное наслаждение - воздушные горы и пропасти, замирание сердца и взлеты ввысь, иглы дождя сквозь тело в тот момент, когда дыхание и вздохи ветра сливаются в одно движение грудной клетки, словно целуешь его и покоишься в его руках, на его крыльях, в его черном бархатном плаще.

Затем смертная казнь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года "О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам" допускалась в изъятие из предыдущего Указа. В последующем (в 1954 году) смертная казнь допускалась в отношении осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах. Основы уголовного законодательства 1958 года, признавая смертную казнь исключительной мерой наказания, допускали применение ее вплоть до полной отмены за государственные преступления (при наличии ее в санкции соответствующей статьи, за умышленное убийство

приотягчающих обстоятельствах и, в специально предусмотренных случаях, за некоторые другие особо тяжкие преступления). УК РСФСР 1960 года в ст. 23 в редакции Закона РФ от 24.04.93 устанавливал возможность применения смертной казни путем расстрела за особо тяжкие преступления, если это предусмотрено в конкретных статьях УК.

Развершаяся внизу бездна вполне устраивала Холманского своими тьмой и неопределенностью, спиралями и переплетениями облаков. Тучи разошлись, и ветер потихоньку замолчал, лишь иногда позволяя себе осторожно шевелить волосы.

Какой общий вывод можно сделать из приведенных положений Бахтина и Кауса, на которого первый в социологической части своего анализа опирается? Достоевский, будучи сыном своего века и отражая в себе ту колоссальную этическую разруху, которую пестрота капиталистических отношений, бурно хлынувших на дореформенную Россию, является художественным зеркалом, в котором это разнообразие нашло свое адекватное отражение. Разнообразно кипит жизнь, сталкиваются между собой отдельные мировоззрения, отдельные морали, законченные ли в виде теории, осознанные ли своими носителями, или почти подсознательно прорывающиеся в действиях и дисгармоничных речах: и у Достоевского идет такой же спор, такая же борьба. Так же точно нет камертона, по которому можно было бы настроить эту какофонию, и нет гармонии, которая могла бы ее превозмочь и, так сказать, впитать в себя, нет силы, способной какофонию эту организовать в некоторый хорал.

“Итак, я остаюсь в полете, - думал Холманский. - Лучшего мне не найти!” И, скрестив руки на коленях, он стал смотреть в Балтийскую даль, которая ускользала от его взгляда, стушевывалась, укрываясь от него за однотонной туманной дымкой. Холманский любил море по причинам достаточно глубоким: из потребности прильнуть к груди простого, стихийного, спасаясь от настойчивой многосложности явлений; из запретного, прямо противоположного сути его работы и потому тем более соблазнительного тяготения к нераздельному, безмерному, вечному, к тому, что зовется Ничто. Отдохнуть после совершенного - мечта того, кто мечтает о хорошем, а разве Ничто не одна из форм совершенства? И вот, когда он так углубился в созерцание пустоты, горизонтальную линию береговой кромки вдруг перерезала

человеческая фигура. А когда Холманский медленно отвел взор от бесконечного и с усилием сосредоточился, он увидел, что это красивая девушка прошла недалеко от него по песку. Она шла босиком, видно собираясь поплескаться в воде; ее стройные ноги были обнажены много выше колен, шла неторопливо, но так легко и гордо, словно весь свой век не знала туфель, шла и оглядывалась на Холманского. Но едва он заметил надзирателей, как на лицо его набежала туча гневного презрения, лоб его омрачился, губы вздернулись кверху, и с них на левую сторону лица распространилось горькое дрожанье, как бы разрезавшее щеку; брови его так нахмурились, что глаза глубоко запали и из-под тени бровей заговорили темным языком ненависти. Холманский потупился, потом еще раз обернулся, словно угрожая, передернул плечом, отмахиваясь, отстраняясь, и оставил врагов в тылу.

В этот момент следователь протянул Холманскому конфету. Самые противные в этих конфетах были не столь сами вафли, и даже не шоколад, а прослойки между вафлями, кисло-приторные, ехидно расползающиеся из-под пальцев, пачкающие нос, руки и щеки... На самом деле, если бы в конфетах вафля была сплошным ломтиком, без всяких дурацких прослоек, то жить было бы не в пример легче.

Девушка рассказывала Холманскому, как создать образ довольно строгий и в то же время сексуальный. Для этого нужно попробовать новую версию классического хвоста. Вымытые и высушенные полотенцем пряди от корней до кончиков надо просушить феном, используя большую круглую расческу. Затем опустить голову и соединить волосы в высокий хвост на макушке. После этого, поднимая голову и придерживая хвост одной рукой, нужно подбрать выпавшие пряди расческой. Не стоит беспокоиться об остальных волосах. Следует лишь зачесать их спереди как можно более гладко, потом туго закрепить хвост резинкой. Затем расчесать хвост по всей длине, аккуратно вытащить небольшую прядь волос снизу хвоста и обернуть вокруг резинки, чтобы ее не было видно, и с помощью заколок прочно прикрепить эту прядь к основному хвосту.

В УК 1960 года смертная казнь предусматривалась за совершение довольно значительного числа преступлений (за 17 преступных деяний в мирное время и 16 - в военное время и в боевой об-

становке). Однако это не означало ее фактического широкого применения. Как правило, к тому же в единичных случаях высшая мера назначалась лицам, совершившим убийства с особой жестокостью, нескольких лиц, малолетних детей, извращенным способом и т. д. По данным статистики за 1987 год, 96 процентов приговоров к смертной казни были вынесены судами в связи с осуждением именно за эти преступления. В общей структуре наказаний, назначенных в течение пяти лет (1985-1989 годов), объем смертной казни составил менее 0,05 процента. А что такое эти ноль запятая ноль пять процента? Только успеешь открыть книгу и прочитать о том, как только войдешь в дом, то, прежде всего, услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах - в прихожей, в зале, в гостиной - прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая темно-вишневая шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва "дули", яблоки, - антоновские, "бель-барыня", боровинка, "плодовитка", - а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, - крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

Проговорил тогда Холманский медленно: "И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!", доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем".

Решительный шаг в направлении сокращения смертной казни сделала новая Конституция РФ. В соответствии с ч. 2 т. 20 "смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".

Дело было окончено. Двое или трое из начальствующих лиц вошли на эшафот и возвестили осужденным, по-видимому, с участием, о том, что они не уедут прямо с площади, но еще прежде отъезда возвратятся на свои места в крепость и, вероятно, позволят им проститься с родными. Тогда все они перемешались и стали говорить один с другим.

В соответствии со ст. 59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. В Особенной части УК РФ смертная казнь в качестве меры наказания предусмотрена п. 2 ст. 105, устанавливающей ответственность за убийство с отягчающими признаками, ст. 277 - за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, ст. 295 - за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, ст. 317 - за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ст. 357 - за геноцид.

Когда событие проходит, остается о нем лишь память, а потом и та исчезает. А пока вольнодумцы жили впечатлением, произведенным на них всем пережитым ими в эти часы совершения обряда смертной казни и затем объявления заменяющих ее различных ссылок, было столь же разнообразно, как и их характеры. Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не говорил. Ипполит Дебу, когда Холманский подошел к нему, сказал:

- Черт возьми, уж лучше бы уж расстреляли!

Ни за какие другие преступления, даже столь тяжкие, как государственная измена или шпионаж, смертная казнь не назначается. Однако следует согласиться с мнением о том, что лицо, виновное в терроризме, захвате заложников, бандитизме или другом особо тяжком преступлении, может быть приговорено к смертной казни, если его действия сопровождались умышленным убийством пострадавших. В данном случае имеет место так называемая идеальная совокупность, при которой наказание назначается отдельно за каждое деяние, квалифицируемое самостоятельной статьей.

Проговорил тогда Холманский медленно: "В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираются будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и за-

молкнут дочери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Теперь я должен обратить ваше внимание на человека, который в большей степени подвиг меня на излагаемые здесь мною идеи. Конечно, это сверхгениальный Зигмунд Фрейд. В 1914 году Фрейд анонимно опубликовал в журнале "Имаго" исследование "Моисей Микеланджело", открывающее сборник "Очерки по прикладному психоанализу". Широко известно, что его отношение к фигуре Моисея было очень глубоким, окрашенным попытками идентификации. Обращаясь к Юнгу в то время, когда Фрейд считал швейцарца последователем и принцем-наследником, он называл его "Иосифом", для которого сам Фрейд был "Моисеем". И вот, наконец, он посвящает еврейскому пророку последние годы своей жизни. Редактированием и доведением до печати книги "Моисей и монотеизм" Фрейд занимается с 1934 по 1939 год. Это последняя головешка, которую он в возрасте восьмидесяти трех лет бросает в мир культуры. И сегодня этот мир от соприкосновения с идеями Фрейда, трансформирующего Отца - Основателя иудаизма, в египетского священника и рисующего смущающий портрет еврейского народа, который, отягченный убийством Отца - Моисея и Иисуса, - упорно отказывается признать преступление... В отличие от этой своей книги, где он стремится очистить от шелухи ядро исторической правды, в небольшом анонимном очерке 1914 года Фрейд интересуется, прежде всего, эстетической формой: речь идет о мраморной статуе Моисея, выполненной Микеланджело, которую он часто и подолгу созерцал в церкви Сен-Пьер-о-Льен во время счастливого пребывания в Риме и которая, как он вспоминает, является лишь "Фрагментом огромного мавзолея, заказанного художнику для могущественного папы Юлия II". К этому новому предмету анализа он применяет так называемый метод "отходов", то есть внимательного и тонкого наблюдения за вещами скрытыми или незначительными, невыразительными деталями, по которым обычно взгляд бегло проскальзывает, а то и вовсе не замечает их, и которые, однако, для психоанализа оказываются в высшей степени значащими. Весь очерк Фрейда о Моисее Мике-

ланджело построен на двух крошечных деталях скульптуры, оставшихся незамеченными или неточно описанными: погружение двух пальцев правой руки в складки длинной бороды Пророка и небольшой выступ на нижнем крае таблицы Свода законов, которую Моисей поддерживает правой рукой... Как удалось Фрейду рассмотреть этот незначительный рельеф, в то время как статуя расположена в нише, в полутьме, видна лишь спереди, а край таблицы со Сводом законов более или менее скрыт за складками тоги? К тому же, как вспоминает Фрейд, этот рельеф совершенно не точно воспроизведен на большой копии из гипса в Академии изящных искусств в Вене и почти незаметен на маленькой копии с подписью "Сантони", которую можно видеть в церкви Сен-Пьеро-Льен. Из этих деталей Фрейд с помощью рисунков, заказанных художнику, восстанавливает состояние ярости, охватившее Пророка при виде древних евреев, поклоняющихся идолам. Но вместо того, чтобы разбить таблицу Свода законов, он овладевает собой и ловит ее в тот момент, когда она начала падать, перевернулась и оказалась вверх ногами. Так скульптору удалось передать самый замечательный психический подвиг, на который способен человек: победить свою страсть во имя предназначенной ему миссии. Не увидел ли Фрейд здесь движения собственной страсти, смешавшейся в нем с движением его собственной "миссии"? Не почувствовал ли он, что совершил, как и Моисей, самый замечательный подвиг, на который способен человек: с помощью разума и знания овладел ощущаемой в себе инстинктивной яростью и спустился в Ад, в царство бессознательного? Если "героическая" и "мозаичная" идентификация и существует, то она существенно осложняется благодаря другому фактору - сложному и противоречивому самоотождествлению Фрейда с еврейским народом, которое заставляет его избегать "гневного и презрительного взгляда героя". "Порой, - пишет он, - я осторожно выскальзываю из тени храма, как будто сам принадлежу к сброду, на который направлен этот взгляд, сброду, не способному на верность убеждениям, который не умеет ни ждать, ни верить, но издает крики радости, как только ему возвращают иллюзорного идола". Несомненно, эта картина Фрейда навеяна отголоском статуса "неверного еврея", который он часто относил к себе. Но нам важно увидеть здесь выраженное от противного утверждение Фрейда о "верности своим убеждениям", которые в течение всей жизни заставляли его от-

вергать и разоблачать “иллюзорного идола” (идола Иллюзии) даже в своем последнем поступке, последнем движении мысли, направленном против самого Моисея – доминирующей фигуры в иллюзии евреев, идола религиозной иллюзии. Представляя в письме Джонсу от 3 марта 1936 года свою работу “Моисей и монотеизм” как опровержение национальной еврейской мифологии, Фрейд ожидает встретить активную оппозицию со стороны еврейских кругов. Он оказался прав: с момента появления книги в 1939 году начались негодующие отклики, критики обвиняли Фрейда в антисемитизме, в лучшем случае неосознанном, и заключали, что в глубине души он ненавидит иудаизм. Суждение известного специалиста по библейским текстам и еврейской истории Абрахама Шаломе Иегуды обобщает реакцию широкой публики на положения Фрейда: “Мне кажется, что я слышу голос одного из наиболее фанатичных христиан, выражающего свою ненависть к Израилю, а не Фрейда, который ненавидит и презирает фанатизм такого рода от всего сердца и изо всех сил”. Для нас вопрос стоит по-другому: действительно ли “Моисей...” является последним мощным усилием Фрейда, предпринятым с целью атаковать и попытаться разрушить фанатизм в его истоке, структуру иллюзии, порождающей и питающей его. Он проделывает это на себе самом, действуя через посредство поразительного выхода в самоанализ: он разрушает себя в своем “героическом” отождествлении с Моисеем, в своей “мифологической” сущности еврея, разбивая фигуру Моисея, внося раскол, трещину в еврейскую реальность, что как нельзя более ясно видно из нижеследующих строк: “Чтобы в наиболее лаконичной форме представить результаты нашей работы, мы скажем, что к известным проявлениям двойственности в еврейской истории: два народа сливаются, формируя нацию, два королевства образуются при разделении этой нации, божество имеет два имени (Х... и Хер Ис Т Ос) в библейских источниках, – мы добавили еще две формы двойственности: образование двух новых религий, одна из которых, подавленная вначале другой, вскоре вновь победно проявилась, и, наконец, два основателя религии, оба по имени Моисей, личности которых мы должны различать”. Нелегко блуждать по лабиринтам двойственностей, но если мы последуем за Фрейдом до конца в его мозаичном пути, нас ожидает странное открытие. Схема фрейдовской интерпретации, на первый взгляд, достаточно проста: Моисей, великий пророк, фигура

которого доминирует в Ветхом Завете, Герой - основатель иудаизма, человек, "создавший евреев", как пишет Фрейд, - Моисей не является евреем, он египтянин. Используя различные источники, Фрейд показывает, что Моисей был священником из окружения Эхнатона (правильно - Х...натон, или первоначально - Х...хер), фараона, совершившего грандиозную монотеистическую революцию и удалившего всех древних богов из египетского пантеона ради единственного самого древнего бога - Х... Но новой религии, выдвигающей новые требования духовности, угрожают возвращением с помощью силы более популярные языческие идолы. Моисей, решительный сторонник религиозной революции, в которой он сам принимал непосредственное участие и одним из авторов которой, возможно, являлся, решает сохранить ее суть, покинув (эмигрировав, как наши диссиденты; из этого видно, что никакого пленения евреев не было, поскольку еще не было евреев, а были интеллектуалы-египтяне) Египет во главе племен, названных им потом семитами (от семян... - семя Х...я), кочевых и достаточно беспокойных. Он внушает им новые принципы, обращая их в монотеизм; таким образом, родилось то, что исторически стало еврейским монотеизмом - новой эрой в истории религии. Повторяю, слово "Моисей" распечатывается как Мойх... (Моше), и переводится как Единый Х... И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. Суета сует, все - суета!"

Кроме того, санкции всех статей Особенной части УК, предусматривающих возможность вынесения смертного приговора, допускают альтернативный выбор судом наказания в виде либо смертной казни, либо пожизненного лишения свободы, либо лишения свободы на срок от 8 или 12 до 20 лет. Причем поставлена она не на первое, а на второе место.

Что касается Холманского, то он чувствовал себя вполне удовлетворенным как тем, что просьба его о прощении, столь мучившая его, не была уважена, так и тем, что он выпущен, наконец, из одиночного заключения; жалел только, что назначен был в арестантские роты неизвестно куда, а не в далекую Сибирь.

Допустимость применения смертной казни за особо тяжкие посяательства на жизнь продиктована не соображениями возмездия, тем более она не может иметь своей целью исправления виновного, а, прежде всего, выполнением задачи восстановления

социальной справедливости и предупреждения новых преступлений как самими осужденными, так и другими лицами. Сохраняя временную, исключительную меру наказания, законодатель предусматривает ряд существенных ограничений, как материального, так и процессуального характера на пути возможности вынесения смертного приговора. Даже при совершении преступления, за которое предусмотрено назначение смертной казни, она все же не применяется к женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста к моменту вынесения судом приговора (а не к моменту совершения преступления). Таким образом, ограничение сферы применения смертной казни в качестве исключительной меры наказания кругом особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, дополняется критериями пола и возраста. Следует обратить внимание на такой нюанс законодательной формулировки: применительно к несовершеннолетним закон говорит о не достижении ими 18 лет на момент совершения преступления, применительно к мужчинам - возраст указан на момент вынесения приговора.

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобой в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И малодейственных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей - пополам!),
Век не салонов, а гостиных,

КАЗНЬ

Не Рекамье, - а просто дам...
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...
А человек? - Он жил безвольно:
Не он - машины, города,
"Жизнь" так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда...
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран, -
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там - распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там - пушки новые мешают
Сойтись лицом к лицу с врагом,
Там - вместо храбрости - нахальство,
А вместо подвигов - "психоз",
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздкий обоз
Волочит за собой команда,
Штаб, интендантов, грязь кляня,
Рожком горниста - рог Роланда
И шлем - фуражкой заменя...
Тот век немало проклинали
И не устанут проклинять.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал - да жестко спать...

Среди процессуальных ограничительных мер следует указать на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ обвиняемому, которому грозит смертная казнь, должно быть предоставлено право на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей или коллегий в составе трех профессиональных судей. Более подробно

процессуальные требования, выполнение которых должно гарантировать права подсудимого, если ему грозит смертный приговор, изложены в УПК. В данном случае такого рода гарантии приобретают особое значение, поскольку при вынесении смертного приговора должна быть исключена опасность судебной ошибки. К сожалению, горечь непоправимых ошибок знала судебная практика прошлых лет. Многим памятен процесс по обвинению насильника и убийцы Чикатило. Его настигла справедливая кара. Но не все знают, что за злодеяния, совершенные этим преступником, до него были казнены два человека. Произошла судебная ошибка. Не первая и, к сожалению, не последняя. В условиях обвальная криминализации нашего общества лавина оперативных “ориентировок”, рассылаемых спецслужбами, повышает вероятность оказаться лицом подозреваемым и для законопослушного гражданина.

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь,
Сознание страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслышанные перемены,
Невиданные мятежи...

Смертный приговор может быть приведен в исполнение только после вынесения окончательного приговора компетентным судом (ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах). Это значит, что жалоба осужденного к смертной казни должна пройти все судебные инстанции, прежде чем приговор будет исполнен. Согласно сложившейся практике уголовное дело, по которому вынесен смертный приговор, истребуется Верховным Судом РФ для проверки в порядке надзора даже при отсутствии жалобы осужденного. Лицо, имеющее право принести протест в порядке надзора, может приостановить исполнение приговора.

После отклонения жалобы всеми судебными инстанциями осужденный к смертной казни может быть помилован Президентом РФ (п. "в" ст. 89 Конституции РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. Это же право суда предусмотрено ст. 57 УК РФ "Пожизненное лишение свободы".

Проговорил тогда Холманский медленно: "Слова мудрых - как иглы и как вбитые гвозди, и составители их - от единого пастыря. А что сверх всего этого, того берегись: составлять много книг - конца не будет, и много читать - утомительно для тела. Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Язык в мире, на Земном шаре, да и везде - один, и он начинается со слова "Х...". Все религии мира, даже не подозревая о том, поклоняются Х... И строятся на нем путем сокрытия букв, как на фундаменте. Бежит история литературы, как река. И теперь мы докапываемся до корней, до оснований. Вникаем в происхождение топонимов. Так, например, получаются у меня поучительные и занимательные рассуждения о происхождении названия российской столицы. Значение Москвы в истории российского и советского государств настолько велико, что неудивительно то большое внимание, которое ей оказывается. Делались попытки объяснить этимологию названия столицы, но... На предложенных вариантах останавливаться не будем, поскольку они изложены в книгах Михаила Горбаневского "В мире имен и названий" и Евгения Осетрова "Жи-

вая древняя Русь". Любопытства ради заметим, что Осетров, исследовав предложенные варианты и видя тупиковую ситуацию, пустился, как говорится, во все тяжкие: ведь Москву можно было назвать по одноименной реке! Протаскивается мысль, что река имеет способность к самоназванию. До настоящего времени вопрос, однако, не нашел положительного решения. Поэтому вполне вероятно и закономерно появление новых версий и гипотез, так как всякий нерешенный вопрос привлекает внимание и возбуждает любопытство. Без учета исторического, религиозного и политического процессов невозможно понять происхождение целого ряда топонимов. При изучении топонима Москва допускается, по крайней мере, две ошибки. Первая ошибка состоит в том, что название Москвы не связывается с именем какого-либо лица. Вторая ошибка состоит в том, что не учитывается изменение слов во времени и пространстве. Наша страна почти тысячелетие развивалась как государство религиозное. Православное христианство наложило свою печать на страну в Восточной Европе, называемой на Западе вплоть до XVII века Московией. Поэтому есть основание исследовать топоним Москва с помощью литературных (религиозных) источников. Я полагаю, что Москва названа в честь литературного героя Библии (Ветхого Завета) пророка Моисея (Моше, Мохуя). Если это утверждение верно, то мы должны найти еще города, названные его именем. Действительно, такие города есть, в Германии - Мосбург (правильно - Мосбурх..., Мосхерх... и при окончательном сокращении - Херх...), в Ираке - Мосул (Мох...). Первое письменное упоминание о Москве встречается в письме московского князя в 1147 году: "Приезжай ко мне, брате, в Москов". Сначала город назывался Мох..., затем после прикрытия сочетание "сков" Бога Хуя, стал - Москов, а со временем - Москва. Имя Моисей, Мох... (Моше) первоначально означает - Мой Х... - один Бог, затем это имя приобрело значение - дитя. Вспомним, что в Коране (Корах..., Хорах..., ХерХ...) он идет тоже как пророк, и называется Муса. Отсюда - термин мусульманство... Итак, с моей точки зрения и с точки зрения Кувалдина, египетского жреца, славянина из Венеции и писателя, вопрос об этимологии топонима Москва можно считать исчерпанным. Итак, повторяю для наиболее тупых: Москва названа в честь пророка Моисея, а сам Моисей был Мох...ем, жрецом фараона и служителем Х... и, что главное, Моисей был

египтянином, потому что тогда все были египтянами, и Библия (Ебиблиях...) была написана жрецами фараонов. Из этих рассуждений следует еще и то, что Москва была основана значительно раньше, году в 700, когда был пассионарный взрыв и появилась новая религия поклонения Х...ю - Ислам (где "Ис" - это Х..., а "лам" - это Лях...). Кстати, слово "Москва" можно (и нужно!) читать как Эм Ос Ка Ов, что означает: Эм - мать, пизда; Ос - хуй, Ка - душа матери; Ов - отец, Бог, Х... (авод, овод - отец), то есть, все слово "Москва" означает совокупление полов, смешение, как Бабильон (Вавилон), где Баб - врата, пизда (П Из Да - место для Бога Х...); иль - Х..., Бог, он - и есть Он, то есть Бог. Добавлю, что слово "Moschee" (моше) по-немецки означает "мечеть", и "Mosque" (моск) по-английски означает то же самое - "мечеть". Это еще раз свидетельствует о том, что арабская ветвь единого египетского языка сначала накрыла территорию, на которой впоследствии родился новый - русский - язык, давший в свою очередь название людям, проживавшим на этой территории - русские. В Рязани обрежут, в Казани казнят".

Отрезвление и внезапная, до дрожи пробирающая тело свежесть, обожженные болью руки, вцепившиеся в окропленные темно-красным рамы распахнутого окна, взгляд в черную, иррациональную, изломанную в перспективе пропасть, ледяной ветер, развевающий волосы, платье плотно обхватывает тело. За спиной - отвратительно дребезжащий звон медленно падающих осколков стекла. Гул и шелест в ушах сменяются смиренной и сочувствующей тишиной.

Бытие не отказывается открывать свою цель, цель движения, пути, развития, итог жизни. Оно просто честно признается в бессмысленности всего сущего. И как-то пусто становится от всего этого, верно? Или, может, это в пустоте содержится хаос, из которого возродится гармония? Усмешка Млечного Пути растягивается в оскале. Итак, бытие сдается. А небытие, как общепризнанная его противоположность, разворачивает бурную и бредовую по своим результатам деятельность. Оно ведет за собой. Так просто и искренне - спасая и принимая, мешая страсть и ярость в одно неистовое, первобытное, чистое чувство, завершенное и бесконечное, как лепесток пламени.

Уголовно-исполнительное законодательство регламентирует порядок, и условия исполнения смертной казни. Основанием для

ее исполнения являются вступивший в законную силу приговор суда и уведомление об отклонении жалоб осужденного (при их наличии) в порядке надзора и ходатайства о помиловании.

Смерть тоже с глазами зеленого цвета. Женщина с бледным лицом, холодными руками, и ледяным сердцем. Нет, у нее его попросту нет, на его месте пустота, такая же всепоглощающая и необъятная, как “Черный квадрат” Малевича. Она протянула ему руку, и он принял эту помощь, и лишь поднявшись, взглянул на нее. Он долго смотрел в ее глаза, пока не осознал, что смотрит в свои собственные. Это всего лишь очередное приключение, подумал он улыбнувшись. “Смерть тоже с глазами зеленого цвета”, - прошептал Холманский, закрывая глаза и выпуская из рук фотографию - глухой удар дерева по каменному полу, звон разбившегося стекла. Он опустил голову на руки, стараясь скрыть свою слабость и свои слезы от самого себя. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем тихие шаги нарушили его уединение. Женщина опустилась на колено и, смахнув осколки, подняла фотографию. На ней смеялся мальчик с изумрудно-зелеными глазами и иссиня-черными волосами.

Они все ушли, но остались другие, те, ради кого мы должны продолжать жить. Он молчал, теперь не отрывая взгляда своих темных глаз от огня. Она вздохнула и ушла. Она оставила фото на столе, и он больше не смотрел на него. Вскоре ушел и он. Маленький, с тех пор он не вырос, волосы всегда ершиком, а сейчас - седые, он вызывающе смотрит в глаза каждого проходящего мимо конвоира. Интеллигентиска!.. Смешон и нелеп. Очки на болезненно-бледном лице подрагивают, руки нервно шелестят в глубоких карманах. Впечатление такое, что там у него песок с галькой... На миг увеличенные линзами глаза сталкиваются с глазами разводящего и тут же убегают в сторону.

Багровые сполохи, пронзительно-белые иглы и когти молний, образы, наплывающие волнами, беспорядочные, дразнящие, прекрасные, задумчивые, неожиданные, нечеткие, искаженные, туманные, дробящиеся в осколках зеркал, они легко и беззвучно разбиваются - и вниз неизбежно низвергаются потоки алого, тягостного, теплого забвения, такого сладкого и запретного... и безумие обволакивает взгляд, только бы припасть губами к теплу и неподдельному источнику жизни... странный, манящий, полный, дикий соленый вкус.

КАЗНЬ

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Смертная казнь в отношении Холманского была исполнена не-публично, в подвале, путем расстрела. При исполнении этой казни присутствовал прокурор, начальник учреждения, в котором исполнялась смертная казнь, и врач. Об исполнении приговора был составлен фиолетовыми чернилами ручкой-вставкой протокол, который подписали указанные лица и скрепили гербовой печатью.

Ничка, ничей, ничек, наничье, изнанка, тыл, испод, исподинка, выворот, выворотная сторона; противоположное - лицо, лицевая, личная сторона. Не тот пьяный, что ничком падает, а тот пьяный, что навзничь. Цветы от недогляда никнут. Колос поник. Приник ко мне головою. Дождь проникает насквозь. Ницые лозы, стланец таловатый, ветловый, ракитовый...

"Наша улица" № 84 (11) ноябрь 2006

Комментарии

Нина Краснова

КАЗНЬ, КАК КОНЦЕРТ БАХА

В Рязани обрежут, в Казани казнят.

Юрий Кувалдин "Казнь"

1.

И тоже ведь, какое это большое и сложное искусство - передать бредовое состояние героя бредовыми потоками сознания. Кувалдин владеет искусством непонятной речи так же великолепно, как и искусством понятной речи. И владеет им так, что и бредовая речь, бессмыслица, под его пером превращается в речь, полную особого смысла и особого значенья, то есть в одну из тех речей, значенье которых "темно иль ничтожно", но "им без волнения внимать невозможно".

Более необычной повести, чем "Казнь" Юрия Кувалдина, я никогда ни у кого из писателей не читала, в том числе и у него самого. "Казнь" - самая необычная не только среди повестей русской литературы, и мировой тоже, но даже и среди повестей самого Юрия Кувалдина. Это - поставангард, постмодерн, но какой-то совершенно новый, а лучше сказать - новейший, неопоставангард, неопостмодерн, неосюрреализм в литературе.

Главный герой повести - некто Холманский - живет в России, сразу в двух и даже в трех веках, и в XX-м веке, и в XIX-м, и в XXI-м, и сразу в двух городах, в Москве и в Петербурге. И все, что происходит в повести с ним и с его товарищами, происходит в России сразу и в XIX, и в XX, и в XXI веке. И все три века с их особыми приметами и реалиями перемешиваются в повести между собой в одно целое. Как, допустим, для кого-то перемешиваются в одно целое античные времена с особыми приметами и реалиями каждого из них или все тысячелетия до нашей эры.

С одной стороны, Холманский - советский диссидент, антисоветчик, который родился в Москве, в 40-е годы, не в каком-то абстрактном для читателя, а в конкретном Старокопюшенном переулке (у Кувалдина в его прозе все конкретно, нет ничего абстрактного, как у Босха и Дали), причем родился Холманский, фигурально говоря, прямо "с книгой" в руках и, наверное, поэтому очень любил читать книги. Он поступал "на филфак в МГУ, но провалился, и его забрали в ар-

мию”, он попал в Мордовию, “во внутренние войска, сначала охранял тюрьму, а потом стал гарнизонным библиотекарем”. И читал и читал книги русских классиков, таких, к примеру, как Достоевский, и книги запрещенных в советское время авторов - Замятина, Платонова, Флоренского, Синявского, Ахматову, Мандельштама, Булгакова, Бродского, Солженицына, Розанова, Бердяева, которые он получал из Москвы, в посылочных ящиках, “сколоченных из фанеры”. Он делал на ксероксе копии этих книг (то есть занимался самиздатом) и переправлял их по несколько экземпляров в Москву. Один из его приятелей, сержант из Тарту, которому Холманский, как и другим своим товарищам, давал читать запрещенные книги и который оказался провокатором, наступал на него в “органы”, и Холманский, который когда-то охранял тюрьму, теперь и сам загремел туда. Ему предъявили “обвинение в измене родине по статье 58-1а”, в сталинское время - самое страшное из всех обвинений наряду с обвинениями в терроризме и в шпионаже. И вот Холманский сидит в Лефортовской тюрьме, в одиночной камере смертников, за решеткой, и ждет своей участи.

А с другой стороны, Холманский, как бы не этот, а другой, но как бы и этот же самый - член кружка Петрашевского. Он по доносу некоего Антонелли вместе с Петрашевским и вместе с петрашевцами попал в сталинскую Сухановскую тюрьму, а потом в Петропавловскую крепость, тоже сталинскую, ибо Сталин олицетворяет вечный образ тирана-палача, и вот сидит в одиночной камере смертников и ждет казни. А что он совершил, какое такое преступление? Как и Холманский - “антисоветчик” - никакого. Просто читал много книг, общался с кругом своих единомышленников, которые собирались дома у Петрашевского, причем не всегда одни и те же, говорил с ними о книгах, о жизни, о политике, том, что его волнует. А в кругу единомышленников оказался доносчик, или стукач, который заложил их всех Третьему отделению, или ГБ, поставил им в вину то, что вот они собираются дома у Петрашевского, образовали такой вредный для безопасности государственных примитивов кружок вольномысленников...

Говоря о романе Юрия Кувалдина “Так говорил Заратустра” и о любовно-эротических сценах этого романа, и зная все другие произведения Кувалдина, в которых есть эти сцены, и зная его “Юбки” и его “Родину”, я сказала, что Кувалдин - Король эротической прозы, потому что он самый эротичный из всех современных писателей. Но, зная всю прозу Кувалдина, и его новую повесть “Казнь”, о которой я сейчас пишу свои заметки, я могла бы сказать, что он - и Король психологической прозы, и Король интеллектуальной (и философской) прозы, и Король московской (а значит общерусской) прозы, потому что он самый психологичный, самый интеллектуальный, самый образованный и самый московский (по определению) из всех современных писателей... и что он - более того - Король современной художественной прозы, причем во всех жанрах, стилях, методах и направлениях, от статьи, от этюда, от афоризма до рассказа, повести, романа и пьесы, до театра абсурда, от трагедии до водевиля, от неритмизованной до ритмизованной прозы в духе Андрея Белого, от реализма в его самом чистом виде до модернизма, от гиперреализма до гипермодернизма, с сюжетом и без сюжета и так далее.

Как Сумароков когда-то создал образцы всех основных жанров поэзии ХУШ века, многие из которых дошли до ХХ1 века, так Кувалдин в своем творчестве объединил все основные жанры прозы всех веков и создал на их базе новые образцы

всех основных жанров современной прозы. Проза Кувалдина - это русская проза Третьего тысячелетия, вобравшая в себя прозу всех предыдущих тысячелетий и культур).

Ай сей, говорю я, пользуясь любимой идиомой Кувалдина.

О Холманском Кувалдин сообщает, как бы издеваясь над тюремными надзирателями и цензорами: "Нельзя сказать, что он только антисоветчину читал. Нет (да и какая уж антисоветчина - канонизированные в наше время стихи Цветаевой и Мандельштама?). Возьмет (Холманский), к примеру, книгу про подземелья, и сидит читает". А дальше Кувалдин как бы раскрывает перед читателями эту книгу и читает ее вместе с ними и с Холманским, и читает ее как бы всем вслух и комментирует ее, и получается как бы книга в книге (в книге "Казнь" - отрывки из книги "про подземелья"), из которой мы узнаем, что "подземные ходы в Москве" люди начали строить "чуть ли не с самого ее основания", но "настоящие лабиринты и большие тоннели возникли под городом во времена царствования Ивана Грозного", "однако же сам царь не мог предположить, какие масштабы приобретет" все это в XX веке! - "Метро, водостоки и прочие подземные коммуникации - это лишь видимая часть того, что с тех пор построили под столицей"...

Отрывки из книги "про подземелья", которая дана Кувалдиным как метафора потаенного, подпольного, андеграундного существования и мышления, потом будет цитироваться и комментироваться через каждые пять-десять страниц, до самого конца "Казни". И в конце читатели станут специалистами по теме подземелий.

Самая повесть Кувалдина "Казнь" - имеет свои подземелья в виде глубоких подтекстов с историческими культурными слоями разных эпох и свои лабиринты. В нее входишь, как в Петропавловский рavelин или как в Тибетскую пещеру с призраками умерших или в маркотовенскую пещеру, в которой заблудились Том Сойер и Бекки Тетчер и в которой погиб индеец Джо.

Призраки умерших бродят и в московских подземельях, по которым в свою очередь бродят с фонарями в руках подпольщики повести Кувалдина "Казнь", вместе с Холманским, и которые сами тоже кажутся призраками, фантомами. Под институтом Склифосовского, под его центральным корпусом они вдруг обнаруживают "печи для сжигания останков" людей, и испытывают удивление, а потом и настоящий шок, когда обнаруживают около одной из печей "букет свежих гвоздик, на которых поблескивали капельки воды". Кто принес и положил их сюда, когда некому и неоткуда было прийти сюда? Неужели призрак когонибудь из умерших? Один подпольщик при виде всего этого впал в "полубоюморочное состояние". От созерцания подобных сцен и читатель может впасть в сходное состояние. Потом подпольщики наткнулись "на груды свежееобглоданных костей какого-то крупного животного"... Потом они увидели "человеческие ноги", которые появились из "толщи бетонного свода". А через мгновение оттуда, из потолка, "показался и полупризрачный силуэт человека. Это была женщина. Она умоляюще простерла руки к людям, но вдруг какая-то неведомая сила начала втягивать ее в бетонную стену. Подпольщики стояли как парализованные - до тех пор, пока призрак не исчез совсем. Оправившись от шока, подпольщики, не разбирая дороги, бросились прочь из этого места!"

У читателей от такого "фильма ужасов", от которого им делается страшно - аж жуть, мурашки по коже бегают, как и у самих героев Кувалдина...

Бродит по подземелью и “бледная тень Иоанна Грозного”, которая все ищет и не может найти свою погребенную там библиотеку... И выскакивает откуда-то (из подземелья и из библиотеки?) и скачет по ночному парку на своем коне призрак некоего всадника, гусара, который хочет подарить своему призраку, своей любимой девушке в наряде девятнадцатого века букет роз и соединиться с ней...

Но не только призраки и тени умерших живут там. “Наркоманов, бомжей, бродяг и всякого рода неформалов в московских подземельях тоже хоть пруд пруди”, как крысы и мутированных “ухверток величиной с сардельку”, и мутированных “полуметровых сколопендр”. Некоторые из них (не крысы, не ухвертки, не сколопендры, а люди, человекоподобия) надевают на себя одежду дворников, оранжевые жилеты, и воруют на вокзалах чемоданы у пассажиров...

Есть там и сатанисты, которые убивают людей, которые случайно забрели на их территорию.

Кувалдин показывает мир московского подземелья со своими законами, мир отбросов общества, которые находят там убежище, и сравнивает его с клоакой Гюго в романе “Отверженные”. Не дай бог забрести туда домашнему, да еще культурному человеку. Это все равно, что домашней собачке, какой-нибудь крыловской болонке, которая спит на бархатной подушке, забрести в стаю уличных собак, которые отбились от людей и живут в овраге или на свалке, как герои пьесы Людмилы Чутко “Стая” (правда, у нее они пока еще похожи на людей, достойных сочувствия и жалости, а те люди уже и на людей не похожи).

В “Казни” реальность кажется нереальностью, а нереальность кажется самой настоящей реальностью. И призраки кажутся настоящими людьми, а люди - призраками, фантомами, как и сам Холманский. Он сидит в Петропавловской крепости и видит сам себя, своего двойника, то в Петербурге, то в Москве разных времен, то в кружке петрашевцев, то в Интернете, то в Сухановке, то в Лефортове, то на Крымском мосту с Петром I Зураба Церетели, с парком культуры, то в метро, на станции метро “Маяковская” “с новым входом и выходом”... то в “черном вороне” на колесах (в машине), то в карете “черный ворон”, запряженной лошадьми...

Тема двойника есть у Достоевского. Есть она и у Кувалдина. Человек как бы расщепляется и становится собой в двух экземплярах и живет в двух параллельных мирах. И видит себя со стороны и в мыслях своих, но и в реальности, и может наблюдать сам за собой.

Интересно, что и Кувалдин своим авторам с чересчур распространенными и от этого банальными фамилиями добавляет через дефис вторые фамилии: Михайлин-Плавский, Кузнецов-Казанский, Михеев-Верхов... и все становятся у него как бы столбовыми дворянами, или новыми русскими дворянами.

2.

Во всех своих книгах Кувалдин показывает читателям Москву, и читатели, которые внимательно прочитают их все с карандашом в руках, могут стать прекрасными московедами, будут знать Москву если и не лучше самого автора, то, по крайней мере, лучше тех, кто не читал его книг. И смогут работать экскурсоводами и гидами города Москвы. Все книги Кувалдина это не только художественные учеб-

ники жизни, литературы, искусства, философии, истории, русского языка, психологии, этики и эстетики, культуры, но и художественные учебники москвоведения.

В “Казни” Кувалдин выступает и как петербурговед, как человек, который очень хорошо знает не только Москву, но и Петербург, Питер, хотя автор и говорит читателям, как бы извиняясь перед ними, что он не знает Питера. Москву, мол, он, Кувалдин, знает (в России есть один большой город - Москва, где “сосредоточены все деньги страны и все основные офисы... город, в котором цены на недвижимость растут по 5 процентов в месяц, в котором советский человек без регистрации (по месту жительства) чувствует себя менее социально защищенным, нежели находясь в Штатах по рабочей визе”), а Питера, мол, Кувалдин не знает, и “да простит его Питер, о котором он не будет ничего говорить, т. к. не знает” его.

Кроме Петропавловской крепости в “Казни” фигурирует Петропавловский собор с колокольней, Адмиралтейский бульвар... Апраксин двор, Выборгская сторона, Нева, Воскресенский проспект, Кирочная улица, Знаменская улица, Лиговка, Обводной канал, Семеновская площадь...

И читатели в повести “Казнь” благодаря Кувалдину совершают вместе с Холманским путешествие то из Москвы в Петербург, то, прямо почти по Радищеву, из Петербурга в Москву, как в клубе кинопутешествий.

Повесть Юрия Кувалдина “Казнь” - это книга, в которой как бы много книг на разные темы, куски которых чередуются между собой, или много художественных слоев, как много слоев разных пород, известняка, каменного угля, древесного угля, глины, песка и т.д. - от эпохи Мезозоя до нашей эры - в археологическом срезе земли.

Второй книгой в книге - или вторым художественным слоем - в повести “Казнь” является книга о смертных казнях в России, которые были впервые закреплены в 1398 году в Двинской уставной грамоте... Эту книгу Кувалдин тоже читает как бы вместе с Холманским и читателями и тоже комментирует и цитирует. И к концу повести читатели становятся специалистами по теме смертных казней...

А “преступление”, за которое Холманский получил наказание, по нашим временам преступлением не является. Как и некоторые другие особо “тяжкие” преступления, за которые люди получали жестокие наказания в виде смертной казни. Например, “за кражу, совершенную в третий раз”...

Кстати сказать, Екатерина II была яркой противницей смертной казни за любое, какое бы то ни было, преступление и допускала возможность ее применения только в исключительных случаях.

Есть в повести Кувалдина тайнопись египетского жреца, разгадать которую может только тот, кто много общается с Кувалдиным и кто знает круг его любимых авторов журнала “Наша улица”.

Например, тайнопись есть в одной из речей Холманского:

“Говорил тогда Холманский: “Поехал я в Архангельск через Вологду, а попал в Ростов-на-Дону через Воронеж...”

Здесь, в своей речи, Холманский в точности повторяет маршрут автора “Нашей улицы” Эмиля Сокольского, который много кружит по России, много путешествует, как лягушка-путешественница Гаршина, и который ездил в Архангельск через Вологду, а в Ростов-на-Дону - через Воронеж”. Кувалдин считает, что писатель должен не ездить по стране, а сидеть на одном месте - лучше все-

го в Москве - и писать свои книги, тогда толку от него литературе будет больше. И поэтому Кувалдин как бы поучает самого себя, а через себя - и своего младшего коллегу, но делает это в юмористической форме с трагической окраской: "Ибо сказано было еще классным руководителем: нечего по свету шляться, сиди на месте и учи уроки. Нет... не хотел (ты) учить арифметику, потянуло (тебя) к географии, а она повсюду круглая, как баранка, и бесконечная, как обручальное кольцо, сковавшее тебя злою женою твоею. Лучше поселись в Москве, городе бесконечном..." И сиди и работай здесь, не занимайся суетой сует и не бегай по кольцевой линии жизни, по которой никогда не попадешь на Красную площадь (как бы на главную площадь своей жизни), а "все будешь попадать на Курский вокзал"... кружиться, как белка в колесе... и кататься на эскалаторе жизни, "а он к смерти везет, стоишь ли, идешь ли, бежишь ли, а эскалатор жизни... все к смерти (и тебя, и всех) везет".

Кувалдин, как никто, чувствует движение времени и не зря сравнивает его с движением эскалатора, который всех везет к смерти, хочешь или не хочешь ты этого, а ты едешь по эскалатору именно туда. И поэтому Кувалдин как бы призывает и самого себя, и других не заниматься суетой сует, а заниматься главным делом своей жизни, чтобы успеть завершить его, прежде чем тебе придется сойти с эскалатора в могилу.

Каждого человека ждет смерть, каждый живущий приговорен к ней, как приговорены к смертной казни Холманский и его товарищи. Можно подумать, что они умрут, а судьи, приговорившие их к ней, и палачи, должностные совершить ее, никогда не умрут и будут жить вечно. Все умрут: и судьи, и палачи, а не только их жертвы. Только, в отличие от людей, приговоренных к смертной казни не людьми, а самой судьбой, никто не знает дня и часа, когда это произойдет. Каждого из них судьба может казнить прямо сейчас, а может и помиловать и отложить смертную казнь на несколько лет или на несколько десятков лет. Вот о чем думаешь, когда читаешь повесть Кувалдина "Казнь".

И еще думаешь вот о чем: какая разница - когда ты умрешь: сейчас или через пятьдесят лет, если ты все равно умрешь? Но разница есть. Кто умрет рано, в молодом возрасте, тот может не успеть осуществить то, для чего он родился, а кто умрет позже лет на пятьдесят, имеет больше шансов осуществить то, для чего он родился. Хотя сколько случаев в мировой истории и практике, когда тот, кто умирает рано, в молодом возрасте, как, например, Пушкин, Лермонтов и Есенин, успевают сделать в жизни все главное, для чего он родился. А кто умирает позже лет на пятьдесят, ничего не успевают сделать в жизни, даже тысячной части того, что успели они.

Я другого такого писателя не знаю, который бы так остро и так сильно, как Кувалдин, чувствовал бессмысленность жизни большинства людей, которые родились непонятно для чего, и круговые циклы их жизни, по которым они крутятся, как заведенные игрушечные паровозики на игрушечной железной дороге или игрушечные самолетики по игрушечной трассе. В повести "Казнь" он выражает это через Холманского, через его периодические речи, которые он произносит, будто Святой Апостол Павел или Иоанн Богослов или сам Христос: "Говорил тогда Холманский: "Служил я в армии, работал на вертолетном заводе, и не было счастья (у Холманского в душе). Другие до сих пор крутятся на вертолетном заводе. Утром идут в метро, а вечером - из метро. Садятся на "Речном вокзале", переходят на "Бе-

лорусской”, едут до “Краснопресненской”... И так каждый день человеческий, а значит - и Божий. А потом отвозят их на Востряковское или Домодедовское или на новое другое кладбище. И зарывают их в землю, ибо сказано, что земля состоит из праха человеческого”. Неужели они все родились только для того, чтобы стать прахом? Многие из них (большинство) перед этим, правда, успевают посадить дерево, а иногда и вырастить его, а некоторые и не одно дерево, а целый лес, и построить дом и родить и вырастить детей... Тогда считается, что их жизнь имела какой-то смысл. Хотя и деревья, которые они посадили, когда-нибудь станут прахом, и дома, которые они построили. И дети, которых они родили. А кто успевает написать гениальную книгу, тот остается в метафизической жизни. Но если через сотни миллионов лет Земля разлетится на куски, как солнце в воображении Незнайки, или покроется новым ледником, и все человечество умрет, то какой смысл имеет и жизнь автора гениальной книги?

Есть в Москве люди, которые никогда не были в Третьяковской галерее. Всю жизнь они работали “ради куска хлеба”, удовлетворяли свои физические потребности, а в галерею так и не сходили.

“Сказал Холманский тогда: “Жил человек в Москве девяносто лет, но ни разу не был в Третьяковской галерее. Зачем жил такой человек? Он отработал пятьдесят лет на заводе “Станколит”, который отливал чушки для танков. Теперь нет завода “Станколит”, там на нем сплошная барахолка, один завод “Борец” (который находится напротив “Станколита”) вместе со своими рабочими и инженерами едет по эскалатору станции “Савеловская” к финишу... И завода “Борец” не будет...” В том районе теперь находится редакция журнала Кувалдина “Наша улица”. И ее не будет? Но журнал останется, по крайней мере - в истории литературы, и “будет любезен” читателю, “доколь в подлунном мире жив будет хоть один” читатель.

Все в жизни суета сует и томление духа, говорил Экклезиаст. И то же самое говорит Холманский через Кувалдина или Кувалдин через Холманского. Но не все - суета сует. Творчество, например, которое обеспечивает человеку метафизическое бессмертие. Живопись, музыка, литература. Особенно литература, по мнению Кувалдина, то есть Слово. Но не всякое, конечно, а Слово, которое есть Бог и которому не страшны никакие катаклизмы мира.

Чтобы показать одиночную камеру Холманского, в которую его посадили и в которой он должен будет жить и ждать своей участи восемь с лишним месяцев, Кувалдин освещает ее с помощью зажженной свечи, которую принесли в камеру охранники:

“Наконец-то принесли свечу, и Холманский обнаружил себя в маленькой, узкой комнате без мебели - у стены стояла кровать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, табуретка и ящик”.

Камера аскетична, как келья монаха.

Потом на окне была зажжена - охранниками же - “какая-то светильня”, плошкa с салыным фитилем, а свечу они унесли, “дверь захлопнулась на ключ, и Холманский остался один в полумраке, в изумлении и в страхе оттого, что с ним случилось. Холманский сидел на кровати, смотря на тяжелую дверь, в которой еще несколько секунд ворочался ключ, запиравший его, потом слышны были шаги уходивших людей и гремевшая связка больших ключей”.

Кувалдин так показывает камеру Холманского, как будто не Холманский, а он сам и сидел в ней.

Кувалдин показывает и арестантскую одежду и обувь Холманского, которую тому было предложено надеть, и тоже показывает так, будто не Холманский, а он сам и надел все это на себя и носил все это: “длинную рубашку из грубого подкладочного холста” и “грубые... носки”, “связанные из овечьей шерсти”, тоже длинные, “почти до колен”, “халат из серого (солдатского) сукна” и туфли, “кирзовые тюремные тапочки”. “Халат... был заношенный, местами изорванный”, “дырявый” и к тому же “грязный”. Да, прикид что надо. В таком только по подиуму ходить.

Рисует Кувалдин и подушку, на которой Холманский спал. Подушка была “жесткая, бугристая”, на ней было плохо спать, она давила на щеку, на висок, и у него от нее появлялась боль в голове, и он то засыпал, то просыпался и все время переворачивался с одного бока на другой. Да, не позавидуешь Холманскому.

Кувалдин так показывает камеру Холманского, его подушку и его “прикид”, и вообще его жизнь в тюрьме и условия этой жизни, что ни одному читателю не хотелось бы оказаться на его месте.

Помню, когда я читала роман Виктора Астафьева “Прокляты и убиты”, зимой, в Москве, в 1993 году, в своей тесной, но теплой хрущевке, читала о том, как наши советские солдаты жили на фронте, зимой, прямо на улице, в снегу, в окопах, или в каких-то холодных, наспех сколоченных дощатых бараках, где вода в ведрах ночью замерзала, спали на нарах или прямо на земле, без всякой постели, в шинелях, в грязных обмотках, и что они прямо там и с...ли, и с...ли (справляли нужду), где спали, и что им даже умыться и помыться было негде, и они были все время вшивые, грязные, вонючие, голодные и холодные, и даже черного хлеба досыта не ели, и думала: господа, как хорошо, что нет войны и что я не на фронте, а у себя дома, в своих стенах... И моя жизнь свободной художницы на хлебе и воде, далекая от райской, казалась мне райской по сравнению с жизнью этих солдат, героев романа Астафьева. Нечто похожее я испытала и когда читала повесть Юрия Кувалдина “Казнь”. Я читала ее и думала: господа, как хорошо, что я не в Петропавловском или еще каком-то каземате, не в камере Холманского, а у себя дома, в своих стенах... и сейчас могу пойти на кухню и попить чаю с бутербродом.

Кувалдин показывает и психологию своего героя, в условиях тюрьмы, его “мучительное... душевное состояние безвыходного и долгого одиночного заключения, чувство жестокой темничной (!) тоски, мрачные мысли, преследовавшие его безотвязно, и по временам упадок сил до потери голоса и изменения”. “Холманский дни и ночи говорил сам с собою и, не получая впечатлений извне, вращался в самом себе, в кругу своих болезненных представлений”.

Условия жизни в тюремной камере Холманского кажутся читателю и самому Холманскому невыносимыми, особенно в первые моменты. Потом в камере появляется печь, которая составляла большую часть стены. То есть не появляется, а начинает функционировать - после посещения камеры генералом, который по просьбе Холманского приказал охранникам затопить печь, и они затопили печь, и в камере стало тепло и от этого стало и как бы уютно.

Потом Холманский получает от охранников “большой кусок черного хлеба” и миску с супом, в котором лежат куски говядины... А потом ему дают воду для умывания... И он стал “сыт, умыт, одет и согрет”. И жизнь в камере уже не представля-

ется ему, а вместе с ним и читателям такой уж страшной и невыносимой. Кувалдин очень искусно - пользуясь приемом постепенной градации - показывает переход условий жизни заключенного от невыносимо плохих к немного лучшим, и они даже начинают казаться неплохими по сравнению с невыносимо плохими, и даже начинают казаться по-своему привлекательными...

В такие условия не отказался бы попасть какой-нибудь магаданский или певекский бродяга Анжелы Ударцевой, который не имеет крыши над головой и даже зимой спит на улице, на деревянном настиле под сломанной рябиной... Или писатель, у которого нет своего жилья и своего кабинета. Он сидел бы в одиночной камере (это тебе не в современной Бутырке, где в одной камере набито тридцать человек и они спят стоя, как лошади, потому что все нары заняты) и писал бы книги, как Чернышевский, Верлен, Беранже, Тиняков или Кампанелла. Правда, если бы он согласился расстаться со своей свободой.

В камере Холманского всего одно окошко, оно с решеткой, разумеется, и оно высоко над полом, до него нельзя дотянуться. Но оно, слава богу, есть. Оно маленькое, но кажется Холманскому большим, оттого, что оно - единственное и другого нет, и оттого, что камера маленькая:

“Окно в небольшой камере казалось Холманскому большим” (замечательная иллюстрация к теории Эйнштейна!). “Сквозь решетку маленького окна Холманский смотрит на черное небо”. Это ночью. А утром и днем, он, значит, смотрит на светлое небо. Значит, жизнь Холманского не беспросветна.

3.

Я другого такого писателя не знаю, который бы, как Кувалдин, умел в чем-то плохом видеть не только плохое, но и хорошее и показывать это так, что это хорошее только в плохом и только через плохое ты и можешь ярче увидеть и лучше оценить. Как бриллиантовые подвески королевы Франции, найденные не в сундуке с бриллиантовыми украшениями и не в Грановитой палате Кремля, а на помойке или на свалке или в навозной куче.

“Человек ко всему привыкает, сживается даже с тюремными стенами, и Холманский сжился” с ними и привык к своей тюремной жизни и к условиям этой жизни, “а печку особенно полюбил, гладил теплый ее бок ладонями и улыбался”, пишет Кувалдин. И показывает, как люди привыкают ко всему. И как они чувствуют себя счастливыми даже и в плохих условиях, особенно если, в отличие от Холманского, они никогда и не жили в хороших условиях. Как, например, многие граждане России, которые привыкли жить не по-человечески. “Да, не смейтесь! Они (эти люди) счастливее Холманского! Они не знают, что можно жить по-другому! И поэтому они счастливы”.

Кто-то из писателей, кажется, Паустовский, сказал: пейзаж это не довесок к прозе. Когда читаешь прозу Кувалдина, в том числе и его повесть “Казнь”, видишь, что это так и есть.

Пейзаж играет в прозе Кувалдина и в его повести “Казнь” особую роль и является такой же художественной необходимостью, как и пейзаж в жизни любого человека, даже если человек и не придает ему особого значения, а для арестанта, ко-

торый днями и ночами, месяцами (или даже годами) сидит в одиночной камере, и лишен возможности выходить на улицу, и не видит ничего, кроме четырех мрачных стен и кусочка неба в окошке, пейзаж, улица, природа приобретает особое значение и становится такой же желанной мечтой, как сама свобода.

Недаром Холманский сидит в своей камере, в “темно-фиолетовой” темноте, и вспоминает свои встречи с Петрашевским на фоне Москвы и на фоне природы, на Крымском мосту, в парке культуры, в поле, в саду, на террасе, и вызывает, и вызывает их в себе, и смотрит на них новым взглядом, и они наслаиваются у него в голове одна на другую и превращаются в яркие, милые сердцу ностальгические картины, которым он раньше, может быть, и не придавал такого значения, как теперь, но которые теперь приобретают для него особое значение и кажутся ему невероятно прекрасными: “Темнота (камеры), спертый воздух, неизвестность, куда Холманский вошел, произвели на него потрясающее впечатление; Холманский попросил свечку, и ему показалось, что Крымский мост встречает его с Петрашевским радостными огнями, а могучий Петр I Зураба Церетели сверлит (их обоим) сердитым взглядом, стоя по колено на своем бронзовом паруснике. Они (Холманский и Петрашевский) идут в парк культуры - и Холманский немисливо счастлив оттого, что (у них) с Петрашевским все только начинается. И прохладную тишину утра нарушает только сытое карканье ворон в поле, голоса да гулкий стук падающих с деревьев яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к реке. Всюду пахнет яблоками... На террасе стоят раскладушки, на круглом столе - позеленевший самовар, в уголке - посуда. В полдень в саду на керосинке варится яблочное варенье, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым...”

Все эти картины полны неизъяснимого очарования, тем более в мрачном контексте повести.

А вот Холманский впервые за восемь месяцев увидел зимний пейзаж на Семеновской площади, куда его и других петрашевцев привезли на казнь. И вместо страха перед казнью он испытал “неописуемое блаженство”, которое подавило в нем весь страх:

“С замиранием сердца посмотрев кругом, Холманский увидел знакомую местность - их привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свежесвалившимся снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на арестованных; была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Подумать только, солнца не видел Холманский восемь месяцев, и предвставшая глазам его чудесная картина зимы и обьяввший (его) со всех сторон воздух произвели на Холманского опьяняющее действие! Холманский ощущал неописуемое блаженство, и несколько секунд забыл обо всем”.

“Мороз и солнце! День чудесный!” - мог воскликнуть про себя Холманский. И в этот день должна была состояться казнь Холманского со товарищи.

Пейзаж здесь у Кувалдина весь сверкает от солнца и снега и связан с психологией Холманского! И кажется особенно ярким по контрасту с тюремной камерой, которую покинул Холманский, и по контрасту с вечной тьмой могилы, которая ждала Холманского. Это самый яркий пейзаж во всей русской литературе, ярче, чем у

Пушкина! И ярче, чем у Юона на его картинах, и чем у Рериха.

Когда я была маленькая и училась в школе-интернате, я считала пейзажи довеском к прозе и пропускала их в книгах, например, в “Записках охотника” Тургенева, где без них и книги не было бы, они были мне неинтересны и скучны. Мне казалось, что писатели пишут их для того, чтобы считаться классиками и чтобы дать школьникам предложения для синтаксического разбора этих предложений на уроках русского языка и для диктантов. И только позже они стали мне интересны, но далеко не у всех писателей, даже и у классиков. Там, где слишком много природы в книгах, как в Сухумском заповеднике, и земли не видно из-под травы и папоротников, пейзажи мне менее интересны, чем там, где ее меньше. Может быть, потому, что я горожанка и лучше чувствую себя в парке с асфальтовыми и плиточными дорожками, чем в дремучем лесу с заросшими тропинками.

И вот в книгах у Кувалдина пейзажи мне интересны, как интересны они мне, допустим, у Чехова. А у кого-то еще - нет. И у кого-то еще они и сейчас кажутся мне ненужными довесками к прозе, которые можно выбросить оттуда без ущерба для прозы, а можно просто не читать.

Еще одной книгой в книге - или еще одним художественным слоем - в повести “Казнь” является тема: Кувалдин - о Достоевском и о Шекспире, через Бахтина.

Что говорил, что писал Бахтин о Достоевском, о его прозе и о ее главных особенностях?

Бахтин говорит о “многоголосности” и “полифоничности” прозы Достоевского, о “множественности самостоятельных и неслиянных голосов” в его прозе, о “приемах конструкции его романов (и повестей), определивших их общий характер”.

И чем больше читаешь, что говорил Бахтин о Достоевском, тем больше понимаешь, что все, что Бахтин говорил о Достоевском, можно сказать и о Кувалдине.

Потому что одной из главных особенностей прозы Кувалдина тоже является “полифоничность”, “многоголосность” и “множественность самостоятельных и неслиянных голосов”, которые образуют какофоническую и в то же время гармоническую симфонию, “внутренне спаянное целое”, наподобие музыкальных произведений Шнитке или, вот еще кого - Артемова.

И Кувалдин, как и Достоевский, “дает каждому (из своих героев) абсолютную автономию”, “действующие лица” Кувалдина, как и Достоевского, “живут, борются... спорят (друг с другом), исповедываются друг другу и т.д., нисколько не насилимые автором”, “и в результате столкновения этих... лиц, словно независимо от самого автора, появляется вся ткань романа”.

И наглядным примером этого служит повесть Кувалдина “Казнь”.

А что говорит Кувалдин о Шекспире, как бы полемизируя с Бахтиным? Он говорит, что драмы Шекспира отличаются от всех других отсутствием в них тезисности, тенденциозности, “каких бы то ни было “руководящих идей или норм”. То же самое можно сказать и о прозе Кувалдина, которая служит наглядным примером того же самого.

Через Достоевского и Шекспира Кувалдин как бы объясняет читателям и свой стиль, хотя стиль Кувалдина - это только его стиль, и ничей больше.

Ни одно произведение у Кувалдина не обходится без каких-то антиобычных, антипривычных открытий в филологической области. Есть они и в “Казни”. Са-

мо слово “казнь” у Кувалдина является словом, которое имеет один корень с названием города “Казань” и даже является синонимом “Казани”. А название улицы “Остоженка” он связывает не со “стогами”, не со “стожками”, как, допустим, Владимир Солоухин в одном из своих стихотворений, а с направлением одной из четырех сторон света - “ост”, “остен”, хотя улица идет запад (юго-запад), но можно пойти от Чудовки (Комсомольского проспекта) и в обратную сторону, на восток (северо-восток):

“С кончиной марксистско-ленинской монархии ось вращения идеи подавления литературы и культуры сместилась к другим берегам, к другим океанам, дранг на о с т е н по О с т-оженке, куда-нибудь в темно-небесную Африку, или в желто-ветренную Азию...”

Я уж не говорю, с чем он связывает слово “Бог”, - с “Йэбохом”, и с чем он связывает имя Бога “Яхве”, произносимое как “Йяху”, или попросту в три буквы, начиная с “Х”. Оно есть “основа основ, солнце русской, китайской и всякой другой поэзии”.

Вот уже около трех лет Кувалдин распространяет по миру свою сногшибательную теорию происхождения языка, гениальное филологическое открытие нового тысячелетия.

Еще одной книгой в книге - или еще одним художественным слоем - в повести “Казнь” является тема поиска героем страны, в которой ему всегда было бы хорошо.

Холманский уезжает из России в Нью-Йорк, в Америку, но очень скоро понимает, что Америка для него - это не та страна. И уезжает в Австралию (в мыслях своих или наяву - это непонятно, да это как бы и неважно).

“Что его ожидает в Австралии? Пока он не знает! Кое-что после Штатов его там тоже не устраивает - вредные насекомые, акулы в океане, “злые” штрафы на дорогах, отсутствие в каждом apartment-комплексе gum. swimming pool-ов и т.п., нехватка некоторых магазинов, которые были в Штатах, но не будут в Австралии”.

Акулы в океане - это среднеарифметическому россиянину понятно, что это такое, их, слава богу, в России нет, как и чересчур вредных насекомых (каких-нибудь скорпионов, ядоносных пауков). А вот это, написанное иностранными буквами, это что-то такое, связанное, наверное, с чем-то интимным, если оно задрапировано латинскими буквами? Это что-то такое, что, наверное, есть только в суперцивилизованной Америке? Сквозь все это, сквозь мысли героя об акулах, магазинах, штрафах на дорогах и о каких-то “апартаментах” (о публичных домах, что ли?) проглядывает ирония автора над своим героем, который идет (и едет и летит на самолете) туда, сам не знает - куда, и ищет то, сам не знает - что?

Ни одна страна его не устраивает. Как одну из героинь Гоголя (я уж не помню кто - кого) не устраивает чей-то портрет (кандидата в женихи?), и она думает: вот если бы к бороде Петровича добавить усы Петра Ивановича, и к дородности Ивана Петровича прибавить изящество Петра Ивановича... тогда получился бы идеальный жених, то что надо, но - увы... Ничего идеального в этом мире нет. Ни людей, ни стран. И, наверное, слава богу. Значит, ни в чем нет предела для совершенствования и, значит, во всем есть перспектива для совершенствования и... почва для художественного воображения.

Холманский прочитал книгу Карнеги об отношении человека к жизни (жизнь такова, каково отношение человека к ней, и только от этого зависит - плоха она или хороша) и решил для себя вот что: "Он будет воспринимать Австралию такой, какая она есть, и пытаться подстроить себя под нее. Он будет пытаться "интегрироваться" с этой страной, так как он уже устал от непостоянства и вечного поиска".

А почему бы ему тогда не уехать назад в свою Россию и не попытаться "интегрироваться" с ней? - думает читатель, то есть я.

"Очень хочется надеяться, что он наконец-таки найдет именно эту страну, в которой ему будет хорошо!" - говорит не то Холманский сам о себе, не то автор о нем.

А читатель думает: человеку может быть хорошо в любой, даже и в самой плохой стране, если у него есть свой красивый параллельный внутренний (художественный) мир, в котором он живет и который он всегда носит с собой, как улитка свою ракушку, и человеку не может быть хорошо ни в одной, даже в самой хорошей стране, и в самых лучших условиях, если у него нет своего красивого параллельного внутреннего мира.

И еще: хорошо там, где нас нет, - но это абсолютно не так. Потому что на самом деле хорошо только там, где есть мы. Кто-то из авторов "Нашей улицы" (кажется, Евгений Лесин) так и сказал: хорошо только там, где есть мы, а не там, где нас нет.

И сам Кувалдин считает точно так же, когда говорит, что литература находится - не где-то там такое, где нас нет, а она здесь, в журнале "Наша улица", где есть мы, авторы журнала, и наши произведения, которые есть в этом журнале. И хорошо не там, где нас нет (как в журналах, где нас нет), а там, где мы есть.

В отличие от всех других повестей Юрия Кувалдина в повести "Казнь" нет любовно-эротической линии и нет любовно-эротических ощущений главного героя, кроме одного такого ощущения, которое автор передает через воспоминания Холманского о своей прогулке по улице со своей спутницей, которую он никак не обозначает на странице, никакими штрихами, даже легким наброском карандаша, и не объясняет, кто она такая, она как бы скрыта от читателей городским туманом и смогом или "белой накидкой" Есенина и от этого кажется особенно загадочной и романтической:

"И вот перед Холманским улица. Обычная улица с обычными домами. Таких сотни в Москве. Но это именно та улица. Та, которую, судя по многому, Холманский будет помнить еще очень долго. Деревья, ларьки, прохожие - все как обычно. Но странное, милое и одновременно дергающее чувство всякий раз вытаскивает эту картину наружу. И вот выплывает асфальт, возникают и смешиваются запахи (обычные запахи большого города). Вот тело (Холманского) пронзает тень испуга и смущения, желание смотреть под ноги. А вот ни с чем не сравнимое ощущение ее удивительно нежной руки, зажатой в его ладони. Непривычное, до страха приятное ощущение".

Про это трепетное, нежное, целомудренное и как бы едва заметное любовное ощущение написал автор "Юбок", автор крутых эротических рассказов и повестей и романа "Родина" с главным героем Фаллосом, который ходит по территории романа, по Москве, как Нос Гоголя по Невскому проспекту... То есть про это написал самый сексуальный писатель нашего времени (и всех времен и народов) Юрий Кувалдин. И написал так, что это волнует читателя не меньше, чем все его крутые эротические вещи. В данном конкретном случае, как сказал бы мой великий земляк

ученый Павлов, специалист по нервной системе, “малый раздражитель (ее рука, зажата в ладони Холманского и ощущение от нее у Холманского) действует (на Холманского и на читателей) сильнее большого”, сильнее, чем если бы самые страстные и самые избрательные половые акты. И поэтому этот лирический момент повести особенно сильно запоминается, потому что он такой здесь один-единственный, не окруженный никакими другими, и поэтому его одного, но такого сильного, как бы и достаточно на всю повесть, и другие любовные эпизоды с картинками здесь были бы лишними. И, наверное, и сам автор понял это и поэтому ограничился одним этим эпизодом, хотя ведь мог бы раскидать клубничку по всей повести, чтобы читатели искали и собирали ее на каждой странице, ползая на коленях.

Кувалдин написал о петрашевце Холманском так, будто он сам и есть этот петрашевец, то есть был им когда-то, в другой жизни, в другом воплощении. И как будто он сам сидел в Сухановской тюрьме и Петропавловской крепости... И всходил на эшафот вместе со всеми петрашевцами... Так глубоко, убедительно и правдоподобно он смог войти в образ своего героя и показать его изнутри, со всеми обстоятельствами места и времени, на фоне России XIX века и на фоне истории России. И так же он написал и о советском диссиденте Холманском... как будто тоже, как и он, был приговорен к смерти и сидел в камере смертников...

Когда читаешь прозу Юрия Кувалдина, то невольно вспоминаешь строку из стихотворения Кирилла Ковальджи:

Жизнь неправдоподобна.

И невольно продолжаешь, дописываешь ее в своем уме: жизнь (сама по себе) неправдоподобна, а жизнь в книге, жизнь в тексте правдоподобна, она правдоподобнее самой жизни, если речь идет о книгах и о текстах писателей выдающийся, таких, как Достоевский, Чехов, Булгаков и любящий их и равняющийся на них Кувалдин, их меньший брат, который “вознесся... главою непокорной выше Александровского столпа” и выше Останкинской башни.

Многие читатели, наверное, ничего не поймут или мало что поймут в повести Кувалдина “Казнь”, когда будут читать ее, запутаются в ее материале, в ее культурных слоях, в ее сюжетных переплетениях и ходах, как в подземных лабиринтах Москвы или как в системе дорожной сети Москвы. Они не поймут, как Холманский-петрашевец может видеть памятник Петра I Зураба Церетели и детский, кукольный, уменьшенный мир Нины Красновой, в котором были “сделанные ею столики с выдвижными ящичками” и с малюсенькими тетрадами и книгами в ящичках, и маленькие кроватки и стульчики, и картины на стенах комнат из-под обувных коробок, и “тряпочные и пластмассовые” куколки в “миниатюрно сшитых (ею) платьицах и костюмчиках”, и ехать на метро, через станции “Курская”, “Белорусская” и “Маяковская”, а Холманский-антисоветчик - может стоять на эшафоте, на Семеновской площади рядом с Петрашевским и Кувалдиным... Страницы об одном Холманском, который сидит в Петропавловской крепости, чередуются со страницами о другом Холманском, который сидит в Лефортовской тюрьме, и образ одного перепутывается с образом другого и то сливается с ним в один, то как бы раздваивается, и тут же эти страницы чередуются и перепутываются со страницами о подземельях Ивана Грозного и о его библиотеке и о подземельях московского метрополитена и со

страницами об истории уголовного законодательства в России... и об истории, атрибутике и демифологизации масонства, и со страницами о художественных особенностях прозы Достоевского и драм Шекспира и с теориями Бахтина и Фрейда и Юнга и со стихами Блока, Мандельштама, Бродского...

Достоевский как будто разрезал ножницами листы своей рукописи в разных местах, как бы где попало, разрезал один сюжет на несколько частей или один монолог на несколько частей или биографию своего героя на несколько частей, а потом соединял и склеивал между собой разные части рукописи. И у него получался роман со сложной и оригинальной композицией, где все части как бы не очень состыковываются между собой, то есть состыковываются по принципу несоответствия, дисгармонии и произвольности.

И когда читаешь повесть Кувалдина "Казнь", кажется, что Кувалдин именно так, по этому принципу, по этому методу и работал над композицией своей повести: написал несколько самостоятельных материалов - один о Холманском и о петрашевцах, один - о современном Холманском, один - о московском подземелье, один - об эстетике московских улиц, один - об истории судебного законодательства в России, один - о об истории, атрибутике и демифологизации масонства, один - о прозе Достоевского и о взглядах Бахтина на него, один - о драмах Шекспира и так далее, а потом разрезал все эти материалы на части, на куски и склеил их в определенной последовательности, в последовательности чередования разных частей, которые как бы не очень состыковываются между собой и между которыми как бы нет прямой связи... И у него получилась повесть с очень сложной и оригинальной композицией, которую он создал по методу коллажа и киномонтажа.

4.

Кувалдин в юности работал ассистентом кинооператором на Шаболовке, и у него выработался взгляд кинематографиста на композицию прозы, поэтому он строит свою прозу не только по методу прозаика, но и по методу кинематографиста, по кадру, по эпизоду, а как режиссер и актер - по мизансцене.

Кувалдин может вставить и вставляет в свою прозу, в рассказ или повесть или роман, куски, которые вроде бы не имеют прямого отношения к главной теме и к главному сюжету его произведения. Как, например, делает это каждый хороший режиссер. Например, у Андрея Тарковского в фильме "Солярис" есть куски, которые как бы не имеют прямого отношения к теме и сюжету фильма: например, кинокамера долго-долго показывает лист на воде, как он качается на волнах среди деревьев, на каждом из которых тысячи таких листьев... или, допустим, оператор долго-долго показывает капли дождя на замутненном от дождя оконном стекле, как они стекают сверху вниз, стекают сверху вниз, сливаются между собой в кривые струйки и стекают сверху вниз... К сюжету и теме фильма это вроде бы не имеет никакого прямого отношения... Но к его художественной стороне это имеет самое прямое отношение.

Как и в фильмах Рене Клера, где у него в одном фильме, как говорил мне Кувалдин, есть такие кадры: девушка с широкополой шляпе сидит на лодке и опускает руку в воду, и кинокамера несколько секунд показывает руку этой девушки в воде, и

брызги воды на руке и переливы этих брызг, и в этом состоит главная художественность этого художественного фильма, которая запоминается зрителем больше всего и которая и делает его художественным.

Таких примеров в творчестве Кувалдина множество, в том числе и “Казни”: например, “очки-велосипед из тонкой проволоки” и какие-нибудь “кирзовые тапочки” Холманского, или его “агатовые глаза” с примесью “глубокого вишневого багрянца старого вина”, или “сальная плошка” с фитилем, освещающая камеру, или “жандармы с саблями наголо”... или призрак женщины, вылезавший из бетонного потолка и исчезающий в бетонной стене...

Так зримо и так правдоподобно показывает Кувалдин своего героя Холманского в камере, что невольно у читателя возникают разные то поэтические, то музыкальные, то чисто живописные ассоциации на тему тюрьмы. И чем богаче культурная база читателя, тем больше разных ассоциаций у него возникает, и тем лучше он воспринимает прозу Кувалдина, в данном случае - повесть “Казнь”, и тем он лучше он чувствует ее и проникается ее атмосферой и образами и символами и текстом с подтекстами, и глубиной авторского замысла и воплощением этого замысла.

Ожидание счастья - это тоже счастье, которое бывает сильнее самого счастья.

Ожидание казни - это тоже своего рода казнь, которая даже еще страшнее, чем сама казнь. Как и вообще ожидание смерти страшнее самой смерти. Юрий Кувалдин очень хорошо и психологически убедительно показывает это в своей повести.

И когда петрашевцы получают от властей помилование в виде замены казни петрашевцев ссылкой их всех в Сибирь и в другие места, на поселение и каторгу, Ипполит Дебу сказал:

- Черт возьми, уж лучше бы расстреляли!

Лучше бы власти расстреляли их всех, чем даровали им такое “помилование”. Читатель-то сначала воспринимает отмену казни петрашевцев с радостью, с сознанием торжества справедливости и со вздохом облегчения и как бы говорит про себя:

- Слава Богу! Казни не будет! Вот и хорошо! Слава Тебе, Господи!

Власти даровали героям помилование, и теперь все герои... будут счастливы, как в сказке с хорошим концом.

Повесть получается как бы сказкой со счастливым концом! Казни не будет! Казни не будет! Ура! Пляшите и прыгайте от радости до потолка, и петрашевцы, и читатели вместе с ними! Но что будет у петрашевцев вместо казни? - свобода? жизнь такая же, как до тюрьмы? Нет! Каторга, которая для иных окажется хуже казни. Тяжелый непосильный физический труд с утра до ночи (который особенно тяжел и непосилен для людей, которые никогда им не занимались, а петрашевцы, люди дворянского сословия, никогда им не занимались), жизнь, лишенная всех дворянских привилегий и почета в обществе и всех прежних отношений с людьми своего круга и надежд на удачную служебную карьеру и на счастливую личную жизнь (у кого они были и кому они светили), и всего того, что когда-то составляло радость жизни для кого-то из петрашевцев. Такая жизнь - это и есть самая настоящая казнь, а не жизнь. И вот почему Ипполит Дебу в сердцах и сказал о властях с их помилованием, которое они даровали петрашевцам: “Черт возьми, уж лучше бы они нас расстреляли!”

Достоевский провел на каторге двенадцать лет! Подумать только - гениальный писатель провел на каторге целых двенадцать лет, как какой-нибудь бандит

из преступной группировки! Не удивительно, что у него там крыша поехала и он превратился чуть ли не в идиота, в полувменяемого человека с нездоровой психикой и нездоровыми страстями. Но только после этого он и стал тем Достоевским, которым стал и который потом потряс мир своими “Записками из мертвого дома”, “Преступлением и наказанием”, “Идиотом” и всеми другими своими книгами. Вот в чем парадокс жизни и вот в чем коварство Фортуны, которая как бы улыбалась Достоевскому.

В образе Холманского, который как бы един в двух лицах (и не в двух, а в трех, потому что автор, то есть Кувалдин, который пишет о Холманском XIX и XX и XXI века, - это тоже как бы сам Холманский, его духовный двойник), Кувалдин дает совмещенный в одно целое образ человека, который во все времена жестоко страдает от властей ни за что ни про что, - за то, что он умнее власти, ее конкурент, любит читать хорошие книги и развивается на них как личность (и как художник, если он художник!) и хочет, чтобы и другие любили читать их (не идеологическую конъюнктуру и не низкопробный ширпотреб, а высокую литературу) и развиваться на ней, и за то, что он любит и умеет думать, мыслить, размышлять и о литературе, и об искусстве, и о философии, и о политике, и вообще о жизни и хочет, чтобы и другие любили и умели делать это... то есть за то, что он не хочет быть одноклеточной амебой или африканской обезьяной или Шариковым и жить среди амев или обезьян или Шариковых, а хочет соответствовать своей сущности гомосапиенса, быть гармонично развитой личностью и жить среди себе подобных... в культурной стране среди культурных, интеллигентных, высокообразованных людей. Что же в этом плохого? И что же это за государство такое, которое считает это преступлением, таким тяжелым, за которое ее гражданин должен понести самое строгое и самое суровое наказание, такое же, как какой-нибудь уголовник, как убийца Чикатило?

Можно смотреть на Холманского и как на человека с расщепленным и помутненным сознанием, на человека, который заработал себе в одиночной камере (XX или XIX века) шизофрению или душевную болезнь и который чувствует себя и советским диссидентом Холманским, и в то же время петрашевцем Холманским... и который сам не понимает, кто из них есть - он, а кто - не он... Он чувствует себя ими обоими, как кто-то “в палате номер б” чувствует себя и Наполеоном, и кем-нибудь еще, и самим собой... или кто-то на сцене (артист, работающий по системе Станиславского, или писатель, Достоевский или Кувалдин, работающий по этой же системе, и неважно, что во времена Достоевского - еще не было Станиславского с его системой, а во времена Кувалдина - его уже не было) чувствует себя всеми своими героями... А если учесть, что Холманский - высокообразованный человек, который прочитал очень много книг и который свободно ориентируется и в литературе, и в истории и привык пребывать не только в первой реальности, но и во второй, и в третьей... в мире книг и фантазий... и в каждой реальности чувствует себя, как в своей тарелке... то тогда нельзя не понимать, как Холманский XX века, который не жил в XIX-м, способен прорываться своим сознанием в XIX век и чувствовать себя членом кружка Петрашевского, или Холманский XIX века, который не жил в XX-м, способен прорываться в XX век и чувствовать себя советским диссидентом... Одному из них открывается прошлое время со всеми его приметами и реалиями, с каретами и с графом Орловым и со старинными названиями мостов и улиц, которого он не мог видеть, а другому открывается будущее время со всеми приме-

тами и реалиями этого времени, в том числе и с научно-техническими изобретениями и станциями метро и новыми названиями улиц, которого он тоже не мог видеть. Как бывают случаи, когда человек после сильной душевной или физической травмы начинает видеть то, чего не видел до этого и становится ясновидящим или художником, или начинает говорить на чужих языках, которых никогда не учил ни в школе, ни в институте, и становится полиглотом. Или как бывают случаи, когда писатели-фантасты предсказывают какие-то научные изобретения, как Алексей Толстой через своего инженера Гарина предсказал изобретение лазерного луча и лазерного оружия.

Юрий Кувалдин не говорит читателям, что Холманский, который просидел в своей одиночной камере восемь месяцев, с апреля по декабрь, и который стоял в белом саване и в белом колпаке на эшафоте вместе с другими петрашевцами и несколько минут ждал своего расстрела, ждал своей казни, к которой был приговорен судом своего времени вместе со всеми, надломился душой и в конце концов тронулся умом, поскольку был тонко организованной натурой с тонким психическим устройством, но внимательный читатель и так догадывается, что с ним произошло. Кувалдин сообщил об этом читателям не прямым текстом, а подтекстом... И сначала как бы подготовил к этому читателя, когда показал условия тюрьмы, в которых жили арестанты и в которых любой нормальный человек сойти с ума...

“Холманского поместили в камеру на четвертом этаже; под ним был коридор смертников. Как раненый зверь, непрерывно выла там одна женщина”. “Надзиратели были подобраны грубые и жестокие. Они всегда не вели, а тащили подследственного на допрос, хватали его за руку, толкали в спину”. “По распоряжению следователя, арестанту не давали спать круглые сутки, творили над ним все, что хотели”.

Там “можно было сломить даже очень крепкого человека”. “Один из... заключенных, хотя его даже и не били, получил на память чахотку и психическое расстройство”.

По соседству с Холманским в камере находился “бывший красный комиссар гражданской войны, прошедший до этого полгода в Сухановке”. Его “много раз били резиновыми палками, и он “раскололся”, то есть “дал сам на себя совершенно фантастические показания”. Даже если такие закаленные в боях орлы не выдерживали тюрьмы с ее условиями, что же говорить о незакаленных людях... таких, как Холманский.

Тут мне вспомнился один анекдот: ученые нашли на археологических раскопках мумию и никак не могли определить, сколько ей тысяч лет, и отвезли ее в КГБ (или в милицию), в кабинет для допросов, туда вошел сотрудник КГБ (или милиции), закрыл за собой дверь, чтобы никто не заходил в кабинет и не видел, что там происходит, и долго не выходил оттуда, потом вышел, весь потный, красный, измученный, обессиленный, но довольный, и объявил ученым, которые удалили результата в коридоре: “Ей десять тысяч лет!” - “А как вы это узнали?” - удивились они. - “Она сама мне призналась”, - ответил сотрудник.

На допросах даже мумия может заговорить и дать сама на себя самые фантастические показания, как “красный комиссар” Кувалдина.

Холманский в повести является как бы не просто узником, а еще и пророком Моисеем, который ведет читателей за собой, как Моисей вел древних евреев, а ч-

нее - древних египтян, по пустыне. Он в продолжение всей повести произносит мудрые речи, как библейский пророк... И эти речи, не одни и те же, но с одной и той же периодичностью идут от странице к странице, как рефрены, и в этих речах слышатся отголоски Екклезиаста, который говорил, что все в мире суета сует и томление духа.

"Говорил тогда Холманский: "...Многие лицезрел я события, совершаемые под звездными небесами, и понял я, что почти все - кружение по кольцевой линии метро... Сядешь на станции "Курская" и выйдешь (проехав по кольцевой линии. - Н. К.) на "Курской" же. Нет в мире ничего прямого. Все имеет форму круга, восьмерки, знака бесконечности". Люди куда-то спешат и торопятся и боятся опоздать, а приходят все к одному и тому же, к смерти, каждый человек приходит к ней. "Куда ты торопишься, когда дни твои учтены, и если был день первый, то будет и день последний", - говорил Холманский, обращаясь в мыслях своих к человеку, который все время куда-то торопится и все время боится куда-то опоздать и чего-то не сделать в жизни и проводит свою жизнь в суете. Ты торопишься сделать какие-то покупки в магазине, без которых вполне можешь обойтись, хотя тебе кажется, что ты не можешь без них обойтись? Ты торопишься сделать себе карьеру, стать "генеральным императором?" Но это все - суета сует и томление духа, как и все другое.

Говорил тогда Холманский: "Стоя на кремлевской стене, говорил я: вот, я возвеличился и приобрел пост генерального императора, и приобрел десять звездгербов на погонах, и командовал Москвой, и от Москвы до самых до окраин, но ударил час, и я оказался в подземелье, и теперь хожу тут, как бледная тень Иоанна Грозного, читающего книги своей библиотеки и теряющего разум, ибо сказано давно, что во многой мудрости много печали; и кто умножает чтение книг познанием, безмерно умножает скорбь".

Холманский из повести "Казнь" Кувалдина - литературный брат Милы из романа "Родина" Кувалдина. Они оба пережили трагедию жизни и свихнулись каждый на своем.

Чем повесть отличается от рассказа? Тем, что в рассказе, как правило, действует один-два главных героя и несколько второстепенных, а сюжет идет по одной линии, без отклонений в стороны, без захвата побочных тем. А в повести, как правило, действуют не один и не два главных героя, а больше, и сюжет идет по нескольким линиям и направлениям, с отклонениями в разные стороны, с захватами разных тем. Иными словами: рассказ - это песня, а повесть - это иное музыкальное сочинение, соната или, там, концерт для фортепьяно и двух скрипок с оркестром. "Казнь" - это симфония в прозе...

Кроме Холманского и его двойника главным героем повести "Казнь" является Петрашевский. Вот его портрет до тюрьмы:

"Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (с которым Холманский познакомился в 1848 году) был человек лет тридцати, среднего роста, полный собою, весьма крепкого сложения, черноволосый, на одежду свою он обращал мало внимания, волосы его были часто в беспорядке, небольшая борода, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, несколько прищуренные, как бы проникали вдаль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный..." Говорил Петрашевский "голосом низким и негромким... часто с насмешливым тоном".

А вот его портрет после восьми с лишним месяцев, каким увидел его Холманский на Семеновской площади:

“Петрашевский... сильно изменившийся (как и все петрашевцы, а их всех было 23), стоял нахмурившись, - он был обросший большой шевелюрой и густой, слывшейся с бакенбардами бородой”.

“Должно быть, всем было одинаково хорошо”, - думал Холманский.

“Кареты (с петрашевцами) все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Плещеев, Достоевский, Ханыков, Кашкин, Европеус... Все обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой”.

Кувалдин так описывает Петрашевского и его товарищей, как будто он все время находился вместе с ними, и записывал их на видеокамеру, для истории или для своей повести.

А вот момент прощания Петрашевского с петрашевцами после высочайшего “помилования” их всех, после которого они все разъедутся в разные места, кто на каторгу, кто на поселение:

“Холманский увидел, как Петрашевский первый раз пошел в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав (его) и сказав (ему) что-то. Он подходил по порядку, как все стояли, к каждому из них и каждого целовал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подойдя к Холманскому, он, обнимая его, сказал:

- Что ж, прощайте, Холманский, более мы уже не увидимся.

На это Холманский ответил ему со слезами:

- Господи, может быть, еще и увидимся.

Обойдя всех, Петрашевский поклонился еще раз всем и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдфебель и вместе с ямщиком жандарм с саблею и с пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз”.

Как-то так сгруппировал и расставил Кувалдин слова в этом отрывке, варьируя разные части речи эти слов, как-то так выстроил их, что они, взаимодействуя друг с другом, создают не только сдержанно-печальную картину прощания всех героев друг с другом, но и сдержанно-печальную мелодию этого прощания, от которой чувствительному читателю хочется зарыдать и побежать за кибиткой Петрашевского... Потому что никогда уже Петрашевский не увидится ни с кем из петрашевцев, и с ним никто из них никогда не увидится, ни десять, “ни двадцать лет спустя”. Распалось “микробратство” петрашевцев. И что с кем станет потом и кто как потом будет жить и кто когда и как умрет, никто не знает. Всех развеет судьба по разным углам России, и все затеряются и растают в ней, как хлопья снега.

Чехов советовал писателям писать только о том, что они хорошо знают, и не писать о том, чего они не знают. Двум молодым писательницам он советовал писать о мармеладе, потому что они хорошо знают, что это такое.

Кувалдин всегда пишет только о том, что он хорошо знает. И читатель диву дается, как же много он всего знает.

Если он пишет о каком-нибудь токаре или слесаре, он пишет об этом так, будто сам всю жизнь работал токарем и слесарем, знает всю специфику этой профессии, знает все шпильки, болты и гайки. Если он пишет о каком-нибудь доценте, сотруднике НИИ, он пишет о нем так, будто сам всю жизнь был доцентом на кафедре или работал сотрудником НИИ... Если он пишет о каком-то предпринимателе, он пишет о нем так, будто он сам всю жизнь был предпринимателем. Он до тонкостей знает специфику профессии каждого своего героя, будто сам освоил в жизни все эти профессии.

А в повести “Казнь” он подробно говорит об уголовном законодательстве в России, последовательно рассматривает всю историю этого законодательства, начиная с времен Иоанна Грозного и кончая нашим временем... и подробно рассматривает законы о смертной казни, о введении и отмене этих законов на разных этапах истории России... Так, будто он всю жизнь, начиная с времен Иоанна Грозного работал юристом, судьей, прокурором и составителем законодательства... И в то же время всю жизнь - или очень долго, не меньше, чем Холманский, сидел в тюрьме, в одиночной камере, и на собственном опыте знает, что это такое, и может поделиться своим опытом с читателями.

Читатель, который прочитает “Казнь”, станет асом в области законодательства и вполне сможет быть консультантом в этой области, если захочет, и открыть свою частную юридическую контору.

5.

То, о чем пишет писатель, он может знать не только из опыта своей жизни, но и опыта жизни других людей и - еще больше - из книг. Не обязательно писателю самому быть преступником и арестантом, чтобы писать о преступниках и арестантах. Не обязательно самому сидеть в тюрьме, чтобы писать о тюрьме. Не обязательно быть прокурором, чтобы писать об уголовном законодательстве. Он напишет и о преступниках, и об арестантах и об их охранниках и о прокурорах лучше, чем они сами. И о законодательстве напишет лучше, чем сам прокурор. На то он и писатель. Кувалдин многое знает не только из жизни, но и из книг. И поэтому у него большое преимущество перед теми писателями, которые знают жизнь, но не знают и не читают книг.

Если говорить о композиции повести “Казнь”, то я бы сказала, что она сделана по рецепту слоеного пирога, где идет слой теста, а за ним - слой варенья, а потом - слой теста и слой крема, и опять - слой теста... Или по принципу гамбургера, где на одну половину булки в разрезе накладывается лист салата, на лист салата - накладывается кружок помидора, на него - кружок мяса, на него - кружок огурца с зеленым луком, на него - лист салата, на него - кружок помидора... и так далее, и все это накрывается сверху второй половиной булки в разрезе... Получается вкусный гамбургер...

По рецепту или по методу слоеного пирога сделаны многие вещи Кувалдина, да почти все, что является одной из главных, наиболее характерных особенностей

Казнь, как концерт Баха

прозы Юрия Кувалдина, которой - именно такой, в кувалдинском стиле и в кувалдинских пропорциях - нет ни у кого из писателей.

Композицию повести Юрия Кувалдина "Казнь" я могла бы сравнить не только со слоеным пирогом, сделанным по особому кулинарному рецепту, но, например, и с картиной Казимира Малевича "Красная конница", сделанной по особому художническому рецепту.

Как слоеный пирог состоит из разных слоев съестных продуктов, так картина Малевича "Красная конница" состоит из разных слоев красок, из разных цветовых горизонтальных полос, делящих всю картину на две неравные части: одна (меньшая) часть - это земля от низа картины до горизонта, а вторая (большая) - это небо от горизонта до верха картины и как бы до бесконечности.

Земля в свою очередь состоит из нескольких слоев-полос разной ширины: из коричневого, из черного (из суглинка и чернозема), из смешанного беловато-бледно-голубовато-бежевого с красной нитью (из светлой солнечной межжи), из темно-зеленого, из зелено-изумрудного (из травы), из желтых, черных и голубых нитей, из желто-охристого, из красного, из черного (из разных цветовых наслоений). Она похожа на яркую ковровую дорожку в солнечных лучах. А небо состоит из белого цветового слоя, плавно переходящего в серый, светло и темно-голубой, в синий и темно-синий. А между землей и небом несется красная (от красных солнечных лучей, как розовый конь Есенина - розовый от розовых лучей) конница с красными всадниками, которая похожа на красный, со стремительным наклоном узорный орнамент. Картина чрезвычайно живописная, яркая, эмоциональная, романтическая и веселая... Хотя красная конница символизирует собой революцию, а значит красный террор, братоубийственную гражданскую войну и красную кровь красных и белых.

Композиция повести Юрия Кувалдина "Казнь" похожа на слоеную композицию картины Казимира Малевича "Красная конница", но со своими цветовыми слоями-полосами, не веселыми, а мрачными, черными, темно-коричневыми, темно-серыми... холодно-белыми, с красными и желтыми вспышками и разноцветной рябью.

Приложения

Ролан Барт

НУЛЕВАЯ СТЕПЕНЬ ПИСЬМА

Введение

Збер не начинал ни одного номера своего “Папаша Дюшена” без какого-нибудь ругательства вроде “черт подери” или еще похлеще. Эти забористые словечки ничего не значили, зато служили опознавательным знаком. Знаком чего? Всей существовавшей тогда революционной ситуации. Перед нами пример письма, функция которого не только в том, чтобы сообщить или выразить нечто, но и в том, чтобы утвердить сверхязыковую реальность - Историю и наше участие в ней.

Всякое писанное слово отмечено подобным ярлыком, и то, что верно по отношению к “Папаше Дюшену”, верно и по отношению к Литературе. В ней тоже должен быть опознавательный знак чего-то, что отлично от ее содержания и конкретной формы, и это “что-то” - ее замкнутость, благодаря которой она, собственно, и заявляет о себе как о Литературе. Отсюда - совокупность знаков, существующих вне связи с конкретными идеями, языком или стилем и призванных обнаружить изоляцию этого ритуального слова среди плотной массы всех остальных возможных способов выражения. Этот обрядовый статус письменных знаков утверждает Литературу как особый институт и откровенно стремится отвлечь ее от Истории, ибо любая замкнутость обряда не обходится без представления о вечной неизменности. Однако именно тогда, когда Историю отвергают, она действует наиболее открыто; вот почему можно проследить историю литературного слова, которая не будет ни историей языка, ни историей стилей, но лишь историей знаков Литературности. Можно даже предположить, что такая история формы по-своему, но с достаточной ясностью, сумеет обнаружить свою связь с глубинной Историей.

Дело, разумеется, идет о такой связи, формы которой способны меняться вместе с самой Историей. Нет никакой необходимости прибегать к идее прямого детерминизма, чтобы почувствовать влияние Истории на судьбу различных видов письма: движение некоего функционального фронта, вовлекающего события, ситуации и идеи в поток исторического времени, предопределяет не столько последствия, сколько границы совершаемого выбора. История предстает перед писателем с предложением обязательного выбора между несколькими языковыми моральями; она понуждает его означить Литературу исходя из наличных возможностей, над которыми он не властен. Так, мы увидим, что идеологическое единство буржуазии привело к возникновению единого письма и что в буржуазную (то есть классическую и романтическую) эпоху форма не могла разрываться между несколькими возможностями, потому что разорванным не было само сознание писателя. Напротив, с того момента (1850 г.), как писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания, его первым актом стал выбор формы: он принимает на себя обязательство, ангажируется, приемля либо отвергая письмо, принадлежащее его прошлому. Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся Литература - от Флобера до наших дней - превратилась в одну сплошную проблематику слова.

Именно в этот момент Литература (само слово возникло немногим ранее) бесповоротно стала объектом рефлексии. Классическое искусство неспособно было ощутить себя в качестве языка, ибо оно само было языком, то есть чем-то прозрачным, находящимся в безос-

тановочном перетекании без осадка, - способом идеального слияния универсального разума и декоративных знаков, не обладавших собственной плотью и не обязывавших ни к какой ответственности; этот язык был замкнут в себе самом в силу социальных, а отнюдь не естественных причин. Известно, что к концу восемнадцатого века эта прозрачность была замутнена; литературная форма развила в себе дополнительную силу, не связанную ни с ее строением, ни с ее благозвучием; она начинает очаровывать, смущать, околдовывать; она обретает весомость; Литература воспринимает отныне не в качестве социально привилегированного способа обобщения, но в качестве оплотненного, углубленного слова, исполненного ответственности, ее ощущают как грезу и как угрозу одновременно.

Отсюда следствие: литературная форма как объект обрела возможность вызывать к себе экзистенциальные ощущения - сопряженные с глубинной сущностью всякого объекта: ощущение чуждости, родственности, отвращения, приязни, обыкновенности, ненависти. Вот почему уже в течение ста лет всякое письмо является попыткой приручить или отвергнуть ту Форму-Объект, с которой писатель неизбежно встречается на своем пути, в которую ему надлежит всматриваться, приходиться с ней в столкновение или примиряться и которую он не может разрушить, не разрушив самого себя как писателя. Форма маячит перед его взором как объект; что с ней ни делай - она вызывает скандал: если форма блестяща, то кажется устаревшей, если анархична - то становится антиобщественной, если необычна для своего времени и своих современников - превращается в воплощенное одиночество.

Весь девятнадцатый век был свидетелем этого драматического процесса отвердения формы. У Шатобриана это еще лишь незначительное отложение, почти невесомый груз языковой эйфории, своего рода нарциссизм, когда письмо еще только едва заметно отвлечлось от своего инструментального назначения и принялось вглядываться в свой собственный лик. Флюбер (мы указываем здесь лишь на наиболее характерные моменты названного процесса), создавший рабочую стоимость письма, окончательно превратил Литературу в объект: форма стала конечным продуктом "производства", подобно горшку или ювелирному изделию (это значит, что сам акт производства был "означен", иными словами, впервые превращен в зрелище и внедрен в сознание зрителей). И, наконец, этот процесс конструирования Литературы-Объекта Малларме увенчал последним актом, завершающим всякую объективацию, - убийством: известно, что все усилия Малларме были направлены на разрушение слова, как бы трупом которого должна была стать Литература.

Таким образом, письмо пережило все этапы постепенного отвердевания; сделавшись сначала объектом разглядывания, затем производства и, наконец, убийства, ныне оно пришло к конечной точке своей метаморфозы - к исчезновению: в тех нейтральных типах письма, которые мы назовем здесь "нулевой степенью письма", нетрудно различить, с одной стороны, порыв к отрицанию, а с другой - бессилие осуществить его на практике, словно Литература, которая вот уже в течение столетия пытается превратить свой лик в форму, лишенную всяких черт наследственности, обретает таким путем большую чистоту, чем та, которую способно ей придать отсутствие всяких знаков, позволяя, наконец, сбывшись орфеевой мечте: появлению писателя без Литературы. Белое письмо, например письмо Камю, Бланшо, Кейрولا, или же разговорное письмо Камю - это последний эпизод Страстей письма, шаг за шагом сопровождающих процесс раскола буржуазного сознания.

Мы хотим здесь наметить эту связь, а также обосновать наличие некоего формально-го образования, не зависящего ни от языка, ни от стиля; мы намереваемся показать, что это третье измерение Формы также - хотя и не без доли трагизма - связывает писателя с обществом; мы собираемся подчеркнуть, наконец, что не бывает Литературы помимо языковой морали. Объем настоящей работы (страницы из которой публиковались в газете "Комба" в 1947 и в 1950 годах) ясно показывает, что речь идет лишь о Введении в книгу, которая могла бы стать Историей Письма.

Часть первая

I. Что такое письмо?

Известно, что язык представляет собой совокупность предписаний и навыков, общих для всех писателей одной эпохи. Это значит, что язык, подобно некой природе, насковозь пронизывает слово писателя, хотя при этом не придает ему никакой формы и даже никак его не питает: он похож на абстрактный круг расхожих истин; лишь за его пределами начинает сгущаться своеобычность одинокого писательского слова. Язык окружает всю сферу литературы примерно так же, как линия, у которой сходятся небо и земля, очерчивает пределы привычного для человека мира. Язык - это не столько запас материала, сколько горизонт, то есть одновременно территория и ее границы, одним словом, пространство языковой вотчины, где можно чувствовать себя уверенно. Писатель в буквальном смысле ничего не черпает в языке; скорее, язык для него подобен черте, переход через которую откроеет, быть может, надприродные свойства слова; язык - это площадка, заранее подготовленная для действия, ограничение и одновременно открытие диапазона возможностей. Язык - это не та сфера, где человек принимает на себя социальные обязательства, это лишь рефлекс, не ведающий выбора, нераздельная собственность всех людей, а не одних только писателей; он не участвует в обрядовом действе Словесности; социальным объектом он является по своей природе, а не в результате человеческого выбора. Ни одному писателю не дано беспрепятственно принести свою свободу в этот непроницаемый язык, ибо на нем держится вся История - непрерывная и единая подобно природе. Вот почему язык для писателя - это всего лишь человеческий горизонт, где в отдалении вырисовывается возможность близости, определяемой к тому же совершенно негативно: сказать, что Камю и Камю говорят на одном и том же языке, - значит, всего лишь посредством операции различения напомнить обо всех языках прошлого или будущего, на которых они не говорят: занимая промежуточное положение между уже исчезнувшими и еще неизвестными формами, язык писателя являет собой не столько почву, сколько крайний предел; это геометрическая граница, за которой он не может сказать ничего, не утратив при этом, подобно обернувшемуся Орфею, устойчивого смысла своего речевого поступка и главного признака своей принадлежности к обществу.

Итак, язык располагается как бы по эту сторону Литературы. Стиль же находится едва ли не по другую ее сторону: специфическая образность, выразительная манера, словарь данного писателя - все это обусловлено жизнью его тела и его прошлым, превращаясь мало-помалу в автоматические приемы его мастерства. Так, под именем "стиль" возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, в сферу его речевого организма, где рождается самый первоначальный союз слов и вещей, где однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования. Как бы ни был изыскан стиль, в нем всегда есть нечто от сырья: стиль - это форма без назначения; его толкает некая сила снизу, а не влечет к себе известный замысел свыше; стиль - это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении. Он отсылает к биологическому началу в человеке или к его прошлому, а не к Истории: он - природная "материя" писателя, его богатство и его тюрьма, стиль - это его одиночество. Безразличный для общества, которое смотрит сквозь него, стиль представляет собой самодовольный личный акт, а вовсе не продукт выбора и рефлексии писателя относительно Литературы. Стиль участвует в литературном обряде на частных правах, он вырастает из глубин индивидуальной мифологии писателя и расцветает вне пределов его ответственности. Это живописный голос потаенной, неизвестной плоти; он действует подобно самой Необходимости, так, словно в порыве к прорастанию являет собой конечную стадию слепой и упрямой метаморфозы, оказывается частью некоего низшего языка, возникающего на границе между плотью и внешним миром. Стиль - некий феномен растительного развития, проявление вонне органических свойств личности. Вот почему все, на что намекает стиль, лежит в

глубине; обычная речь обладает горизонтальной структурой, любые ее тайны располагаются на той же поверхности, что и составляющие ее слова, и все, что она пытается скрыть, немедленно раскрывается в самом процессе ее развертывания; в речи все явлено непосредственно, предназначено для немедленного потребления; здесь слово, молчание и их движение устремлены к отсутствующему пока смыслу: это бег, не знающий задержки и не оставляющий за собой следа. Напротив, стиль обладает лишь вертикальным измерением, он погружен в глухие тайники личностной памяти, сама его непроницаемость возникает из жизненного опыта тела; стиль - это всегда метафора, то есть отношение между литературной интенцией автора и структурой его плоти (попомним, что в структуре свернута всякая длительность). Вот почему стиль - это неизменная тайна, однако его безмолвствующая сторона вовсе не связана с подвижной, чреватой постоянными отсрочками природой речи. Тайна стиля - это то, о чем помнит само тело писателя; его намекающая сила не зависит от быстроты движения речевого потока, где даже невысказанное становится формой сказанного; эта сила проявляется в самой оплотненности стиля, ибо под ним прочно и глубоко залегают такие слои реальности, которые абсолютно чужды слову, и эта реальность интенсивно гущена или мягко разлита во всех его фигурах. Стиль оказывается своего рода сверхлитературным действием, в котором человек стоит на пороге всемогущества и магии. Биологическая природа стиля ставит его вне искусства, иначе говоря, вне договора, связывающего писателя с обществом. Вот почему нетрудно представить себе авторов, предпочитающих безопасность, которую сулит им мастерство, одиночеству, на которое обрекает их стиль. Так, Андре Жид, извлекающий благодаря своей ремесленнической манере удовольствие из современной обработки классического этоса, подобно тому как Сен-Санс переделывал Баха, а Пуленк - Шуберта, являет собой самый тип писателя без стиля. Напротив, поэзия нового времени - Гюго, Рембо, Шара - насыщена стилем, а искусство оказывается лишь в той мере, в какой сохраняет связь с интенциями Поэзии. Именно могущество стиля, иначе говоря, совершенно свободная связь слова с его телесным двойником, придает писателю свежесть дыхания, как бы веющего над Историей.

Горизонт языка и вертикальное измерение стиля очерчивают для писателя границы природной сферы, ибо он не выбирает ни свой язык, ни свой стиль. Язык действует как некое отрицательное определение, он представляет собой исходный рубеж возможного, стиль же воплощает Необходимость, которая связывает натуру писателя с его словом. В одном - случае он обретает близость с Историей, в другом - с собственным прошлым. Но каждый раз речь идет о чем-то природном, то есть о привычном образе действий, когда сама энергия писателя имеет лишь орудийный характер и уходит в одном случае на перебор элементов языка, в другом - на претворение собственной плоти в стиль, но никогда на то, чтобы вынести суждение или заявить о сделанном выборе, означив его. Между тем всякая форма обладает также и значимостью; вот почему между языком и стилем остается место еще для одного формального образования - письма. Любая литературная форма предполагает общую возможность избрать известный тон или, точнее, как мы говорим, этос, и вот здесь-то, наконец, писатель обретает отчетливую индивидуальность, потому что именно здесь он принимает на себя социальные обязательства, ангажируется. Язык и стиль предшествуют любой проблематике слова, они - естественные продукты Времени и биологической личности автора. В области же формы писатель может действительно стать самим собой лишь за пределами установлений, диктующих ему грамматические нормы и константы его стиля, - там, где писанное слово автора, поначалу укорененное и замкнутое в пределах абсолютно нейтральной языковой природы, превращается наконец во всеобъемлющий знак, в способ выбора определенного типа человеческого поведения, в способ утвердить известное Благо, тем самым вовлекая писателя в сферу, где он получает возможность уяснить и сообщить другим ощущение счастья или тревоги, где сама форма его речи - в ее языковой обыкновенности и стилевой неповторимости - влетается наконец в необъятную Историю других людей. Язык и стиль - слепые силы; письмо - это акт исторической солидарности. Язык и стиль - объекты; письмо - функция: оно есть способ связи между творением и обществом, это литературное слово,

преображенной благодаря своему социальному назначению, это форма, взятая со стороны ее человеческой интенции и потому связанная со всеми великими кризисами Истории. Так, Мериме и Фенелона разделяли не только феномены языка, но и особенности их стиля; и тем не менее их слово было пронизано одной и той же интенцией, они исходили из одинакового представления о форме и содержании, прибегали к одной и той же системе условностей, пользовались одними и теми же техническими приемами; разделенные полутораковой дистанцией, они работали - одними и теми же приемами - одинаковым инструментом, несколько изменившим, конечно, свой внешний вид, но отнюдь не свое положение или назначение; короче, у них было одно и то же письмо. Напротив, Мериме и Лотреамон, Малларме и Селин, Жид и Камю, Клодель и Камю - почти современники, говорившие или говорящие на одном и том же исторически сложившемся французском языке, - пользуются глубоко различными видами письма; их разделяет все: тон, выразительная манера, цели творчества, мораль, особенности речи, так что общность эпохи и языка мало что. значит перед лицом столь контрастных и столь определенных именно в силу этой контрастности типов письма.

Тем не менее, хотя эти типы письма и отличаются друг от друга, они все же сопоставимы между собой, ибо порождены одним и тем же порывом - рефлексией писателя относительно социального использования формы и связанного с этим выбора. Письмо - находясь в самом центре литературной проблематики, которая возникает лишь вместе с ним, - но самому своему существу есть мораль формы, оно есть акт выбора того социального пространства, в которое писатель решает поместить Мир своего слова. Но это вовсе не то пространство, где происходит фактическое потребление Литературы. Для писателя речь идет вовсе не о выборе той или иной социальной группы, для которой он намеревается писать: он хорошо знает, что - за вычетом революционных эпох - всегда пишет для одного и того же общества. Его выбор - это выбор в сфере духа, а не в сфере практической эффективности. Письмо - это способ мыслить Литературу, а не распространять ее среди читателей. Или так: именно потому что писатель не в силах изменить объективных условий потребления литературы (эти сугубо исторические условия неподвластны ему даже тогда, когда он их осознает), он умышленно переносит свою потребность в свободном слове в область его истоков, а не в сферу его потребления. Вот почему письмо представляет собой двойственное образование: с одной стороны, оно, несомненно, возникает на очной ставке между писателем и обществом; с другой - увлекает писателя на трагический путь, который ведет от социальных целей творчества к его инструментальным истокам. Не имея возможности предоставить в распоряжение писателя свободно потребляемый язык, История тем не менее способна внушить ему потребность в свободно производимом языке.

Итак, и сам выбор письма, и налагаемая им ответственность свидетельствуют о свободе писателя, однако пределы этой свободы различны в различные периоды Истории. Писателю не дано выбирать свое письмо в некоем вневременном арсенале литературных форм. Возможные для данного писателя виды письма возникают под давлением Истории и традиции: существует История письма, у которой, однако, два лика: в тот самый момент, когда общая История выдвигает - или навязывает - новую проблематику литературного слова, письмо все еще погружено в воспоминания о своей прошлой жизни, ибо слово никогда не бывает безгрешным: слова обладают вторичной памятью, которая чудесным образом продолжает жить среди новых языковых значений. Письмо - это не что иное, как компромисс между свободой и воспоминанием, это припоминающая себя свобода, остающаяся свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он свершился. Да, сегодня я вполне могу избрать для себя то или иное письмо и тем самым утвердить свою свободу - притязнуть на новизну или, наоборот, заявить о своей приверженности к традиции; но все дело в том, что я неспособен оставаться свободным и дальше, ибо мало-помалу превращаюсь в пленника чужих или даже своих собственных слов. Остаточные магнитные токи, упорно исходящие не только от всех разновидностей чужого, но и от моего собственного прошлого письма, перекрывают звучание моего нынешнего голоса. В любом закрепленном на письме слове происходит процесс выпадения

осадка, как в химическом растворе, поначалу прозрачном, чистом и нейтральном; однако уже само течение времени выявляет в нем его прошлое, концентрирующееся, словно суспензия, и вес яснее заставляет проступать скрытую в нем криптограмму.

Итак, подобно самой свободе, письмо есть только момент, но это - один из наиболее очевидных моментов в Истории, ибо История, в первую очередь, как раз и несет в себе возможность выбора и одновременно указывает на его границы. Именно потому, что письмо возникает как продукт значимого поступка писателя, оно соприкасается с Историей несравненно более ощутимо, нежели любой другой пласт литературы. Переход от единства классического письма, в течение веков сохранявшего свою однородность, к разнообразию современных видов письма, распространившихся за последние сто лет вплоть до крайних пределов, уже на границе литературы, - этот своеобразный взрыв, происшедший во французском письме, глубоко сопричастен великому кризису, пережитому общей Историей и гораздо более смутно различимому в литературной Истории в собственном смысле слова. То, что отличает "мышление" Бальзака от "мышления" Флобера, есть разница литературных направлений, к которым они принадлежали; но что делает противоположным их письмо, так это решительный перелом, случившийся в тот самый момент, когда происходила смена двух экономических структур, и повлекший за собой - на стыке этих структур - коренные перемены в области миропонимания и сознания.

II. Политическое письмо

Для любого письма характерна внутренняя замкнутость, чуждая разговорной речи. Письмо - вовсе не орудие общения между людьми, не свободная дорога, по которой могла бы устремиться чисто языковая интенция. Обычная речь извергается как хаотический поток, ей свойственно безоглядное, навеки незавершенное движение вперед. В противоположность этому письмо представляет собой отвердевший язык, оно живет, сконцентрировавшись в самом себе, и отнюдь не стремится превратить процесс собственного разветвления в подвижную последовательность поэтапных приближений к известной цели; напротив, располагая цельными и непроницаемо плотными знаками, оно утверждает лишь такую речь, которая предустановлена задолго до ее реального возникновения. Письмо и обычная речь противопостоят друг другу в том отношении, что письмо явлено как некое символическое, обращенное вовнутрь самого себя, преднамеренно нацеленное на скрытую изнанку языка образование, тогда как обычная речь представляет собой лишь последовательность пустых знаков, имеющих смысл лишь благодаря своему движению вперед. Вся речь как раз и состоит в этом изнашивании слов, уносящихся вперед, подобно пенным барашкам на поверхности речевого потока; речь есть лишь там, где язык открыто функционирует как процесс некоего пожирания, захватывающего одни только неустойчивые маковки слов; корни же письма, напротив, уходят во внеязыковую почву, письмо прорастает вверх, словно зерно, а не тянется вперед, как линия; оно выявляет некую скрытую сущность, в нем заключена тайна; письмо антикоммуникативно, оно устрашает. В любом письме можно обнаружить двойственность, свойственную ему как особому объекту, который одновременно является формой языкового выражения и формой принуждения: в глубине письма всегда залегает некий "фактор", чуждый языку как таковому, оттуда устремлен взгляд на некую внеязыковую цель. Этот взгляд вполне может быть направлен на само слово и заморожен им, как это имеет место в литературном письме; но в таком взгляде может сквозить и угроза наказания - и тогда перед нами политическое письмо: в этом случае задача письма состоит в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей. Вот почему всякая власть, или хотя бы видимость власти, всегда вырабатывает аксиологическое письмо, где дистанция, обычно отделяющая факт от его значимости - ценности, уничтожается в пределах самого слова, которое одновременно становится и средством констатации факта, и его оценкой. Слово превращается в али-

би (т. е. в свидетельстве об отсутствии на месте преступления, в оправдательный акт). Сказанное верно не только по отношению к различным видам литературного письма, где знаки испытывают заворачивающее влияние доязыковых или сверхязыковых сфер, но и - в еще большей степени - по отношению к политическому письму, где языковое алиби есть одновременно и средство утешения, и средство прославления; поистине, именно власть (или борьба за нее) порождает наиболее характерные типы письма.

Ниже мы увидим, что классическое письмо торжественно заявляло о коренной причастности писателя к определенному политическому социуму и что выражаться в соответствии с предписаниями Вождя значило в первую очередь вставать на сторону тех, в чьих руках была власть. И если в результате Революции нормы этого письма не претерпели изменений (ибо носителем мыслительной энергии в целом продолжал оставаться один и тот же класс, и лишь его духовное владычество переросло в политическую власть), то сама исключительность условий, в которых протекала борьба, породила - в лоне великой Классической Формы - собственно революционное письмо. Революционным оно было не в силу его структуры, более чем когда бы то ни было сохранявшей академичность, а в силу его специфической замкнутости, подобно двойнику воспроизводившей черты действительности, ибо в ту эпоху языковая практика, как никогда в Истории, оказалась связана с потоками лившейся вокруг крови. У революционеров не было ни малейших причин стремиться к изменению классического письма, им и в голову не приходило усомниться в природе человека и еще менее - в его языке; авторитет "орудия", унаследованного от Вольтера, Руссо и Вовенарга, не мог быть подорван в их глазах. Своеобразие революционного письма возникло за счет своеобразия исторического момента. Бодлер обронил как-то фразу об "эмфатической истинности жеста, сделанного в решающих жизненных обстоятельствах". Революция как раз и оказалась одним из таких решающих обстоятельств, когда истина настолько пропиталась заплаченной за нее кровью, что для ее выражения могли подойти лишь помпезные средства театрального преувеличения. Революционное письмо явилось тем самым эмфатическим жестом, который только и пристал людям, ежедневно всходящим на эшафот или посылавшим на него других. Язык, поражающий сегодня своей напыщенностью, в то время был под стать самой действительности. Письмо, отмеченное всеми признаками языковой инфляции, было единственно точным для своей эпохи: никогда еще человеческая речь не была более искусственной и менее фальшивой. Эмфаза оказалась не просто формой, которую породила совершавшаяся драма, она стала ее самосознанием. Без тех экстравагантных словесных одеяний, в которые облеклись тогда все великие революционеры и которые позволили жирондисту Гаде, арестованному в Сент-Эмильоне, без тени улыбки (ибо он шел на смерть) воскликнуть: "Да, я Гаде! Палач, делай свое дело! Ступай, отнеси мою голову тиранам отечества. Один ее вид всегда приводил их в трепет: узрев ее отрубленной, они затрепещут еще более!" - без этих одеяний Революция не смогла бы сыграть роль того мифологического события, которое оплодотворило дальнейшую Историю и предвосхитило любое будущее представление о Революции. Революционное письмо стало как бы энтелехией революционной легенды: оно утешало и давало гражданское благословение на Кровь.

Всего не таково марксистское письмо. Сама замкнутость его формы возникает не как результат риторического усиления или речевой эмфазы, но вследствие употребления особой лексики, столь же специфической и функциональной, как и в технических словарях; даже метафоры подвергаются здесь строжайшей кодификации. Письмо эпохи Французской революции давало право либо на кровь, либо на моральное оправдание; марксистское же письмо по самому своему происхождению есть язык познания; это письмо однозначно, ибо призвано утвердить внутреннюю монолитность Природы; лексическое единство этого письма позволяет ему давать единообразное объяснение действительности и поддерживать устойчивость метода; с языками политической практики марксистское письмо соприкасается лишь у крайних пределов своей языковой территории. Насколько революционное письмо во Франции было эмфатичным, настолько марксистское письмо литотично в силу того, что каждое слово здесь есть лишь намек на целостную совокупность стоящих за ним, хотя и не обязательно высказываемых здесь же прин-

ципов. Так, выражение повлечь за собой, нередкое для марксистского письма, обычно лишено того нейтрального значения, которое оно имеет в словаре, но служит указанием на совершенно определенный, конкретно-исторический процесс; оно уподобляется алгебраическому символу, которым обозначают целую совокупность сформулированных ранее постулатов, выносимых, однако, за скобки. Марксистское письмо связано с действием, и потому оно очень скоро превратилось в выражение определенной системы оценок. Эта особенность заметна уже у Маркса, хотя в целом его письмо сохраняет объяснительный характер.

Очевидно, что любой политический режим располагает своим собственным письмом, чью историю еще предстоит написать. Социальные обязательства языка проявляются в письме с особой наглядностью; в силу своей утонченной двусмысленности письмо представляет всякую власть, и как то, что она есть, и как то, чем она кажется; оно раскрывает и то, какой эта власть является на самом деле, и то, какой она хотела бы выглядеть, - вот почему история различных видов письма могла бы стать одной из лучших форм социальной феноменологии. Эпоха Реставрации, например, выработала такое классовое письмо, при помощи которого любой репрессивный акт немедленно предстал как обвинительный приговор, естественным образом исходящий от самой классической "Природы": бастующие рабочие неизменно именовались здесь "субъектами", штрейкбрехеры - "благоразумными рабочими", а раболепство судей превращалось в "отеческую бдительность магистратов" (в наши дни, используя аналогичный прием, голлисты называют коммунистов "сепаратистами"). Мы видим, что письмо в данном случае выступает в роли спокойной совести, и его задача состоит в том, чтобы самым жульническим образом смешать первопричины явления с его отдаленнейшими последствиями, оправдывая любое действие самим фактом его существования.

Вторжение политической и социальной действительности в поле сознания Словесности породило новый тип занимающегося письмом индивида (*scripteur*) - нечто среднее между активистом и писателем. От активиста такой индивид заимствует идеальный облик гражданина, а от писателя перенимает представление о том, что произведение письма есть акт творчества. Параллельно с тем, как происходил процесс подмены писателя интеллектуалом, в журналистике, в эссеистике происходил процесс рождения активистского письма, полностью освободившегося от стиля и выступающего в роли профессионального языка, который предназначен для использования "на службе". Такое письмо изобилует оттенками. Никто не станет отрицать, что существует, например, письмо марки "Эспри" или письмо марки "Тан модерн". Общей чертой любых разновидностей интеллектуального письма является то, что язык здесь перестает быть особой, привилегированной областью и стремится превратиться в наглядный опознавательный знак социального обязательства. Приобщиться к такому языку, обособившемуся под напором тех, которые на нем не говорят, значит выставить напоказ и подтвердить самый акт совершившегося выбора; письмо здесь превращается в своего рода подпись, которую мы ставим под коллективным заявлением, даже если не принимали никакого участия в его составлении. Освоить или, лучше сказать, присвоить то или иное письмо - значит сэкономить на самих предпосылках сделанного нами выбора, это значит объяснить, что причины такого выбора подразумеваются сами собой. Вот почему всякое интеллектуальное письмо является первым среди всех возможных "скачков интеллекта". Если письмо, воплощающее абсолютную свободу, никогда не сможет стать этикеткой моей личности и не сообщит ничего ни о моей истории, ни о моей свободе, то готовое письмо, которому я вверяюсь, есть не что иное, как общественное установление; оно обнаруживает и мое прошлое, и мой выбор, оно снабжает меня историей, выставляет напоказ мое положение, накладывает на меня социальные обязательства, освобождая от необходимости сообщать об этом. Более чем когда бы то ни было форма оказывается самодовлеющим объектом, опознавательным знаком коллективной и охраняемой собственности, и этот объект подобен сберегательному вкладу, он функционирует как экономический показатель, при помощи этого объекта индивид, занимающийся письмом, дает знать о своем обращении в известную веру, избавляясь при этом от труда объяснять историю своего обращения.

Двуличие всех видов современного интеллектуального письма усугубляется тем обстоятельством, что, вопреки всем усилиям эпохи, в которую мы живем, Литературу так и не удалось уничтожить окончательно: она представляет собой манящий горизонт словесности. Интеллектуалы и поныне продолжают оставаться все теми же писателями, только не до конца сменившими кожу: и если только такой писатель не стремится сесть на мель и не хочет навеки превратиться в активиста, который больше не способен писать (а ведь с некоторыми так и случилось, почему они и были забыты), он не может не поддаться гипнозу всех предшествующих видов письма, которые Литература вручает ему как прекрасно сохранившийся, хотя и устаревший инструмент. Вот почему интеллектуальное письмо отличается такой неустойчивостью: мера его литературности оказывается мерой его бессилия, а политическим оно является лишь в силу неотвязного стремления к ангажированности. Короче, речь вновь идет об этическом письме, в котором индивид, занимающийся письмом (отныне трудно решиться назвать его писателем), обретает успокоительный образ коллективного спасения.

Однако подобно тому как при современном состоянии Истории любое политическое письмо способно служить лишь подтверждению полицейской действительности, точно так же всякое интеллектуальное письмо может создать одну только “паралитературу”, не решающуюся назваться собственным именем. Это значит, что тупик, свойственный обоим этим видам письма, безысходен; они приводят либо к пособничеству, либо к бессилию и, следовательно, - так или иначе - к отчуждению.

III. Письмо романа

Между Романом и Историографией существовали тесные связи в ту самую эпоху, которая стала свидетельницей их наиболее пышного расцвета. Глубина этих связей, позволяющая одновременно понять и Бальзака, и Мишле, обусловлена тем, что каждый из них создавал свой автономный мир, имеющий собственное измерение и собственные границы, собственное время и собственное пространство, - мир со своими обитателями, предметами и мифами.

Сферическая замкнутость великих произведений XIX века воплотилась в долгих, пространных повествованиях Романистов и Историков, - повествованиях, представлявших своего рода плоскость, на которую проецировался тот заверченный и внутренне связанный мир, чью вырождающуюся разновидность являл собою возникший в ту пору роман-фельетон со всеми его хитросплетениями. Между тем повествовательность (наррация, *la narration*) не есть обязательный закон этого жанра. Ведь была же эпоха, способная помыслить роман в письмах, а в иную эпоху возможно существование Истории, пользующейся аналитическим приемом “разбора персонажа”. Это значит, что Повествование (*le récit*) как форма, связывающая Роман и Историографию, в целом оказывается именно продуктом выбора и выражением определенного исторического момента.

Простое прошедшее время (*le passé simple*), исчезнув из разговорного французского языка, остается краеугольным камнем Повествовательности (*le récit*), сигнализируя о том, что мы находимся в сфере искусства; простое прошедшее время входит в ритуал Изящной Словесности. Его задача отныне не в том, чтобы просто выразить определенное действие в прошлом, а в том, чтобы свести действительность до размеров точки, выделить из бесконечного переплетения конкретно переживаемых человеком временных совокупностей вербальный акт в его чистом виде, отсеченный от экзистенциальных корней человеческого опыта и ориентированный на логические связи с другими действиями, процессами, с общим движением действительности: простое прошедшее время стремится поддержать иерархию в Царстве фактов. Благодаря его употреблению глагол незаметно включается в цепочку причинно-следственных отношений, входит в совокупность взаимозависимых и однонаправленных событий;

это время подобно алгебраическому знаку, символизирующему определенную цель; выдавая временную последовательность явлений за их каузальное следование, оно тем самым выводит к жизни разумное начало любого Повествования - его способность к развертыванию. Вот почему это время является идеальным инструментом при создании различных замкнутых миров; это искусственное время, свойственное космогониям, мифам, Историографиям и Романам. Его употребление предполагает существование сконструированного, отделанного и обособленного мира с осмысленными опорами, а отнюдь не разомкнутость мира произвола, хаоса и беспорядка. В простом прошедшем времени всегда проглядывает лик демиурга - бога или рассказчика; ведь поведать о мире как раз и значит изъяснить его - любую случайность представить как продукт определенных обстоятельств. Простое прошедшее время оказывается именно тем операциональным знаком, при помощи которого повествователь укладывает мозаичную действительность в тесное стерильное ложе слова, не имеющего ни плоти, ни объема, ни протяженности; единственная цель которого - скорейшим образом связать причины со следствиями. Когда историк утверждает, что герцог де Гиз умер 23 декабря 1588 года, а романист сообщает, что Маркиза вышла из дому в пять часов, то эти события возникают из абсолютно бесплотного прошлого; избавленные, от бытийной трепетности, они обладают устойчивостью и контурами алгебраической системы: они суть воспоминание, но воспоминание, исполненное пользы: его интерес несравненно важнее его длительности.

Итак, в конечном счете простое прошедшее время есть воплощение упорядоченности, а следовательно, простодушного оптимизма.

Благодаря ему действительность не кажется ни таинственной, ни абсурдной, напротив, она становится понятной, почти родной; в любой данный момент длань создателя обнимает и удерживает ее в себе всю целиком; и действительность поддается нажиму этой длани. В глазах всех великих рассказчиков XIX века мир может выглядеть возбуждающим страсти, но отнюдь не брошенным на произвол судьбы, ибо он представляет собой совокупность упорядоченных отношений; ибо явления действительности, будучи описанными, уже не могут бессмысленно громоздиться друг на друга, ибо тот, кто рассказывает об этом мире, властен отвергнуть мысль о непроницаемости и одиночестве составляющих его человеческих существований; ибо каждой своей фразой повествователь может свидетельствовать о способности людей к общению друг с другом и об иерархической упорядоченности их поступков; ибо - говоря короче - сами эти поступки могут быть без остатка сведены к выражающим их знакам.

Итак, прошедшее время повествования - наррации входит в систему безопасности Изящной Словесности. Воплощая саму идею упорядоченности, оно служит одним из тех многочисленных формальных соглашений, которые заключают между собой писатель и общество - ради оправдания писателя и во имя спокойствия общества. Простое прошедшее время означает самый факт создания произведения, иначе говоря, сигнализирует о нем и его заявляет. Даже подчиняясь целям самого мрачного реализма, оно продолжает вселять уверенность, заставляя слова выражать завершенные в себе, устойчивые, субстантивированные поступки. Повествование дает вещам имена, ему неведом ужас, который внушает слово, рвущееся за свои собственные пределы: в результате действительность как бы ужимается, обретает привычные черты, укладывается в рамки стиля и не выходит за границы языка. В обществе, где сама форма слов указывает на смысл потребляемой продукции, Литература играет роль потребительной стоимости. Напротив, когда Повествование отвергает ради иных литературных жанров или когда внутри самой повествовательной литературы простое прошедшее время уступает место менее орнаментальным, более естественным, упругим и близким к разговорной речи формам (настоящему или сложному прошедшему времени), тогда Литература превращается в хранилище самой плоти бытия, а не его внешних значений. Поступки, будучи отяты от Истории, воссоединяются с конкретными человеческими личностями.

Теперь понятно, в чем польза и в чем неприемлемость простого прошедшего времени в Романах: это - ложь, выставленная напоказ; простое прошедшее время очерчивает границы того, что следует считать правдоподобным, оно раскрывает область возможного и тут же указы-

вает на его фальшивость. Общей целью Романа и повествовательной Историографии является объективация фактов: простое прошедшее время воплощает самый акт, при помощи которого общество овладевает своим прошлым и своими возможностями. Оно создает правдоподобный мир, немедленно заявляя о его иллюзорности; оно является высшим выражением диалектического процесса, протекающего в области формы, в ходе которого воображаемые факты сначала облачаются в одеяния истины, а затем - разоблаченной лжи. Все это следует поставить в связь с известным мифом об универсальности данного мира, свойственным буржуазному обществу, характерным продуктом которого является Роман: снабдить воображаемый мир формальным свидетельством о его реальности, в то же время сохранив за этим знаком двусмысленный характер двойственного объекта, - одновременно правдоподобного и ненастоящего, - вот операция, обычная для всего западного искусства, которое приравнивает настоящее к ненастоящему отнюдь не в силу своего агностицизма или поэтической неискренности, а в силу убеждения, что все настоящее несет в себе семя универсальности или, если угодно, некую сущность, способную оплодотворить - уже одним тем, что она воспроизводится в романе, - как жизнь других слоев общества, в различной степени отдаленных от данного, так и самый вымысел. Именно за счет такого приема восторжествовавшая в прошлом столетии буржуазия получила возможность считать созданные ею ценности как бы универсальными и переносить на совершенно разнородные слои общества все понятия собственной морали. Но в этом-то и заключается механизм мифотворчества, и потому-то Роман, а в пределах Романа - простое прошедшее время суть мифологические явления, и их прямое назначение перекрывается вторичной потребностью в дидактике или, лучше сказать, в педагогике, ибо задача состоит в том, чтобы преподать некую сущность, завернув ее в упаковочную обертку искусства. Чтобы понять значение простого прошедшего времени, достаточно сравнить искусство романа на Западе с такой, например, традицией в китайской культуре, где искусство понимается исключительно как совершенное подражание действительности; однако там не должно быть ничего, ни малейшего признака, который позволил бы отличить натуральный предмет от предмета искусственного: вот этот деревянный орех, лежащий предо мной, отнюдь не должен сообщать мне - помимо образа ореха - никакой информации, сигнализирующей о том мастерстве, с помощью которого он был изготовлен. Напротив, письмо Романа делает именно последнее. Его цель состоит в том, чтобы, надев маску, тут же указать на нее пальцем.

Двойственную функцию простого прошедшего времени можно обнаружить и в другом факте - в повествовании от третьего лица, свойственном Роману. Читатели, возможно, помнят роман, где вся хитрость заключалась в том, что убийца скрывался за местоимением первого лица. Читатель подозревал преступника в каждом сюжетном "он", по им был тот, кто говорил "я". Автор прекрасно знал, что "я" в романе обычно бывает свидетелем, а действующим лицом - "он". Почему? "Он" - это условно-типическая фигура любого романа; подобно повествовательному прошедшему времени, местоимение "он" сигнализирует сам факт наличия романа; отсутствие третьего лица означает, что автор либо не в состоянии создать роман, либо стремится его разрушить. Местоимение "он" формально удостоверяет, что перед нами миф; так вот, мы только что видели, что, по крайней мере на Западе, не существует искусства, которое не указывало бы пальцем на свою собственную маску. Вот почему третье лицо оказывает искусству романа ту же услугу, что и простое прошедшее время, - оно гарантирует его потребителям чувство безопасности, которое внушает вымысел правдоподобный, но непрестанно напоминающий о своей лживости.

Местоимение "я" отличается меньшей двойственностью, и потому романическое начало в нем ослаблено: употребление "я" может одновременно служить как наиболее простым - в тех случаях, когда повествование не вступает в пределы литературной условности (произведение Пруста, например, претендует лишь на роль введения в Литературу), - так и наиболее изощренным решением проблемы - когда "я" выходит за эти пределы и пытается разрушить условность, придавая повествованию интонации мнимодоведительной откровенности (таков хитроумный замысел некоторых произведений Жюльетты). Равным об-

разом и употребление местоимения "он" в романе приводит в действие две противоположные этические тенденции: будучи общепринятой условностью, третье лицо в романе прелещает как наиболее академичных и наименее озабоченных судьбами Литературы писателей, так и тех, кто полагает, будто условность в конечном счете неизбежно придаст свежесть их творчеству. Однако в любом случае такая условность выступает как знак соглашения, открыто заключенного между обществом и автором, но для автора она служит еще и средством представить действительность, как он сам того хочет. Условность, следовательно, выходит за рамки сугубо литературного опыта и оказывается актом человеческого поведения, который связывает творение либо с Историей, либо с человеческим существованием (экзистенцией).

У Бальзака, например, сама множественность персонажей, обозначаемых местоимением "он", вся сложная система почти бесплотных, но зато последовательных в своем поведении индивидов свидетельствует о существовании целого мира, первоосновой которого является История. "Он" у Бальзака - это не конечный продукт, который породило "я", претерпевшее ряд трансформаций и возведенное в ранг всеобщности; это - первичный, исходный элемент романа, его материал, а не плод созидательного акта: бальзаковский роман не знает ни одной сюжетной истории, которая существовала бы помимо истории того или иного третьего лица. Третье лицо у Бальзака аналогично третьему лицу у Цезаря: оно придает поступкам алгебраическую форму, при которой роль экзистенциального начала оказывается ничтожной, а на первое место выдвигается логическая связность, определенность или трагизм человеческих отношений. Однако - в противоположность или по крайней мере в отличие от бальзаковского мира - третье лицо способно выражать и экзистенциальный опыт. У многих современных писателей развитие истории индивида как бы совпадает с последовательной сменой спрягаемых форм глагола: начав с "я" как с наиболее полного воплощения безымянности, автор как личность - по мере того как экзистенция отливается в форму конкретной судьбы, а монолог, обращенный к самому себе, превращается в Роман - шаг за шагом завоевывает право доступа к третьему лицу. Сам факт появления третьего лица предстает тогда не как исходная точка Истории, а как результат, увенчивающий известное усилие, благодаря чему из интимного мира переживаний и душевных движений извлекается чистая, выраженная в знаках форма, которая, однако, - в силу сугубой условности и хрупкости декораций, образованных третьим лицом, - тут же и рушится. В этом отношении, безусловно, показательна линия развития первых романов Жана Кейроля. Но если у классиков - а мы уже знаем, что в области письма эпоха классицизма продлилась вплоть до Флобера, - само неприятие биологической личности свидетельствовало о водворении на ее место человека, понятого как сущность, то у романистов, подобных Кейролю, внедрение третьего лица - это плод планомерной, победоносной наступления на плотную тень экзистенциального "я"; вот почему Роман, взятый со стороны его наиболее формальных признаков, предстает как акт приобщения к социуму; он учреждает Литературу.

Морис Бланшо заметил по поводу Кафки, что развитие безличного повествования (укажем в связи с этим термином, что "третье лицо" во всех случаях есть не что иное, как не-лицо, как отрицательная степень лица) - это процесс, отвечающий самой сущности языка, ибо последний по своей природе тяготеет к саморазрушению. Теперь понятно, почему местоимение "он" возникает как плод победы над "я" в той мере, в какой третье лицо одновременно воплощает и идею литературности, и идею отсутствия. Однако эта победа непрерывно подрывается изнутри: условно-литературное третье лицо, призванное уничтожить личность, тем не менее в любой момент способно придать ей неожиданную полноту. Литература подобна фосфору: ярче всего она горит тогда, когда готова сгореть окончательно. Однако, с другой стороны, коль скоро Литература, и в особенности Роман, - это акт, с необходимостью требующий временной длительности, то, значит, в конечном счете, Романа, полностью свободного от ига Изящной Словесности, существовать не может. Вот почему третье лицо в Романе - это один из самых навязчивых признаков той трагедии письма, которая родилась еще в прошлом столетии, когда под давлением Истории

Литература и общество, ее потребляющее, оказались разобщены. Между третьим лицом у Бальзака и третьим лицом у Флобера пролегал целая эпоха (эпоха 1848 года): у Бальзака царит История, зрелище которой хотя и сурово, но зато отличается внутренней последовательностью и твердой определенностью; это само торжество упорядоченности; у Флобера же царит искусство, которое, дабы обмануть свою собственную нечистую совесть, либо нарочито утрирует условные приемы литературного письма, либо же стремится к их безудержному разрушению. Наша современность начинается с поисков Невозможной Литературы.

Итак, мы обнаруживаем в романе тот - разрушительный и созидательный одновременно - механизм, который характерен для всего современного искусства. Объектом разрушения является длительность - эта невыразимая связующая нить существования: самый акт упорядочения (идет ли речь о поэтическом континууме, о знаках романа, об ужасе поэтического слова или о правдоподобию слова в романе) есть акт предумышленного убийства. Однако в конце концов длительность вновь подчиняет себе писателя, ибо процесс отрицания, будучи развернут во времени, оборачивается созданием позитивного искусства - той самой упорядоченности, которая как раз и подлечит разрушению. Вот почему наиболее выдающиеся произведения современности, словно выдерживая некую магическую паузу, стараются как можно дольше задержаться на пороге Литературы, застыв в состоянии неустойчивого равновесия, когда жизнь уже явлена, уже развернута перед нами во всей плоти, но еще не раздавлена грузом увенчивающих и упорядочивающих ее знаков: таково, например, первое лицо у Пруста, чье творчество от начала и до конца есть неуклонный, хотя и неуклонно отклоняемый, порыв к Литературе. Таково и Жан Кейроль. Он сознательно приходит к Роману как к последнему пределу одинокого монолога, - как будто литературный акт, двойственный по самой своей сути, лишь тогда закончится произведением, одобряемым обществом, когда будет наконец разорвана экзистенциальная упругость всякой длительности, лишней до того всякого смысла.

Роман - это воплощенная Смерть; жизни он придает облик судьбы, воспоминание превращает в утилитарный акт, а длительность - во время, обладающее направленностью и осмысленностью. Однако подобная трансформация способна совершиться лишь под взглядом общества. Именно общество освящает Роман (то есть совокупность известных знаков) в качестве трансцендентного образования и сюжетно организованной длительности. Итак, распознать пакт, который с торжественностью, характерной для искусства, связывает писателя и общество, можно благодаря тому, что сами цели этого пакта с очевидностью проглядывают в знаках романа. Употребление простого прошедшего времени и третьего лица в Романе - вот тот неотвратимый жест, которым писатель указывает на надетую им маску. Вся Литература имеет право сказать о себе: *Lavatus prodeo* 'я шестую, указывая пальцем на свою собственную маску. Будь то жестокая практика поэта, решившегося на самый серьезный из возможных разрывов - разрыв с социальным языком, или же правдоподобная ложь романиста - в любом случае для того, чтобы естественность их переживания смогла обрести плоть и превратиться в предмет потребления, она нуждается в искусственных, причем нарочито искусственных, знаках. Продуктом, а в конечном счете и источником такой двойственности как раз и является письмо. Этот особый язык, пользуясь которым писатель приобретает блистательное положение, хотя и попадает при этом под постоянный надзор, выдает его (незаметное на первых порах) рабское положение (что связано со всякой ответственностью). Будучи поначалу свободным, письмо под конец превращается в цепь, приковывающую писателя к Истории, которая в свою очередь сама опутана кандалами общества метит писателя совершенно отчетливыми знаками, свидетельствующими о его причастности к искусству, для того, чтобы как можно вернее вовлечь его в круг собственного отчуждения.

IV. Существует ли поэтическое письмо?

В классическую эпоху проза и поэзия были подобны математическим величинам, разница между ними поддавалась измерению; они были удалены друг от друга не больше и не

меньше, чем два различных числа - сопоставимых друг с другом, однако неодинаковых именно в силу своих количественных различий. Если минимальную речь (дискурс), наиболее экономный способ передачи мысли, назвать прозой, а некоторые специфические - пусть бесполезные, но зато обладающие декоративной функцией — языковые атрибуты, такие, как метр, рифма или свод общепринятых образов, обозначить буквами а, в, с, то на поверхности вся совокупность слов уложится в систему из двух уравнения г-на Журдена:

$$\begin{aligned} \text{Поэзия} &= \text{Проза} + a + b + c \\ \text{Проза} - \text{Поэзия} &= a - b - c \end{aligned}$$

Отсюда с очевидностью следует, что Поэзия всегда отличается от Прозы. Однако это не сущностное, а количественное отличие. Оно, следовательно, не посягает на классическую догму о единстве языка. Речевые обороты по-разному дозировались в зависимости от социальной ситуации, в одном случае было принято говорить на языке прозы или красноречия, в другом - на языке поэзии или прециозности, как будто существовал целый светский требник выразительных средств, но при этом повсюду сохранялся один и тот же язык, воплощавший вековечные категории разума. Классическая поэзия воспринималась лишь как украшенный орнаментами вариант прозы, как продукт определенного искусства (то есть техники), но не как иной язык или плод особого мироощущения. Всякая поэзия оказывалась в этом случае аналогом - декоративным, аллюзивным или отягощенным - некоей виртуальной прозы, которая, как сущность и как потенциальная сила, лежит в глубине любого способа словесного выражения. В классическую эпоху слово "поэтическое" не обозначало ни особого диапазона, ни особой оплотненности человеческих переживаний, ни особых внутренних сцеплений, вообще никакого замкнутого, особого мира. Оно подразумевало лишь известный способ словесной техники, позволявший "выражаться" в соответствии с более изящными, а значит, и более социальными правилами, нежели те, которые используются в обычной беседе, иными словами, позволявший облечь внутреннюю мысль - в полном вооружении вышедшую из недр Разума - в ее внешнюю форму - слово, социализированное уже в силу того, что его условный характер был очевиден.

Известно, что в современной поэзии (той, которая восходит не к Бодлеру, а к Рембо) от этой структуры не осталось ничего, если не считать, что она сохранила, перестроив традиционные нормы, формальные требования классической поэзии: отныне поэты начинают утверждать собственное слово в качестве самодовлеющей Природы, одновременно охватывающей как функцию, так и структуру языка. Поэзия перестает быть декоративно-орнаментальной или подвергнутой ограничениям Прозой. Она приобретает качество, не сводимое ни к чему иному, утрачивает черты наследственности. Отныне она - не атрибут, а сущность и, следовательно, может отказаться от всяких опознавательных знаков, ибо ее природа заключена в ней самой и не нуждается во внешнем обнаружении споев сути: поэтический и прозаический языки настолько отделились друг от друга, что способны обойтись без знаков своей взаимной самостоятельности.

Более того, предполагаемое соотношение мысли и языка оказалось теперь перевернутым: в классическом искусстве некая вполне готовая мысль разрешается словом, которое ее "выражает" и "передает". Классическая мысль лишена длительности, а в классической поэзии есть лишь такая длительность, которая необходима для технического построения высказывания. Напротив, в современной поэзии слова создают своего рода формальный континуум, мало-помалу выделяющий из себя некие оплотненные интеллектуальные или эмоциональные образования, невозможные без этих слов; время развертывания речи оказывается здесь сгущенным временем, вещающим более одухотворенный процесс вызревания "мысли", которая - перебирая множество слов - понемногу нащупывает, находит сама себя. Эта словесная игра случая в речевой цепи, увенчанная зрелым плодом состоявшегося значения, предполагает, следовательно, особое поэтическое время, но это - не время, затрачен-

ное на "изготовление" произведения, а время возможного приключения, время встречи известных знаков с известными целями. Современная Поэзия противостоит классической искусству в силу различий, охватывающих всю структуру языка, так что точкой соприкосновения между обеими поэзиями оказывается лишь их одинаковая социологическая цель.

Строение классического языка (Проза и Поэзия) имеет реляционную природу: сами слова здесь несравненно менее важны, чем отношения между ними. Ни одно слово не обладает здесь собственной плотью, они служат не столько знаками вещей, сколько связующими нитями. Каждое слово, будучи изреченным, отнюдь не стремится погрузить нас во внутренний мир, связанный с его внешним обликом, но немедленно начинает тянуться к другим словам, так что на поверхности возникает связанная цепочка интенций. Возможно, реляционную природу классической прозы и поэзии позволил уяснить сравнение с языком математики. Известно, что в математическом письме, где каждой числовой величине соответствует определенный знак, сами отношения, связывающие эти величины, также изображаются при помощи знаков математического действия, знаков равенства или неравенства; можно сказать, что развертывание математического континуума происходит в результате эксплицитного чтения этих знаков-связок. Классическая речь приводится в движение сходным образом, хотя, разумеется, подчиняется при этом менее строгим правилам: "слова", составляющие эту речь, нейтрализованные, абстрагированные под давлением суровой традиции, поглотившей их свежесть, чуждаются любой звуковой или семантической неожиданности, которая позволила бы в одной точке густить аромат языка, прервать продуманное движение речи вперед ради внезапного наслаждения, доставляемого данным отдельным словом. Континуум классической речи - это последовательность элементов одинаковой плотности, подверженных ровному эмоциональному напору, когда пресекается любая попытка создать индивидуальное и как бы впервые рождающееся значение. Сама поэтическая лексика - это лексика, определяемая привычным употреблением слов, а не созидательным актом: своеобразие здесь свойственно метафорике в целом, а не отдельным метафорам, тут правит обычай, а не творческое начало. Вот почему задача поэта-классика состоит не в том, чтобы искать новые, все более плотные и яркие слова, а в том, чтобы располагать их в соответствии с традиционными требованиями, совершенствовать симметрию и точность связей, укладывать, ужимать мысль строго до размеров стихотворного метра. Блеск классического ума проявляется тогда, когда дело доходит до отношений между словами, а не до самих слов: это искусство выражения, а не искусство изобретения. В отличие от позднейшей эпохи, когда слова, словно поддавшись неистовому, внезапному порыву гордыни, стали раскрывать всю глубину и неповторимость индивидуального человеческого опыта, в классической поэзии они выстраиваются на поверхности, подчиняясь требованиям изящной, декоративной упорядоченности. Нас чарует их сочетание, а не их собственная сила или красота.

Конечно, классическая речь не достигает функционального совершенства, свойственного математическим построениям: отношения выражены здесь не при помощи специальных знаков, а только побочными средствами формы и композиции. Реляционная природа классической речи проявляется в том, что сами слова отступают на второй план, а на первый выходит их линейная упорядоченность; изнашиваясь в тесном контексте всегда одних и тех же отношений, слова классического языка тяготеют к том), чтобы превратиться в элементы некоей алгебраической системы: риторическая фигура, клише оказываются потенциальными инструментами связи; они утрачивают свою собственную плотность ради того, чтобы занять более прочное место внутри речевой последовательности; подобно химическим элементам, они обладают свойством валентности и образуют языковое пространство, насыщенное симметричными связями, пересечениями и узлами, из которых - не имея времени задержаться и удивиться отдельному слову - вырастают все новые и новые смысловые интенции. Едва успеет передать собственный смысл, любой элемент классической речи превращается в своеобразный проводник или анонс, передающий вес дальше и дальше иной смысл, который стремится не укорениться в глубинах отдельного слова, а пронизать собою весь акт понимания, то есть акт коммуникации в целом.

Расшатывание, которому Гюго попытался подвергнуть александрийский стих - наиболее реляционный из всех стихотворных метров, - в зародыше таило все будущее современной поэзии, ибо речь шла о том, чтобы, уничтожив реляционную интенциональность речи, поставить на ее место взрывчатую силу отдельных слов. Действительно, современная поэзия - в той мере, в какой она противостоит классической поэзии, равно как и всякой прозе, подрывает стихийную функциональность языка и оставляет в неприкосновенности только его лексические основы. В реляционных отношениях она сохраняет лишь само их движение, их музыкальность, но не истину, которую они в себе заключали. От отношений остается одна только пустая оболочка, и высоко над их горизонтом вспыхивает сияние отдельного Слова; грамматика лишается своей особой цели, превращается в просодию, это не более чем модуляция, дрящящая лишь затем, чтобы явить Слово. Строго говоря, отношения здесь не распадаются, они просто приобретают сходство с зарезервированными, но никем не занятыми местами, это пародия на связи, и такое отсутствие необходимо, чтобы Слово, во всей своей насыщенности, смогло вырваться за пределы волшебного, но бесплотного мира реляционности и зазвучать подобно гулу или бездонному знаку, подобно голосу "ярости и тайны".

В классическом языке именно поток отношений влечет за собой Слово и уносит его вслед за убегающим впереди смыслом; в современной же поэзии эти отношения возникают как продолжение Слова; Слово - это их "родной дом", оно - корень, глубоко сидящий в самой просодии слышимых, но незримых функций. Синтаксические связи обладают завораживающей силой, но питают их все же Слово, явление которого потрясает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту истину поэтической - значит признать, что поэтическое Слово не может быть лживым, потому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, в Слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак. Поэтическое слово превращается в акт, лишенный ближайшего прошлого и окружающего контекста, но зато в нем сгущена память обо всех породивших его корнях. Под каждым Словом современной поэзии залегают своего рода геологические пласты экзистенциальное(tm), целиком содержащие все нерасторжимое богатство Имени, а не его выборочные значения - как в прозе или в классической поэзии. Отныне ни одно Слово уже не задано наперед в силу одной лишь общей целенаправленности социализированного дискурса. Потребитель поэзии, лишившись путеводных нитей в мире избирательных реляционных связей, сталкивается со Словом лицом к лицу, оно вырастает перед ним как некая абсолютная величина со всеми скрытыми в ней возможностями. Такое Слово энциклопедично, оно разом содержит в себе все свои значения, тогда как реляционный дискурс заставляет его выбирать одно из них. Оно, следовательно, осуществляет то, что возможно лишь в словаре или в поэзии, то есть там, где имя способно жить независимо от артикля, где оно приведено к своего рода нулевой степени и чреватое всеми своими прошлыми и будущими конкретизациями. Такое слово выступает в своей родовой, категориальной форме. Вот почему каждое поэтическое слово - это всегда неожиданность, это ящик Пандоры, из которого выскальзывают все потенциальные возможности языка; подобное слово творят и вкушают с особым любопытством, как священное лакомство. Этот голод по Слову, который томится вся современная Поэзия, придает поэтической речи устрашающий, нечеловеческий облик. Зияющие темной пропастью чередуются в ней со вспышками света, недомолвки соседствуют с перенасыщенными смыслом знаками; в такой поэзии отсутствует устойчивая, предсказуемая целенаправленность, и благодаря этому она настолько противостоит социальной функции языка, что уже само употребление речи, распавшейся на отдельные слова, открывает дорогу любым значениям возможных миров.

Что значит рациональное устройство классического языка, как не то, что сама Природа представлялась в ту эпоху единой и постижимой, что в ней не было ничего невыразившегося или неясного, что она до конца укладывалась в категории языка? Классический язык все-

гда сводился к своей убеждающей функции, он домогался диалога, он создавал мир, где люди не были одиноки, где над словом не тяготел чудовищный груз вещей, где всякая речь оказывалась формой встречи с другим человеком. Классический язык нес в себе ощущение блаженной безопасности, потому что его природа была непосредственно социальной. Не было ни одного классического жанра, ни одного классического текста, который не предполагал бы коллективного потребления, происходящего как бы в атмосфере общения и беседы. Классическое искусство литературы было объектом, циркулировавшим между лицами, принадлежавшими к одному классу, оно было продуктом, предназначенным для устной передачи и для потребления, регулируемого обстоятельствами светского общения: вопреки своей строгой кодификации, классический язык, по самому своему существу, был языком разговорным.

Напротив, современная поэзия, как мы видели, разрушает реляционные связи языка и превращает дискурс в совокупность Остановленных в движении слов. А это означает переворот в пони-Мании Природы. Распад нового поэтического языка на отдельные слова влечет за собой разложение Природы на изолированные элементы, так что Природа начинает открываться только отдельными кусками. Когда языковые функции отступают на задний план, погружая во мрак все связующие отношения действительности, тогда на почетное место выдвигается объект как таковой: современная поэзия - это объективная поэзия. Природа здесь превращается в разорванную совокупность одиноких и зловещих предметов, ибо связи между ними имеют лишь потенциальный характер; никто не подбирает для этих предметов привилегированного смысла, не подыскивает им употребления или использования, не устанавливает среди них иерархических отношений, никто не наделяет их значением, свойственным мыслительному акту или практике человека, а значит, в конечном счете, и не наделяет человеческой теплотой. Ослепительная вспышка поэтического слова утверждает объект как абсолют; Природа превращается в последовательность вертикальных линий, а предметы со всеми своими возможностями вдруг поднимаются в рост: как одинокие веи высятся они в опустошенном и потому жутком мире. Эти слова-объекты, лишенные всяких связей, но наделенные неистовой взрывчатой силой, слова, сотрясаемые чисто механической дрожью, которая таинственным образом передается соседнему слову, но тут же и глохнет, - эти поэтические слова не признают человека: наша современность не знает понятия поэтического гуманизма: эта вздыбившаяся речь способна наводить только ужас, ибо ее цель не в том, чтобы связать человека с другими людьми, а в том, чтобы явить ему самые бесчеловечные образы Природы - в виде небес, ада, святости, детства, безумия, наготы материального мира и т. п.

С этого момента становится затруднительным говорить о существовании поэтического письма, поскольку дело идет о таком языке, чье неистовое стремление к обособленности разрушает любую возможную этическую установку. Словесный жест как воплощенный демиург стремится здесь изменить самый лик Природы; он не выражает нравственной позиции, но оказывается актом принуждения. Таков по крайней мере язык тех современных поэтов, которые доводят свой замысел до логического конца и приемлют Поэзию не как интеллектуальное упражнение, выражение своего душевного состояния или точки зрения на мир, а как воплощение мечты о торжестве невиданного по своей свежести языка. Применительно к этим поэтам столь же бесполезно говорить о письме, как и о поэтическом чувстве. Современная Поэзия в ее наиболее чистых проявлениях - например, поэзия Рене Шара - лишена той многозначности тона, того ореола изысканности, которые, действительно, создают поэтическое письмо и которые принято называть поэтическим чувством. Ничто не мешает говорить о поэтическом письме применительно к классикам и их эпигонам или даже применительно к поэтической прозе и духе "Яств земных" А. Жида, где Поэзия поистине является известной языковой этикой. В обоих случаях письмо растворяет в себе стиль. Можно вообразить, как нелегко было людям XVII столетия установить отчетливую, и в первую очередь - поэтическую, разницу между Расином и Прудоном, подобно тому как нынешнему читателю столь же трудно судить о тех современных поэтах, которые пользуются одним и тем же — однообразным и расплывчатым - письмом, ибо Поэзия для них - это свое-

образная атмосфера, а именно, по самому своему существу, некое условное использование языка. Однако с того момента, как поэтический язык решительно пересматривает саму Природу - причем делает это в силу одних только особенностей своей структуры, не принимая во внимание содержания дискурса и не задерживаясь на его идеологической роли, - с этого момента письмо перестает существовать; остаются одни только стили; именно они позволяют человеку решительно повернуться лицом к объективному миру, не заслоненному образами, которые создаются в ходе Истории и социального общения.

Часть вторая

I. Триумф и крах буржуазного письма

В предклассической Литературе есть видимость разнообразия различных видов письма; однако если поставить эту языковую проблему не в эстетическом, а в структурном плане, то это разнообразие представится гораздо менее значительным. В эстетическом отношении период XVI - начала XVII веков являет собой картину более или менее свободного процветания различных литературных языков, ибо в ту пору люди еще были поглощены познанием Природы, а не тем, чтобы выразить свою собственную человеческую сущность. Ограничившись типическими примерами, можно сказать, что для энциклопедического письма Рабле и прециозного письма Корнеля в равной мере, был характерен такой язык, в котором орнаментальность еще не приобрела черт обрядовости, продолжая оставаться способом постижения мира во всей его необъятности. Именно это обстоятельство придавало классическому письму множество оттенков и вызывало в нем чувство упоения собственной свободой. Для читателя нового времени это ощущение разнообразия оказывается тем более сильным, что язык, похоже, все еще продолжал примериваться к различным возможностям, заложенным в неустоявшихся лингвистических структурах, и не осознал окончательно дух своего синтаксиса и законы расширения своего словарного запаса. Возвращаясь к проведенному нами различию между "языком" и "письмом", можно сказать, что примерно до 1650 года Французская Литература еще не разрешила проблематику языка, а потому не знала и такого явления, как письмо. Действительно, до тех пор, пока язык колеблется относительно своей собственной структуры, появление какой бы то ни было языковой морали остается невозможным; письмо рождается лишь тогда, когда язык, сформировавшись в национальных масштабах, превращается в своего рода определение через отрицательные признаки, в границу, отделяющую дозволенное от недозволенного, и уже больше не задумывается о происхождении или обоснованности своих запретов. Создав представление о вневременном разумном основании языка, о "рациональном языке", грамматисты классической эпохи тем самым избавили французских от любых лингвистических проблем, и этот очищенный язык как раз и стал письмом, иначе говоря, языковой ценностью, которая немедленно была объявлена универсальной как бы в противовес случайностям исторических обстоятельств.

Разнообразие "жанров" и движение стилей в пределах классических догм суть эстетические, а не структурные явления; они не должны вызывать иллюзии: в течение всего периода борьбы буржуазной идеологии за власть, а затем и ее триумфа французское общество располагало единым и единственным письмом - инструментальным и орнаментальным одновременно. Инструментальным это письмо было потому, что форма считалась подчиненной содержанию, подобно тому, как алгебраические формулы подчинены осуществлению операциональных действий. Орнаментальным же оно было потому, что этот инструмент украшали узоры, не имеющие отношения к его функции и без всякого стеснения заимствуемые из арсенала Традиции. Иными словами, буржуазному письму, которым пользовались

самые разные писатели, было неведомо отвращение к унаследованным формам, ибо оно служило лишь удачной декорацией, на фойе которой высился мыслительный акт. Разумеется, писателям-классикам также была знакома проблематика формы, но о многообразии или смысле различных видов письма, и тем более - о языковой структуре, спор никогда не заходил; обсуждалась только риторика, иначе говоря, строй речевых высказываний, рассматриваемых с точки зрения их убедительной силы. Таким образом, единообразие буржуазного письма уравновешивалось разнообразием риторик; напротив, к середине XIX века, то есть именно тогда, когда к трактатам по риторике был утрачен интерес, утратило свою универсальность и классическое письмо, а на смену ему родились современные типы письма.

Классическое письмо было, несомненно, письмом классовым. Возникнув в XVII веке в рамках группы, непосредственно державшейся вблизи власти, являясь продуктом догматического декретирования, быстро избавившись от всех грамматических средств, которые порождала спонтанная речь человека из народа, и, напротив, нацелившись на установление твердых определений) буржуазное письмо - не без цинизма, обычного для первых политических побед - поначалу изображало себя как язык немногочисленной элиты и привилегированного класса. В 1647 году Вожла говорил о классическом письме как о явлении, существующем фактически, а не по праву; ясность пока что считалась особенностью только языка придворного общества. Напротив, уже в 1660 году - например, в грамматике Пор-Рояля - классический язык обрел черты универсальности, а ясность была возведена в ранг ценности. Между тем ясность - это сугубо риторический атрибут, она не является всеобщим свойством языка, возможным якобы повсеместно и во все времена, но всего лишь идеальным придатком особого типа речи, а именно такого, который подчинен устойчивой цели - оказать воздействие на адресата. Именно потому, что буржуазия времен монархии и буржуазия послереволюционной эпохи, пользуясь одним и тем же письмом, развили эссенциалистский миф о человеке, классическое письмо, единое и универсальное, забыло о трепетной энергии отдельных слов ради их линейной упорядоченности, когда даже самый мельчайший элемент оказывался продуктом отбора, то есть решительного устранения всех потенциальных возможностей языка. Политическая авторитарность, догматическая власть Разума и единство классического языка - вот три различных проявления одной и той же исторической силы.

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что Революция не внесла никаких перемен в буржуазное письмо и что разница между письмом Фелелона и письмом Мериме совершенно ничтожна. Дело в том, что сама буржуазная идеология просуществовала, не зная малейших трещин, вплоть до 1848 года; и менее всего она была поколеблена в период Революции, которая дала в руки буржуазии политическую и социальную власть, но отнюдь не власть интеллектуальную, ибо последней она владела уже давным-давно. От Лакло и до Стендаля буржуазное письмо - если не считать недолгого периода смуты - непрерывно возобновляло и продлевало свое существование. Что же касается революции романтизма, номинально претендовавшей на переворот в области формы, то она весьма благоразумно позаботилась о том, чтобы сохранить в неприкосновенности письмо, воплощавшее ее собственную идеологию. Смешав жанры и стили и тем самым сбросив излишний груз традиции, романтизм сумел сохранить главное в классическом письме - его инструментальность; правда, этот инструмент становился слишком уж "заметным" (в частности, у Шатобриана), но все же его продолжали скромно использовать, оставаясь в полном неведении относительно того, что возможно личное, погруженное в одиночество слово. Один только Гюго сумел извлечь из непроницаемо плотных временных и пространственных измерений языка совершенно неповторимую тематику слова, которую невозможно уяснить в свете традиционной перспективы, но лишь в связи с изумляющими глубинами его собственной экзистенции. Один только Гюго, обрушившись на классическое письмо всей тяжестью своего стиля, сумел подмять его и поставить на грань уничтожения. Вот почему всякое пренебрежение к Гюго свидетельствует о том, что перед нами все та же мифология формы, под сенью которой продолжает скрываться письмо XVIII века - свидетель пышных празднеств буржуазии, и поныне все еще

диктующее нормы добротного французского языка - языка замкнутого, изолированного от общества благодаря самой плотности литературного мифа. Это священное письмо, которое без разбора продолжают использовать самые различные писатели - то как свод непреложных законов, то как источник гурманских удовольствий, подобно сокровищнице, где хранится таинственная, чудесная святыня, имя которой - Французская Литература.

Примерно около 1850 года произошли и совпали три новых великих исторических события: демографический взрыв в Европе; переход от текстильной промышленности к металлургической индустрии, ознаменовавший рождение современного капитализма, и, наконец, последовавший за июньскими днями 1848 года раскол французского общества на три враждующих класса, иными словами - бесповоротное крушение всех либеральных иллюзий. Эти обстоятельства поставили буржуазию в новое историческое положение. До той поры мерой и неоспоримым воплощением всякой универсальности продолжала оставаться сама буржуазная идеология; буржуазный писатель, являясь единственным судьей всех человеческих бед, не встречая на своем пути ни одного человека, который мог бы со стороны взглянуть на него самого, не испытывал никакого разлада между своим социальным положением и своим интеллектуальным призванием. Теперь же эта идеология превратилась в одну из многих возможных; универсальность ускользнула от нее; преодолеть сама себя она может отныне лишь путем самоосуждения. Писатель становится жертвой раздвоения, ибо появляется зазор между его сознанием и его социальной судьбой. Так рождается трагедия Литературы.

С этого-то момента и начинают множиться различные виды письма. Отныне выбор любого из них - изысканного, популистского, нейтрального, разговорного - превращается в основополагающий акт, посредством которого писатель принимает или отвергает свое буржуазное положение. Каждое из них оказывается попыткой разрешить орфееву проблему Современной Формы - проблему писателей без Литературы. Вот уже в течение ста лет такие писатели, как Флобер, Малларме, Рембо, Гонкуры, сюрреалисты, Камю, Сартр, Бланшо или Камю, пытались наметить пути интеграции, разрушения или восстановления в правах литературного языка; однако ставкой здесь служат не приключения формы, не успех риторики или смелое обновление и изыски словаря. Всякий раз, когда писатель запечатлевает на бумаге ту или иную последовательность слов, под вопросом оказывается само существование Литературы; что наша современность позволяет разглядеть в присущей ей множественности типов письма, так это тупик ее собственной Истории.

II. Стиль как ремесло

“Форма стоит дорого”, - ответил Валери, когда его спросили, почему он не публикует лекций, читанных им в Коллеж де Франс. Между тем на протяжении целой эпохи эпохи триумфа буржуазного письма - цена формы почти что равнялась цене воплощенной в ней мысли; разумеется, в те времена тоже заботились о композиции формы, о ее благозвучии, и тем не менее форма была довольно-таки дешева, ибо писатель пользовался ею как готовым инструментом, механизмы которого, не подвергаясь искусству обновления, передавались от поколения к поколению в полной неприкосновенности; у формы не было хозяина; универсальность классического языка проистекала именно из того, что язык этот являлся всеобщим достоянием, а различалось только мышление писателей. Можно сказать, что на протяжении всего этого периода форма имела лишь потребительную стоимость.

Однако, как мы уже знаем, примерно к 1850 году Литература очутилась перед необходимостью оправдать собственное существование: письмо принялось подыскивать себе различные алиби; и как раз потому, что письма коснулась тень подозрения, возникла целая группа писателей, которые попытались взять на себя ответственность за продолжение литературной традиции, поставив на место потребительной стоимости письма стоимость вложенного в него труда. Они решили спасти письмо не ради его предназначения, а ради труда, которого оно

стоило. Тогда-то и начал складываться образ писателя-работника, запирающегося в своей легендарной башне, подобно ремесленнику в мастерской, и принимающего отделывать, шлифовать, полировать, оправлять форму совершенно так же, как ювелир превращает данный ему материал в произведение искусства. Изо дня в день, в полном одиночестве проводит он за этим занятием долгие часы, наполненные упорным трудом: такие писатели как Готье (пишущий на рассвете у себя в спальне), Жид (удобно устроившийся за своей конторкой), образуют своего рода ремесленный цех во Французской Слоvesности, где сама работа над формой есть знак принадлежности к корпорации. Стоимость труда, вложенного в произведение, отчасти заменяет ценность воплощенного в нем гения; в словах писателей, хвастающих своей долгой и трудной работой над формой, проглядывает известное кокетство; иногда даже сама лаконичность стиля (ведь обработать материал как раз и значит устранить в нем все лишнее) начинают воспринимать как признак тонкой изощренности, которая, однако, существенно разнится от изощренности времен великой эпохи барокко (у Корнеля, например). Барочная прециозность возникла из необходимости познать Природу, а это требовало широчайшего использования всех ресурсов языка; изыск же новых писателей направлен на выработку аристократического литературного стиля и свидетельствует об историческом кризисе, разразившемся тогда, когда обнаружилось, что для оправдания условности устаревшего литературного языка уже недостаточно одним только эстетических доводов, иными словами, когда движение Истории привело к очевидному разладу между социальным признанием писателя и инструментом, доставшимся ему из арсенала Традиции.

С наибольшей последовательностью обосновал это ремесленническое письмо Флобер. До него буржуазную повседневность принято было воспринимать как нечто курьезное или экзотическое; в силу того, что буржуазная идеология сама себя полагала мерой универсальной, она утверждала существование идеальной человеческой природы и потому могла позволить себе в блаженной безмятежности созерцать поведение конкретного буржуа как зрелище, не имеющее никакого отношения к ее собственным принципам. Флоберу же самый дух буржуазности представлялся неизлечимым недугом, который вселяется в писателя и поддается лечению только тогда, когда писатель с полной ясностью отдает себе в нем отчет; а это уже - признак трагического мироощущения. Столкновение лицом к лицу с буржуазной Необходимостью, подчиняющей себе Фредерика Моро, Эмму Бовари, Бувару и Пекюше, потребовало искусства, также пронизанного необходимостью и вооруженного собственным Законом. Флобер создал нормативное письмо, патетичность которого - ив этом заключен парадокс - создается сугубо техническими средствами. С одной стороны, он строит свое повествование как последовательное выявление различных сущностей, а не в феноменологическом порядке их явления (в отличие от Пруста); глагольные времена он употребляет в соответствии с условными нормами, так что они выступают как знаки Литературности, по примеру того самого искусства, которое все время предупреждает о своей искусности и искусственности; он создает особый, письменный ритм, обладающий завораживающей силой и, в отличие от устного красноречия, затрагивающий шестое, сугубо литературное чувство создателей и потребителей Литературы. С другой стороны, эта кодификация литературного труда, совокупность упражнений по выработке письма является, если угодно, проявлением некоей мудрости, но также и грустного чистосердечия, ибо искусство Флобера шестует, указывая пальцем на свою собственную маску. Эта григорианская кодификация литературного языка имела целью если и не примирить писателя со всеобщим порядком вещей, то по крайней мере возложить на него ответственность за создаваемую им форму; превратить письмо, полученное им от Истории, в искусство, то есть в откровенную условность, в честный договор, позволяющий личности найти удобное место посреди чуждой для него природы. Писатель предлагает обществу искусство, не скрывающее своей искусности, выставляет на всеобщее обозрение его нормы, а взамен общество соглашается принять писателя в свое лоно. Так случилось с Бодлером, который попытался освятить восхитительный прозаизм своей поэзии авторитетом Готье, словно авторитетом самого божества обработанной формы; разумеется, эта обработанная не имела ничего общего с прагматизмом, свойственным

буржуазной практике, и, тем не менее, она вписывалась в представление о повседневном труде, подпадала под контроль общества, усматривавшего в такой работе не столько идеал, к которому оно стремилось, сколько воплощение технических приемов своей деятельности. Коль скоро Литературу невозможно было победить изнутри, не лучше ли было признать ее открыто, приговорив писателя к литературной каторге, где он станет "трудиться на совесть"? Вот почему флорберизация письма оказалась неизбежным выкупом как для самых невысказанных писателей, плативших его без размышлений, так и для наиболее требовательных из них, признававших тем самым безвыходность сложившегося положения вещей.

III. Письмо и революция

Ремесленнический стиль породил особую разновидность письма, восходящую к Флорберу, но использованную натуралистической школой в своих собственных целях. Это письмо - письмо Мопассана, Золя, Доде, - которое можно назвать реалистическим, представляет собой смесь формальных знаков Литературности (простое прошедшее время, косвенная речь, письменный ритм) со столь же формальными знаками реалистичности (заимствования из языка простонародья, крепкие словечки, провинциализмы и т. п.), так что трудно назвать более искусственное письмо, нежели то, которое притязало на наиболее верное изображение природы. Нет сомнения, что неудача постигла натуралистов не только в области формы, но и в области теории: условное представление о действительности характерно для натуралистической эстетики в той же мере, что и потребность в изготовленной форме. Парадокс в том, что обращение натуралистов к повседневным предметам не повлекло за собой соответствующего упрощения формы. Нейтральное письмо - это позднее явление, оно будет создано такими писателями, как Камю, лишь много времени спустя после возникновения реализма, и не столько под воздействием эстетики ухода от действительности, сколько в результате поисков письма, добившегося наконец-то безгрешности. Что же до реалистического письма, то оно весьма далеко от нейтральности и, напротив, изобилует такими знаками, которые с исключительной впечатляющей силой указывают на его изготовленность.

Так, претерпев деградацию, отказываясь от надежды обрести словесную Природу, откровенно отрешенную от реальной действительности, но также и не помышляя об овладении (как это сделал Камю) языком социальной Природы, натуралистическая школа парадоксальным образом произвела на свет механическое искусство, с невиданной доколе откровенностью выставлявшее напоказ условный характер литературы. Флорберовское письмо исподволь создавало какую-то колдовскую атмосферу, так что, читая Флорбера, мы все еще словно бы рискуем затеряться среди природы, наполненной звучанием множества отголосков, природы, где знаки обладают не столько выражающей, сколько внушающей силой. Что до реалистического письма, то оно полностью лишено убеждающей способности и обречено исключительно на живописание - в полном согласии с дуалистической догмой, которая учит, что существует лишь одна-единственная оптимальная форма, способная "выразить" инертную, словно бездушный предмет, действительность, над которой писатель властен только благодаря тому мастерству, с которым он умеет подгонять друг к другу различные знаки.

Все эти авторы без стилия - Мопассан, Золя, Доде и их эпигоны - практиковали письмо, одновременно служившее им и убежищем, и средством демонстрации тех ремесленнических операций, которые, как они полагали, им удалось изгнать из эстетики, ставшей чисто пассивной. Известны высказывания Мопассана о важности работы над формой, известны и все наивные приемы Школы, с помощью которых та переставала естественные фразы во фразы искусственные, фразы, призванные заявить о собственной литературности; то есть в данном случае - объявить цену, которую стоила работа над ними. Известно также, что стилистика Мопассана, увязывая мастерство с областью синтаксиса, оставляла лексику как материал, данный до Литературы. Хорошо писать - а это-то и становится отныне

единственным признаком литературной принадлежности произведения - значит самым простодушным образом переставлять дополнения с их обычного места, "выделять" слова, полагая тем самым добиться "экспрессивного" ритма. Так вот, экспрессивность - это миф; экспрессивность на деле - это всего лишь условный образ экспрессивности.

Вот это-то условное письмо как раз и стало предметом постоянных восторгов со стороны школьной критики, для которой цена текста определялась зримостью той работы, которой он стоил. Но ведь нет ничего более впечатляющего, чем различные перестановки дополнений, аналогичные манипуляциям рабочего, подгоняющего на место тонкую деталь. Что восхищало школьную критику в письме Мопассана или Додэ, так это сами литературные знаки, отрешившиеся наконец от своего содержания и со всей прямотой утверждавшие Литературу как явление, начисто лишенное связей с любыми иными языками; тем самым они как бы учреждали абсолютно идеальное понимание вещей. Занимая промежуточное положение между пролетариатом, полностью отлученным от всякой культуры, и интеллигенцией, уже успевшей усомниться в Литературе как таковой, средняя клиентура начальной и средней школы, то есть, вообще говоря, мелкая буржуазия, обрела в художественно-реалистическом письме (при помощи которого сочинялась добрая часть коммерческих романов) привилегированный образ Литературы, сплошь испещренной знаками собственной литературности. При таком положении дел роль писателя заключалась не столько в том, чтобы создать произведение, сколько в том, чтобы поставить потребителям литературу, которую те сумеют распознать даже на расстоянии.[...]

IV. Письмо и молчание

Составляя часть буржуазной вотчины, ремесленническое письмо не могло нарушить никакого порядка; не участвуя в иных битвах, писатель был предан единственной страсти, оправдывавшей все его существование, - созиданию формы.

Отказываясь высобуждать какой-либо литературный язык, он мог зато поднять в цене язык старый, насытить его всевозможными интенциями, красотами, изысканными выражениями, архаизмами, он мог создать пышное, хотя и обреченное на смерть слово. Это великое традиционное письмо, письмо Жида, Валери, Монтерлана и даже Бретона, означало, что форма, во всей ее весомости и несравненном великолепии одеяний, есть ценность, не подвластная Истории, наподобие ритуального языка священнослужителей.

Находились писатели, полагавшие, что избавиться от этого сакрального письма можно лишь путем его разрушения; они принялись подрывать литературный язык, вновь и вновь взламывать его скрупуло оживающих штампов, привычек, всего формального прошлого писателя; ввергнув форму в полнейший хаос, оставив на ее месте словесную пустыню, они надеялись обнаружить явление, полностью лишенное Истории, обрести новый, пахнущий свежестью язык. Однако подобного рода пертурбации в конце концов прокладывают свои собственные наезженные колеи и вырабатывают собственные законы. Изящная Словесность угрожает любому языку, который не основан на прямом воспроизведении социальной речи. Процесс разложения языка, все более и более усугубляющий его беспорядочность, способен привести лишь к молчанию письма. Аграфия, к которой пришел Рембо или некоторые сюрреалисты (почему они и канули в забвение), то есть потрясающее зрелище самоуничтожения Литературы, учит, что у некоторых писателей язык, этот исходный и конечный пункт литературного мифа, в конце концов восстанавливает все те формы, от которых он стремился избавиться, что не существует письма, способного навсегда сохранить свою революционность, и что всякое молчание формы не будет обманом лишь тогда, когда писатель обречет себя на абсолютную немому. Личность Малларме - с его гамлетовским отношением к письму - прекрасно воплощает тот неустойчивый момент в Истории, когда литературный язык продолжал цепляться за жизнь лишь затем, чтобы лучше воспеть неизбежность собственной смерти. Аграфия печат-

ного слова у Малларме имела целью - создать вокруг разреженных вокабул зону пустоты, в которой гложет звучание слова, избавленного от своих социальных и потому греховных связей. Вырвавшись из оболочки привычных штампов, освободившись из-под ига рефлексов писательской техники, каждое слово обретает независимость от любых возможных контекстов; само появление такого слова подобно мгновенному, неповторимому событию, не отдающемуся ни малейшим эхом и тем самым утверждающему свое одиночество, а значит, и безгрешность. Это искусство есть искусство самоубийства: само молчание превращается здесь в некое однородное поэтическое время, оно взрезает языковые слои и заставляет ощутить отдельное слово - но не как фрагмент криптограммы, а как вспышку света, зияющую пустоту или как истину, заключенную в смерти и в свободе. (Известно, сколь многим мы обязаны Морису Бланшо в разработке этой гипотезы о Малларме как об убийце языка.) Язык Малларме - это язык самого Орфея, который может спасти любимое существо, лишь отказавшись от него, и, тем не менее, не удерживается и слегка оборачивается назад; язык Малларме - это язык Литературы, приведенной наконец к порогу Земли Обетованной, то есть к порогу мира без Литературы, хотя свидетельства об этом мире могут все же один только писатели.

Но вот другой способ освободить литературное слово: он состоит в создании белого письма, избавленного от ига открыто выраженной языковой упорядоченности. Лингвистическое сопоставление, возможно, позволит разъяснить суть этого нового явления: как известно, некоторые лингвисты указывают, что в промежутке между двумя полярными языковыми категориями (единственное число - множественное число, прошедшее время - настоящее время) существует еще один - нейтральный или нулевой - термин; так, изъявительное наклонение - в сопоставлении с сослагательным и повелительным - представляется им вне-модальной формой. В этом смысле - в другом масштабе - можно сказать, что письмо, приведенное к нулевой степени, есть, в сущности, не что иное, как письмо в индикативе или, если угодно, вне-модальное письмо; его можно было бы даже назвать журналистским письмом, если бы только как раз журналистика не прибегала то и дело к формам повелительного и желательного наклонений (то есть к формам патетическим). Новое нейтральное письмо располагается посреди этих эмоциональных выкриков и суждений, но сохраняет от них полную независимость; его суть состоит как раз в их отсутствии; и это отсутствие абсолютно, оно не предполагает никакого убежища, никакой тайны; вот почему нельзя сказать, что это бесстрастное письмо; скорее, это безгрешное, хранящее невинность письмо. Речь здесь идет о том, чтобы преодолеть Литературу, вверившись некоему основному языку, равно чуждому как любым разновидностям живой разговорной речи, так и литературному языку в собственном смысле. Этот прозрачный язык, впервые использованный Камю в "Постороннем", создает стиль, основанный на идее отсутствия, которое оборачивается едва ли не полным отсутствием самого стиля. Письмо в этом случае сводится к своего рода негативному модусу, где все социальные и мифологические черты языка уничтожаются, уступая место нейтральной и инертной форме; таким образом, мысль писателя продолжает сохранять всю свою ответственность, что не сопровождается, однако, дополнительным процессом социального вовлечения формы в Историю, не властную над этой формой. Если письмо Флобера зиждется на известном Законе, а письмо Малларме домогается молчания, если письмо таких писателей, как Пруст, Селин, Камю, Превер, - каждое на свой лад - исходит из существования социальной Природы, если все эти виды письма предполагают оплотненность формы и наличие языковой и социальной проблематики, утверждая слово как объект, с которым имеет дело ремесленник, чародей или копиист, - то нейтральное письмо вновь фактически обретает первородное свойство классического искусства - инструментальность. Однако теперь этот формальный инструмент уже не стоит на службе у какой бы то ни было торжествующей идеологии; отные он выражает новое положение писателя и оказывается молчанием, облекшимся в плоть; он умышленно отказывается от любых претензий на элитантность или орнаментальность, так как оба эти измерения способны вновь ввести в письмо Время - подвижную силу, несущую вместе с собой Историю. Но если письмо по-настоя-

щему нейтрально, если языковой акт утрачивает свою неуклюжесть и необузданность, превращается в подобие чистого математического уравнения и становится столь же бесплотным, как и алгебраические формулы перед лицом бездонности человеческого существования, - вот тогда-то наконец Литература оказывается поверженной, тогда-то вся проблематика человеческого бытия раскрывается и воплощается как бы в обесцвеченном пространстве, а писатель становится безоговорочно честным человеком. Беда в том, что нет ничего более обманчивого, нежели белое письмо; с момента своего возникновения оно начинает вырабатывать автоматические приемы именно там, где прежде расцветала его свобода; окаменевшие формы со всех сторон обступают и теснят слово в его первородной непосредственности, и на месте языка, не поддающегося никаким готовым определениям, вновь вырастает письмо. Став классиком, писатель превращается в элигона своего собственного раннего творчества; общество объявляет его письмо одной из многих литературных манер и тем самым делает узником его собственного формотворческого мифа.

V. Письмо и социальная речь

Лег сто с небольшим назад писатели, как правило, не подозревали, что существует не один, а много самых различных способов изъясняться по-французски. Однако после 1830 года - во времена, когда буржуазия добродушно потешалась над всем, что выходило за пределы ее собственного жизненного круга и располагалось в тесном социальном пространстве, отведенном ею для богемы, привратников и воров, - в собственном литературный язык писатели начали вкраплять отдельные куски, подхваченные, заимствованные в "низших" языках - при условии их неременной эксцентричности (в противном случае они таили бы в себе угрозу). Эти живописные жаргоны служили украшению Литературы и не посягали на ее структуру. Бальзак, Сю, Мопье, Гюго находили удовольствие в воспроизведении всяческих фонетических и лексических неправильностей - воровского арго, крестьянских наречий, говора немцев, жаргона привратников. Однако эти социальные языки были лишь своего рода театральными костюмами, в которые облакалась человеческая сущность, и никогда не затрагивали говорящего индивида в его целостности; человеческие переживания продолжали существовать помимо их речевого воплощения.

Вероятно, нужно было дождаться прихода Пруста, который целиком отождествил некоторых людей с их языком и начал изображать своих персонажей через чистые особенности их речи, плотной и красочной. Если, к примеру, бальзаковские персонажи без труда вписываются в систему принудительных взаимозависимостей, существующих в обществе, где эти персонажи играют роль своеобразных алгебраических связей, то персонаж Пруста сгущается как бы в непроницаемом пространстве того или иного специфического языка, и именно на этом уровне реально оформляется и упорядочивается все его историческое положение - профессиональная и классовая принадлежность, имущественное состояние, наследственные черты, биологические свойства. Так Литература начинает познавать общество в качестве своеобразной Природы, феномены которой, возможно, поддаются воспроизведению. В те моменты, когда писатель запечатлевает языки, на которых реально говорят люди, не просто как колоритные, а как существенно важные образования, исчерпывающие все содержание общества, - в эти моменты письмо распространяет свои рефлексы на реальную человеческую речь; литература начинает превращаться в чисто информативный акт, так, словно ее первой задачей является уяснение всех подробностей социального расслоения общества, осуществляемое путем их воспроизведения; она ставит себе целью дать немедленный - предваряющий любой другой способ извещения - отчет о положении людей, замурованных в языке своего класса, края, профессии, наследственности или истории.

В этом отношении оказывается, что литературный язык, основанный на воссоздании социальной речи, в принципе не способен освободиться от ограничивающей его описа-

тельной функции, потому что универсальность того или иного языка - при современном состоянии общества - является фактом восприятия речи, а отнюдь не фактом говорения: в пределах национальных норм языка, подобного французскому, существует языковое разноречие отдельных социальных групп, и любой индивид оказывается пленником своего языка; за пределами своего класса он обнаруживает себя каждым произнесенным словом, каждое слово выявляет его всего целиком и выставляет напоказ вместе со всей его историей. Благодаря своему языку человек открыт для разгадки, его выдает сама правдивость языковой формы, неподвластная его - своекорыстному или благородному - желанию солгать о себе. Таким образом, само разнообразие языков выступает как проявление Необходимости, и именно в этом состоит его трагическая сущность.

Вот почему возрождение разговорного языка, мыслившегося сначала как забавное подражание колоритным речевым формам, в конце концов стало выражать все противоречивое содержание социальной жизни: в творчестве Селина, например, письмо отнюдь не стоит на службе у мысли, наподобие удачного реалистического фона для живописной картины жизни той или иной социальной группы; для писателя оно есть способ самого настоящего погружения в вязкую гущу изображаемой им среды. Конечно, и в этом случае дело идет лишь о способе выражения, а потому Литература так и остается непреодоленной. Однако следует признать, что из всех возможных средств изображения действительности (поскольку до сих пор Литература главным образом претендовала именно на это) усвоение реальных языков является для писателя наиболее человеческим литературным актом. В значительной части современной Литературы заметны более или менее отчетливые признаки тоски по такому языку, который обрел бы естественность языков социальных. (В качестве недавнего и хорошо известного примера достаточно вспомнить романские диалоги Сартра.) И все же, сколь бы удачны ни были эти живописные образы языков, они так и остаются репродукциями, своего рода ариями, обрамленными несконаемым речитативом сугубо условного письма.

Камю как раз и попытался показать, что возможна разговорная контаминация письменного дискурса во всех его элементах. У него социализация литературного языка охватывает письмо сразу на всех его уровнях - графическом, лексическом и - что еще более важно, хотя и выглядит не столь эффектно, - на уровне речевой манеры. Разумеется, письмо Камю не выходит за пределы Литературы, потому что его потребляет лишь незначительная часть общества и оно не несет в себе какой бы то ни было универсальности, оставаясь всего-навсего экспериментом и забавой. И все же это первый случай, когда литературным оказывается не письмо как таковое; Литература изгоняется из области формы; отныне это не более как категория; Литература становится иронией, а язык - воплощением всей глубины человеческого опыта. Или так: Литература здесь открыто приведена к проблематике языка; поистине, отныне она не может быть ничем иным.

Таким образом, мы видим, как начинают вырисовываться возможные очертания некоего нового гуманизма, когда на смену всеобщему подозрению, нависшему над языком в современной литературе, придет примирение слова писателя со словом всех остальных людей. Лишь в том случае, когда поэтическая свобода писателя укоренится внутри самой языковой ситуации, а ее границы совпадут с границами всего общества, а не с рамками тон или иной условной формы или же со вкусами известной части публики, - лишь тогда писатель сможет считать себя до конца социально ответственным. В противном случае эта ответственность навсегда останется номинальной; она сможет спасти сознание писателя, но не сумеет послужить основой его авторского поведения. Именно потому, что мысль не способна существовать помимо языка, что форма есть первая и последняя инстанция литературной ответственности и что в обществе отсутствует гармония, - именно поэтому язык - это воплощение необходимости и необходимого принуждения - как раз и создает ту ситуацию мучительного разлада, в которой оказывается писатель.

VI. Языковая утопия

Множество разновидностей письма - вот факт пашен современности, который понуждает писателя к выбору, превращает литературную форму в способ человеческого поведения и вырабатывает ту или иную этику письма. Число измерений, в которые укладывается литературное творение, возрастает за счет еще одной, новой величины: форма как таковая начинает играть роль паразитарного механизма, существующего наряду с сугубо интеллектуальной функцией произведения. Современное письмо - это поистине самостоятельный организм, который нарастает вокруг литературного акта, придает ему смысл, чуждый его прямой интенции, вовлекает в двойную жизнь и поверх непосредственного содержания слов наслаивает пласт загустевших знаков, которые несут в себе свою собственную, вторичную историю, таят собственную вину и собственное искупление, так что судьба мысли, заложенной в произведении, начинает переплетаться с дополняющей ее, нередко ей противоречащей и всегда ее отягощающей судьбой формы.

Любопытно, что это фатальное свойство литературного знака - которое не позволяет писателю написать ни слова так, чтобы он немедленно не оказался в специфическом положении носителя архаичного, анархического, подражательного, но в любом случае, условного и обесчеловеченного языка, - начинает действовать как раз тогда, когда Литературу, все решительнее отбрасывающую свой статус буржуазного мифа, пытается использовать то гуманистическое движение, которое, осмысляя жизнь или свидетельствуя о ней, сумело наконец включить Историю в созданный им образ человека. В этих условиях прежним литературным категориям, - лишившимся (в лучшем случае) своего традиционного содержания, которое сводилось к выражению некоей вневременной человеческой сущности, - в конечном счете удается удержаться лишь благодаря наличию специфической формы, например, лексической или синтаксической упорядоченности; короче - благодаря известному языку: отныне именно письмо вбирает в себя все признаки литературной принадлежности произведения. Романы Сартра суть романы лишь в силу той (впрочем, постоянно нарушаемой) верности определенной речевой манере, нормы которой утвердились в ходе всех предшествующих геологических этапов развития романа. И действительно, Изящная Словесность просачивается в сартровский роман не за счет его содержания, а за счет его специфического способа письма. Более того, когда Сартр (в "Отсрочке") пытается разрушить романическую длительность и расщепляет свой речитатив, чтобы показать вездесущность действительности, тогда именно повествующий характер его письма восстанавливает - как бы поверх одновременности изображаемых событий - единство и однородность Времени, времени Повествователя, чей особенный голос, который нетрудно распознать по его специфическим модуляциям, отягощает, подобно паразитарному наросту, акт разоблачения Истории и придает роману двусмысленную интонацию свидетельского показания, которое на проверку может оказаться и живым.

Из сказанного видно, что создание современного шедевра стало попросту невозможным, ибо письмо ставит писателя в безысходно противоречивое положение; одно из двух: либо его произведение наивно нацелено на соблюдение всех условностей формы - и в этом случае литература остается глухой к нашей живой Истории, а литературный миф оказывается непреодоленным; либо писатель ощущает всю широту и свежесть нашего мира, но, чтобы выразить их, располагает хотя и ослепительным в своем великолепии, но зато мертвевшим языком. Положив перед собою чистый лист бумаги, сиюсья подыскать слова, которые должны откровенно заявить о его месте в Истории и засвидетельствовать, что он принимает ее условия, писатель вдруг обнаруживает трагический разлад между тем, что он делает, и тем, что он видит; социальный мир предстает перед его взором как самая настоящая Природа, и эта Природа говорит, она создает множество исполненных жизни языков, от которых, однако, сам писатель безнадежно отлучен: взамен же История вкладывает ему в руки богато украшенный, хотя и компрометирующий инструмент - письмо, унаследованное от прошедшей и

уже чужой для него Истории, письмо, за которое он не несет никакой ответственности, но которым, однако, только и может пользоваться. Так рождается трагедия письма, ибо отныне всякий сознательный писатель вынужден вступать в борьбу с всесылными знаками, доставшимися ему от предков, знаками, которые из недр инородного прошлого нанизывают ему Литературу словно некое ритуальное действие, а не как способ освоиться с жизнью.

Сам писатель, если только он не дерзнет вовсе порвать с Литературой, не в силах разрешить эту проблематику письма. Каждый писатель уже в момент творческого рождения начинает в себе судебный процесс против Литературы; но даже если он и выносит ей обвинительный приговор, то тут же откладывает его исполнение, а Литература пользуется этой отсрочкой, чтобы вновь подчинить себе писателя. Тщетно будет он пытаться создать совершенно свободный язык; последний вернется к нему как продукт производства, а за всякую роскошь полагается платить: писатель вынужден и дальше пользоваться этим отвердевшим языком, замкнувшимся на самом себе под чудовищным напором огромного множества людей, которые на нем не говорят. Существует, следовательно, тупик, в который приводит письмо, и это - тупик, в котором находится само общество; современные писатели чувствуют это: для них поиски не-стиля, устного стиля, нулевой или разговорной степени письма оказываются, в сущности, попыткой предвосхитить такое состояние общества, которое отличалось бы абсолютной однородностью; большинство из них понимает, что без реальной - а отнюдь не мистической или сугубо номинальной - универсальности социального мира не может существовать и универсального языка.

Итак, любому современному письму свойственна двунаправленность: письмо стремится к разрыву с прошлым и в то же время жаждет пришествия будущего; в нем воплощен удел любой революционной ситуации, ее фундаментальная двойственность, требующая, чтобы Революция черпала образы желаемого в той самой действительности, которую она стремится разрушить. Как и все современное искусство, литературное письмо одновременно воплощает в себе и отчуждающую силу Истории, и тоску по этой Истории: будучи олицетворением Необходимости, письмо свидетельствует о расколе внутри языка, неотъемлемом от классового раскола общества; но будучи в то же время олицетворением Свободы, оно предстает как осознание этого раскола и как порыв к его преодолению. Все время чувствуя себя повинным в собственном одиночестве, письмо тем не менее жадно мечтает о том времени, когда слова станут наконец счастливы, оно грезит о языке, чья естественность идеальным образом предвосхитила бы тот новый и совершенный адамов мир, где язык будет свободен от отчуждения. Сам факт умножения разновидностей письма учреждает новую Литературу в той мере, в какой последняя, создавая свой язык, стремится лишь к тому, чтобы быть воплощенной мечтой: Литература становится утопией языка.

Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время

- Лев Аннинский. "Серебро и чернь". Поэты Серебряного века.
Михаил Арцыбашев. "Ужас".
Антон Антонов-Овсеенко. "Сталин без маски".
Сергей Антонов. "Рельеф Кандинского". Рассказы.
"Азь". Альманах. Два выпуска.
Владлен Бахнов. "Опасные связи". Повести и рассказы.
Евгений Бачурин. "Я ваша тень". Стихи и песни.
Андрей Белый. "Начало века".
Евгений Блажеевский. "Лицом к погоне". Стихи.
Владимир Буйначев. "Новое прочтение "Слова о полку Игореве"".
Михаил Бутов. "Изваяние пана". Рассказы и повесть.
Андрей Бычков. "Черная талантливая музыка для глухонемых".
"Веги". Сборник статей о русской интеллигенции.
Мария Головановская. "Двадцать писем Господу Богу". Роман.
Дон-Аминадо. "Парадоксы жизни". Стихи и проза.
Фазиль Искандер. "Детство Чика". Рассказы.
Фазиль Искандер. "Сандро из Чегема". Первая полная редакция.
Геннадий Калашников. "С железной дорогой в окне". Стихи.
Анатолий Капустин. "Куровское-Лобня". Рассказы.
Н. М. Карамзин. "История Государства Российского". В 6-ти книгах.
Эдуард Клыгуль. "Столичная". Повести и рассказы.
Кирилл Ковальджи. "Лирика".
Кирилл Ковальджи. "Невидимый порог".
Кирилл Ковальджи. "Обратный отсчет". Проза и стихи.
Лев Копелев. "Хранить вечно".
Сергей Костырко. "Шлягеры прошлого лета". Повести и рассказы.
"Краеведы Москвы". Выпуск 1.
"Краеведы Москвы". Выпуск 2.
Нина Краснова. "Цветы запоздалые". Проза и стихи.
Юрий Крохин. "Профили на серебре". Поэт Леонид Губанов. и СМОГ.
Юрий Кувалдин. "Так говорил Заратустра". Роман.
Юрий Кувалдин. "Кувалдин-критик". Выступления в периодике.
Юрий Кувалдин. "Родина". Повести и роман.
Юрий Кувалдин. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 10 томах.
Л. Лазарев. "Шестой этаж". Мемуары.
Семен Липкин. "Квадрига". Повесть, мемуары.
Юрий Малецкий. "Убежище". Роман, повести и рассказы.
Всеволод Мальцев. "Парализованная кукла". Повести и рассказы
Мандельштамовский сборник "Сохрани мою речь". Два выпуска.
Игорь Меламед. "В черном раю". Стихотворения, переводы, статьи.
Сергей Михайлин-Плавский. "Гармошка". Рассказы и повести.
А. Н. Михайлов. "Культурология в текстах и комментариях".
Юрий Нагибин. "Дневник".
"Наша улица". Ежемесячный журнал современной русской литературы
(Основан Юрием Кувалдиным в 1999 году. К ноябрю 2006 года -
60-летию Юрия Кувалдина - выпущено 84 номера)

Ольга Новикова. "Женский роман".
Вл. Новиков. "Заскок". Пародии, эссе, размышления критика.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 1. 2003 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 2. 2004 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 3. 2005 год.

Сергей Овчинников. "Танюша". Повести и рассказы.
Дмитрий Панин. "Лубянка-Экибастуз: Лагерные записки".
Дмитрий Панин. "В человеках благоволение".
Вадим Перельмутер. "Стихо-Творения".
Вадим Перельмутер. "Звезда разрозненной плеяды". О Вяземском.
Петроний Арбитр. "Сатирикон".
Валерий Поздеев. "Наполеон Федя Пряшкин". Повести и рассказы.
Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".
Лев Разгон. "Плен в своем отечестве".
Станислав Рассадин. "Очень простой Мандельштам".
Станислав Рассадин. "Русские, или из дворян в интеллигенты".
Эрнест Ренан. "Жизнь Иисуса".
Ирина Роднянская. "Литературное семилетие". Статьи.
Русские сказки.
Алексей Саладин. "Прогулки по кладбищам Москвы".
Андрей Сахаров. "Конституционные идеи".
Джонатан Свифт. "Путешествия Лемюэля Гулливера".
Павел Сиркес. "Горечь померанца".
Словарь американского сленга.
А. и Б. Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу". Полная редакция.
Ирина Сурат. "Жизнь и лира". О Пушкине.
Игорь Тарасевич. "Сквозь стекло". Повести и рассказы.
Александр Тимофеевский. "Песня скорбных душ".
М. Н. Тихомиров. "Средневековая Москва".

Александр Трифонов. "Художник Александр Трифонов"
(Альбом. Новый русский авангард. Фигуративный экспрессионизм)

Александр Трофимов. "Записки сумасшедшего". Рассказы и повести.
Михаил Холмогоров. "Авелева печать". Роман, повести.
А. В. Храповицкий. "Памятные записки".
В. М. Фридкин. "Чемодан Клода Дантеса". Рассказы.
Л. А. Чарская. "Княжна Джаваха".
Лидия Чуковская. "Процесс исключения".
"Эквинокс" (Равноденствие). Литературно-философский сборник.

ТОМ 8

СОДЕРЖАНИЕ

РОЗАНОВА. <i>Рассказ</i>	3
БИБЛИОТЕКАРЬ. <i>Рассказ</i>	9
МОДЕСТ МЕРТВАГО. <i>Рассказ</i>	20
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ. <i>Рассказ</i>	35
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ. <i>Рассказ</i>	45
СТРАХ. <i>Рассказ</i>	59
НОВЫЙ СОСЕД. <i>Рассказ</i>	74
ПАВЛИНА. <i>Рассказ</i>	95
ЗИМА НА СУХАРЕВКЕ. <i>Рассказ</i>	106
ЖАЛКО ЯГОДУ ВИНОГРАДА. <i>Рассказ</i>	116
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. <i>Рассказ</i>	124
МОРЕ ИСКУССТВА. <i>Рассказ</i>	133
ТОКАРЬ МАКЕЕВ. <i>Рассказ</i>	149
ШКОЛЬНИК. <i>Рассказ</i>	156
ФИКУС. <i>Рассказ</i>	164
ОСЕННИЙ ДЕНЬ НЕЗАМЕТНО... <i>Рассказ</i>	172
ОСТАЛЬНОЕ. <i>Рассказ</i>	180
У РЯБИНЫ. <i>Рассказ</i>	191
КРИК ВО ДВОРЕ. <i>Рассказ</i>	203
ЯБЛОЧКО КРАСНЫЙ БОЧОК. <i>Рассказ</i>	211
КРАСНОВА У ТОЛСТОГО. <i>Рассказ</i>	219
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ. <i>Рассказ</i>	231
САВЕЛОВСКИЙ ВОКЗАЛ. <i>Рассказ</i>	242
ВОРОН. <i>Рассказ</i>	249
ДУША ФЕДОРА КРЮКОВА. <i>Рассказ</i>	260
ДОСТОЕВСКИЙ - ВЕНИЧКА - ... <i>Рассказ</i>	278
ЛАТИНИЦА. <i>Рассказ</i>	301
МАСКИ НИЦШЕ. <i>Рассказ</i>	319
ДАСЕЙН. <i>Рассказ</i>	337
КИТЕЖ - НОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ. <i>Рассказ</i>	348
КАНАЛЫ И ШЛЮЗЫ. <i>Рассказ</i>	363
КАЗНЬ. <i>Повесть</i>	375

Комментарий	458
Нина Краснова “Казнь, как концерт Баха”	458
Приложения	480
Ролан Барт “Нулевая степень письма”	480
Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время	508

Юрий Александрович Кувалдин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том 8

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ЛР № 061544 от 08.09.99.

Сдано в набор 21.04.06. Подписано к печати 29.06.06. Формат 60x88 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.

Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 32,0. Уч.-изд. л. (авторских листов) 29,51.

Тираж 2000 экз.

Издательство "Книжный сад", Москва, Складочная ул. 1, стр. 5.

Для писем: 125167, Москва, а/я 40.

Отпечатано на Фабрике Печатной Рекламы.